18+

Андрей Смирнов

Лопухи и лебеда

CoRpuS

“ Дорогой Андрей! Мы с Ингрид провели вчера потрясающий вечер и получили огромное удовольствие. Мы смотрели твой фильм “Осень”. Спасибо за этот шедевр прекрасной камерной музыки.

ИНГМАР БЕРГМАН. *Из письма Андрею Смирнову*

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Выдающийся режиссер и актер Андрей Смирнов, покоривший публику в 1971 году легендарным “Белорусским вокзалом”, лауреат двух премий “Ника” (в 2000 году за роль Бунина в фильме “Дневник его жены” и в 2012-м за фильм “Жила-была одна баба”), был отлучен от режиссуры советскими цензорами и много лет не снимал кино. Он играл в фильмах и сериалах (Владимир в “Елене”, Павел Кирсанов в “Отцах и детях” и др.), ставил спектакли и писал – сценарии, эссе, пьесы. Эта книга впервые представляет Андрея Смирнова-писателя.

Проза Андрея Смирнова изначально связана с кино. Это виртуозная проза драматурга, литературное воплощение будущих фильмов, блестящие, мастерски выстроенные киноповести. Они чередуются со статьями о положении кино в СССР, а затем и в России, о творческой судьбе самого автора и о том, что происходило и происходит в нашей стране.

В книгу включены фотографии из личного архива Андрея Смирнова, а также фотографии со съемок его фильмов и театральных репетиций.

- Андрей Смирнов
  - ○
  - ○ Я хочу рассказать вам…
    - ■
    - ■ Осень
  - ○ Размышления на обочине
    - ■
    - ■ Стойкий оловянный солдатик
  - ○ Хождение в сценаристы
    - ■
    - ■ Предчувствие
  - ○ Свет Выборга
    - ■
    - ■ Сентиментальное путешествие на картошку
  - ○ Легко ли быть молодым?
    - ■
    - ■ Родненькие мои
  - ○ Свободен, наконец свободен!
    - ■
    - ■ Темная вода
  - ○ Завтра живет на кухне
  - ○ Последняя книга

- Жила-была одна баба
  - Предисловие
  - Часть первая
  - Часть вторая
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Андрей Смирнов
Лопухи и лебеда: киноповести и эссе

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

В книге использованы фотографии из личного архива автора, кроме отмеченных особо.

Обложка:
на 1-й стороне – фото из архива Андрея Смирнова;
на 4-й стороне – фото © Микола Гнисюк.

Я хочу рассказать вам…

Как назвать книжку? Отчет? Что я – бухгалтер? А в сущности – отчет. Или, выражаясь развернуто и по-советски, – отчет о проделанной работе. А куда деться от своей советской закалки – от тупого пионерского детства (как мне нравилось отдавать салют! рапортовать старшей пионервожатой!), комсомольской юности, страстной и фальшивой (во ВГИКе обличил на собрании сокурсника по ничтожному поводу, тут же вызвали в партком и предложили в стукачи), ото всего, что обозначилось в 90-е годы мускулистым термином “совок”, – в нем и презрение к самому себе, в нем и покаяние, к себе безжалостное.

Я – совок? Оскорбительно. Да я ненавижу все, к чему приложим эпитет “советский”, мне только что стукнуло семьдесят пять (страшно произнести, мой отец умер в шестьдесят от скоротечного рака легких), но пока еще хорошо помню и очередь за мясом (когда я, простояв полчаса, приближался к прилавку, звонил из автомата, и жена бежала с двумя маленькими детьми, потому что не давали в одни руки мяса больше килограмма, из коего добрая половина уходила в помойку), и ОВИР (Отдел виз и регистраций, кто не помнит), где дяденька, сверкнув золотым зубом, сообщал деревянным голосом, что поездка за рубеж не состоится как нецелесообразная (а мне уже было под сорок, а выпустили в первый раз уже при Горбачеве, в сорок семь). Да, я – старый совок, приходится признать, плоть от плоти режима, на который пришлась большая часть жизни, и, к сожалению, ничего великого, кроме великих жертв, не вижу в истории страны под диким для русского уха названием “СССР”. Так что книжка эта – отчет о проделанной за пятьдесят лет работе, о том, как совковый кинорежиссер переучивался на совкового писателя.

Первый звонок прозвучал весной 68-го года из уст покойного Владимира Евтихиановича Баскакова, в ту пору – заместителя министра культуры, ведавшего кинематографом. Баскаков был фронтовик, писавший прозу, окончивший знаменитый ИФЛИ, человек культурный, чем резко отличался от нашего начальства начиная с министров, и потому слегка презираемый в среде партийных чинов. Потом, через годы и до его последних дней, нас с ним будут связывать отношения – не скажу дружеские, слишком велика была разница в возрасте, – отношения взаимной симпатии. А пока – 68-й год, мне двадцать семь лет, я сижу на обсуждении своей первой самостоятельно снятой короткометражки “Ангел” (до этого мы вдвоем с Борисом Яшиным сняли полнометражную картину “Пядь земли” и две

коротких). Я еще не знаю, что “Ангела” положат на полку, а через двадцать лет выяснится, что негатив картины, то есть подлинник, то ли уничтожен, то ли потерян. Я еще надеюсь, что мое кино кто-нибудь увидит (все-таки “рукописи не горят”, и “Ангела” сегодня можно найти в интернете). По окончании обсуждения, для меня катастрофического, замминистра велит мне задержаться. Оставшись наедине, Баскаков доходчиво объясняет, что моя короткометражка содержит неудавшуюся идеологическую диверсию и поклеп на русский народ. Я уже стою у двери, собираюсь выйти, когда он заканчивает той самой фразой: “Мы тебе поможем сменить профессию…”

Трудней всего было приучиться молча сидеть в одиночестве. Режиссер – это профессиональный болтун. Он молчит только в короткие мгновения между командами “Мотор!” и “Стоп!” – пока снимается кадр. Все остальное время он говорит или, в лучшем случае, слушает, весь рабочий день он непрерывно общается с актерами, с оператором, со всей многочисленной съемочной группой, пытаясь достучаться до каждого, растолковать свой гениальный замысел. А тут – на тебе! – лист бумаги, ручка, сиди и смотри в точку часами. Меня так и подмывало вскочить, поймать знакомого и в горячке изложить ему, что я собираюсь написать. А Генри Мур, гениальный скульптор, говорит: “Рассказывая о своем проекте, вы тратите энергию, которая понадобится вам для его создания”. Я прочел – и заткнулся. Заставил себя писать каждый божий день хоть страничку, хоть две. С годами образовались тысячи страниц дневников, мне даже предложили их издать, но я поленился.

В конце 79-го года я снял свой последний кадр и твердо решил с режиссурой завязать. Мне было тридцать восемь, надоела вечная толкотня с цензурой, в которой я неизменно оказывался в проигрыше. Ни один из моих четырех фильмов (в том числе и относительно успешный “Белорусский вокзал”) не дошел до зрителя таким, как я задумывал.

Но когда советская цензура приказала долго жить, я заволновался. Неужели я так и помру, не оставив ни одного фильма, сделанного без чужой указки? Мысль эта не давала мне спать. Однажды в декабре 87-го года, среди ночи, я вылез из постели, чтобы записать: “Кино о Тамбовском восстании!” Наутро сел думать. С одной стороны, материал богатый, огнедышащий, в котором сходится все – история России, страны крестьянской, революция и Гражданская война, восстание деревни против большевиков, подавленное с чудовищной жестокостью, единственный в истории случай применения отравляющих газов в войне с собственным народом. С другой – как же подниму я эту

махину, городской житель, не проживший в деревне и месяца?

Прошло больше десятка лет, пока появился на свет сценарий. Я не жалею о потраченном времени. Ходил по тамбовской земле, где лучший в мире чернозем, расспрашивал по деревням бабушек, которые ничего не помнят – два поколения запуганных родителей молчали, боялись рассказать детям о том, что здесь творилось. Вслушивался в тамбовский говор, пытался понять, чем он отличается от орловского или воронежского. Сидел в архивах, читал документы, ездил в Борисоглебск к историку Владимиру Самошкину, который стал моим главным консультантом и другом, но, к несчастью, не дожил до премьеры картины. Эти годы многому меня научили. Я много узнал о стране под названием Россия.

В июле 2008 года мы сняли первые кадры фильма “Жила-была одна баба”.

Я опять кричал “Мотор!”. Перерыв составил 29 лет…

Всё это время я снимался в кино как артист, преподавал, ставил спектакли на театре, в горбачевские времена три года был чиновником, а главным образом, писал – сценарии, пьесы, статьи. С плодами моих трудов вас познакомит эта книга. Я расскажу вам несколько историй.

Осень

– …О чем думаешь?

– Не знаю… Ни о чем.

– Все-таки о чем-нибудь ты думаешь?

– Интересно, о чем я должна думать, когда целуюсь?

– Замерзла?

– Перестань зевать, ради бога! Стоишь с женщиной и зеваешь.

– Виноват. Между прочим, еще шести нету.

– А я совсем спать не могу. На всех чертей, наверное, похожа…

– Ты ослепительна.

– Не надо… И куда нас несет?.. Ну, не надо, пожалуйста.

– Спят все.

– А проводница? Приедем сейчас… Озеро какое-то бесконечное… Смотри – церквушка.

– Это погост. Кладбище видишь? Значит – погост.

– Ненавижу, когда ты таким тоном разговариваешь.

– Каким?

– Вот таким. Менторским. Поучающим.

– Все равно ты в меня влюблена как кошка.

– Вот дурак.

– Э, молодежь, приехали! – Проводница отправилась в тамбур.

– Торопись, он стоит три минуты. Слыхала? Молодежь – это мы.

– Подожди. Поцелуй меня.

Подплыл каменный обшарпанный вокзал с цифрами “1912”, выложенными по фронтону, и фигурой Меркурия. Перрон оказался мал. Сиротливый хвост из двух вагонов остался на открытом пространстве.

– Господи, я же замучаюсь со своей юбкой…

Он спустился на насыпь, поставил чемодан и сумку, растопырил руки. Женщина задержалась на мгновение на высокой подножке и, негромко охнув, прыгнула.

– С приездом! Какой сегодня день, Саня? Суббота?

– Не знаю, ей-богу, так все перепуталось…

– Воскресенье! – крикнула им вслед проводница.

День первый

Шофер косился на нее в зеркальце.

Мотора он не выключал, “дворники”, скрипя тягуче, сгоняли со стекла редкие капли.

Шоколадный, с желтыми подпалинами петух слонялся по двору, ворча. За деревней над темным ельником показалась из-за туч чистая бледная полоска.

Шофер сопел. Жидкие кустики волос вздрагивали на розовой проплешине.

Саша глянула в зеркальце со злобой – он усмехнулся.

Тут Илья затопал по ступенькам.

– Порядок, – сказал он и стал расплачиваться.

Девочка лет четырех и хозяин вышли на крыльцо и смотрели, как они идут.

– Телевизор у хозяев, приемник у нас. Живут – дай бог… Окно прямо на озеро. Что ты, Саша?

– Ничего.

Они остановились.

– Что-нибудь не так?

– Не обращай внимания. – Она постаралась улыбнуться и взяла его под руку. – Укачало немножко.

С виду хозяин был моложе тридцати, русоволосый голубоглазый парень, слегка отяжелевший.

– Знакомьтесь, – сказал Илья. – Это моя жена. Ее зовут Саша.

В комнате слабо пахло пылью.

– Кровать новая, хорошая, вставать не захочете… – У Дуси, хозяйки, плавный голосок и такие же, как у мужа, светлые глаза. – Прошлый год купили на Троицу. Отдыхайте, сколько понравится.

– И не на Троицу, а на майские. Сто тридцать рублей отдали под самый праздник…

Хозяин в вязаных носках и девочка стояли в дверях. Девочка дичилась, смотрела исподлобья, а глаза плутоватые, без боязни.

– Одеялку берите, еще и другую дам. Эдуард, приволоки тетьКатину, зеленую, что в сундуке. А то – перину хотите?

– Хватит, куда!

– Дак студено ночью, не в Крыму, чай. Перина нешуточная, косточки-то погреть, ну? Заморозите жену…

Она засмеялась и лукаво и застенчиво. У нее недоставало бокового зуба, улыбка выходила щербатая, как у подростка.

– Стряпать – на дворе, печка. Растопить умеете? А то мне покличьте. Умываться вон за дверью, покажи, Эдуард. Магазин хороший, а коли повкусней чего, селедочки или колбаски, в Буяново прогуляетесь. Вина белого – в Буянове опять. Молочка, конечно, кушайте, сколько захотите…

Илья присел к девочке:

– Меня Илья зовут. А тебя как?

– Чего стихла, ну? Скажи, как зовут, спрашивают тебя…

– Она, наверное, забыла.

– Знает она, вот девка. – Хозяин принес одеяло. – Таня ее звать…

Дуся опять засмеялась:

– Она у нас смутная. То – спасу нет, а то как зверенок, стоит, не гукнет… Пожалуйста, спите на здоровье, утомились небось? Вы с Петрозаводска будете?

– Мы из Ленинграда. – Илья сел на кровать и достал бумажник. – Значит, рубль с человека, два рубля день, шесть дней – это будет двенадцать. Правильно, Дуся? И молоко. Почем у вас молоко?

– Тридцать копеек.

– Литр в день нам хватит? Саша, ты слышишь?

– Я не знаю.

– А кто знает? Ладно… Дуся, вот пятнадцать рублей, там разберемся.

– Мне не спешно, вы глядите, как вам сподручней. Ну, давайте… Дак коли надо чего, скажите, не стыдитесь…

Хозяева вышли и притворили за собой двери.

Саша в плаще стояла у окна.

– Иди сюда, – сказал Илья.

За окном виднелось озеро, прикрытое стеной дождя, и вода в озере кипела.

– Я не гордый, и сам подойду.

Они обнялись.

– Хозяева не понравились?

– Очень милые хозяева.

– А что?

Она пожала плечом.

– Ты бледная. Приляг, ты не спала толком. Откроем окно и спи. Смотри, какой дождь.

– Не хочу.

Он вынул сигареты, закурил.

– Не надо, Саш. Плюнь. Ведь это же не просто так. Это только так выглядит.

– Все равно.

– Черт, пепельницу надо попросить…

– Может, они в доме не курят.

– Курят, я видел – Эдик курил… Ну, хорошо. И что же мы будем делать?

– Илюша, мне не семнадцать лет, мне тридцать скоро. И все уже не так легко дается. Постарайся меня понять.

В глазах Саши заблестели слезы.

– Я понимаю.

Он прошелся по комнате, стряхнул пепел в горшок с фуксией. Отворил окно, постоял, вдыхая холодный, пахнущий озерной сыростью воздух.

– Только, пожалуйста, я тебя очень прошу, не называй меня женой.

– Ты моя жена.

– Ты даже не замечаешь, когда говоришь “моя жена” про Ларису. У тебя две жены сразу?

Илья коротко взглянул на нее, выбросил сигарету, присел на подоконник.

Саша подошла и положила ладонь ему на шею.

– Не сердись на меня. Я злая. Но я тебя люблю.

– Э, а вы что же, Дуся? Не годится!

– Я наливку лучше люблю, белое-то злое вино. Вы на меня не глядите. Груздочек вон цепляйте, я еще доложу.

Девочка ковырялась в тарелке с глазуньей и не сводила глаз с Ильи.

– И сколько же в месяц выходит, если не секрет? – спрашивал он.

– Почему секрет? Тот раз сто четыре вышло. Еще прежний раз – сто двадцать. А бывает, и полторы набежит.

– Ой, он вам наскажет! Полторы? Где ж полторы, ну?

– Чего, чего? Колька Михалев тот раз сколько угреб? Полторы сотни и вышло.

– Дак Михале-ев! Когда ж ты с Михалевым вровень-то получал? Людей не смеши!

– А тебе солить их, деньги? И так хватит. Здоровье, небось, не казенное.

Все засмеялись, а Дуся громче всех.

– Жить, конечно, можно, при машине. – Дуся вздохнула. – Машина-то заработает. В поле пупок драть – там шибко не разгуляешься.

– Куды храбрая какая! Много он тебе заработает, сам-то… Ты с мое на нем отсиди, с темна до темна!

– А вы в поле работаете, Дуся?

– Да дома она, с Татьяной. Языком здорова строчить…

– Ой-ой, выпил – уже себя не сознаешь. Люди незнамо что подумают, ну! Я на ферме работала, покамест в декрет не ушла. Дояркой… а после он на курсах был, опять я работала.

– Дояркой? Нелегкая работка.

– Дак разве она легкая-то бывает, коли работать?.. Что же вы

не кушаете ничего? Молчите и не кушаете. Сырку попробуйте.

– Спасибо, я ем.

– Она фигуру бережет.

– Перестань, Илья… Это сыр такой? Я думала – творог.

– Это говорится у нас так – сыр и сыр. Вообще-то оно с творогу, конечно…

– А музыкантам хорошо платят? – спросил Эдик.

– Музыкантам? Ей-богу, не знаю… А что?

– Вы, значит, не музыкант?

– Нет, я врач. Доктор… А Саша – инженер. Разве я похож на музыканта?

– Сказали вроде музыкант…

– Это у нас позапрошлый год музыканты жили. Тоже с Ленинграда. Может, знаете? Как его фамилия-то, Эдуард? Жену еще Лидой звать, черненькая такая? Интересная женщина.

– Чего там интересного? Мослы одни.

– А знаете, у нас Танечка ушком хворает. Может, поглядите?

– Это вам к ушнику надо. Бледненькая она у вас… А посмотреть мне нетрудно, давайте посмотрим.

– Илья, как тебе не стыдно, ты же выпил! Ребенка собираешься смотреть!..

– Дуся, обещаю – завтра утром устраиваем осмотр.

– Дак не пожар, чего там… А у вас детки есть?

– Нет, Дуся. К сожалению, нету. Но будут, надеюсь. А, Сань?

– Илюша, ты напился.

– Клевета, ни в одном глазу… Мы, Дуся, если правду сказать, еще и недели не женаты.

– О-ой!

– А знаем друг друга сто лет. Мне десять было, а ей семь, когда нас познакомили. И женихом меня дразнили. И, как видите, накаркали.

– Что же долго собирались-то?

– Это вы у нее спросите, у Саши. Собрались было, лет десять назад, а она хвостом вильнула. А теперь вот все сначала…

– Судьба, выходит… – сказала Дуся и пригладила дочери челку, упавшую на лоб. – Интересно…

– Уж куда! Выпить у нас не осталось?

– В Буяново можно сгонять, – сказал Эдик.

– А долго туда?

– Навострился! Сиди, дождик вон…

– Илюша, честное слово, тебе хватит!

– Где дождик, где? Прошел давно. В полчаса обернемся. У меня “Ява”.

– Саня, ну чего ты нахохлилась? У нас ведь, можно сказать,

медовый месяц! Неделя, верней. Отметить надо. Правда, Дуся?

– Да ну тебя, Илья! Куда вы по мокрой дороге! Еще разобьетесь!

– Все будет в порядке, не волнуйся. А, Эдик? Бог пьяных бережет и влюбленных. А мы – и то и другое! Тут проселок, машин мало. Девочки, ждите нас с гостинцами!

– А ты куда? – крикнула Дуся, но девочка сползла со стула и побежала вслед за отцом.

Женщины остались одни.

Дуся вздохнула и стала собирать тарелки со стола.

Саша смотрела в окно.

– Давайте я посуду помою, – сказала она.

Мотоцикл не хотел заводиться.

Илья, засунув руки в карманы, вертел головой по сторонам. Дышал полной грудью.

– Воздух у вас тут – прямо жрать его хочется!

– Да… – отозвался Эдик. – А запчастей днем с огнем не сыщешь.

– Вот разбогатею, – сказал Илья, – куплю дом в деревне и буду в земле копаться.

За забором хихикнула девочка.

– Чего смеешься, Танюха? Сомневаешься?

– Не заводится, змей, – сказал Эдик. – Подпихнешь? Тут под гору, авось возьмет.

Он протянул Илье шлем, сам надел другой.

– Ты мне напиши на бумажке, чего тебе нужно, какие запчасти, – сказал Илья. – Я в Ленинграде поищу.

– Свечами бы разжиться. Мне один обещал, москвич, да забыл, видать… – Эдик забрался в седло. – Ну, понеслась!

Илья налег на мотоцикл.

– Который ни приедет городской – одна песня: желаю в деревню, и все тут. – Эдик усмехнулся. – А я говорю: ну и ехай себе в деревню, кто тебе мешает? А то ж не едете. Видать, не так уж и худо в городе-то…

Ожил, затарахтел мотор.

– Взяла!

Илья перевел дух и полез на заднее сиденье.

– Только это… – прищурился Эдик. – Денег у меня…

– Денег нет? Неважно, у меня есть.

– Ну, держись крепче, доктор!

Эдик тронул плавно и сразу набрал ход. Грязь полетела из-под колес.

Илья пронзительно засвистел.

Во дворе Дуся толкнулась в загородку, за которой месили черную слякоть два подсвинка, залила варево в корыто. Курам подсыпала жменю проса.

На крыльцо вышла Саша, вытерла о передник руки и стояла, глядя на улицу.

– Да чего ты маешься! – улыбнулась Дуся. – Приедут целые, ничего им не будет… Они небось в чайной засели, черти.

– В какой чайной?

– А в Буянове. Воскресенье же.

Дорога была пуста. Изредка вздрагивала вода в озере и доносился негромкий всплеск – играла рыба.

Саша лежала, уткнувшись в подушку. В дверь постучали.

– Впрямь чтой-то долго, – сказала Дуся. – Дождь, как на грех. Говорила дьяволу… Или подрались? Твой-то как? Смирный?

Дуся постояла и вышла.

Вскоре послышался топот, смех и сердитый Дусин голос. В комнату ворвался Илья, грязный, промокший, с бутылками в руках.

– Старушка, ты погляди, чего мы раздобыли!

– Господи, живой! Чего мне только в голову не лезло!

– Это же вобла! Погляди какая! Я такой сроду не видел! Целая акула! И пива привезли…

– Илюша, ну разве можно так? Мы что, пьянствовать приехали? Бросил меня одну, в чужом доме… Я чуть с ума не сошла.

– Да все нормально, чего ты суетишься? Ну, в чайной погрелись немного, переждать хотели… И тут же назад.

Саша посмотрела на воблу, которой размахивал Илья, и разрыдалась.

– Что с тобой? Сашенька, что ты? Не надо, милая, успокойся! Случилось чего-нибудь?

Ночью Илья разговаривал во сне.

Саша поднялась на локте, встряхнула его. Илья пожевал губами и успокоился.

В окне виднелся край луны. Иногда он скрывался за облаком, и по стене плыли медленные тени.

Саша долго смотрела на побледневшее, чужое лицо Ильи.

День второй

Илья проснулся хмурый и сел, озираясь. Не найдя Саши, он вскочил с кровати и выбежал за дверь. На кухне никого не было. Саша, чумазая, на корточках хлопотала у плиты посреди двора.

Она подкладывала щепы, ворошила, но огонь плохо ее

слушался. Заметив Илью в окне, она невольно выпрямилась и поправила платок, оставляя на лбу полоску сажи.

Сковородка поминутно соскальзывала с плиты, осевшей одним боком, и Саша, чертыхаясь, водворяла ее на место. Она налила в жестянку керосину из полиэтиленовой канистры, плеснула в топку.

Илья стоял у окна. Высоко в неярком голубом небе висело осеннее солнце. Скворец прыгал в траве у крыльца, склевывал и быстро, тревожно оглядывался.

Завтракали под березой, за дощатым колченогим столом. Они накинулись на еду, будто не ели неделю.

Саше хотелось побыть вдвоем, но подошла девочка и стояла, глядя на них.

Илья запивал молоком глазунью и мычал блаженно.

– Куда торопишься? Гонятся за тобой?

Он выбрал метелку зеленого лука покрепче, ткнул в соль и спросил:

– Лук есть будешь?

– Буду, буду, – усмехнулась Саша.

Дуся, вернувшись из магазина, зашумела на девочку:

– Ишь устроилась, ну! Людям дай покушать…

– Не мешает она, – сказал Илья.

Таня заплакала, но мать все же утащила ее.

– А кроме яичницы ты что-нибудь готовишь? – ехидно спросил Илья.

– Женись – узнаешь, – ответила Саша.

Вскоре Дуся уже мыла крыльцо и бегала к плите присмотреть за варевом.

Илья и Саша сидели за столом, сонные, разомлевшие от еды, от солнца и воздуха. Илья курил. Саша поглядывала на сигареты с завистью, но при Дусе курить стеснялась.

В лесу они изредка перебрасывались двумя словами, а больше – молчали. Принюхивались, глазели по сторонам.

Лес стоял полуголый, светлый, редко слышался птичий голос. У Саши подмерзали ступни в резиновых сапожках. Земля под палым листом остывала.

Когда Илья пропадал за деревьями, Саша останавливалась, сдерживая дыхание, и скоро в тишине долетал к ней его тяжелый, размеренный шаг. Свербила его какая-то мысль, не давала отвлечься. Увидев Сашу, он улыбался, лицо его смяг– чалось.

Она нашла старую сыроежку с бурой подсохшей шляпкой. В ельнике, выстланном мертвой хвоей, Саша бежала на каждое пятнышко, но грибов не было.

Она исчезала, появлялась, а он все шагал как заведенный.

Ни о чем его спрашивать Саша не стала.

Вернулись засветло. В доме было натоплено, и Илья открыл окна. Пока чистили зубы, комната остыла.

Саша тихо скулила, когда, голые, они забрались на ледяную простыню.

День третий

Проснулись они одновременно.

– Я что-то раскисла… – Голос ее был хрипловат со сна. – Который час?

Илья взял со стула часы и закинул под кровать.

– Ты мой любимый… – шептала, улыбаясь, Саша.

Запах сырого песка проникал в комнату.

В распахнутое окно смотрел пасмурный светлый день, и дождик редко сеялся с прозрачного неба. Листья вразнобой потрескивали под каплями.

– Не сердись на меня, Илюша, – вздохнула она. – Кто ж знал?

Илья засмеялся:

– А может, и разошлись бы, если б тогда поженились…

– Глупости, – сказала она с обидой. – Ничего бы не разошлись. Ты меня любил, а это главное. Господи, какая я дура была, Илюша! – Глаза ее вдруг наполнились слезами. – Ведь ты мне давно нравился, с каких пор! Только я этого не сознавала. А вот что-то такое… – Она запнулась на мгновение. – И торопился ты… – Саша улыбнулась. – Целоваться с тобой мне не хотелось.

– А теперь?

– Да ну тебя! Семнадцать лет было, Илюша, что же ты хочешь? Я себе бог знает чего воображала, а все вдруг кончится Илюшкой, которого я знаю-перезнаю? И больше ничего не будет? Обидно казалось… А когда узнала, что женился, – от злости чуть не повесилась… Всё по-дурацки, всё! И романы какие-то нелепые, и замужество это… Профуфыкала я свою жизнь, милый!

И она сладко, взахлеб заплакала. Илья прижал ее к себе и рассмеялся:

– А ты все такая же плакса, Сашка.

– Угу…

– Ну, не реви… Все-таки встретились. Хорошо хоть в тридцать, а не в семьдесят.

– Мне еще только будет, нечего прибавлять.

– Тем более. Хватит реветь. Погода вон какая…

– Мне так с тобой легко, Илюша, просто… Я с тобой ничего не боюсь, мне ничего не стыдно, абсолютно ничего! Даже жутко… Мне с тобой притворяться не надо, я такая, какая есть.

– Что ж с Олегом – пять лет притворялась?

– Да ну… – Она вздохнула прерывисто и шморгнула носом. – Пусть я плохая, злая, но неужели любить меня не за что? Я-то ведь знаю, что я многих получше, а мне все время внушали, что я просто взбалмошная баба, истеричка, что мне надо какой-то другой стать, как будто я больная… Да я к нему в кровать лишний раз лечь боялась, честное слово! Боялась развратной показаться, это мужу-то! Все за свободу свою держался. Освободила я его, пускай радуется!

Дуся хоть и посмеивалась, но видно было, что помощникам рада.

– И охота корячиться! – говорила она лукаво. – Маникюр загубите…

Саша встряхивала выдернутый куст и ударяла о край корзины так, чтобы все клубни разом свалились внутрь. С ботвы летела в лицо вода, и жирные тяжелые комья отрывались от корней. Парная земля приятно дробилась в ладони.

Дусино ведро звенело беспрерывно: дзинь, дзинь-дзинь. Иногда Саша ловила на себе ее взгляд и усмехалась в ответ.

Девочка грызла капустный лист, переминаясь возле Ильи. Он корчил ей рожи, и Таня смущалась.

С непривычки заныла поясница. Саша выпрямилась передохнуть.

– Соседи скажут, Пронюшкины обладились, батраков привели… – усмехнулась Дуся. – Гулять ступайте, без вас управлюсь!

– В первый раз, что ли? – Саша махнула рукой. – Каждый год возят, то на картошку, то еще на что-нибудь. В прошлом году на свеклу в самые дожди угодили… А тут одно удовольствие. Земля какая теплая…

Дуся засмеялась:

– Дак я думала, у вас огород свой.

– Я и на целине была. Давно, еще студенткой… – Саша улыбнулась. – Даже грамота где-то валяется…

– Когда? – поднял голову Илья. – В Казахстане?

– В шестьдесят первом, под Акмолинском. Ты был?

– Я раньше был. Разминулись.

– И докторов возят? – спросила Дуся.

– Слава богу, нет. Лекарям, Дуся, положено на месте сидеть. А в институте возили, а как же…

– Кто Таню обещал посмотреть, лекарь?

– Верно. А ну, Татьяна, пошли на расправу! И перекурим заодно…

Сашина корзина наполнилась доверху. Дуся помогла стащить ее в сторону, где высилась груда картошки, и опорожнить.

У крыльца Илья отмывал руки, Таня поливала ему из ковша.

– Я на вас смотрю, – сказала Саша, переводя дух, – и как у вас сил на все хватает? Сколько вам лет, Дуся. Если не секрет?

– Чего ж таиться? Сорок пятого я, двадцать семь стукнуло. А с виду-то небось с лишком тридцать?

– Что вы! – Саша смутилась. – Вы очень молодо выглядите.

– Ладно, знаем… – с усмешкой сказала она. – Нынче что! Танюшка когда грудная была – вот уж взаправду хлебнула. Другой раз заплачет ночью, оручая была, а худая – былиночка… Дак я и сама в рев, лежу, как корова разливаюсь, а встать – нету сил, каждая косточка гудит. Наскачешься за день-то… Чуть с Эдуардом не разошлись.

Саша покачала головой:

– И никто не помогал?

– Кому ж помочь? Мама-то живая покуда была, да она водянкой хворала, что с нее проку? От водянки и померла… А свекровь далеко – они за Повенцом живут, он не с наших мест, Эдуард-то… Как раз укрупнили нас тот год, а зима такая бестолковая – нету снега, хоть плачь! Померзло все, пересеяли весной, и опять не слава богу – льет, поливает. По самый по август солнышка не видали… Дак разве ж уродит, когда ералаш такой? Ну, он и заладил: в город да в город, одно знает. Дядя у него там, у Эдуарда, механиком на автобазу устроить обещался…

На ступеньках крыльца перед Ильей стояла Таня и, замирая от любопытства, трогала его горло.

– Не здесь, – поправлял Илья. – Вот, выше… Смотри – я глотаю. Чувствуешь?

Она кивнула и расплылась в улыбке, открыв редкие зубки с застрявшими зеленоватыми волокнами капусты.

– Теперь я.

Он прощупал железы у нее под подбородком и слегка надавил на ухо. Девочка вскрикнула и сморщила лицо.

– Погоди реветь-то… А ну-ка, мне надави. Сильней! Думаешь, мне не больно? А я терплю. Ты льва когда-нибудь видела? Живого?

– Только он добрый, лев, – сказала Таня.

– Разумеется, добрый. Все равно иногда он рычит. Когда что-нибудь не в порядке. Или он хочет есть. Правда?

– Только он детей не ест, – убежденно сказала Таня. – Он на веревке пляшет.

Илья засмеялся:

– Ты что-то путаешь, Татьяна. Это в цирке, что ли?

– Его звать Каникулы Бонифация. Он очень добрый.

– А, все ясно… Тащи чистую ложку, телезритель.

Илья ополоснул ложку, нахмурился и озабоченно откашлялся.

– Что-то у меня в горле чешется… Посмотри, пожалуйста, нет ли у меня там небольшого крокодила. Примерно вот такого…

Таня сосредоточенно заглянула ему в рот.

– Смотри как следует! А-а-а… Нету? Ладно, спасибо… Давай теперь у тебя поглядим. Понимаешь, бывают такие случаи, правда редко, когда вдруг в горле у человека живет такой маленький крокодил. Надо ему помочь оттуда выбраться…

Женщины сидели на грядке. Дуся рассказывала:

– …Уж и дом сторговали, я работать определилась на комбинат. У них баб не хватает, прясть некому. А которые согласны, им в общежитии комнату дают… Поглядела я, поглядела. Веселей, конечно, в городе-то. Культура большая. Парикмахерских полно… А на душе-то камень. Чужие люди кругом. Я с ребенком. И корову жалко…

– Не решилась?

Дуся со вздохом промолчала.

– Зазнобу он в городе завел… В столовой работает. Бесстыжая такая курва, с нашей деревни, мужика ни одного не пропустит, хоть самый барахольный… Я и ушла.

– И что же?

– Известно что. Потерся там с месяц… Вечером доить пошла, слышу, в калитку торкается кто-то. Гляжу – стоит, а войти робеет. Щетиной зарос, а рожа-то вся белая, как мукой вымазался. Покойник прямо… В ногах валялся.

Она опять вздохнула, взяла из корзины картошку с подгнившим боком и выбросила.

– А как не пустишь? – сказала она. – Муж ведь. Нельзя девке без отца. Нехорошо.

Саша кивнула как-то нерешительно. Дуся насторожилась.

– Конечно, вы правы, – сказала Саша и покраснела. – Просто я думаю – смогла бы я так?

Дуся презрительно усмехнулась.

– Роди – узнаешь, – сказала она, вставая. – Мужик он и есть мужик, чего творит – сам не ведает. Какой с него спрос?

Некоторое время они работали молча.

– Если опять надумаете в город перебираться, – заговорила

Саша, улыбаясь неловко, – приезжайте, Дуся, прямо ко мне, в Ленинград. Я ведь как раз на прядильном производстве работаю. У нас тоже прядильщиц не хватает, и прописку по лимиту дают…

– Теперь ехать – никакого расчету нету, – сказала Дуся, не поднимая головы, и ведро ее зазвенело еще бойчей. – Председатель у нас новый, уж третий год, Тихон Сергеич, дай ему бог здоровья… Наизнанку вывернется, а зимой сыты будем…

Илья вернулся сердитый.

– Вы о чем думаете, Дуся? Родители, черт вас возьми! Вы когда с ней у врача были?

Дуся сразу заплакала и схватила Таню.

– Илья, возьми себя в руки, – сказала Саша.

– А ты помолчи! Миндалины с кулак, железы увеличены… Носоглотка – ни к черту! Вы чем шутите? Инвалидом хотите ребенка сделать? У нее отит хронический. Запущенный! Не ревите, я с вами серьезно говорю! Когда у врача были последний раз?

– Весной.

– И что он сказал?

– Я все как велено делала, – всхлипнула Дуся. – Сквозняков стеречься велели… Компресс ставить. Горло полоскать… А в больницу не дам!

– Процедуры назначались? Прогревания? УВЧ? Кварц?

– А как же. Ходили, сколько раз ходили! А компресс этот она у меня пол-лета не сымала…

– Здрасте! Что, так весь день с компрессом и бегала?

– Тоже скажете! Дурочка я, что ли? С ночи клала, утром сымала… Все равно в больницу не дам!

– Да погодите… Она у вас босиком по избе носится, по сырому полу. Разве можно! Ноги – первым делом в тепле держать. Летом купалась? Ну хорошо, хоть не купалась… Завтра же поезжайте. Где тут у вас поликлиника?

Дуся кивнула и вытерла лицо.

– Завтра не выходит, – сказала она. – Картошка вон гниет. Уберемся и поедем. Что ж, раз надо.

Илья рассмеялся:

– Да вы в своем уме? Какая, к черту, может быть картошка, когда у вас ребенок нездоров!

В сумерках они сидели на приступочке бани, поставленной на кромке берега.

В небе яснело перед ночью, уходили облака. Вода становилась все темнее, и вместе с темнотой ощутимо

поднимался с озера холодный воздух.

– …Ты такой наглый пришел, ужасный… С усмешечкой, – шепотом рассказывала Саша, вздрагивая от сырости. – Неужели не помнишь? Чего ты ему голову морочишь, говоришь. Все равно разведешься и будешь со мной… – Она тихо засмеялась и теснее прижалась к Илье. – А я как раз беременная была, мне чуть не завтра на аборт идти. Я прямо взбесилась… Я не пойму – у вас с ней уже тогда плохо было?

Илья не отвечал.

– А чего ж пришел?

Смутное пятно сгустилось в сумраке и толчками приближалось, превращаясь в лодочку.

– А мужу сказала? – спросил Илья. – Что я приходил?

– Не сказала. – Она усмехнулась. – Сама не знаю почему…

Стукнула дверь уборной. Эдик, чертыхнувшись, выскочил прямо на них.

– Кто тут? – Он всмотрелся. – А-а… привет. Запереть не позабудьте…

И затопал к крыльцу.

Саша приглядывалась к Илье с тревогой.

– Что-нибудь случилось, Илюша?

Он пожал плечом, провел рукой по ее волосам. Жест получился вымученным. Саша невольно отстранилась.

– Все нормально, – сказал он. – Чего ты?

Лодка подошла едва слышно. С берега упал на нее свет фонаря. На передней банке собака перебирала ногами, торопясь на сушу.

– Холодно. – Саша встала. – Я пойду.

Илья остался один.

Скрип сосен под ветром долетал с того берега. Человек привязывал лодку, глухо позванивая цепью.

День четвертый

Рано утром они собирались на рыбалку.

Илья, уже одетый, в куртке, в белых шерстяных носках, укладывал сумку. Он аккуратно закрыл жестянку из-под леденцов, где лежали крючки и кусочки свинца, спрятал и стал натягивать резиновые сапоги. Нечаянно взгляд его наткнулся на Сашин. Он отвел глаза.

Саша достала пудреницу. Лицо в зеркальце показалось ей вялым, некрасивым. Что-то старушечье в обиженных губах. На Илью она старалась не смотреть.

Он взял в углу удилища из неошкуренной ольхи, высунул их в окно и вылез сам. Протянув руку в комнату, погасил лампу на комоде. Прямоугольник окна засветился бледной синевой.

– Дверей нету, что ли? – сердито сказала Саша.

– Ты засов ихний видела? Всю деревню разбудим.

Пришлось и Саше вылезать в окно.

В сухом, крепком воздухе пахло по-зимнему. У берега Илья хлопнул по лбу и побежал обратно к дому, сунув удочки Саше. Она спустилась к воде.

Белые нити изморози опушили траву. Из глухого тумана проступали сизые верхушки сосен.

Во дворе Илья столкнулся с Дусей, уже шедшей доить с эмалированным ведром.

– Думала – проспите, – усмехнулась она. – Ай забыли чего?

– Червей! – буркнул Илья, хватая банку со ступенек крыльца.

– Всю-то не словите, – сказала Дуся ему вслед. – Маленечко нам оставьте…

Пока Илья нашел Эдикову лодку, пока отвязывал и нагружал, Саша стояла с удочками и во весь рот зевала, чувствуя, как уходит из тела ночное тепло.

Берег исчез сразу, лодка пошла в парном облаке. На рукавах телогрейки выступили крохотные брызги. Пелена расступалась, разрезаемая лодкой, и снова смыкалась за кормой.

Где-то близко кукарекнул петух. Его крик долго катился по озеру.

Саша ополоснула лицо, быстро сплела косу, натыкаясь на пасмурный, странный взгляд Ильи.

Вкусно булькала вода под веслом. Островок появился из дымки, лодка вошла в протоку. Илья спустил за борт два обвязанных цепью камня и полез за червями. Туман разрывался на клочья и таял на глазах, открывая простор.

– Жирный какой… – Илья аккуратно, “чулком” насадил червя на крючок. – Сам бы съел!

Он передал ей удочку, и Саша закинула. Пока Илья возился со вторым удилищем, она тоненько завизжала, подсекла, и в лодку шлепнулся красноперый окунек.

– Чего верещишь? Рыбу распугаешь.

Саша победно ухмыльнулась.

Гулкая тишина повисла над озером. Смолк ветер. Из-за черных далеких сосен поползло солнце.

Поплавок Ильи задергался, он подсек. Оказалось, что ни червя, ни крючка нет и в помине. Саша была в восторге.

– Вот невезуха… – Илья подвязал новый крючок. – Погоди, я

сейчас такую лошадь поймаю – позеленеешь! Что у тебя, медом намазано? – огорчился он, когда Саша вытащила еще окуня.

Наконец Илье попался подлещик, и он сразу повеселел.

– Твоим ли носом рябину клевать, рябина – ягода нежная! Вот это рыба! Уха будет – слюнки проглотишь. Я лаврового листа у Дуси взял и перчику…

Они сидели, поглядывая то на свой, то на поплавок соседа. Забормотала осока на ветру. Лодку стало поворачивать.

– Ловись, рыбка, большая и малая, – сказал Илья.

– Мерзни, мерзни, волчий хвост, – ответила Саша.

Костер дотлевал, и запах печеной картошки примешивался к дымку. Они устроились под кривой сосной на островке.

– Черт с ней, с ухой, – сказал Илья. – Нет рыбы лучше колбасы.

Он с сомнением повертел садок.

– Может, хозяевам отвезти? Засмеют ведь.

– Выпусти, – сказала Саша. – Тут на одну сковороду не хватит.

Илья сошел к воде, побросал в озеро весь улов – подлещика и четырех окуней.

Саша негромко запела:

Ты родная моя матушка,
Пожалей меня, несчастную…

Тягучая мелодия потекла над берегом. Голос у Саши был чуть надтреснутый.

Тяжело мне во чужих людях…

Илья усмехнулся и полез наверх к костру.

– Что ж замолчала? – сказал он, присаживаясь.

Саша не отвечала.

Он откупорил бутылку рислинга, достал из сумки колбасу, батон, протянул Саше.

Она покачала головой и легла в траву.

Отправив в рот помидор, он нарезал хлеб, потыкал картошку и сообщил:

– Сейчас готова будет.

– Иди ко мне, – сказала Саша.

Илья растерялся.

– Угу… – промычал он, торопливо проглатывая.

Он придвинулся, наклонился к ее лицу.

Почувствовав его дыхание, Саша открыла глаза. Она обняла его и поцеловала. Губы Ильи, сухие и теплые, дрогнули и остались неподвижны.

Саша посмотрела удивленно.

– Думай что хочешь, – вдруг сказал он, сел и отвернулся, уставясь вниз. – В конце концов… я пытаюсь быть честным. И перед тобой, и перед собой…

Он замолчал.

Саша лежала, бледная, зажмурясь, и крепко сжав губы.

Он закурил. Услышав спичку, Саша села и взяла сигарету из пачки. Закурила и отодвинулась.

С озера донесся стрекот мотора. Они проводили глазами лодку, подскакивающую на волне.

– Все ты врешь. – Саша подняла голову и взглянула Илье в лицо. – Ты о ней думаешь, и тебя совесть мучит.

– А тебя совесть не мучит? – сказал Илья.

– Ты только с виду не такой, как все. И нагадить, и чистеньким остаться – вот ты чего хочешь! Нет, не мучит меня совесть, ни вот столечко не мучит! – Голос Саши срывался от гнева. – Ты хочешь, чтобы я мужа от жены увела и ее пожалела? Да я ее ненавижу! Плевать я хотела, какая она там на самом деле, хоть сто раз хорошая! А доброй выглядеть не собираюсь… Ты ее жалеешь? Пожалел волк кобылу! Что же ты ее раньше не пожалел?

Илья усмехнулся криво и вдруг закричал:

– А ты о чем раньше думала? А теперь, значит, побегала, побило тебя мордой об стол, и просветление наступило?

– Мстишь, что ли? За старые обиды?

– Ничего не мщу, глупости! – вскипел Илья. – Хищница ты, Сашка, стала. Озверела от неудач, решила – хоть этот, а мой будет! И вцепилась мертвой хваткой!

Саша, словно поперхнувшись, опустила голову. Подбородок ее дрожал. Она помолчала, сдерживаясь.

– А ты еще ко всему – дурак, – спокойно сказала она. – Хотя бьешь больно, знаешь куда… Неудачница, правда. Не вышло из меня никого. Может, и не должно было выйти…Показалось маменьке с папенькой, а я и уши развесила… А хищница… – Она вдруг улыбнулась открыто, почти весело. – Да что же в тебе такого, чтобы вцепляться мертвой хваткой? Ради чего? Красавец ты, что ли, такой? Или денег у тебя много? Квартира, машина, тряпки из-за границы возишь? Нет же ни черта! Или мужчина ты бог знает какой? Смотри, как ты себя ценишь… Да какая же корысть за тебя замуж выходить?

Илья слегка оторопел.

– Давай кончать эту волынку, а то мы бог знает до чего договоримся… Ты не бойся, я с собой ничего не сделаю. Ничего страшного. Ну, не вышло… Просто то, что ты затеял, тебе не по силам. Зачем такие страдания?

Илья угрюмо смотрел в одну точку.

– Вчера-то, что ж, не в себе была? – пробормотал он с усмешкой. – От любви помирала…

– Давай-ка собираться, поздно уже.

Саша собрала сумку, загасила головешки.

– Ничего не забыли? – сказала она, оглядываясь.

Илья стоял растерянный, притихший.

– Я не могу без тебя жить, Сашка, – сказал он. – Я никогда не встречал такой, как ты.

Он говорил негромко и так серьезно, что Саша невольно смутилась…

У дома они увидели колесный трактор Эдика. Сам Эдик сидел на кухне со сковородой в руке, жевал картошку с салом и беседовал с краснолицым бригадиром в потертой шляпе.

– А вот горбатого тебе, – говорил Эдик. – Сам ехай.

– А это мы поглядим, – спокойно отвечал бригадир, прогуливаясь к печке и оборачиваясь на стукнувшую дверь.

Они поздоровались и прошли в комнату.

Бригадир поднял с полу гвоздь, осмотрел его и положил на подоконник.

– Свое добьешь – и к Серегину. Уберешь серегинскую – тогда гуляй. – Он наклонил ведро и черпнул воды со дна. – И отдыхающие вон у тебя. Деньгу гребешь, а все бузу порешь.

– Горбатого тебе, – однообразно отвечал Эдик, жуя без остановки.

Напившись, бригадир вылил остатки в горшок с цветами и повесил ковш на место.

– Ты поаккуратней, с горбатым-то, – посоветовал он. – Вода у тебя на исходе, сбегать надо…

Когда за ним захлопнулась дверь, Саша зашла умыться. Эдик вдруг сорвался с табуретки и закричал в окно:

– Затычку нашли! Ты бы лучше Михалева своего посадил! А я тебе не железный, за каждого сачка ишачить! – И пнул табуретку ногой.

– Ты чего буянишь? – сказал Илья.

– А Дуся где? – спросила Саша.

– Где, где… – буркнул Эдик, кивая на Илью. – Угнал сам в больницу с Танюхой… Сижу вот, холодное кушаю.

– Давайте разогрею, – сказала Саша.

– Да ладно! Съел уже…

В комнате Саша надела халат, порылась в сумочке, нашла таблетки. Проглотила одну, запила молоком из банки.

На кухне Эдик стаскивал сапоги и кряхтел.

– У тебя часы есть? – спросил он.

– Есть.

– Толкни минут через двадцать, а?

– Чего ты шумел? – сказал Илья.

– А! – Эдик махнул рукой и растянулся на топчане. – За горло берет, зараза! У Ступакова Гришки баба девку опять принесла. А у него их и так три штуки. Четвертая выходит! А я – труби за него!

Он зевнул и отвернулся к стенке, ворча:

– От кукурузы от этой из ушей дым идет…

Илья разбирал сумку.

– Спросить хотел, – повернулся Эдик. – Чего такое волюнтарист?

Илья усмехнулся:

– Ну, это…

– Шпана, что ль?

– Да нет, – рассмеялся Илья. – Это человек, который действует вопреки объективным законам природы… Своевольничает, в общем.

– А…

– Стакан вина выпьешь?

– Вина? Ну, давай…

Илья уловил неуверенность и хмыкнул:

– А может, не стоит?

Эдик мучительно поворошил в затылке.

– Ладно, хрен с ним… И так спать охота. – Он вздохнул и закрыл глаза. – Вечерком если…

Илья зашел в магазин.

Женщины, толпившиеся у прилавка, замолчали и повернулись к нему. Он неуверенно поздоровался. Ему ответили – кто сдержанно, кто весело. Звонко хихикнула какая-то бабка.

Чувствуя, что смущается, Илья спросил, кто последний, и стал за девушкой в тулупе, от которого шел сильный кислый запах овчины.

Очередь двигалась неторопливо. Здесь все были знакомы друг другу, и продавщица и покупатели, все по-северному окали и вместо “да” говорили “ну”. Говорили быстро и отрывисто – Илья не понимал половины.

Наконец он оказался у самого прилавка. Продавщица

подняла голову в ожидании, а женщины, искоса поглядывавшие на Илью, примолкли.

Молчал и Илья.

– Чего вам? – терпеливо спросила продавщица.

Непонятная робость вдруг сковала ему горло.

Он тупо смотрел на зеленый платок продавщицы, не произнося ни слова, одеревенев, и краска разливалась по его лицу.

И продавщица смутилась.

– Брать чего будете, ну? – повторила она грубым голосом и нахмурилась.

Илья оттолкнул соседку, выскочил из магазина и побежал по улице…

День пятый

– Опять я заснула? Господи, что это со мной! Который час?

– Четверть третьего.

– Кошмар! Перед Дусей неудобно… Вставать надо, да?

– А все равно льет, носа не высунешь.

– Ты небось с голоду умираешь? А вообще, чего я переживаю, правда? Могу я хоть раз в жизни поваляться?

Вода за окном бормотала на разные голоса. Поток скатывался по желобу с крыши, бил в ржавую железную бочку, мокнувшую на углу дома.

– Саш, – сказал Илья, – может, позвонишь? Попросишь еще хоть пару дней? Шестнадцатое уже.

Она покачала головой.

– Заболей. Бюллетень сочиню.

– Конец квартала, Илюша, такая запарка. У меня отпуск за свой счет, не как некоторые…

– Я четыре года в отпуске не был.

– Меня ждал, что ли?

– Тебя.

Она взяла ладонь Ильи и легла на нее щекой.

– Сашк… – Он смотрел на нее и улыбался. – Сколько у тебя было мужиков?

– Что за глупости? – с досадой, сердито сказала она. – А если я скажу – сто? Ты оденешься и уйдешь? Так, что ли?

Илья принужденно рассмеялся.

– Чего же раньше не поинтересовался?

– Вот взъелась… Ладно тебе!

– Все-таки как ты изменился, Илья! – покачала головой

Саша. – Если бы ты меня не окликнул в этой самой пельменной – в жизни не узнала бы. Другой человек… А какой ты был хороший! Ты когда на меня смотрел, у тебя лицо было совершенно идиотское. – Она выпучила глаза и приоткрыла рот. – Вот такое! Смешной… И уши торчали.

– Сроду не торчали.

– Тогда торчали. Ты же лысый был, стригли вас в школе…

– А у тебя зато коленки красные были…

– Запомнил! Они у меня и сейчас не лучше… Ты был такой милый…

– То-то замуж за Олега вышла.

– Всю жизнь поминать будешь?

– Милый… – Илья усмехнулся. – Так бы и помер в девках. Славку Розанова помнишь? Вот он меня уму-разуму и научил. Ты, говорит, книжек поменьше читай, комплиментик какой-нибудь про глазки, про ушки – и свет вырубай!

– Фу, гадость какая!

– Да… Я уже в институте учился, а все таскался со своей невинностью как с писаной торбой… Другой раз вижу – понравился. Сама придет, рядышком сядет, послушает, послушает, а там глядишь – она в коридоре с тем же Славкой целуется… И с горя вспомнил Славкину науку. Такую ересь понес! Но уж все по правилам – и про ушки, и про ножки. И пошли дела на лад прямо на глазах…

Саша умирала со смеху.

– …И оказалось, есть у тебя душа или нет – не важно. Важно знать сумму приемов. Как во французской борьбе.

– И со мной, значит, сумма приемов?

Илья ухмыльнулся хитро, а Саша швырнула в него подушку.

День застыл и не кончался, тягучий, уютный.

Временами комнату заливал сумрак, казалось, что вечереет. Потом налетал на озеро ветер, стекло дребезжало в окне, и скоро опять светлело. Ночь все не наступала.

Ни на минуту не смолкал дождь, вода звенела о край бочки.

Саша пила молоко в кровати, обложившись подушками и завернувшись в одеяло. Когда Илья молчал, она скучала.

– Чего не ешь? – спрашивала она нетерпеливо.

Илья в трусах и свитере скрючился у окна с приемником в руках. Менялись голоса, мелодии, захлебывалась чья-то морзянка.

– Опять страдания?

Он усмехнулся.

– Врач, а натощак куришь, – сварливо сказала Саша.

– Я на себя злюсь, – отозвался он. – На то, что раньше не

ушел. Чего ждал? Все ясно было… другой раз дня за три слова не скажем. Молчим. Молчим – и все. А увижу, что она помириться хочет – нарочно какую-нибудь грубость ляпну. Чтобы всякое желание отбить.

Саша слушала отчужденно.

– А зачем терпела?

– Любила, наверное.

– За что?

Он пожал плечами:

– А полегче можно вопрос?

Прикончив молоко, Саша отставила банку и потянулась за сигаретами.

– Не надо, я сама, – раздраженно сказала она, когда Илья хотел подать ей пачку.

Прикурив, устроилась поудобнее, подоткнула одеяло.

– Я одного не пойму, – зачем тут я затесалась? Пришла, змея, семью поломала…

– Не было семьи. Ломать нечего… Пыжились вначале – не вышло. Ну и ладно, все довольны. У нее своя жизнь, у меня – своя…

Вкрадчивый французский голос плыл по избе, по темным бревнам к почерневшей матице, к березовым веникам, развешанным вдоль печи на просушку.

– А я всегда люблю за что-нибудь, – сказала Саша. – И знаю, за что. Или придумаю… А терпеть вот так – не стала бы. Собрала манатки – только бы ты меня и видел.

– Это сказать легко.

– А я однажды так и сделала. И не жалею. Ну, тряпки подешевле… Зато сама каждую копейку заработала.

– А родители?

– Родители за свои деньги захотели в мою жизнь вмешиваться. Мне это ни к чему.

– Нельзя так, Сашка. – Илья покачал головой. – Чем ты хвастаешься? Все ниточки пообрываешь… Что ты всех своей меркой меряешь?

Саша смотрела на него враждебно.

– Что ты понимаешь? – презрительно сказала она. – Ты думаешь, я не могла замуж выйти опять? Охотников хватит. Могу поделиться, кому надо… Вон один, два года за мной ходит… физик. Ему сорок, а он мне стихи пишет дурацкие. Скажу – не могу сегодня, он и не рыпается, до утра не звонит. Пришел бы проверил – может, я с другим? Приревновал бы. Скандал устроил! Где там… Как телевизор. Включишь – работает, повернул ручку – он и замолк… Я себя уважать хочу хоть за что-нибудь. Я лучше от

первого встречного ребенка рожу, а лишь бы мужа мне не надо!

Илья развеселился.

– Выходит, тебе мало, что любят, – засмеялся он. – Тебе надо, чтобы любили так, как тебе хочется.

– А как же! – Она с яростью хлопнула по одеялу. – На кой черт тогда все эти книжки? Все эти Наташи Ростовы и Настасьи Филипповны? Если в жизни ничего этого нету? Господи, чего я только не делала, чтобы эта проклятая обыденность между нами не влезала! Я не про обед – я целый полк накормлю и обстираю играючи. Было бы ради чего! А Олег мне говорит: “Ты хочешь, чтобы мы сто лет прожили вместе и дрожали при виде друг друга, как в первый раз. Так не бывает”. Почему не бывает? Да зачем же я на свет родилась? Женщина я или нет? Если ни один не способен за меня глотку перегрызть! Не все! Один только человек! – Голос ее задрожал, но Саша сдержалась. – А не бывает – так я и одна помру…

Илья подошел и обнял ее. Саша уткнулась ему в плечо.

– Я ведь знаю, – хмуро сказала она. – Небось, думаешь, спектакль устроила, цену себе набивает… Я себя твоей женой не считаю. И то, что у нас происходит, ни к чему тебя не обязывает, запомни. И меня тоже…

Ночью Саша встала напиться.

Накинув халат, она ощупью бродила в сыром холоде сеней, наступила впотьмах на кота, и он с пронзительным визгом взмыл у нее из-под ног, а Саша отлетела к двери и наткнулась на ведро, которое искала.

Хозяева не проснулись. Донесся до нее только тихий издевательский смех Ильи.

Напившись, Саша вернулась в комнату.

– Я думала, у меня инфаркт будет.

– Не знаю, как у тебя, а у кота – наверняка, – прошептал Илья.

Румяная луна стояла посреди черного небосвода. Давно и незаметно перестал дождь. Все за окном переливалось и блестело глянцем – озеро, и мокрая земля, и мокрые лодки на берегу, и сосны на той стороне.

– Ну, где ты там? – проворчал Илья.

Саша спросила:

– Ты бы мог покончить самоубийством?

– Терпеть не могу покойников, – сказал он.

– А как же ты анатомию проходил? У вас же их там режут?

– И чего тебя к ночи на всякую мерзость тянет?

Саша рассмеялась.

– Чего ты?

– Мне с тобой очень хорошо, Илюша.

– Ну и слава богу… Иди ко мне, чего ты там не видела?

– Сейчас…

Она взяла щетку и стала расчесывать волосы, глядя в окно.

– У тебя раскладушка-то есть? – спросил Илья.

– Дома? Нету.

– А на чем я спать буду? На полу?

– У меня диван есть.

– Короткий небось… Давай раскладушку купим.

– Диван как диван.

– А потом ты родишь мне троих детей, – сказал он.

– На раскладушке?

– Ну, двоих. Сколько захочешь, столько и родишь. Ты еще не беременна?

– Иди к черту!

– У нас все будет по-человечески, да, Сашка?

– А любить меня будешь, как раньше?

– Как раньше не буду.

– Почему?

– Раньше я думал, что у тебя под платьем крылышки…

Саша сняла халат и скользнула к Илье под одеяло. Пружины отозвались нежным стоном.

– О господи, ну и кровать!..

День шестой

После дождя похолодало.

Прямо из леса они пришли на почту. Пока ждали, Саша перебирала грибы в корзине.

Белобрысая девочка лет шестнадцати, сидевшая за загородкой, украдкой рассматривала Сашу.

Илья вставал, шагал от стены к стене, изучал на стенах плакаты, в которых объяснялось, как писать адреса и посылать фототелеграммы. Потом возвращался к Саше, брал ее за руку.

Зашла еще одна девушка, приодетая. В руках она держала туфли на каблуках. Девушки шептались, склоняясь на барьер.

– Долго еще? – громко спросил Илья.

– В течение часа, – сказала белобрысая и покраснела.

За окном тянулось стадо, позвякивали ботала. Коровы неторопливо месили размокший проселок. Они мычали, приближаясь к дому. Из ноздрей у них вырывался пар.

Зазвонил телефон.

– Ленинград!

– Я подожду на улице, – сразу поднялась Саша и вышла.

Илья взял трубку.

– Лора? Это я. С приездом… С приездом, говорю!

Девчонки у барьера делали вид, что заняты открытками.

– Так вышло… – негромко, ровным голосом говорил Илья, и пятна медленно выступали под его скулами. – Все нормально, приеду, расскажу. Как ты отдохнула?..

За забором, к которому прислонилась Саша, росла рябина. Поднявшись на цыпочки, Саша сорвала гроздь. Дерево обдало ее брызгами. По рту от ягод становилось горько и свежо.

На ветку уселась синица и тоже стала лакомиться.

Илья вышел и сразу закурил.

– Иди домой, – сказал он. – Иди. Я приду.

Он посмотрел ей в глаза.

Саша взяла корзину и ушла.

В сарае Дуся доила корову.

– Хорошая, хорошая, кисанька моя, – приговаривала она с ласковым беспокойством. – Чего ты маешься, Милушка, ну?.. Не балуй! – сердито прикрикнула она, обернулась и увидела Сашу.

Саша стояла и смотрела, как доит Дуся.

– Чего там Татьяна притихла? – спросила Дуся.

– Телевизор смотрит. Может, помочь чего? Давай я ее накормлю.

– Ты с грибами своими сладь.

– Уже кипят. Руки вон не отмываются…

– Милка что-то тревожится, – вздохнула Дуся. – Уж не захворала ли?

Струйки молока позванивали о подойник.

– Трудно доить? – спросила Саша.

– Руки чистые? На, попробуй, – усмехнулась Дуся.

Саша села на ее место, потянула раз, другой.

– Дак кто ж так доит! – помирала со смеху Дуся. – Гляди, не тискай. Она у нас барыня… Ты сиську покрепче ухвати, всей пятерней, сколько влезет. А сосочек мизинцем прижми, да мягонько так, легонечко. Ладонью-то надавишь, погнала его книзу, теперь оттяни малость – оно и побежит…

Саша взмокла от стараний и наконец выдавила ручеек.

– Ну, слезай, вишь, она переживает, мою руку знает.

– Ф-фу! – выдохнула Саша.

– А ты как думала? Сперва-то ночи не спала, ручки знаешь как болели!

Из-под Дусиных рук бежали ровные прерывистые струйки.

– Твой-то пришел?

– Гуляет, – весело сказала Саша.

– Что ж мало погостили? И в самую мокроту… Летом приезжай, в июле. Купаться можно, ягод – потопчешь больше, чем наберешь. Хотя куды тебе летом! Отпрыгалася…

– Почему?

– Дак рожать небось будешь? – Дуся удивилась. – Или хвораешь?

– Посчитала… – сердито сказала Саша.

– А чего стыдиться? Нынче сентябрь, у тебя и выходит как раз июнь, а то июль.

Они помолчали.

– Замужем-то долго была? – спросила Дуся.

– Четыре года.

– Бросил, что ли?

– Почему бросил? Я сама ушла.

Дуся усмехнулась:

– Боевая… Как же без детей-то ухитрилась? За четыре года? Или хвораешь?

– Муж не хотел, – сказала Саша и насупилась. – И родители уши прожужжали: “Молодые, сами еще не жили…”

– Чудно… Чего ж расписывался, раз детей не хотел? Баловаться только? А ты-то что ж? Взяла б да родила. Мало что не хотел.

– Дура была, – сказала Саша.

Дуся засмеялась.

– Мне мама, покойница, рассказывала… Раньше-то принесут попу крестить, а он обязательно девять месяцев обратно сочтет. Чтоб, не дай бог, на пост на какой не попало. Если в пост бабу тронул – за великий грех считалось. Отказаться мог батюшка-то: не буду, и все, ходи некрещеный! А постов много, заскучаешь, поди… – Она опять засмеялась. – А теперь как? Октябрь, февраль да август – самый урожай на ребятишек. Тут они друг за дружкой, спасу нет… праздников-то сколько? Новый год, майские да октябрьские! Мне Гранька Ряхина сказала, я прямо обмерла! Танюшка у меня с февраля месяца, второго числа. И выходит, что майская, с самого праздника!

– Дуся, – сказала Саша, – присмотришь за грибами? На плите там…

Дуся слила молоко в ведро и взглянула на Сашу:

– Ступай, не тревожься…

В небольшой буяновской чайной стоял галдеж, народу к вечеру понабилось. Угловые столики пропадали за нависшею

стеною дыма.

– …С нашей деревни шестьдесят два мужика на фронт ушли, – рассказывал Илье чубатый парень, одетый в черную кожаную куртку. – А пришло – семеро. И то один через год помер… Работать некому, а есть охота.

– Вспомнил! – усмехнулся его товарищ с сонным красным лицом. – То когда было? Он про сейчас спрашивает… Вы про сейчас?

– И про сейчас, – кивнул Илья.

Напротив Ильи сидел лысый мужчина лет пятидесяти в темном клеенчатом плаще. Его чернявый сосед ухаживал за лысым на все лады, подливал вина, убегал за горячим. Разговаривали они вполголоса, до Ильи долетело что-то про шифер. Лысый снисходительно кивал.

– Тут как поглядеть, – сказал второй парень. – Вот с моего года ребята, Горшков Петр – в Сибири, с армии прямо на стройку мотанул… Толик Сидякин в Великих Луках на тамошней бабе женился. У всякого своя зацепка… Никола! Вали к нам! – Он махнул кому-то в толпе. – Вы его спросите, он как раз с Красозера будет…

Илья увидел милиционера, с тарелкой супа в руках пробиравшегося к их столику.

– Я-то пацаном был после войны, – снова заговорил чубатый. – А запомнилось… Покушать всякому требуется. Летом – ладно, щей из крапивы я б и сейчас похлебал… А зимой – из рыбной муки лепешка, и то не каждый день! Трудновато, когда кушать хочется.

Милиционер поздоровался, парни сдвинулись, нашли и ему местечко. Он снял фуражку и принялся за суп.

– Об чем толкуете?

– Товарищ вот, отдыхающий, интересуется, куда народ с Красозера подевался…

– Из газеты, что ль? – Милиционер покосился на Илью.

– Сказали ж – отдыхающий, с Ленинграда.

– Хороший город, – сказал милиционер. – “Зенит” ваш вчера “Арарату” проиграл, один – три.

– В Ереване играли? – спросил Илья. – Вечно они на выезде очки теряют…

Чубатый тронул милиционера за локоть.

– Ты скажи, Никола… Ваших много не вернулось?

– С войны, что ль? Ни одного.

– Слыхал? – Он обернулся к Илье. – А ушли?

– Все ушли. Сколько было, за полсотню…

Ел он аккуратно, не торопясь, и приглядывался к Илье.

– Вон Зинка, буфетчица, – он показал на женщину за стойкой, – тоже с Красозера, земляки мы. У ней полдеревни родня, Парфеновы. Дед у ней кузнец был, и батя, и дядьев четверо, отцовых братьев… Последнего, дядю Егора, под Винницей бандеровцы убили. Уж и война кончилась… А вы в Красозере бывали?

– Сегодня, – сказал Илья, – по грибы ходили, наткнулись…

– На кладбище не были? – спросил старшина. – У меня там мамаша.

Лысый с приятелем ели и пили, прислушиваясь к разговору соседей.

– Я когда с армии пришел, – рассказывал парень с сонным лицом, – прогулял с месяц и скучать стал. В Молдавии служил. Много чего поглядел… И в Одессе был. В Ростове тоже был… А дома что ж?

– Почему же остался? – спросил Илья.

– Слабинку дал… – Парень вздохнул.

Милиционер и чубатый рассмеялись.

– Ленке-то скажу, она тебе пропишет слабинку, – пообещал чубатый. – Женился он…

– Ну, кабы все от скуки драпали, тут окромя волков давно бы никого не было, – заметил милиционер и объяснил Илье: – Укрупнили нас. И совхоз теперь в соседстве… Люди-то не пропали, не сгинули. Которые в совхозе, которые здесь, в Буянове. Конечно, отдельные товарищи имеются, которые в город подались. Живут люди…

Недовольно оглянулся лысый – в углу ребята в форменных куртках студенческого стройотряда запели под гитару что-то неразборчивое.

– Чего это у них на спине намалевано? – спросил чубатый. – Не по-нашему…

– По-латыни, – сказал Илья. – Через тернии – к звездам…

– Космонавты, – засмеялся второй. – Птицефабрику они у нас строят…

– Это еще поглядеть надо, чего они настроят, – сказал старшина.

Все помолчали.

– Страху нет! – сказал вдруг лысый и оглядел стол. – Страх позабыли. Чего хочу – то ворочу! Вон, развалились… – Он кивнул на студентов. – Поотрастили лохмы да бороды и горланят! Уважения никакого… Его бы, дьявола, под нулек-то побрить да на лесоповал на годик! Мигом бы очухался. Скучно вишь ему! – передразнил он парня. – Тебе каши березовой – ты бы всю скуку позабыл…

– Вспотел ты, что ли, папаша? – ошалело спросил парень.

– Я те вспотею, сопля зеленая! – Лысый побагровел. – Я тебе в отцы гожусь, а ты мне тычешь? От горшка два вершка, а туда же, рассуждать лезет… Бардак развели, а с ними все цацкаются!

– А ну, вали отсюда, падаль, – негромко сказал чубатый и взял пустую кружку. – Да пошустрей.

Лысый вскочил и отбежал на шаг.

– Ты у меня пятнадцать суток схлопочешь, бандитская морда! – пообещал он. – Слыхал, старшина? Чего ты сидишь?

Милиционер отодвинул пустую тарелку, встал, натянул фуражку. Он кивнул Илье и, озабоченно глядя на парней, сказал им:

– Вы тут поглядите, ребята, чтоб никто не нарушал. Мне на дежурство…

Вслед ему грянул хохот.

Лысый оторопел на секунду, схватил шляпу и кинулся к дверям, а за ним и его собутыльник.

Тут Илья увидел, что у входа стоит Саша и, щурясь от дыма, оглядывает столики.

Он подошел к ней:

– Ты как сюда попала?

– На помеле, – сказала Саша.

На них смотрели со всех сторон. Илья слегка растерялся.

– Понятно. – Он неуверенно усмехнулся. – Пойдем домой?

– Иди. – Она пожала плечом. – Я хочу посидеть.

Илья взял ее под руку и подвел к столику.

– Знакомьтесь. Это Саша, моя жена.

– Леша, – представился чубатый.

– Василий.

– Пива хочешь? – спросил Илья.

Она кивнула.

Пока Илья ходил за пивом, на свободный стул уселся дед со стаканом чаю. Он расколупал крутое яйцо и, сняв шапку, приступил к еде.

Илья принес всем по кружке.

Саша отпила глоток, неторопливо поглядела по сторонам.

– Кисловатое.

– Зинка разбавляет, – согласился Василий.

Илья протянул сигареты, но Саша покачала головой.

– Вы отдыхайте, а мы пошли, – встал Леша.

– Приятно было познакомиться…

Подошел один из студентов и, зыркнув на Сашу, спросил:

– Стул можно забрать?

– Хоть все.

Саша подперла щеку ладонью и с усмешкой сказала:

– Ну? Хорошо тебе было?

Илья тихо рассмеялся.

– Не сердись… – Он накрыл ее руку своей.

– И друзей нашел.

– Ребята как ребята…

– Конечно. Со мной ведь не о чем поговорить…

– Чего ты ершишься, Саня? Ну, хочешь, я тебе стихи почитаю?

Он улыбнулся смущенно, глянул по сторонам и, пригнувшись к Саше, стал вполголоса читать:

…Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя,
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости, и неудобства
Они несли как господа…

Дед сомлел с горячего чая и задремал, склонив на грудь подбородок, по соседству ужинала бригада шабашников за двумя сдвинутыми столами, прислонив к стене ящики с инструментами.

Кроме них сидели тут механизаторы и шоферы, оставившие машины на улице у дверей, женщина с двумя детьми и множеством узлов, добиравшаяся, видно, издалека, патлатые стройотрядовцы, среди которых были ребята разных национальностей и даже два негра, девушки-скотницы, стоявшие за карамелью, мальчишка с бидоном и еще много всякого случайного и неслучайного люда, завернувшего поглазеть, погреться и почесать языки после работы…

– Черт его знает… откуда оно берется? – тихо сказал Илья. – Животное какое-то чувство. Такое, что кровь в жилах гудит и в горле схватывает… Как будто все это уже было когда-то и теперь я припоминаю…

Он опять стеснительно улыбнулся:

– Разговорился я?

Саша подняла голову.

– Илюшка, милый, не бросай меня, пожалуйста! – судорожно всхлипнула она, и слезы хлынули по ее лицу. – Я тебя так люблю, я даже не думала, что кого-нибудь смогу полюбить так! Я все для тебя сделаю, все, что захочешь, только пальцем шевельни! Я за тобой на край света пойду! Ну, хочешь – на колени встану?

– Что ты, что ты, Саня, что с тобой?

Илья, вконец растерявшись, попытался подхватить ее под руки, но Саша вырвалась и бухнулась на пол, на колени.

Дед вздрогнул и проснулся.

– Сашка, с ума сошла! Люди смотрят!

– Только будь со мной, родной мой, не уходи, я с собой не знаю что сделаю, только будь со мной! Я тебе на шею вешаюсь, да? Думай что хочешь, а я без тебя жить не могу!..

Вокруг посмеивались, давали советы.

Илья, багровый, оторопевший, с трудом поднял Сашу и потащил к выходу, проталкиваясь между людьми, а она, цепляясь за него, говорила без умолку, захлебываясь, не утирая слез:

– Ведь ты меня любишь, а? Любишь? Илюшка мой! Ведь ты меня всегда любил, правда? Ну, скажи, что любишь, милый! Я плохая, я знаю, я злая, завистливая, но я такой не буду, вот увидишь! Я все смогу, я так тебя люблю!..

В переулочке Илья нашел колодец, достал воды, напоил Сашу и умыл. Она все еще всхлипывала, дрожала. Потом Илья напился сам и присел рядом на мерзлую землю.

– Прости меня, ради бога, – сказала она, глубоко, прерывисто вздыхая. – Только, пожалуйста, не думай, что я напилась.

Он поцеловал ее и заглянул ей в глаза.

– Чего смотришь? Где ты раньше был? – сказала она печально. – А теперь я старая…

День седьмой

Утром Саша увидела бегущие по потолку голубоватые отблески. Комнату наполнил прозрачный колеблющийся свет.

Илья спал, уткнувшись в подушку. Саша соскочила с кровати и подошла к окну.

В воздухе плыл первый снег. За ночь берег и кусок улицы, который был виден Саше, укрылись белым, и только кое-где, под холмиками темнели пятна прогалов. Очертания озера и сосен расплылись и тонули в медленной легкой пелене.

Она распахнула обе половинки окна. Чистый зимний холод хлынул в комнату, тронул ее плечи и руки. Саша легла на подоконник грудью, протянула ладонь, но снежинки скользили

мимо или таяли так быстро и неслышно, что она не успевала ощутить.

Прощались шумно, суетились, ворчали.

– Ты сядь, напиши на бумажке, – говорил Эдику Илья, застегивая с натугой молнию на сумке. – Я так не запомню, я в этом деле круглая дубина…

– Чего писать? Свечи для “Явы” и патрубок, дураку ясно…

– Пиши, пиши, мне вот неясно.

– А яблочек-то, господи! – закудахтала Дуся.

– Да некуда, полно все!

– Еще чего! Шура, раскрывай чемодан, яблочек в дороге покусаешь… Я для кого старалась, ну?

Илья подхватил вертевшуюся под ногами Таню, усадил на колени.

– В гости приедешь, Татьяна? – И выудил шоколадку из кармана.

– А чего ты мне подаришь?

– Вот сейчас ремешка-то попрошайке! – поднял голову Эдик, прилежно царапавший бумагу. – Срамота…

– Ладно, ты скоро, писарь? – откликнулась Дуся. – Скажи, Танюха: вот подрасту – еще и папаню выучу.

– Ну, Лександра, дай тебе господь счастья и успехов в труде! – Они расцеловались с Сашей, и Дуся зашептала ей в самое ухо: – Рожай, дура, рожай! Мужик – что снег: пал да растаял, а дите твое будет…

Она всхлипнула, не выдержала и Саша, обе расплакались.

– Понеслась, – недовольно сказал Эдик. – Дрова отсыреют…

Илья распахнул дверь.

– А сесть? – закричала Дуся. – Дороги не будет!

Все расселись, кто куда.

– Мам, сикать хочу! – запрыгала Таня.

– Молчи! – цыкнула Дуся и схватила ее на руки. – Стерпи маленько.

Секунду стояла тишина, никто не двигался. Первой вскочила Дуся.

– Ах ты, бесстыжая! – закричала она и шлепнула девочку. – Погодить не могла?

День был субботний, на автобусной остановке топтались люди. Кто ехал в город за покупками, кто вез картошку и капусту на продажу, и целая компания с детьми, с гармошкой не то собралась в гости, не то уезжала из гостей.

Саша зачерпнула горсть, помяла в руке.

– Молодой еще снежок, – сказала она. – Не лепится.

Гармошка наяривала, две бабы пошли плясать под общий гогот. Облачка снежной пыли взметывались из-под валенок.

Эдик с веселой завистью поглядывал на гулявших.

– Летом-то приедешь? – спросил он. – Коли сами не захотите, может, дружки какие ваши. Пускай скажут, что от вас, мол. Уж мы их не обидим…

Подошел автобус. Начались поцелуи, все заторопились, похватали мешки.

– Счастливо вам! – Илья взял чемодан у Эдика. – Танюха, будь здорова!

– Спасибо, – сказала Эдику Саша. – Приезжайте вы к нам…

Автобус тронулся. Они устроились на заднем сиденье. Саша помахала в окошко, но Эдик с девочкой уже шагали к дому.

Деревню быстро проехали. Забормотала гармонь, потекла дорога. Колеса снимали тоненький слой снежка, оставляя позади две темные влажные полосы. По обеим сторонам бежали сосны и ели, ярко темнела хвоя, и снежинки проносились мимо.

Саша сидела в зале ожидания с вещами. Из кучки туристов орал транзистор, кто-то ел, кто-то храпел, растянувшись на лавке. Молоденькая цыганка кормила ребенка.

– Мы влипли, – сказал Илья, выбравшись из очереди. – Едем в мягком. Поезд паршивый – ноль четырнадцать… Да я еще маху дал с деньгами. Осталось всего шесть рубликов…

– Здрасте! – сказала Саша. – У меня двадцать пять целехонькие.

– Твои не в счет.

– Еще чего! Содержанку нашел…

– У тебя тройчатки не осталось?

– Голова болит? – Она порылась в сумочке.

– Раскалывается… Простыл, что ли, вчера?

Илья проглотил таблетку, посмотрел на часы:

– Еще и трех нету, вот черт…

– Чего ты ноешь? Сдай вещи, и пошли гулять…

Промозглый ветер дул в лицо, ударял в деревянные стены и заборы, гнал по земле скрученные обрывки листвы.

Они бродили по улицам, коченея, но возвращаться на вокзал не хотелось, и они шли дальше, а навстречу тянулись все те же закоулки и те же дома.

Саша затащила Илью в дощатый тир, где скучал глухой татарин в старом кителе. Илья зарядил ружье, а потом положил на прилавок и сказал, что стрелять не желает и вообще за мир, а

Саша выстрелила один раз в мельницу и не попала, и ей тоже расхотелось стрелять.

Они зашли в кино. В зале было тепло, на экране де Фюнес спасался от погони, и кинотеатр содрогался от хохота. Голова у Ильи разболелась еще сильнее, и они ушли, так и не узнав, что сталось с де Фюнесом.

Сумерки застали их в пустом сквере, на площади, где торчала застопоренная, уже запертая на зиму карусель.

Стал падать редкий снежок, он согнал их со скамейки, и они прибрели к ресторану, у дверей которого переминались две-три фигуры, а поодаль виднелся большой стеклянный автобус, весь в надписях и наклейках.

– Ресторан “Дружба”, – прочел Илья на фасаде. – Что-то слишком фривольно.

Пришел молоденький официант с черными бачками. Илья заказывал, а Саша глазела по сторонам.

В углу за большим столом сидели иностранцы, за другим полковник говорил тост, и его внимательно слушали военные и несколько штатских, пожилых, с орденскими колодками на пиджаках.

В маленьком зале по соседству гуляла свадьба, и как только музыканты начинали новый номер, из дверей выскакивали гости, причем невеста проявляла особенную прыть.

– Проводи меня, – попросила Саша.

К зеркалу в уборной было не протолкнуться. Дверь поминутно вздрагивала, влетали и вылетали девчонки. Полная женщина, похожая на офицерскую жену, застегивая чулок, исподлобья оглядела Сашу.

Ненадолго Саша осталась одна. Она попудрилась, близко придвинувшись к стеклу, и всмотрелась тревожно в свое отражение.

Подбежали две девушки в коротеньких юбках, толкнули ее, извинились.

Саша вытащила шпильки, встряхнула головой, волосы ее потекли по плечам, легли за спину. Она еще раз покосилась на зеркало и вышла.

Илья стоял в коридоре, засунув руки в карманы, отчужденно глядя на суету вокруг. Она улыбнулась ему и взяла под руку.

Как только явился официант с подносом, они набросились на еду. Сашу приметили, какой-то парень подошел, пригласил ее на танец, она отказалась.

– Не до танцев, – сказала она, вгрызаясь в мясо. – Поесть не дадут… А шашлык – ничего.

– Свиной, – сказал Илья.

Глаза Саши блестели, она казалась возбужденной.

– Да мне сейчас – хоть собачий… Как твоя голова?

Он кисло пожал плечами.

Парнишка с модными, вислыми, как у запорожца, усами объявил, что очередной номер исполняется в честь финских гостей, и оркестр грянул “Летку-енку”.

Илья курил, поглядывая на танцующих.

– Ты не чувствуешь себя старой? – спросил вдруг он.

Саша слегка опешила.

– А что – пора?

– Я не о том… Тебе в школе не приходилось воевать с родителями из-за моды?

– Господи, ты что, забыл, как я ходила? – сказала Саша. – Как драная кошка… Одевали так, что вспоминать тошно. И ведь не из-за денег даже, из принципа. Из-за денег тоже, правда… Сколько я слез пролила! А мне уже шестнадцать было, на меня взрослые мужики заглядывались…

Илья перекосился, как от зубной боли, и с шумом выдохнул воздух. Саша смотрела на него с беспокойством.

Он усмехнулся.

– Сколько было скандалов из-за узких брюк, из-за джаза, из-за стрижки… А теперь – смотрю на них, – он кивком показал в зал, на танцующих, – музыки их я не понимаю, девки мне кажутся вульгарными, ребята – кретинами…

– Илюша, что случилось?

Илья взглянул как затравленный.

– Нас видели в день отъезда. На вокзале.

– Кто?

– Хуже не бывает. – Вялая ухмылка появилась на его лице. – Ее мать… Какой дьявол ее туда занес!

Он затолкал сигарету в пепельницу.

– Конечно, это ничего не меняет, – пробурчал он. – Просто зло берет. Вдруг начинаешь чувствовать себя… подлецом… Скорей бы этот камень свалить!

Саша приподняла спичечный коробок над столом и медленно разжала пальцы.

Илья с силой стукнул себя кулаком по лбу.

– А вот влезла в башку одна глупость и житья не дает, отравляет все… Однажды сидели на кухне втроем, подруга к ней пришла. А я чего-то завелся, рта не закрывал. Раздражение какое-то было, не знаю отчего. Ну и стукнул ногой по табуретке, на которой она сидела. Шутки ради… и вышиб, конечно… Она – как грохнется спиной об пол, и затылком. Так вдруг заплакала!

Сморщила лицо, знаешь, как дети… С такой обидой!

Склонив набок голову, Саша рассматривала спички.

– Ты пойми. Мне жалеть не о чем. Слава богу, что все это наконец случилось… А вот застряло, черт его знает почему. Вспомню, как она заплакала, – меня как будто током шибает!

Саша выпрямилась. Перед столиком остановился молодой человек. Он поклонился Саше и спросил Илью:

– Разрешите?

Илья поднял взгляд.

– Юмашев? – удивился подошедший. – Здорово, Илюха! Тебя-то как сюда занесло? Извините… – Он улыбнулся Саше.

– Случайно, – непроницаемо сказал Илья. – Знакомьтесь, это – Вадим, Саша… – Он не то чтобы запнулся, сделал паузу, Саша ощутила ее, и добавил: – Моя жена.

Неприметная искорка мелькнула в глазах Вадима и тут же скрылась в улыбке.

– Кириллов, – представился он. – Очень рад. Я присяду, вы не возражаете?

На нем был отлично пошитый, в талию, костюм, яркая рубашка, цветастый галстук, и такой же платок высовывался из нагрудного кармана.

– А я тут мотаюсь с очередными финнами. Измаялся вконец… Группа попалась тяжелая…

– Вы переводчик? – спросила Саша.

– Гид, – коротко пояснил он, достал пачку хороших сигарет, протянул Саше, она взяла, а Илья курил свою. – Они вообще-то народ спокойный, закладывают только… Дома-то у них вроде сухого закона… – Он засмеялся, щелкнул зажигалкой и поднес огня Саше. – Журналист один, сволочь, навязался на мою душу, все время воду мутит… Ты-то как? Кого-нибудь из наших видишь?

– Редко, – сказал Илья.

– Я тут Абросимова встретил – все такой же болван… А Славка Розанов в Париже, корреспондент АПН, представляешь? – Он покачал головой. – Ты, кажется, в аспирантуре был? Кто-то из ребят мне говорил, не помню… Защитился?

Лицо Ильи вдруг стало непроницаемым, пьяные искорки в глазах.

– А меня выгнали, – сказал он. – За пьянку.

– Брось! – изумился Вадим. – Ты же вроде не зашибал?

– А теперь зашибаю, – сказал Илья. – Ну, за твои успехи!

Саша смотрела на него с недоумением.

– За вас! – Вадим улыбнулся Саше, поднимая рюмку. – Я тут в Данию ездил, вернулся недавно… Я первый раз в Дании, –

объяснил он и подцепил огурчик.

– Интересно? – спросила она.

– Я просто влюбился. Черт их знает… Страна маленькая, ухоженная, удивительно уютная… Чистота такая – в любом, простите, сортире обедать можно. У них сейчас в театре любопытные вещи… Я был на одной премьере. Молодой парнишка написал пьесу, сам поставил. Левак, конечно… На сцене – два часа один актер. И весь спектакль – это диалог человека со своим телом…

Тут музыка заиграла, и Вадим встал:

– Мое приглашение остается в силе.

Они пошли танцевать.

Илья подозвал официанта, попросил кофе и счет.

Когда танец кончился, Вадим привел и усадил Сашу, отодвинув стул.

– Взгляну, как там мои финны, не перепились ли…

Они остались вдвоем. Увидев официанта, Саша достала деньги и сунула Илье:

– Расплатись сам… А я не знала, что тебя выгнали за пьянство…

Он криво усмехнулся:

– Меня никогда ниоткуда не выгоняли… Чего там он тебе плел?

– Рассказывал про Олимпийские игры в Мюнхене. Очень интересно… Ты с ним на одной парте сидел?

– Имел счастье.

Саша покачала головой:

– До чего ты злой. Даже неприятно…

– Мне с ним разговаривать не о чем, – отрезал Илья. – Мог бы и сам догадаться, если б был поумней… У меня зимой, когда очередной вирус гуляет, по сорок вызовов на день бывает. Вот это и определяет мою жизнь.

– При чем тут это?

– При том. Ты же слышала – для него уровень цивилизации измеряется чистотой сортира и наклейкой на штанах. Я тоже ихние штаны предпочитаю нашим. Только вот философской базы под это не подвожу.

Оркестр уже начал новый танец. Саша взглянула за спину Ильи, и он понял, что подходит Вадим.

– Сашенька, пойдемте?

Илья расплачивался с официантом.

– Увы, старик! – Он с пьяной ухмылкой повернулся к Вадиму. – Мы вынуждены оставить тебя на радость шведам…

– Я с удовольствием потанцую, – сказала Саша.

Илья растерялся.

– Мы на поезд опоздаем… – пробормотал он и сразу покраснел.

– Наплевать, – сказала Саша, кладя руку на плечо Вадиму.

Илья потоптался и сел.

Вадим вел Сашу, что-то шепча ей в самое ухо. Она смеялась, он касался губами ее волос.

Илья стоял у окна в коридоре вагона. Саша вышла из уборной в халате, с полотенцем на плече. Она прошла за его спиной, подергала дверь в купе, подождала.

Наконец высунулась улыбающаяся старушечья мордочка, вся в белых кудрях, как у пуделя.

– Пожалуйста, – сказала женщина.

Саша зашла в купе.

Из соседнего вагона прошли трое, по виду – командировочные. Один из них толкнул Илью.

– Случайно! – Он поднял палец и остановился. – А хошь – разберемся…

Приятели потянули его за собой.

Илья пошел в купе. Под потолком мерцала синяя лампа дежурного света. Саша лежала на нижней полке, отвернувшись к стене.

Он постелил постель, разделся и полез наверх. Напротив кто-то сопел, накрывшись с головой.

Стыки рельсов грохотали под колесами, где-то в тамбуре хлопала незакрытая дверь, а впереди в облаках, вровень с поездом несся месяц. Оттуда, сверху, поезд казался крошечной вялой змеей. Сотни поездов летели в эту ночь по России, и в одном из них лежали по своим полкам Саша и Илья, и оба делали вид, что спят, и оба не спали, уставясь в гремящую тьму.

…В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

День восьмой и последний

Вокзал встретил их ясным холодным днем. В толкучке они прошли перрон и свернули к стоянке такси.

Очередь подвигалась быстро. Илья курил, поворачиваясь

спиной к ветру.

Подъехала “Волга”. Илья открыл заднюю дверцу, пропуская Сашу.

– Я вперед сяду, – сказала она.

Он помог ей и забрался на заднее сиденье с вещами.

– Римского-Корсакова, пожалуйста, – сказал Илья.

Шофер перегнулся через Сашу и крикнул в окно:

– Литейный, “Астория”, Театральная!

Из очереди вышел флотский офицер с портфелем и девушка лет пятнадцати.

– В “Асторию”.

– Садитесь. – Шофер посмотрел на Сашу и обернулся к Илье. – Все равно – мимо…

Илья усмехнулся:

– Положим, не все равно.

Девушка уселась посередке. На погонах у капитана было по три звезды – первый ранг.

Девушка вертелась по сторонам, улыбалась, шепотом спрашивала отца, где едут, и он называл ей улицы, набережные, площади. Илья поймал на себе его взгляд.

У гостиницы капитан с дочерью вышли.

– Где на Корсакова? – спросил шофер.

– Езжай, – сказал Илья. – Я скажу…

– Дом пятьдесят один, – сказала Саша.

Когда Илья расплачивался, она покосилась через плечо и посоветовала:

– Попроси обождать и поезжай дальше.

Илья ничего не ответил, вылез, и машина уехала.

Они вошли во двор.

В пролете второго этажа она остановилась и взяла у Ильи свой чемоданчик.

– Иди, Илья. Спасибо.

– Перестань, – сказал он.

Она молчала, но чемодан из рук не выпустила.

– Саша… – Голос у Ильи был хриплый, сырой. – Неужели ты не можешь понять, что мне сейчас предстоит?

– Уходи, а? – попросила она. – Все равно ничего не будет. И, ради бога, не вздумай возвращаться. Честное слово! Иди к ней.

Илья угрюмо смотрел на нее.

– Я серьезно говорю… Я виновата перед тобой. Накрутила себя, ты меня знаешь… А я тебя не люблю и не любила никогда.

Илья ударил ее по щеке.

– Дурак! – со слезами в голосе закричала Саша и, схватив чемодан, побежала вверх по ступенькам. – Все равно я с тобой

жить не буду!

Илья слышал, как она не сразу попала в замок ключом, как захлопнулась дверь. Он взял сумку и стал спускаться.

Не зажигая света в коридоре, Саша проскочила мимо кухни, нашарила наверху ключ и заткнутую за притолоку бумажку. Где-то рядом из полумрака зашаркали шлепанцы. Саша торопливо прикрыла за собой дверь.

Бумажка оказалась счетом за междугородный разговор. Саша стояла на пороге, глядя на распахнутые дверцы шкафа, на белье, разбросанное по дивану, недопитую чашку кофе и баночки косметики на столе. Комната была длинная, вытянутая, как трамвай.

Она поставила чемодан, машинально провела пальцем по спинке стула. И, не раздеваясь, пошла в коридор.

Телефон висел напротив кухни – огромной, с большим окном во двор и давно забитой дверью черного хода.

Высокая костистая старуха мыла раковину. Другой сосед варил что-то в жестянке и помешивал палочкой.

Саша поздоровалась и стала набирать номер.

– Витя? Это Саша Никитина, здравствуй. Можно маму? Марго? Ты что, спала? Отстань, не знаю. Ну правда не знаю! Хоть сейчас… Я только вошла. Ладно. Чего купить?

Вернувшись в комнату, Саша сунула чемодан в шкаф, пошвыряла туда белье, сняла плащ. Потом схватила чашку, кофейник, вазу, из которой торчали истлевшие лохмотья цветов, и отправилась на кухню.

– Варвара Петровна, мне писем не было? – спросила она, моя посуду.

– Что ж я, прячу их, что ли? – проворчала старуха. – Счет был за телефон…

– Я видела, спасибо.

– Звонил тут один, – лениво сказал сосед. – Не назвался…

– Ничего не передавали, Костя? Может, с работы?

Костя работал тренером по штанге и имел привычку разгуливать по квартире полуголым.

– Не похоже, – сказал он, размышляя. – Вежливый больно…

Илья ждал у телефонной будки, где две девчонки передавали друг другу трубку, шептались и прыскали.

Редко появлялся прохожий на безлюдной по-воскресному улице. Знак поворота, повисший над мостовой, покачивался на ветру.

Наконец девчонки закруглились и выскочили, толкаясь.

Илья набрал номер. Ответили сразу.

– Ты дома? – сказал он. – Здравствуй. Я с вокзала…

Поговорив, он повесил трубку и остался в будке, пока вдалеке не замаячила машина. Дверь автомата стрельнула, закрывшись за ним. Он вышел на проезжую часть и поднял руку.

В комнате гремел телевизор и было темно.

– Мам, теть Саша пришла.

– Марго, привет.

– Ну, мам! Слышишь?

– Слышу, не глухая. Никитина, садись и молчи. Про пустыню Атакаму, очень интересно…

Вглядевшись в полумрак, Саша наконец отыскала на полу малыша, возившегося с игрушками.

– Сашка, чего ты Вовке всякую дрянь суешь!

– Это не дрянь, а шоколад за рубль восемьдесят.

– С ума сошла? Диатез у него. Дай сюда. Витька, где ты? На кусок и катись. А этот обойдется, – кивнула она на малыша. – Нам больше достанется… Ты какая-то не такая, Никитина. Пива себе налей.

– Не хочу. Что это?

– Сказала же – пустыня Атакама. А сейчас про Индию было, потрясающе! Слышь, Никитина, ты думаешь, царь зверей – кто? Лев? Так вот теперь уже не лев, а бенгальский тигр. Отстала ты. Есть хочешь? Скобкин с Мотей гуляет. Сейчас придет, всех накормит. Ой, Вовка с коврика сполз, пихни его обратно… Как съездила-то?

Большая, полная, она сидела, забравшись с ногами в кресло, с бутылкой пива в руке, уставясь в экран.

– Долго рассказывать, – сказала Саша.

– Не нравишься ты мне, Сашка… Опять пришел? Чего надо?

В дверях стоял старший – девятилетний очкарик.

– Ма, задачка не сходится.

– Больной, что ли? Это к Скобкину.

– А как же ты в институте экзамены сдавала?

– Не твое дело. Сдавала, и все… Отец мне шпаргалки писал…

На полу захныкал малыш.

– Сделай погромче, – сказала Марго. – Посмотреть не дадут.

Саша нагнулась к нему, успокоила.

– Ты бы хоть причесалась. Так и сидишь в халате.

– Ага. Завидно?

Ключ звякнул в дверях. В комнату с лаем ворвался спаниель, следом за ним появился мужчина небольшого роста, в свитере и в куртке, он был в очках с сильными стеклами.

– Пропащая… – улыбнулся он Саше. – С приездом!

– Здравствуйте, Витя.

– Скобкин, ты нас долго будешь голодом морить? – сказала Марго.

– А накурила! Неужели трудно пепельницу выкинуть?

– Возьми и выкинь, – посоветовала она. – Раз нетрудно…

– Мотя, на место! – Он взял пепельницу и убавил громкость телевизора. – Вы тут ничего не затевайте, все готово, только подогреть…

– Нет уж, дудки! – решительно заявила Марго. – Сначала архаровцев обоих корми. Могу я хоть в выходной поесть по-человечески?

– Пошли, Вовка, – сказал Скобкин, забирая малыша. – Совсем наша мать обнаглела…

– Маргоша, мы завтра в какую смену? – спросила Саша.

– В какую! – буркнула Марго. – С утра, конечно…

– Чего там делается?

– Как всегда. Квартал, синим пламенем горим… Слушай, Никитина, с тебя пол-литра! Премию давали за тот квартал, дошли до твоей персоны – Бобик, конечно, морду воротит. А эту кто вставил? – говорит. Ну, мы на него накинулись, особенно этот новый, ну, на Кобзона похож…

– Малыгин?

– Ну! Сашка, он в тебя втрескался, ты что хочешь говори!

– Так что Бобик?

– Он и сам был не рад, что вякнул. Ладно, говорит, я не против. Только Никитиной от меня лично передайте – поощряем за работу, не за характер…

Обе довольно засмеялись.

– Про роман-то что молчишь?

– Ох! – сказала Саша. – Можно я у вас заночую?

Марго оторвалась от телевизора и внимательно посмотрела на нее:

– Погоди. Всех распихаем, тогда и потрепемся.

На кухне Скобкин усадил их, вынул малыша из высокого стульчика и унес в комнату. Марго заглянула в кастрюлю.

– Что-то невообразимое, – сказала она. – Он тут с утра колдовал. Скобкин, ты нас не отрави смотри…

– Я есть не буду, – сказала Саша.

– Как? – огорчился Скобкин. – Ну хоть попробуйте!

– Правда не хочу. Что я, стесняюсь?

– Нечего ее уговаривать, – сказала Марго. – Захочет – сама возьмет.

– Вы понюхайте, Сашенька! Баранина, тушенная с овощами! –

Он передал тарелку Марго, положил себе и открыл холодильник. – А пиво куда делось?

Марго смутилась:

– Разве больше нету? Наверное, мы все выпили… Чего же ты не сказал?..

– “Мы”! – выразительно повторил он. – Хорошо, что я три бутылки заначил.

И достал их из стенного шкафа.

Марго засмеялась и принялась за еду.

– Ты не очень воображай. Между прочим, ты сегодня спишь на раскладушке. С твоими милыми сыновьями…

– Прекрасно, оставайтесь, Саша. Мне все равно сидеть, у меня чертежей охапка.

– Вкусно! Никитина, дурочка, возьми у меня кусочек… Ему-то что – бумагу пачкать, а нам с Никитиной с утра на производстве вкалывать… Знал бы кто-нибудь, до чего неохота!

– Если бы Маргоша была той самой обезьяной, мы бы прыгали по деревьям по сей день, – сказал Скобкин. – У нее на труд своя точка зрения.

– И что? По крайней мере, жила бы в свое удовольствие. Это ты произошел от обезьяны. А я – от коровы… О, еще один явился. Тоже от обезьяны… Нет, ты только глянь, Никитина, это же одно лицо со Скобкиным. Смотреть тошно… Чего тебе, зануда?

– А я не к тебе. Па, все равно не сходится.

– Проверь. Должно сойтись.

– Ну проверял уже.

– Ты хочешь, чтобы я за тебя решил?

– А ну вас! – сказала Саша, вставая. – Идем, Витька, покажи, что у тебя там не сходится…

Марго с аппетитом обсасывала косточки.

– Скобкин, зачем ты мучаешь ребенка? Ты садист. Ты хочешь, чтобы он стал отличником и попал в сумасшедший дом?

Он оглянулся на дверь и вопросительно посмотрел на Марго.

– Еще не знаю, – шепотом сказала она.

Скобкин покачал головой.

– Было бы хорошо – у нас бы не ночевала, – добавила Марго.

– Вот и все, – сказала, возвращаясь, Саша.

– Где он там напортачил?

– Секрет…

– И в кого ты положительная такая? – проворчала Марго. – Тебе бы со Скобкиным жить. Не семья, а Доска почета.

– Я не против, – сказал Скобкин.

– Я знаю, ты рад меня спихнуть. Не выйдет. И напрасно ты думаешь, что она – такой подарок…

Скобкин улыбнулся:

– А кого в цеху больше любят? Тебя или Сашу?

– Конечно меня. – Марго пожала плечами.

– Ну да?

– Правда, – кивнула Саша, усмехаясь.

– Я же баба как баба, а она с придурью. Она же у нас борец. Пенсионер, исполняющий обязанности комсомольца… Вот если путевка кому-нибудь не досталась – тут Никитина вне конкуренции. Тут вдруг ее любят – жуть прямо! Пока она эту путевку из фабкома в зубах принесет… Бобков наш только ее увидит в коридоре – и валидол под язык…

Они смеялись, а Марго продолжала невозмутимо:

– Ей же Шишкина сказала как-то… Это мотальщица у меня, Шишкина Тамарка, оторва знаменитая. И чего вы лезете, говорит, Александра Андревна? Мне бы вашу внешность – я бы безо всякого диплома в “Чайке” ездила и обедала в “Европейской”…

Из комнаты послышался громкий рев. Скобкин сразу убежал.

– Неужели ты не боишься? – пристыдила Саша.

Марго слушала, а когда плач прекратился, спросила:

– Чего?

– Что он там голову себе разобьет.

– Он хотел – я нарожала, – сказала Марго. – Оставьте меня в покое…

Ночник над кроватью освещал полное, спокойное лицо Марго на подушке. Все в нем было очерчено крупно и мягко.

Саша, завернувшись в одеяло, сидела на тахте в другом конце комнаты.

– И что теперь будет? – сказала Марго.

Саша вздохнула.

– Ох, Никитина, вечно у тебя сложности… Ты мне скажи, ты за него замуж выходишь?

– Чего ты меня все замуж гонишь? Я об этом не думаю…

Марго язвительно хмыкнула:

– Мне все ясно. Привет.

И потушила лампу.

– Ты бы мне хоть совет какой-нибудь дала, – жалобно сказала Саша.

– Спроси Скобкина, он все знает…

Среди ночи Саша вскочила. Ее бил озноб. Она стала лихорадочно одеваться.

Марго посапывала во сне. Даже на расстоянии Саша чувствовала тепло, подымавшееся от ее большого, крепкого тела.

Она скользнула в коридор. Яркий свет горел на кухне. Скобкин, сидевший над чертежной доской, поднял голову:

– Куда вы, Саша?

Он вышел к ней:

– Что случилось?

Она никак не могла отыскать свой плащ на вешалке. Скобкин прикрыл дверь в комнату, зажег в передней свет. Плащ нашелся. Скобкин внимательно присмотрелся к Саше и стал помогать ей одеться.

– Погодите… У меня в термосе кофе горячий.

Он крепко взял ее за плечи, привел на кухню. Налил кофе.

– Десять минут четвертого, – сказал он, поглядывая на нее.

Она выпила и едва не уронила чашку.

В передней Скобкин снял с крючка куртку.

– Не надо, не надо! – Она вырвала куртку у него из рук.

– Куда вы? Ночь на дворе.

Она уже бежала по лестнице.

– А поскорее можно?

Шофер сердито оглянулся.

Она стояла на площадке, прильнув к дверям. Все было тихо в квартире.

Почти неслышно, бережно она отомкнула один замок, второй. Она сняла туфли, мягко закрыла дверь и пошла на цыпочках в темноте, с туфлями в руках.

Из-под двери била полоска света. Она застыла, сдерживая дыхание и прислушиваясь к странному хрусту, доносившемуся из комнаты. Она толкнула дверь и вошла.

Илья жевал. Он сидел за столом, тяжело уперев в него локти. На нем была рубаха с распахнутым воротом. Плащ и пиджак валялись на диване. На полу стоял видавший виды чемодан.

С минуту они смотрели друг на друга. Он выглядел осунувшимся, постаревшим. Под торчавшими скулами залегли тени.

Сухари торчали из хлебницы, и на куске пергамента – нарезанная по-магазинному колбаса.

Саша сняла плащ, повесила и пошла на кухню. Она налила полный чайник, зажгла конфорку. В шкафчике нашла заварку.

Она вернулась в комнату и остановилась у стола, сложив на животе руки и глядя на Илью.

Илья сунул в рот сухарь и с треском разгрыз.

Саша вспомнила, что не ела с утра.

1973

Размышления на обочине

Утром я сажусь за письменный стол. В доме тихо, за окном шумит бульвар. Дочки в школе и на гулянье. Жена на работе в театре. Я сочиняю сценарий. Я не успел к сроку, и теперь придется возвращать студии аванс. Пишу я медленно и непродуктивно. Но – ничего, надо перетерпеть, высидеть свою идею. Я обязательно закончу этот сценарий.

А потом буду писать новую пьесу. Мне нравится моя работа. Нравится сам процесс – сидеть за столом, придумывать, рыться в словарях. Нравится, что вокруг меня – книги, и к шуму бульвара я привык. Я подал заявление в Союз писателей. Боюсь, не примут. Это меня волнует. Мой отец был писателем, и я с детства привык считать, что писатели – это какие-то особенные, высшие люди на земле. Поэтому в глубине души я чувствую недоверие к себе, что я все-таки еще не такой замечательный настоящий писатель, какие бывают. И еще что-то от детской радости игры в папу. Правда, мне сорок пять, для игр поздновато. Но я пишу уже лет пятнадцать и надеюсь, что лет этак через пяток, глядишь, и напишу что-нибудь приличное. Словом, мне нравится моя работа и нравится чувствовать себя писателем.

А раньше я был кинорежиссером. И вот буквально в самое последнее время разные люди стали интересоваться, почему это я переквалифицировался. Потом я прослышал, что один кинематографический начальник в одном высоко расположенном кабинете сказал, что я бросил режиссуру по собственному хотению, а точнее – потому что спился с круга, а пьянство с постановкой фильмов действительно совмещать очень трудно.

Тут я призадумался. Наверное, возникли у него трудности, у этого самого начальника, много сейчас разговоров о том, что еще не все блестяще в кино, ну и среди других вопросов, наверное, спросили, почему, мол, такой-то и такой-то редко ставят картины, а то и вовсе не ставят. Ну и бухнул этот человек сгоряча, чтобы немного облегчить себе жизнь.

Но ведь таким путем облегчать себе жизнь не совсем хорошо. Да и непорядочно.

Не хотел я подавать голос, а вот, как часто бывает, мелочь какая-нибудь вдруг окажется важней всего, перевесит и заставит встрять в разговор.

Так вот, если кто-нибудь интересуется, почему я оставил режиссуру, отвечаю прямо: потому что не мог прокормить семью.

Меньше всего хотел бы я попасть в колонну бегущих впереди

прогресса. Кричать “ату его” охотники и без меня найдутся.

Перемены, которыми повеяло в воздухе, рано или поздно не минуют кинематографа, однако будет прискорбно, если все сведется к персональным перемещениям. В надежде, что и мои скромные соображения могут пригодиться, хочу напомнить, как менялись самые основы кинематографической жизни в три последние десятилетия.

Еще на студенческой скамье в шестидесятых мы многократно слышали призывы покончить с диктатом режиссера в кино, что корень зла – в самоуправстве захвативших чрезмерную власть режиссеров.

Еще не было кинокомитета, еще заправлял всем кинематографом небольшой отдел Министерства культуры, и возглавлял его один из заместителей министра – а линия уже вполне определилась.

И все двадцать с лишним лет, что я провел в кино, я наблюдал неуклонное развитие этой тенденции, последовательное претворение в жизнь лозунга борьбы с режиссером. Проводились реформы управления, менялись люди у руля, количество инстанций возрастало – а на фоне всей этой многоступенчатой смены декораций развертывалось одно действо: таяла творческая самостоятельность режиссера, и на первый план стала выходить фигура редактора.

Тут, пожалуй, стоит заметить в скобках, что само режиссерское звание и диплом еще мало что значат. И среди режиссеров попадаются дураки и невежи, и даже не так редко, потому что, как замечено, власть развращает, а совсем уж лишить власти режиссера – не выходит. И ратовать за предоставление режиссуре какой-то особой бесконтрольной власти никто не собирается.

Да вот беда – командовать на съемке должен кто-то один. И качество каждой отдельной картины из ста пятидесяти, снимаемых за год, может обеспечить только один человек – режиссер этой картины. И больше никто. Ни редактор. Ни директор студии. Ни даже сам министр. За каждой картиной – труд многих людей: и сценариста, и актеров, и музыкантов, и плотников, и шоферов, и если труд их не пропал даром, то потому, что режиссер был мастером своего дела. За каждой удачей стоит режиссер-мастер. А отсутствие мастера в этом единственном, но, увы, ключевом звене неизбежно сводит на нет усилия всей группы.

Мастера, учившие нас, учили уважать общественный престиж нашей профессии и высоко держать претензию кинематографиста на учительство.

Да, да, именно – претензию на учительство!

Я хочу снять эту картину… Что за этим утверждением? Я хочу рассказать своим согражданам нечто такое, что никто, кроме меня, не расскажет. Я хочу, чтобы зритель смеялся и плакал над тем, над чем смеюсь и плачу я, и главное – самое главное! – я хочу, чтобы зритель *думал* вместе со мной, думал не только в темноте зала, но и после, возвратясь домой и ворочаясь в своей постели, думал над тем, как нам всем вместе жить дальше! Без меня народ не полный – без этого гордого ощущения не может быть гражданина.

А если нет у тебя этой страстной претензии в душе – отойди от камеры, ты не настоящий режиссер!

Так нас учили. Я и сейчас так думаю.

И никак не могу смириться с мыслью, что кому-то может быть лучше, чем мне, известно, что именно нужно снимать, а уж тем более – как. А если практика доказывает обратное, то режиссером надо быть не мне, а ему.

В моем понимании кинематограф только и может быть режиссерским, а иначе он – не кинематограф.

С виду он таким и остался.

Режиссеры руководят объединениями, входят в коллегию Госкино и комиссию по оценке фильмов, по-прежнему режиссеры кричат на съемке “мотор” и по-прежнему считаются главными создателями картин. И сценаристы по-прежнему жалуются на засилье режиссерской воли, и жалуются справедливо – если не ухватится за ваш замысел конкретный режиссер, ни сценарий, ни даже заявку студия у вас не купит.

Только режиссер сегодня очень сильно изменился.

Он уже на многое не претендует. Главное его желание – работать, то есть после окончания очередной картины как можно скорее начать следующую. Для этого необходимо, чтобы картины сдавались быстро и без затруднений, а сценарии проходили бы инстанции, не задерживаясь.

А вот “Проверка на дорогах” Германа задержалась на пятнадцать лет.

Сначала ВГИК заботится о том, чтобы молодое дарование привыкало не соваться, куда не велено. А уж студия учит молодого режиссера просто и убедительно: хочешь работать – снимай, что дают. Не усвоишь эту истину – будешь годами околачиваться по редакторским кабинетам. А режиссер получает зарплату, только когда снимает. А молодому режиссеру лет тридцать, как правило. И у него к этому возрасту, тоже как правило, имеется жена и ребенок. Семья есть – зарплаты нету.

Вот эта практика и формирует безусловно господствующий сегодня тип режиссера. Главное его искусство – искусство ладить с начальством.

У нас сегодня кинематограф редакторский.

Как только сценарист облек замысел будущего фильма в несколько страниц заявки, начинается страдный путь по редакторским департаментам.

Заявка попадает в творческое объединение студии. С ней знакомятся члены редакционного совета, художественный руководитель объединения и директор. Они ее обсуждают, высказывают свои пожелания, иногда дают поправки.

По внесении таковых заявка поднимается в главную редакцию студии, в дело вступают члены редколлегии. Выскажется главный редактор, и наконец, если не случится новых поправок, директор студии поставит свою подпись на договоре с автором.

Весь этот путь повторится с начала, когда сценарий будет закончен, да еще будут обсуждения и поправки к вариантам сценария по ходу работы.

Но вот студия приняла сценарий, признала его готовым. Он отправляется дальше – в республиканский комитет, а затем в Госкино СССР. Теперь его обсудят члены главной сценарно-редакционной коллегии. Редактор, курирующий студию, подготовит заключение, которое будет подписано главным редактором. Если возникнут сомнения идеологического характера, если картина считается важной по теме или требует повышенных расходов, сценарий придется читать заместителям министра или самому министру.

Пока картина снимается, монтируется, озвучивается, текущий материал регулярно контролируется художественным советом и руководством объединения, главной редакцией и дирекцией студии, а в некоторых случаях и редакторами Госкино.

И наконец, весь этот путь от объединения до министра снова проделает готовая картина. Он бывает еще длиннее в тех случаях, когда требуются консультации специалистов, отзывы историков и литературоведов или мнение того ведомства, интересы которого затрагивает фильм. Но короче он не бывает никогда. Никогда!

Это означает, что на всех этапах создания картины десятки, а порой сотни людей будут давать советы – иногда прямо противоположного свойства – и настаивать на изменениях. Они будут требовать утверждения одного актера и замены другого, будут предлагать выкинуть начало и переснять конец, кому-то не понравится музыка, кто-то будет недоволен изображением – и

каждого из них режиссеру придется выслушать, согласиться или оспорить, не говоря уже о поправках, которые придется вносить, не обсуждая.

И – самое замечательное – ни один из этого множества людей, получающих зарплату, ни один, за вычетом, может быть, министра и директора студии, не понесет никакой личной ответственности за свои слова и за качество готовой картины.

Пословица говорит – ум хорошо, а два лучше. Другая, правда, возражает – у семи нянек дитя все-таки с некоторым изъяном.

Какой воистину стальной волей должен обладать режиссер, чтобы провести утлое суденышко своего замысла через этот океан вкусов, пристрастий, интересов!

Удивляться, мне кажется, надо не тому, что хороших картин мало, а тому, что они все-таки есть.

Представьте себе производство, где в ОТК народу занято больше, чем на конвейере.

Или автобазу, где на одного шофера приходится три диспетчера.

Или лучше – армию, в которой основную ударную силу составляют санитарки.

Вот вы и познакомились в общих чертах с механизмом кинематографа.

Сегодня в нашем кино главное действующее лицо – редактор. От рядового редактора в студийном объединении, ведущего картину от начала до конца производства, – до дирекции студии, до аппарата Госкино во главе с министром. Главное дело, которым занимается вся эта огромная армия людей, как бы ни назывались их должности в штатном расписании, – редактирование, контроль, цензура всякого рода. Это они решают, какая тема сегодня важней. Это они решают, какая картина будет снята за четыреста тысяч рублей, а какой дадут два миллиона. Это они, наконец, решают, погибнет герой в конце фильма или конец отрежут и, к общей радости, все останутся целы.

Оговоримся, впрочем, что, как и в любой профессии, редактор редактору – рознь. Как говорит Лесков, “все особенно хорошее на свете встречалось не часто, но зато, к счастью, никогда совсем и не переводится”. Среди редакторов встречаются умные и талантливые люди, и на студиях, и в Госкино. А бывают и такие гроссмейстеры своего дела, как Фрижетта Гукасян, сумевшая собрать в одно объединение “Ленфильма” целый букет талантов. Нет, я не хочу обидеть своих товарищей и коллег.

Но тем временем уже на моих глазах количество редакторов

на “Мосфильме”, по меньшей мере, удвоилось, а сколько народу прибыло в аппарате Госкино – я и сказать не берусь. К старому зданию прибавился небоскреб и весь заполнен.

Когда-то мужик-кормилец считал сословия и выводил: “Один с сошкой, семеро с ложкой”.

Если число всякого вида редакторов по стране поделить на количество за год произведенных фильмов, тут, думаю, много больше семи на одну картину наберется.

Не многовато ли “очей государевых”?

У искусства есть предательская способность раскрывать не только сознательные намерения автора, но и такие закоулки его души, которые сам автор обнародовать не собирался.

Ну-ка, приглядимся – кто сегодня главный герой нашего экрана?

Прежде всего, это человек с высоким социальным престижем, с положением в обществе, как раньше говорилось. В моде начальство – секретарь обкома, председатель горсовета, директор завода, начальник стройки, председатель колхоза, на худой конец. Пользуются спросом также дипломаты, работники внешней торговли, академики, композиторы, артисты и вообще любой специалист, которые ездит в заграничные командировки. Эстрадный певец и особенно певица всегда были популярны у зрителя, но выступать в качестве носителей особых духовных ценностей до Пугачевой, если не ошибаюсь, никто не рисковал.

Но, конечно, все они, вместе взятые, меркнут рядом с работниками правоохранительных органов, занявших совершенно исключительное положение на нашем экране. Думаю, не меньше трети всей продукции из года в год посвящается борьбе с нарушителями закона и наймитами чужестранных разведок.

Я уже не говорю о телевидении, столь щедро и регулярно дарящем нас знакомством со Штирлицем, знатоками, героями “ТАСС уполномочен заявить…” и совсем свежего “Противостояния”.

Вот он – подлинный лирический герой наших дней, чекист или милиционер, скромный труженик в погонах или в штатском!

При всем уважении к людям, стоящим на страже закона, неужели седеющий генерал службы внутренних дел, инспектор ГАИ или таможни – суть главные герои эпохи и общества, самые яркие выразители наших духовных устремлений?

Нет и не может быть у нашего искусства героя более важного, чем самый обыкновенный трудящийся человек, которым держится наша земля, ее “сеятель и хранитель”.

А у редакторского кинематографа – и герой свой.

Надо ли напоминать о традициях великой отечественной литературы, вышедшей, по слову Достоевского, из шинели нищего чиновника девятого класса?

Да, да, конечно – “моя милиция меня бережет”, не будем путать и впадать в рискованные параллели… А все-таки попробуйте, представьте себе на минуту лирическим героем Толстого или Гончарова какого-нибудь полицмейстера или, не дай бог, Леонтия Васильевича Дубельта в голубом жандармском мундире!

Чего не было у наших классиков – холуйства.

Попробуем разобраться – для чего же нужен столь бдительный многоступенчатый редакторский контроль? Каковы его задачи? Что он дает на практике?

А для того, скажут нам, чтобы постоянно повышать идейный и художественный уровень фильмов.

Казалось бы, логично – кино стоит больших денег, имеет колоссальную аудиторию и обладает огромной силой воздействия, и надо сделать все, чтобы избежать идеологических ошибок и риск свести к минимуму.

А какова действительная вероятность появления – уж не говорю фильма – сценария с ошибочной или даже враждебной идеологической подкладкой?

Прочтите подряд две-три сотни сценариев, еще не прошедших контроль, еще находящихся в работе на студиях – едва ли наберется десяток таких, что могли бы претендовать на остроту или новизну идей.

Осмелюсь утверждать, что на практике происходит постоянная подмена и основной заботой редактуры становится стилистика будущего фильма, его форма, а отнюдь не идейное содержание. В большинстве случаев речь идет о том, чтобы дотянуть эту стилистику до среднего профессионального уровня, чтобы повествование было связным, понятным, эмоциональным. Но в тех редких случаях, когда доводится столкнуться с подлинным искусством, когда режиссер обладает собственным непривычным киноязыком, конфликта с редактурой ему не избежать.

Из кадра в кадр редактор следит, чтобы не было мрачно и длинно, чтобы люди не выглядели плохо одетыми, а улицы – грязными, чтобы не было слишком много пасмурной погоды и бранных выражений, а теперь еще прибавилось ханжеское запрещение показывать курящих и пьющих, точно от этого они исчезнут в реальности. На самом деле все это не имеет никакого отношения к идейному содержанию фильма, потому что оно

заключено в сюжете и характерах персонажей, а все усилия редактора направлены на экспрессию и достоверность изображаемого – на те компоненты, из которых в первую очередь складывается киноязык.

Сколько раз на нашей памяти случалось, что картину в момент ее появления обвиняли во всех смертных грехах, а по прошествии нескольких лет эта самая картина занимала свое место среди нашей киноклассики.

Куда же девались идейные ошибки такой картины?

А никуда. Их никогда не было. А непривычные новаторские художественные средства сказались на судьбе фильма роковым образом.

Разве не так было с “Мне двадцать лет” Хуциева? С “Проверками на дорогах”?

И значит, именно то, в чем состоит ценность данного произведения, становится главным препятствием к выходу на экран.

Но даже если признать существующей опасность идейной ошибки, у государства остается возможность подвергнуть готовый фильм эффективной критике или, на худой конец, вовсе не выпускать в свет.

А сегодня в кинематографе все так устроено, чтобы не дать такой картине родиться. А поскольку решать вопрос о наличии или отсутствии такой опасности призван на каждом этапе конкретный живой человек, этот человек постоянно страхует себя от ответственности.

При такой системе редактор неизбежно действует по принципу – лучше арестовать десяток невиновных, чем оставить на свободе одного виноватого, лучше закрыть десять безобидных сценариев, чем пропустить один острый.

Урон неисчислим.

С годами – по себе знаю – у сценариста или режиссера некоторые темы отмирают, как отмирает неупражняемый орган. Перестаешь об этом задумываться, зная – бесполезно, за эту тему ни одна студия не возьмется, этот сценарий никто не купит.

Это означает, что в нашем кино сознательно используется лишь небольшая, меньшая доля его творческой мощности.

Это означает, что через многослойное сито с легкостью проходит мелкое, вторичное, пережеванное искусство, не сулящее ошибок, а все новое и непривычное неизбежно застрянет, а если все-таки появится, то вопреки системе, по чьему-то недосмотру.

Это, наконец, означает, что в нашем кино жизнь халтурщика, готового ставить все, что ему предложат, запрограммирована

легкой и безбедной, а тот, кто обладает собственным, отличным от общепринятого, взглядом на жизнь и на искусство, обречен растратить свое дарование в бесплодной борьбе с рогатками.

Пусть общество само решит, какое кино ему нужно.

Мы начинали вдвоем с моим другом Борисом Яшиным, потом пришло время, когда мы почувствовали необходимость работать самостоятельно.

Я не люблю своих картин. Каждая из них напоминает мне о том, что в ней не удалось. Мне не суждено было поставить хоть один фильм на том уровне мастерства, который бы я сам считал безусловным. Тут винить некого, кроме себя самого.

В 1967 году после двухлетних бесплодных попыток с разными сценариями я наконец получил постановку и снял на Экспериментальной творческой киностудии короткометражный фильм “Ангел” по мотивам рассказа Юрия Олеши. Картина подверглась резкому осуждению, выпущена не была и вот уже восемнадцать лет покоится на полке. Упоминалась она однажды, в докладе на съезде кинематографистов: “После неудачи с “Ангелом” и т. д.

С дистанции лет мне отчетливо видны ее недостатки, нехватка мастерства и опыта. На этой картине я впервые почувствовал, что меня учили недаром. Не без гордости могу сказать, что с нее начали длинный кинематографический путь такие известные сегодня мастера, как оператор Павел Лебешев, актеры Георгий Бурков и Леонид Кулагин. Одну из ролей играл Николай Губенко. Музыку написал Альфред Шнитке. Нет, неудачей я ее не считаю.

Прошло три года, прежде чем я начал “Белорусский вокзал”.

Превосходный сценарий Вадима Трунина претерпел долгие мытарства и по дороге понес существенный урон. Мне, признаться, и сейчас жаль потерянного.

По ходу съемок картину трижды останавливали. Вопрос о ее закрытии висел в воздухе, и удалось ее закончить только благодаря тому, что был жив Михаил Ильич Ромм, мой учитель, который отчаянно нас защищал.

Дважды материал обсуждался на парткоме студии, и оценки были довольно категоричны: “мрачно, уныло, неустроенные судьбы, выпячивание недостатков, наша действительность выглядит как в кривом зеркале”. Сдавалась картина в атмосфере ожидания катастрофы. Но…

“Вокзал” имел счастливую судьбу, грех жаловаться.

Разве что упомянуть, между делом, что эта картина представляла советское кино не то в семидесяти, не то в

восьмидесяти странах мира. В каких именно – не знаю, меня там не было.

Фильм “Осень” я снимал пять месяцев. И пять месяцев сдавал. Вырезал, переозвучивал, писал новые сцены, переснимал – ничего не помогало. Три списка поправок выполнил. А сюжет картины – любовная история, ничего более.

Наконец ее все-таки приняли. “Осень” сурово критиковалась. В целом ряде городов и республик страны она вообще была снята с экрана. Там, где ее показали, она шла не больше чем день-два в одном-двух кинотеатрах. И никакой рекламы. И никаких рецензий. Правда, были и исключения – Ленинград, например, и Узбекистан.

А зрители ходили на нее хорошо. И сейчас кое-где ходят.

“Осень” никогда не упоминается в кинематографической печати, как будто я сделал что-то неприличное. Наталья Гундарева и Александр Фатюшин сыграли в этой картине свои первые роли. Так вот – и по сей день упоминание об этом факте старательно вычеркивается из всех интервью с этими актерами.

После “Осени” я не сразу очухался.

Больше двух лет я ходил по инстанциям со сценарием Александра Червинского “Верой и правдой”. Наконец он был запущен в производство.

Когда я снял чуть больше половины, картина была остановлена. Мне были предъявлены весьма значительные претензии – и идейные, и художественные. Опять все повторилось – многократные обсуждения на художественных советах, в дирекции, на парткоме. Стало ясно, что такой фильм, как мы задумали, снять попросту не дадут. Начались компромиссы – опять пересъемки, сокращения, изменения в тексте.

В результате картина была принята и выпущена на экран. Успеха она не имела. Жаловаться не на кого – своей собственной рукой я переснял не менее трети картины.

И тогда я стал считать. Вышло, что с 1965 года по 1980-й, с тех пор, как я работаю один, за пятнадцать лет я снял четыре картины. А ведь я не ворон, триста лет мне не прожить.

И я решил – хватит.

Придется переквалифицироваться в писатели.

1986

Стойкий оловянный солдатик

На исходе ночи, когда ветерок из степи поднимает клочья тумана с темной реки и тополя на набережной, встрепенувшись, шуршат молодыми листьями, долгий настойчивый звонок в дверь разбудил Василькова.

Он нехотя влез в халат и побрел в коридор, стягивая на брюхе несходившиеся полы.

– Я не глухой, – проворчал он, вынимая из гнезда цепочку. – Это ты?

За дверью кто-то прерывисто сопел.

– Откройте, – сказал грубый юношеский голос.

Васильков стал медленно багроветь.

– Я вам сейчас уши надеру, – пообещал он с тоской. – Четыре часа ночи.

Опять донеслось сопение, и тот же голос с натугой проговорил:

– Это Маша…

Что-то кольнуло Василькова, и он отпер.

Незнакомый парень смотрел на него недобро и напряженно, с вызовом, за которым Васильков ощутил его неловкость и свою, пока еще неясную, вину перед ним, а на руках у него лежала Маша, в измятом платье, волосы ее спутались, закрыв лицо, и тонкая худенькая Машина рука свесилась книзу и раскачивалась, как неживая.

Так они стояли, уставясь друг на друга, парень слегка задыхался и вдруг с угрюмой решимостью шагнул через порог. Сладким перегаром обдало Василькова.

– Это еще что такое? – с омерзением спросил он.

Не обернувшись, парень прошел прямо в комнату, положил Машу на развороченную постель Василькова, помолчал, переводя дух.

– Кирная… – пробормотал он, не глядя на Василькова.

Тут Васильков увидел свежую ссадину у него на скуле.

– Сукины дети! – сказал Васильков, не сразу попадая руками в карманы халата. – В другой раз ночевать будете в вытрезвителе!

Длинноволосый, весь узкий, длинный, с узким лицом и впалыми щеками, парень вздернул на плечо спортивную сумку с изображением прыгающей красной кошки и ушел на негнущихся ногах. В глазах его не отразилось ровным счетом ничего, они были прозрачны и светлы, заряд Василькова утонул в их стеклянной глубине.

– Пороть вас некому! – негромко рявкнул Васильков ему

вслед, и из горла у Маши вырвался глухой и влажный звук – не то стон, не то вздох.

Он подоткнул подушку ей под голову, болтавшуюся, как у куклы, и пошел в Машину комнату. Стелить он не стал, просто смел с дивана журналы и тряпки и улегся.

Небо за окном порозовело. Во дворе у молочной лязгали металлические ящики – началась разгрузка молока.

– Первый экзамен – неврология, – сказал декан. – Списки по группам у старост. Консультации в среду и пятницу. Вы свободны. Ни пуха ни пера.

Аудитория нестройно ответила “К черту!”, и все повалили к выходу.

– Лешка нас ждет, – сказала на лестнице Танька.

Маша покачала головой:

– Не могу, Танюшка. Отец и так злится.

– Ну вот, – обиделась Танька. – Я уже обещала.

– Ну их всех в болото! Позови Регинку.

В вестибюле они остановились. Через стеклянную дверь виднелась мокрая, яркая зелень газона, лужи на устеленных гравием дорожках. На скамейке перед входом, уставясь исподлобья на идущих студентов, сидел парень. Сумка с красной кошкой свисала с его плеча.

– Я пойду через тот корпус, – вздохнула Маша. – Привет.

Танька засмеялась:

– Как это ты умудрилась его покорить?

– Мне на психов везет.

Маша вышла через черный ход и исчезла под аркой лечебного факультета.

На рынке Маша, поторговавшись, купила курицу, набрала корешков для супа.

В универмаге давали стиральный порошок. В голове очереди Маша высмотрела мужчину с портфелем и улыбнулась ему:

– Возьмите мне, пожалуйста.

Получив порошок, она купила мороженого и пошла в отдел игрушки. Железную дорогу, как всегда, тесно обступали дети и взрослые, и Маша с трудом протиснулась к продавщице.

На светофоре зажигался настоящий зеленый свет. Тренькала, переключаясь, стрелка, электровоз с цистерной выныривал из тоннеля и забирался на горку с разъездом.

Мальчишки поминутно просили устроить крушение. Продавщица нажимала клавишу, поезда сталкивались и падали с рельсов, вызывая рев восторга.

Обгоняя прохожих, кивая знакомым, Маша шла в толпе по краю тротуара. Впереди из “жигулей” выскочил усатый молодой человек и преградил ей дорогу:

– Это как называется? Я тебе третий день звоню…

– Славик, не могу, честное слово! Отец придет, а у меня обеда нету!

Но он не стал ее слушать, и Машу запихнули в машину, где сидели еще трое и девушка.

– Ну хоть продукты домой завезем! – взмолилась она.

– Парни, знакомьтесь, это Маша, краса и гордость наша…

Она возвращалась рано утром, стуча каблучками по асфальту в пустоте вымершего двора.

На площадке пятого этажа, привалившись к батарее, спал парень. Сумка с красной кошкой стояла у него на коленях. Маша перешагнула через его ноги, занявшие всю площадку, осторожно отомкнула замок и вошла в квартиру.

От щелчка двери парень пробудился. Он посмотрел по сторонам, поежился.

За окном медлил пасмурный рассвет.

Он стал спускаться, подняв воротник куртки.

По набережной он брел в сторону порта. Здесь было свежо от утреннего ветра, беспокойно шумевшего в тополях.

Он шел, глядя перед собой, переставляя, как цапля, свои длинные негнущиеся ноги.

Внизу под берегом носилась чайка. На той стороне вдоль заводской ограды уже торопился в серой дымке ранний автобус.

Он спустился к реке и сел у самой воды, уперев в темную от мазута глину свои потрепанные горные ботинки.

Низко засипев, выползала из-под моста баржа, груженная песком. Песок блестел тусклым белым блеском. На веревке, привязанной к рубке, оглушительно билось белье.

Он вынул из сумки транзистор, вытянул антенну. Из приемника понесся гитарный рев.

Он смотрел на бегущую мутную воду, в которой качались щепки, сальные радужные пятна, обрывки бумаги, щурился на отблески, прыгавшие с волны на волну.

Сквозь музыку до него долетел чей-то негромкий смех.

Обернувшись, он увидел человека в красной рубашке, который стоял под тополями на набережной и ухмылялся.

– Курить есть?

Он кивнул, и человек сбежал вниз.

– Здорово, Серков, – буркнул парень, протягивая ему сигареты.

– И спички давай, пустой я.

Он жадно затянулся несколько раз, поглядывая на парня с ленивой усмешкой. У него была смуглая кожа и немыслимой правильности пробор.

– Чего же она тебя в такую рань прогнала?

Ухмыльнувшись, Серков присел, потрогал орущий приемник:

– Хорошая машина. Продай.

Парень покачал головой.

– Ах ты, тихушник… – Серков отрывисто засмеялся.

Шагнув к кромке берега, он лег на руки и окунул лицо в воду. Он пил и отфыркивался.

– Пошли, – сказал он, поднимаясь.

– Куда?

– Покушать надо. Деньги есть?

– Нету.

– Врешь! – Серков опять засмеялся ему в глаза. – Ты же не пьешь. Куда ты их деваешь?

– Рано еще, закрыто все, – сказал парень, насупясь.

– Иди, раз зовут. И тебя, дурака, накормлю.

Рынок уже оживал. Серков обошел с тыла дощатый павильон, приютившийся за воротами рынка, и забарабанил в дверь.

На повторный стук послышалось ворчание, шваркнула щеколда.

– Не спится тебе, охламону, – сказала тетка, впуская их в сырую, жаркую тьму. – А это еще кто?

– Жениха тебе привел, – отвечал Серков, хлопнув ее по спине. – Соскучилась, Нелька?

В закутке среди бочек, наставленных там и тут, хлопотала у стола еще одна женщина, помоложе.

– Деньги принес?

– Были б деньги, только бы вы меня и видали, – сказал Серков, усаживаясь на сундук в углу и подхватывая молодую.

Смеясь, она отпихнула его.

– Все по девкам шляешься, а как денег нет, так, значит, ко мне? Пускай тебя твоя Зойка кормит.

– Какая еще Зойка? – крикнула буфетчица.

– Да знаешь ты ее, Нель, в комиссионном работает на Красноармейском. Кривоногая такая, вся в веснушках. Мужик у ней механик на “Академике Ферсмане”.

– Вот стерва, – довольно сказал Серков. – Все знает.

– Погоди, муж вернется, он тебе навешает.

Серков только засмеялся, блеснув белыми зубами.

– Вернулся уж, – сказал он и подмигнул Толику.

В проеме перегородки виднелась стойка и высокие мраморные столики в пустынном зале павильона.

– Ступай на балкон, говорит, муж пришел, – со смехом рассказывал Серков. – У самой аж зубы стучат. Этаж четвертый. Чего я там не видал, на балконе? Открывай, говорю, толковище будем иметь…

– Пришиб, что ли? – спросила молодая, обмирая.

– Кого?

Толик невольно посмотрел на покрытую черным пухом пятерню Серкова.

– Ну, мужика.

– Дурочка ты, Тамарка. Ну, сунул он мне, я ему, и весь разговор.

Буфетчица сняла с плитки кастрюлю с сосисками, протянула Толику стакан, он мотнул головой.

– Хвораешь, что ли? – удивилась она.

– Пускай закусывает, – сказал Серков. – Он у нас треханутый малость.

Они выпили и принялись за еду.

– Женить тебя надо, Мишка, – сказала буфетчица.

– На тебе, что ли, женить?

Все трое засмеялись.

– Вон она все замуж просилась. – Серков кивнул на Тамарку. – Небось больше не захочется.

Молодая помрачнела.

– Подумаешь какая! – опять рассмеялась буфетчица. – Ну пошумит маленько. Зато зарплату домой несет.

– Покалечит он ее, будет ей зарплата.

– Ей-богу, сбегу, – вздохнула Тамарка. – Вчера опять лез…

Толик быстро и жадно ел, уставясь в тарелку.

– Ты зачем пацана с собой таскаешь? – вытирая губы, сказала Серкову буфетчица. – От тебя одна порча.

– Земляк. – Серков насмешливо покосился на него. – С нашего двора. Ты же, Нелька, батю его знаешь. Это Федьки Оськина сын.

– Какого еще Федьки?

– Козла.

– Козла? – обрадованно закричала она. – Которого посадили?

– Ну.

– Ой-ой! – Она покачала головой, сочувственно глядя на Толика. – Хороший мужик, шебутной только. Сколько он тут у меня выпил…

И Тамарка с интересом присматривалась к Толику.

– А болтали, на Козла вроде сынок его показания давал, – вспомнила она. – Этот, что ли? Или брат?

– Он и есть.

– Ах, гаденыш! – Буфетчица всплеснула руками. – Ты что же это? Отца родного посадил?

Парень потемнел, в руке у него очутилась пустая кружка, но Серков успел перехватить его кисть.

– Пусти! – прошипел Толик, пытаясь вырваться.

Женщины, выпучив глаза, смотрели на них.

– Ах ты, бандюга! – Буфетчица вскочила. – Ты у меня в отделении ночевать будешь! Я те замахнусь! Я его кормлю, пою, а ты на меня грабками машешь?

– Тихо, – сказал Серков. – А ну, не базарь.

Он выпустил руку Толика. Тот хотел встать, но Серков придержал его:

– Со мной пришел, со мной уйдешь… Налей, невеста, в горле сухо.

Буфетчица повиновалась, ворча.

– Это все – веники, – назидательно сказал Серков и засмеялся. – Ну, за дружбу!

Он примерился и бросил биту. Она легла точно в центр, но вместе с “маркой” вышибла еще один городок. Он выложил фигуру заново и пошел обратно.

Пустырь затерялся среди котлованов, из которых росли этажи. Город шагал все дальше в степь.

Теперь он долго целился. Лицо его как будто твердело. Обозначились скулы и сомкнутый рот. Он качнулся назад и бросил.

“Марка” вылетела чисто, звякнула о проволочную сетку. Помешкав, Толик взял вторую биту и шагнул вперед.

Бросок вышел неловкий, бита вертелась. Неожиданно, ударившись об асфальт, она подскочила и выбила из “города” все четыре чурки.

Он закурил. Теплый ветер трепал его рубаху. Где-то по соседству, несмотря на ранний час, ворчал экскаватор.

Толик собрал городки, снова выложил “письмо”. Вернувшись на дальний кон, он положил биты на землю и закатал рукава.

Он стоял у окна на лестничной площадке. Голоса и обрывки смеха долетали до него со двора, из темноты. Где-то наверху настойчиво мяукала кошка. Он стоял и ждал, равнодушный к шорохам чужой жизни, не оборачиваясь на шаги.

Глухо стукнули двери лифта, гудение поползло вниз. Он видел в стекле отражение кабеля, бегущего за сеткой шахты. За стеной растаял бой часов. Подъезд спал.

Должно быть, он тоже заснул. Он встрепенулся – ему почудился взгляд, уставленный на него из набухшей тишины. Кошка замерла на ступеньке, подняв лапу, и настороженно смотрела на него. Он не двигался. И кошка не решалась пробежать, томилась страхом. Вдруг она стремглав метнулась мимо, и мгновением позже он услышал поворот замка и почувствовал толчки крови в горле.

Маша спускалась с ведром в руке.

– Может, тебе раскладушку здесь поставить? – сказала она, открывая мусоропровод.

На ней был фартук, его щека улавливала тепло, исходившее от ее голых рук. Напрягшись, он почему-то вслушивался в шуршание мусора в трубе.

Маша стала подниматься. Он рванулся за ней, догнал, схватил за руку:

– Не уходи! Просят тебя, не уходи…

Она смотрела на него с удивлением.

– Ей-богу, ты псих, – сказала она, высвобождаясь.

Она поставила ведро на ступеньку и прислонилась к перилам:

– Ну? Чего скажешь?

Он растерялся.

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– Вот видишь, – улыбнулась она. – Мне скоро двадцать три будет. А ты еще ребенок.

– Это ничего не значит, – буркнул он.

– А ты жениться на мне решил?

Он кивнул.

– Давно?

– Как увидел.

Она смеялась и качала головой:

– Какой ты дурачок! Ладно, иди домой, поздно. У тебя дом-то есть?

Он насупился:

– Почему же нет?

Среди ночи мать проснулась.

Поезд простучал по мосту, шум его угас в степи на том берегу. За окном было тихо и черно.

Поднявшись, она выглянула в коридор. Свет, горевший на кухне, ослепил ее. Толик, одетый, сидел на раскладушке.

– Домой-то дорогу не забыл? Прямо не дом, а двор постоялый. Тут потоп случись или пожар, так ни до кого не докличешься… Поешь?

Он покачал головой.

– Бродяги какие-то, как будто дома у них нету, – бормотала она, натягивая юбку. – Уж и не пьет вроде, а все равно чумной…

На кухне она зажгла газ, поставила чайник, вынула миски с едой.

– Повестка пришла, Толя, – нехотя сказала она, кивая на подоконник. – Медосмотр в среду, у вас в школе.

Он покосился издали на белый листок.

– Худой какой – наказание прямо! Наваги вон купила, нажарила, а есть некому. К дядь Леше поедем в выходной? Ты когда обещал, он все дожидается. Обиделся небось Алексей. Хоть денек-то на свежести, продышаться, на травку на прощание поглядеть…

Помолчав, она невзначай подвинула тарелку поближе к нему.

– Не хочу, – сказал он.

В коридоре была сутолока у брусьев, в углу бренчали на гитаре. Толик протиснулся поближе к дверям. Голые парни выскакивали из спортзала, возбужденные, взъерошенные, и бежали к брусьям одеваться. Некоторые были уже острижены.

На проходе оказался толстый парнишка, его тут же затерли, и он отчаянно отпихивался под одобрительный смех рассевшихся на полу ребят. Выбравшись из толкучки, он сердито озирался по сторонам и вдруг кивнул Толику:

– Наших не видал?

Тут появился взмыленный лейтенант, его сразу обступили, забросали вопросами, но он только ухмылялся. Он начал вызывать по списку.

Толик разделся, повесил вещи на брусья. Сумку с красной кошкой он прихватил с собой. Рядом скакал толстяк, выпутываясь из штанины.

– Ты на Подтелкова живешь, дом десятый? – бормотал он. – Меня там все знают…

Лейтенант окликнул их.

В зале полукругом стояли столы, заваленные бумагами, и призывники группами переходили от одного к другому.

Высокий немолодой врач вяло спорил с двумя военными. Из засученных рукавов его халата высовывались крепкие жилистые руки. У баскетбольного щита ребята подпрыгивали, стараясь достать до кольца.

Кто-то тронул Толика за плечо. В лицо ему заглядывал толстяк.

– Ты у Сереги Болдырева бас-гитару играл? Точно?

Толик угрюмо смотрел на него.

– Обознался…

– Построились в шеренгу! – закричал врач тонким голосом, и все засмеялись. – Вытянули руки перед собой!

Место его было у окна, на самом припеке, и к обеду становилось жарко.

Послюнив паяльник, он откинулся на стуле, вытянув ноги. Приемник орал ему прямо в ухо, мешаясь с голосами и музыкой включенных телевизоров.

По проходу шла Вера, диспетчер, и, щурясь от солнца, оглядывала цех. Он следил за ней краем глаза. Она прошла мимо и остановилась за спиной мастера, который копался в утробе “Темпа”.

– На вызовы все равно не пойду, – не оборачиваясь, сказал он.

– Гляди, у тебя в этот раз даже нормы не будет.

– Я не гордый, меня и так девки любят. Оськину дай, вон он зубами щелкает…

За окном в мареве текла толпа. Женщины повалили в магазин.

– Он и так скоро все ваши деньги заработает, – сказала Вера. – Хватит с него.

Она подошла к соседнему столу. Сосед уже снимал халат.

– А ты-то куда? У тебя же дети плачут.

– А у меня обед.

Толик взял паяльник и наклонился над панелью. Нагибаясь, он машинально придвигал приемник поближе.

– И главное, все в центре, четыре заказа всего…

Никто не откликался. Вера пошла обратно.

– Твое счастье, – сказала она с коротким смешком, бросив наряд ему на стол. – Хоть бы раз коробку конфет купил!

Толик засопел. Капелька олова, дрожавшая на конце паяльника, легла на место спайки. Он убрал канифоль в ящик, выдернул из розетки шнур.

За окном на улице прямо перед ним стояла Маша и легонько постукивала пальцем по стеклу.

Он так уставился на нее, что Маша невольно покосилась на блузку – все ли в порядке…

За бурыми кирпичными пакгаузами начался забор, который тут же обрывался, за ним тянулась из порта заросшая бурьяном железнодорожная колея.

В зарослях камыша на берегу Толик отыскал тропинку, и они спустились к реке.

Маша присела на корточки у воды, окунула руку.

– Уже, наверное, купаться можно. Жалко купальника нету.

– Ты что? Простудишься.

Он вытащил из сумки приемник. Загремела музыка.

На той стороне виднелся голубой домишко, лодки и катера покачивались у дощатого причала. Женщина с граблями ходила вдоль пустынного пляжа, сгребала мусор.

Оглядевшись вокруг, Маша пожала плечами:

– Чего тут хорошего?

Из приемника сквозь хрипы пробивался низкий рокочущий голос.

– Уиллис Коновер, – пробормотал Толик.

– Что?

– Не знаешь? – удивился он. – Виктора Татарского знаешь?

– Который музыкальные передачи ведет?

– Ну. А у штатников Уиллис Коновер.

– Лучше пойдем куда-нибудь поедим, – сказала Маша. – Есть хочется.

Он молча взял сумку и полез наверх.

– Куда ты?

– Поесть принесу.

– А меня бросаешь?

– Магазин рядом… – Он озадаченно взглянул на нее: – Не бойся, здесь никого нет.

– Я не боюсь, – засмеялась Маша.

Когда он вернулся, Маша купалась.

– Замерзнешь, – сказал он. – Лучше иди закусывать.

– Отвернись.

Он послушно отвернулся, сел, достал продукты из сумки с красной кошкой. Вытянув нож из заднего кармана штанов, вскрыл банку балтийской сардины, нарезал колбасу толстыми ломтями.

Маша одевалась у него за спиной.

– Господи, на маланьину свадьбу натащил! А стакан где взял?

– В газировке свистнул.

Он расстелил на песке куртку, откупорил и налил густое, почти черное вино.

– А здесь правда неплохо, – сказала Маша, усаживаясь. – Вода даже чище, чем на пляже.

Он подал ей полный стакан.

– За что пьем? – спросила Маша.

– Не знаю.

– И я не знаю.

Он усмехнулся и сказал:

– Тогда – за вторник.

– Почему за вторник?

Толик замялся, но она ждала с любопытством.

– Это мужик один. Знакомый… Ну, он, когда выпивает, спрашивает: что у нас сегодня? Ему говорят: понедельник. А он: тогда за вторник выпьем, ох и тяжелый будет денек!

После холодной воды все было особенно вкусным – и колбаса, и черный хлеб, и пахнущие бочкой соленые огурцы.

– Когда я была маленькая, мама еще жива была, – рассказывала Маша, – один раз у нас воду выключили. Ночью просыпаемся – все залило, бумажки по комнате плавают и кукла. А потом приезжаем мы с отцом в Гагры, я спрашиваю: папа, откуда столько воды натекло? Это я море первый раз увидела. А он говорит: это мама опять забыла кран завернуть…

Он надорвал зубами пакет молока и слушал ее внимательно, с какой-то детской серьезностью, как будто боялся что-нибудь пропустить.

– Вино отличное, – объявила Маша.

– Восемнадцать градусов. Хорошее, говорят.

– Чего же ты не выпил?

– Неохота.

– Так не годится. Чего же я – одна буду?

– Ну, не люблю.

– Ты что, вообще не пьешь?

Он кивнул.

– Врешь! Никогда?

– Никогда.

– Тебе нельзя, что ли?

– Почему? Можно.

Он стал пить молоко из пакета большими торопливыми глотками.

– У меня отец – алкоголик, – сказал он просто.

Маша слегка смутилась:

– Может, тебе неприятно, что я пью?

– Жалко, что ли? Пей на здоровье.

Некоторое время они молча ели. Рябь бежала по желтой реке. В камышах булькало.

Он пододвинул к ней вино.

– Я больше не хочу, – сказала Маша.

Она словно боялась смотреть в его сторону. Толик дотронулся до ее руки.

– Это все – веники, – улыбнулся он.

– Я правда не хочу. Мне и так в голову ударило. Господи, как здесь хорошо! – вздохнула она. – Наелась, надышалась… Разморило меня.

– Ну и спи.

Она с сомнением глянула на песок:

– Может, правда?

Через минуту Маша уже спала, завернувшись в куртку.

Проснувшись, Маша увидела, что он сидит все в той же лягушачьей позе, задрав к небу острые колени и уставясь на реку. От воды шел горький удушливый запах.

– Чем это пахнет?

– Буксир надымил. Он тебя и разбудил.

– Который час? Домой, наверное, пора?

– Не знаю. Часов пять.

Она села и сладко зевнула.

– Как провалилась! – сказала она, встряхиваясь. – О чем это ты тут думаешь?

Смутная улыбка проскользнула в его глазах.

– Ну, скажи, – попросила Маша.

– Ночью сон приснился. Вроде мы в поезде… С отцом, – запинаясь, отрывисто заговорил он. – Он идет, я за ним. А в вагоне – никого. Идем дальше – там опять никого. Я еще думаю: куда это все попрятались? Поезд-то идет… чувствую – кто-то за нами. Я быстрей, и они быстрей. Отец впереди. Я бегом и никак не догоню. А они уже – вот. Я его за руку хвать, он обернулся – а это совсем и не он. Я как заору: батя!

Он стеснительно улыбнулся.

– Страшно… – сказала Маша. – И чем кончилось?

– А ничем. Проснулся.

Маша зябко передернула плечом:

– А у тебя отец красивый?

– Ты что! – Он засмеялся. – Шоферюга он.

Он помолчал, сдвинув брови, подумал.

– Так-то он мужик как мужик. Когда не пьяный. Раньше он в дальние рейсы ходил, всегда привезет чего-нибудь, то яблок, то еще чего. Один раз целого кабана привез…

Камыши стояли как вкопанные. Где-то у пристани скрипнула причальная цепь, жалобный металлический всхлип растворился в хрупкой тишине, повисшей над берегом.

Маша вдруг помрачнела. Он смотрел на нее с недоумением. Он видел, что она чувствует его взгляд, но не хочет отвечать.

Лицо его заострилось. Тревога выросла в глазах. Он нагнулся, они поцеловались.

Маша обняла его.

– Я думала, ты совсем не такой, – тихо сказала она.

Его бил озноб.

– Что с тобой?

– Н-не знаю…

– Успокойся, дурачок… – Она провела ладонью по его волосам. – Ты так меня любишь?

Он пытался что-то сказать, но не смог унять дрожь. У него стучали зубы. Она чувствовала, как все его тело мелко сотрясается в ознобе.

– Ну, успокойся, не дрожи так. Как от тебя пахнет хорошо…

Он вдруг лег на песок, спрятав голову в руки.

– Ты с ума сошел! Плачешь? – Она рассмеялась нежно, почти умиленно. – Успокойся. Ну пожалуйста. Ничего страшного. Что ты, ей-богу!

Она укрыла его курткой и гладила по спине, по затылку, будто баюкала.

– Ну перестань. Я тебя прошу. Ну посмотри на меня… – Она заглянула ему в лицо: – У тебя, наверное, никого не было?

Машино лицо приблизилось, теплые губы тронули его щеку, глаза, губы. Они обнялись.

– Какой ты большой…

В сумерках Толик выскочил из автобуса и зашагал к дому.

Он шел, глядя перед собой, жадно вдыхая холодеющий воздух. Сюда, на окраину, к новостройкам ветер доносил влажные степные запахи.

У подъезда на лавочке сидели женщины, одна из них ткнула пальцем вглубь двора:

– Глянь, кто пришел. Не признал?

Он обернулся. Под грибком среди чахлых молоденьких тополей тренькала гитара и звучал приглушенный говор. Компания за столом виднелась смутно, но он уже знал, кого искать, и еще издали угадал сухую, с едва отросшим ежиком голову на тонкой шее. Отец забивал козла.

Старик в ушанке, рассеянно следивший за игрой, ворчал:

– Прежде такого не было. Прежде строгость была. Уж коли сел, так запомнишь, что сидел, а не прохлаждался… – Он презрительно хмыкнул. – А это что? Это же бояться не будут!

– Жить-то можно, – согласился отец с кривой улыбочкой, пересчитывая вышедшие костяшки. – Только кушать охота, брюхо всю ночь просит.

Серков размашисто потянулся, заскрипел плечом.

– Вот без баб худо. На стенку лезешь…

– Это обязательно, – подтвердил с удовольствием дед. – На то отсидка!

– По мне – хоть бы их вовсе не было, баб, – заметил отец.

Пока мешали кости, отец курил и кашлял. В руках у одного из игроков показалась бутылка. Он ловко откусил полиэтиленовую пробку и стал лить вино себе в горло. Толик узнал Клещева из соседнего подъезда.

Напившись, он протянул вино отцу, но Толик метнулся к столу и выхватил бутылку.

– Кончай! – плачущим голосом завопил Клещев, но было поздно – раздался упругий хлопок, и стекло зазвенело об асфальт.

– Толька? Здорово, сынок, – сказал отец.

Толик стряхнул с ладони брызги и пробормотал:

– Увижу, кто ему нальет, – удавлю.

Клещев бегал вокруг, замахивался, но близко не подходил. Серков смеялся.

– Где я сейчас бутылку достану? – шумел Клещев. – Гони деньги, Козел, ничего не знаю.

– А я-то что? – пожимал плечами отец.

– Все, Клещев, – заливалась женщина, лузгавшая семечки за спиной игроков, – спать тебе сегодня трезвым!

Под фонарем появился милиционер, застегнул сумку, прислушиваясь, и направился к столу.

– Посуду бить – другого места не нашли?

– Старшина, – кинулся к нему Клещев, – забери ты Козлова выродка суток на десять! Тебе весь дом спасибо скажет! Это он бутылку кокнул!

– Пронюхал уже… – скривился отец, косясь на милиционера.

– Ты, Оськин, бросай этот свой тон. Пора тебе над своей жизнью подумать. И кой-чего понять, пока не поздно.

Участковый опустился на скамью, снял фуражку. Клещев все не мог успокоиться, ворчал:

– У, змееныш! Хоть бы его в армию скорей забрали…

– И что вас к ночи, как котов, разбирает?

– Змееныш и есть! – сердито, с вызовом буркнул старик в ушанке. – Закатал папаню…

Взгляд Толика впился в старика…

– Дурак старый! Твое счастье, что старый…

– Ты что городишь? – нахмурился старшина. – Стыда у тебя нету. Он тебе в дедушки годится! Эх ты… А что они тебя обзывают – плюнь. Будь мужиком! Ты поступил как сознательный гражданин. И мать свою родную от побоев, можно сказать, уберег. – Он внушительно посмотрел на Толика: – Как мать-то?

– А то он знает! – засмеялась женщина. – Третьи сутки дома не был…

– Не дадут сыграть! – вдруг тонким голосом выкрикнул отец, вскакивая и бросая на стол костяшки. – Все, пошел я…

– Погоди, Оськин. Сядь и не психуй.

Старшина со вздохом вытянул из кармана платок и стал обтирать потную фуражку.

– Тебе, между прочим, об работе подумать пора. Завтра зайдешь, на учет станешь. За баранку тебя все равно никто не пустит. Не мальчик, сам понимать должен. Ты, Оськин, подумай крепко. Семью свою пожалей. Вон у тебя парень какой вырос. Ему бы учиться…

– На прокурора… – вставил Серков, и компания дружно загоготала.

Отец смеялся вместе со всеми.

Толик стоял поодаль, дожидаясь отца, глядя в степь, наливавшуюся холодной фиолетовой тьмой.

– И что вы за люди! – не выдержав, рассмеялся старшина. – Только бы вам глотничать!

Майский ливень гремит на улице.

По карнизу расхаживал мокрый голубь, дергал головой, кося на Толика черной бусинкой глаза.

Хлопнула дверь. Маша вылетела из квартиры, вызвала лифт. Увидев Толика, она второпях махнула ему.

– Я опаздываю! – крикнула она, одергивая юбку.

Он спрыгнул с подоконника, голубь взмыл и поплыл в дожде.

Толик вошел в лифт следом за Машей. С тусклым гудением кабина поползла вниз.

– Ты надолго? – спросил он. – Я тебя подожду.

– Не надо…

Она неистово рылась в сумочке.

Когда лифт остановился и двери открылись, Толик вдруг уперся в стену, загородив выход.

– Здрасте! – фыркнула Маша.

Он и не думал уступать, стоял, угрюмо уставясь себе под ноги.

Тень прошла по ее лицу, Маша поморщилась.

– Какой ты дурак… – с огорчением, еле слышно проговорила она и отвернулась.

С верхнего этажа понесся гул – кто-то нетерпеливо колотил по решетке лифта. Двери расходились, урча, и снова сходились.

Маша отчужденно молчала в углу кабины. Пустыми глазами она смотрела мимо него, туда, где за окном подъезда катилась под дождем толпа.

Внезапно Толик выскочил из кабины, с силой вытащив сумку с красной кошкой, которую защемило дверью. Маша нажала кнопку. Створки разъехались – в подъезде никого не было.

Она раскрыла зонт и побежала на остановку.

После экзамена вся группа высыпала на ступеньки у входа, щурясь от яркого солнца и галдя.

Воздух курился над мостовой. За машинами вспыхивали змейки пыли. Только на аллее перед институтом, в тени деревьев еще стояли голубые лужи.

На скамейке Маша сразу увидела сумку с кошкой и воющий приемник. Толик, верхом на спинке скамьи, нависал над своими коленями. Она подошла, поколебавшись.

– Здравствуй…

На нем были темные очки. Маша посмотрела на его окаменевшую, долгую, сгорбленную спину, на хохол, стоящий торчком на затылке, и засмеялась:

– Ну прямо дитя!

– Мария, ты скоро? – окликнули ее от дверей.

– Не ждите, я догоню…

Она присела на скамейку, выключила приемник. Стало тихо. Машины сухо шуршали по асфальту.

– Я сегодня тройку схватила по терапии, – сказала Маша. – Теперь стипендии повышенной не будет…

Фонарь горел над котлованом, подобравшимся вплотную к дому. Земля в свежих отвалах поблескивала росой.

Толик повел Машу по коридору с дверями по обе стороны. На кухне хозяйки обернулись и замолчали, а одна из женщин вышла и смотрела им вслед.

Толик уверенно постучал. Маша озиралась в полутьме.

Кто-то худой и сутулый вырос на пороге.

– Не узнаете, Иван Игнатич? Это я, Анатолий.

Старик в ковбойке разглядывал их, забросив на притолоку длинную руку.

Позади него Маша увидела розовый матерчатый абажур над столом, под абажуром сидел мальчишка с гитарой.

– Проведать вас решили… – добавил Толик.

Старик отошел от двери, словно потеряв интерес к гостям, перелистал ноты, лежавшие перед мальчишкой, ткнул пальцем:

– Булахова к среде.

При виде мальчишки Толик помрачнел.

Ржавые корки украшали его ободранные локти, сквозь челку мерцал сощуренный бандитский глаз.

– Заходи, раз пришел, – буркнул, оборачиваясь, старик.

Мальчишка скатал ноты в трубочку и с гитарой шмыгнул в коридор.

– Кто пришел, Иван? – откликнулся тонкий голос.

– Телевизор-то барахлит! – ни к кому не обращаясь, сказал старик. – Бегает там какая-то мерзость…

Толик хотел ответить, но в дверь просунулась мордочка мальчишки, он ликующе гаркнул:

– Зме-ё-ныш!

И умчался.

– Только разбей мне инструмент! – закричал старик, бросаясь за ним.

Толик покосился на Машу – она посмеивалась. С тяжелым вздохом он включил телевизор, скинул куртку и спросил:

– Как жизнь, баба Лида?

Там, в углу за огромным буфетом, оказалась тумбочка с лекарствами, кровать и икона в изголовье. Старуха с темным лицом в платке таращилась с любопытством из-под перины.

– Куда Иван ушел? – детским голосом спросила старуха, в изумлении глядя на Машу.

– Сейчас придет. Баба Лида, вы, если чего надо, скажите.

Пока Толик копался в телевизоре, Маша слонялась по комнате, рассматривала картинки и грамоты в рамках, во множестве развешанные на стенах.

Старик пришел с чайником, и тотчас откликнулась старуха:

– Ну куда ты пропал, Иван?

Накрыв на стол, он положил на блюдечко варенье и исчез за буфетом. Оттуда послышался шепот, какая-то возня.

– Э, слепота куриная! – донесся его кашляющий смех. – Чего ты хватаешь, это же марганцовка!

– Трубку пора менять, Иван Игнатич, – объявил Толик. – Сносилась.

– А, бес с ней…

Дед разлил чай, жестом пригласил Машу и, дождавшись Толика, спросил:

– Испанку мою видел?

Толик покачал головой.

– Э, брат! Помрешь сейчас…

Он проворно залез на стул, достал с буфета кожаный футляр, раскрыл дрожащими руками. На потертом бархате лежала небольшая шестиструнная гитара с декой темного дерева.

– Севильская работа! Чуть штаны последние не снял.

И он сокрушенно вздохнул, пряча гитару.

– Чаю-то дашь еще? – пискнула старуха.

– А ты играешь? – поинтересовалась Маша.

– Играет! – презрительно скривился старик. – Да разве они теперь играют? Три аккорда выучит – и скорей во двор, столбы

подпирать!

Он отнес старухе чаю и уселся.

– У вас разве музыка…

Толик, усмехаясь, спросил:

– Иван Игнатич, а отчего Высотский умер?

– Отвяжись, – проворчал старик. – Кому еще чаю?

– Разве он умер? – удивилась Маша.

– Это не тот, – пояснил Толик. – Это гитарист был.

– Славяне! Чаю не пьете, Высотского не знаете…

– А когда он умер? – спросила Маша.

– Давно. В один год с Александр Сергеевичем…

После каждого глотка он с натугой кряхтел.

– Мощь арфы и певучесть скрипки – вот как про его гитару писали! – Он поднял палец и повторил: – Мощь арфы и певучесть скрипки… А помер, прости господи, как крючник. По дороге из кабака. Погулять любил…

Лицо его раскраснелось, размякло. Обвисли многочисленные складки.

– Ну, уж ладно… – Он вдруг крякнул и отъехал от стола.

Тщательно обтерев ладони о ковбойку, он взял гитару.

– Колокола! – сказал он, просияв, и стал настраивать.

Наконец он откашлялся.

– Барышню твою одобряю, – важно сказал он.

У Маши заблестели глаза.

Старик засопел, приклонив ухо к грифу, выдержал паузу и тронул струны.

Тело гитары отозвалось легким, негаснущим стоном. Он поплыл по комнате. Сплелся мимолетный узор и захлебнулся в резких аккордах. В скороговорке вариаций начал складываться смутный напев. Он с трудом нащупывал путь, пробиваясь через перезвон.

Ритм все ускорялся. Все увереннее звучал глубокий басовый голос, томился, спрашивал с мукой, и не находил ответа, и терялся в струящемся лепете верхов.

Бег узловатых пальцев завораживал. Мелодия рванулась из плена, набирая силу, раскаляясь от сдерживаемой страсти, и все смолкло.

В тишине повторялся влажный цокающий шорох. Оцепенение схлынуло.

– Что это? – оглянулась Маша.

С непередаваемой ухмылкой старик кивнул на буфет:

– Спит!

Старуха в самом деле спала и во сне причмокивала.

С порога Маша спросила:

– Мне звонили?

Васильков, дремавший перед погасшим телевизором, заворочался в кресле и не сразу сказал:

– Звонил какой-то… Волосатый.

– Ты по голосу слышишь?

Не дождавшись ответа, она ушла к себе в комнату, включила магнитофон. Она растворила окно, вытрясла пепельницу в темноту, побросала тряпки с дивана на стул. И, забравшись на диван с ногами, уткнулась в учебник.

Играла музыка, Маша читала. Васильков зашел и стал в дверях, засунув руки в карман халата, кисло глядя на Машу. Она сбавила громкость.

– Хоть бы ты замуж вышла! – буркнул он.

– Лучше ты сам женись. А я еще немного подожду.

Вскоре она услышала, как он стучит в стену. Маша остановила пленку.

– У меня глотка не луженая, я не могу двадцать раз орать, – долетел его недовольный голос.

– Что случилось?

– Танька тебе конспекты принесла.

Маша отправилась за конспектами.

– Может, тебе правда жениться? – сказала она.

– Мне и так несладко.

Она взяла тетрадки, на которые он показал, и задержалась у двери. Васильков, лежа в постели, решал кроссворд под ночником.

– А вы с мамой хорошо жили?

– Нормально… – Он удивленно посмотрел на нее.

– А то я не помню! – сказала она с горькой улыбкой.

– Что ты помнишь?

– Все время ругались… Мама плакала часто. Я помню.

– Жили не хуже других, – обидчиво возразил Васильков. – Поругались, помирились – без этого не бывает.

Странное выражение покорности и тревоги, что-то собачье промелькнуло в его лице.

– Маме все время казалось, что ее хотят обидеть, – мягко сказал он.

– Кто? Ты?

– Все. И я в том числе… – Он отложил журнал. – Как-то пришел ко мне сослуживец. Ты его знаешь, Кошелев из Госстроя. Он тогда еще совсем мальчишка был, в аспирантуре учился. Пришел по делу, часа два просидел. Мать нас обедом накормила. Только он за дверь – с ней истерика. “Этот хам, молокосос меня

третировал, а ты ему слова не сказал! Чтоб ноги его не было в доме!..” Что ты будешь делать…

Васильков протяжно вздохнул:

– Маме было очень трудно жить…

– Просто мама все принимала слишком близко к сердцу, – сказала Маша.

Она пошла к себе, раскрыла конспект, запустила музыку.

Опять в коридоре возник Васильков, запахиваясь в халат.

– Музыка мешает?

Он махнул рукой.

– У нас ревизия третий день копается, – сказал он. – Трест ходуном ходит.

– А ты на меня злишься, – заметила она.

Он присел к ней на диван:

– Когда экзамен?

– Какой? Я уже два сдала.

– Как твои дела?

– Лучше всех, как всегда, – отвечала Маша. – Только повышенной стипендии не будет.

Косясь по сторонам, Толик шагал вдоль цветочного ряда.

Мужчина в потертом кителе торговал розами.

– Почем?

– Два рубля.

– Штука?

– Дешевле вон там семечки дают, – сказал хозяин.

Толик крутанул пальцем у виска и понесся дальше.

Он взял тюльпанов и два пиона, купил гвоздики, сирени, лиловой и белой.

Он обошел весь ряд, вернулся к мужчине в кителе и насупился.

– Иди лучше постригись, – посоветовал тот.

– Тебя не спросили…

Он вытащил кошелек и пересчитал деньги, бормоча под нос. Хозяин скучал.

– Сколько тебе нужно? – не утерпел он. – Три? Десять?

Толик посмотрел на него исподлобья и продолжал считать.

– Давай сколько есть, – буркнул он наконец.

В толпе он нес букет перед собой, заслоняя локтями, отпихивая тех, кто напирал.

У ворот разгружали машину с луком, и очередь волновалась в ожидании, пока совершится прием товара. Золотистая шелуха плавала в воздухе.

Выбравшись из толкучки, Толик увидел Серкова, который

сидел на подножке грузовика и ухмылялся.

– Огня нет?

Толик подставил ему карман, где были спички.

– Я к тебе заходил, – сказал Серков. – Мать не говорила?

Взгляд его скользнул по цветам.

– Потолковать бы.

– Мне в одно место надо, – хмуро сказал Толик.

– На кладбище, что ли?

Толик вспыхнул:

– Иди ты…

– Грубишь. С тобой говорят как с человеком… – Серков холодно сощурился: – А не надо – катись.

Толик смутился:

– Об чем толковать?

Серков сунулся в кабину, выдернул из зажигания ключи. Они вышли из ворот, направляясь к павильону.

– Батя-то устроился?

Толик неохотно пожал плечами.

– Темнит? – засмеялся Серков.

– Ходит где-то целый день. Говорит, обещали.

Серков обошел павильон и постучал в заднюю дверь.

– Механиком?

– Ну. В четвертую колонну…

Лязгнула щеколда. Женщина, узнав Толика, заворчала:

– А этот чего тут забыл?

– Не дури, Нелька. – Серков отодвинул ее. – У нас разговор.

Натыкаясь в полумраке на бочки, они протиснулись к столу в закутке. Буфетчица выстроила на подносе пирамиду из бутербродов и пошла за перегородку, откинула занавеску. В проеме проступила стойка и в сером тумане бурлящий, набитый народом зал.

– Механиком лучше всего, – сказал Серков, забираясь на сундук. – Тут – трешка, там – пятерка… Год повкалывает, а там и права отдадут.

– Места пока нет.

– Поискать – найдется, – возразил он с усмешкой.

Молодая принесла кружки с пивом.

– Гляди, кто пришел, – сказал ей Серков, кивая на Толика.

Он, не торопясь, выпил кружку. Тамарка тихо стояла в уголке.

– Знаешь ее мужика?

Толик покачал головой.

– Филя, у нас на базе работает…

– Филя?

– Да знаешь! Смурной такой!

– Может, знаю.

– Забыл? Ну, я тебе его покажу… Ты парень толковый. Сам все поймешь. В общем, не хочет она с ним больше жить.

– Сил нету, прямо хоть топись… – быстро, жалобно залепетала Тамарка, и слезы поползли по ее румяным щекам.

– Выручай. Тридцатого суд. Свидетель нужен.

Серков уперся в стол локтями, подался вперед.

– Ты погоди психовать. Ты вникни. Ты же свой парень. Тебя во дворе все уважают… – Он взглянул ему в глаза: – Скажи, что видал, как он за ней с ножом гонялся!

– Да не с ножом! С железкой…

– Ну с железкой. Да ты не бойся! Он пьяница, его все знают. Оно так и было. Просто скажешь: гонялся, прибить хотел. И все. Расписывать не надо.

Он откинулся, жадно хлебнул из кружки, не сводя с Толика глаз.

– Жалко же девку. А она еще молодая.

– Рябой, что ли, Филя? – угрюмо спросил Толик. – Механик?

Серков ухмыльнулся:

– А Тамарка тебе спасибо скажет.

– Две сотни дам, – сказала она, вздохнув. – Больше у меня нету.

– П-подлюга! – заикаясь, пробормотал Толик. – Посадить мужика хочешь?

Он встал, и следом встал Серков.

– Ты что, ты что? Чокнутый, что ли? – истошно закричала она.

– Это он угоревши… – Серков шагнул к Толику.

Секунду они смотрели друг на друга.

– Живоглот! – выдохнул Толик.

Он не успел понять, что произошло. Удар приподнял его над полом и швырнул на груду бочек, в пропахшую плесенью тьму.

Он пытался подняться, цеплялся со сдавленным стоном за бочку. Наконец ему удалось встать. Внезапный свет ослепил его. Это Тамарка распахнула двери. Пошатываясь, он побрел к ней. На пороге он покачнулся и, ухватившись за притолоку, застыл на белом солнце.

– Незабудки оставил, – услышал он голос Серкова.

Тамарка выкинула на улицу сумку и букет.

Он подобрал цветы с сухой земли и заковылял обратно к рынку. У колонки он смыл кровь с затылка, умылся и положил цветы под струю воды.

В сумерках ветер на реке усилился, и было слышно, как на набережной волнуются тополя.

Глаза его привыкли к темноте. Он различал трещину на штукатурке и тусклый узор перил. Когда вызывали лифт, он видел отблеск красного сигнала на стене.

В полудреме он ронял цветы. Они шелестели, соскальзывая с его колен, и он вздрагивал и нагибался за ними.

Кто-то разговаривал внизу. Над головой у него загорелась лампочка. В подъезде включили свет.

Поколебавшись, он сложил букет на подоконник и взбежал на этаж. Он позвонил в квартиру.

– Маша дома?

Васильков был сонный, в халате.

– Нет ее, – сдержанно ответил он.

– А где она?

Васильков засопел. Взгляд его невольно приковался к багровому кровоподтеку на щеке парня.

– У китайцев есть странный обычай, – сказал он. – Они при встрече здороваются.

Толик выговорил с натугой:

– Здрасте.

– А твой отец знает, где ты ходишь и когда явишься? И в каком виде?

Дверь захлопнулась.

Толик пошел вниз. Он смотрел в окно и курил.

На улице не осталось ни души. Светофор мигал над пустынным переулком.

По ночам отца мучила жажда.

Мать просыпалась от перезвона пружин и, затаясь, слушала, как он чешется, вздыхает. Он садился, сбрасывая простыню, и она из-под ресниц подолгу видела перед собой его костистую спину. Иногда он выходил на балкон и жадно дышал, в груди у него непонятно булькало.

Он плелся на кухню. В темноте у него начинала кружиться голова, он пугался и замирал, выставив в темноту руки.

Что-то упало, звякнув. Он почувствовал под ногой шероховатый осколок, переступил суетливо и напоролся на другой.

Он чертыхнулся в голос и зажег свет. Толик, одетый, лежал на раскладушке, глядя на него ясным бессонным взглядом.

– Я тут в потемках колупаюсь, а он молчит! – вскипел отец.

Он захромал к мойке, пустил воду сильной струей. На сером линолеуме осталась петля мелких кровяных точек, темно

блестевших. Напившись из-под крана, он сел на подоконник и извлек из ступни фарфоровую крупинку.

Мать уже, охая, натягивала блузку.

– Только без йода!

– Да ему сто лет, он уже и не щиплет совсем…

Пузырек с йодом отец у нее отобрал. Она перебинтовала ему ногу и подмела осколки.

– Совсем сдурела? – сказал он, обнаружив, что из глаз у нее бегут слезы.

– Чашка-то последняя была, из теть Катиного сервиза. На свадьбу даренная… – Она улыбнулась виновато, утирая ладонью мокрое лицо, и заторопилась, высыпала картошку в раковину, поставила чайник. – Может, к Леше сегодня съездим?

Отец не отвечал. Сорвав с календаря листок, он читал на обороте.

– Опять на целый день пропадешь? Чего ты, ей-богу, туману напустил? Устроился ты или как? Все спрашивают, а я и не знаю, чего сказать, прямо стыдно… Боишься, что я денег попрошу? Не бойся, не нужны мне твои деньги. Жили мы без этих денег, не померли, и еще проживем… Толь, ты бы хоть разделся, а то прямо как в казарме.

– Ты его не трожь, – ухмыльнулся отец. – У него с утра мыслей, как у кота блох.

Толик сбросил ноги, сел.

– А то – поехали к Леше, послушай ты меня разок! – канючила мать, а пальцы ее сновали без передышки, текла между ними картофельная шкурка. – Даст Алешка денег, вот увидишь. Упаду в ножки – и даст. Как-никак брат. Он тебе добра хочет, Федор. Чего тут хорошего? А там – и картошка своя, и лес под носом. Через улицу Тараскин полдома продает, с огородом, поторговаться можно. От шоферни проклятой за тридевять земель…

– Совсем ты сдурела, – сказал отец.

По его губам бродила кривая ухмылка, и обиженная, и нахальная.

За окном посветлело. Мать погасила лампу. Толик вздернул на плечо сумку с красной кошкой и ушел.

– Да поешь ты хоть раз как человек! – закричала мать. – Господи, что за люди такие…

Бита унеслась в горячий воздух, закувыркалась, легла на размякший асфальт.

Он раз за разом промахивался. “Письмо” оставалось нераспечатанным. Биты летели в заградительную сетку, и она

вздрагивала, дробно звеня.

Он скинул рубаху, выложил “пушку”.

Он снял темные очки. На стройку вползал самосвал, исчезая за стеной цементной пыли. Солнце слепило, все резало белизной – дощатый забор, дом, подросший на несколько этажей, закаменевшая в колеях земля. Он дал глазам привыкнуть и взял биту.

Лицо его заострилось, твердело, словно проступал его костный каркас. Сухой тревожный огонь разгорелся в глубине зрачков, и он, вскрикнув, бросил.

Бита угадила в самое подножие “пушки”.

Помешкав, он подошел к сетке. Собрал городки, снова выложил “письмо” и вернулся на дальний кон.

В вестибюле было столпотворение, стояли на площадке и в коридорах. Голоса гулко отдавались под потолком. На лестнице заворачивались, сталкиваясь, два потока, и Толик с трудом добрался к дежурному окошку.

– В восьмую комнату! – прокричал лейтенант и показал наверх.

Дверь в восьмую комнату была закупорена спинами ребят. Там, за спинами, нависла тишина. Он прислушался. Вдруг грянул взрыв оживления, голос требовал порядка. Толик поднажал, и его внесло внутрь.

У доски майор вручал повестку рыжему парнишке. Призывники тесно сидели за столами, стояли по стенам.

Прапорщик вызывал следующего, и опять волна веселья прокатилась по рядам – в проход, отдуваясь, вылезал толстяк.

– Всем, кто получил повестки, оформить увольнение с работы и в указанный срок явиться на сборный пункт. Опоздавшие есть?

Толик поднял ладонь.

– Фамилия?

– Оськин.

Прапорщик ворчал, роясь в списках:

– Паспорт давай… Чего опаздываешь?

Он заковыристо расписался на квитанции, и новенький красный паспорт исчез в целлофановом мешке, набитом паспортами.

– Рост у тебя, Оськин, гвардейский, – зычно сказал майор, вручая повестку. – Гляди к себе на свадьбу не опоздай…

Он подождал, пока уляжется смех, и обвел взглядом всю комнату.

– Поздравляю вас, ребята. Запомните этот день. Вы призваны на действительную службу в нашу Советскую Армию. Теперь вы –

мужчины, солдаты. Вам предстоит исполнить священный долг гражданина перед Отечеством. Родина поручает вам беречь и охранять свой мирный труд. Будьте достойны ее доверия!

Все сразу загудели и повалили к дверям, образовалась пробка. Толстяк врезался в толкучку и подмигнул Толику:

– Куда везут, не слыхал?

– Говорят, в Благовещенск, – сказали рядом.

– Привезут – узнаешь…

– Сказали, кепку с собой брать, а у меня нету, где ж я возьму?

– Сказали – значит, положено! – сказал прапорщик.

Маша появилась на рассвете. Он не заметил, откуда она взялась. Он увидел сразу, как она идет через двор.

Ожил тополь под окном, на ветру засеребрились листья. Маша поежилась и пошла скорее. Пронзительно и чисто перекликались в холодном воздухе воробьи.

Он вслушался в торопливое чирканье подошв о ступеньки. Вот она приостановилась на третьем этаже. Вздохнула. Опять замерли шаги, совсем близко. Сейчас она покажется внизу. Он слышал ее прерывистое дыхание. Она все не шла.

Он высунулся в пролет. Маша стояла на одной ноге, прислонившись к перилам, и что-то вертела в руке. Она подняла голову и увидела его.

– Каблук сломался, – сказала она шепотом.

Он недоверчиво покосился на каблук, лежащий на ладони у Маши. Перегнувшись, он забрал у нее босоножку и каблук, подошел к окну, обследовал со всех сторон и закурил.

Маша заковыляла наверх и скрылась за дверью.

Он вытащил из заднего кармана нож, нахмурился и, сопя, принялся за дело. На батарее он выпрямил гвозди, торчащие из каблука. Из спичек он сделал пробки, аккуратно загнал их в отверстия в подошве и срезал.

Маша сошла в халате и в тапочках, зевая, с кефиром в руке.

– Клей дома есть? – спросил он.

– И так сойдет…

Она поставила локти на подоконник, потягивала кефир из бутылки и смотрела в окно.

– Птички поют, – сказала она.

Он протянул ей босоножку.

– Ну надо же… – обрадовалась Маша.

Он хотел обнять ее, но она выскользнула и вбежала на площадку.

– Иди спать, лунатик.

И махнула ему рукой.

Улочка спускалась к реке. Он шел посреди мостовой, невольно убыстряя шаг. На том берегу плыли серые облака в степи, и серой была река внизу. Ветер вздувал пыль над асфальтом.

На углу открыли булочную самообслуживания, и он зашел внутрь. Кассирша в полном одиночестве жевала ситник. Он взял такой же. Хлеб был еще теплый.

Капли запрыгали по земле, и сразу налетел дождь.

Он нырнул под арку во двор. Он ел упругий, как резина, пахучий ситник, стряхивая муку с пальцев.

Деревья на набережной трещали протяжно. Сизая пелена закрывала реку.

Женщина в белом халате стояла в дверях парикмахерской напротив, глядя на дождь.

Он побежал через улицу, придерживая сумку.

В пустом зале негромко играло радио. Женщина вошла следом за ним, показала на кресло. Она завернула его в простыню и вздохнула.

– Под ноль… – бросил он.

Она неожиданно улыбнулась.

– Солдатик пришел! – нараспев сказала она, включая машинку.

В зеркале он видел, как тусклая борозда ложится от макушки и на простыню съехал белесый льняной клок.

Стрекот машинки навевал дремоту. Прохладные пальцы парикмахерши пахли мылом.

– Я хочу искупаться в море, – сказала Маша. – Я устала, папа.

Она застегнула молнию и отнесла в переднюю чемодан.

Мрачный, взъерошенный, с припухшим со сна лицом, Васильков курил в постели.

Маша присела к нему на кровать.

– У нас отличная компания. Все будет нормально, не волнуйся.

Она зажала в коленях ладони и слегка раскачивалась под однообразный шелест дождя за окном. Помедлив, она сказала:

– Если честно, там едет один человек… Ты его не знаешь.

– Нельзя так жить, Маня… – хрипло выпалил Васильков.

Он заворочался, губы его скривились, и с отвращением затолкал сигарету в пепельницу.

Маша задумчиво смотрела на отца. Она поднялась и вышла в коридор, надела плащ, взяла чемодан. С порога она обернулась.

– Я позвоню сразу, как прилечу, – сказала она сухо.

За стеной слабо загудел лифт. Шум его угас, отдаляясь.

Васильков обнаружил, что кончились сигареты. Смяв пачку в кулаке, он вскочил с постели. Он пошарил на письменном столе и в ящиках, обыскал кухню, Машину комнату, но ему попадались пустые коробки, и он швырял их в ведро.

В дверь позвонили.

– Машу позовите… – Парень опустил взгляд и буркнул: – Здрасте…

Васильков узнал сумку с красной кошкой.

– Ее нет.

Он подождал и закрыл дверь. Он поплелся к себе, сел за стол, посидел, засунув руки в карманы халата. Не вставая, он пошарил на шкафу. На пол свалился атлас и раскрылся цветной таблицей – багровые ручейки сосудов разбегаются по человеческому телу. Васильков покосился сверху, нагибаться было лень.

Опять позвонили. Он пошел в переднюю.

– Я все равно не уйду, – угрюмо сказал Толик.

– Хоть ночуй, – согласился Васильков.

Он опять подождал и уже собрался захлопнуть, как вдруг парень закричал и весь затрясся, так что Васильков отпрянул:

– Мне завтра в армию идти!

И мазнул ладонью по стриженой голове.

Так они стояли, ошарашенно уставясь друг на друга.

– Закурить есть? – спросил Васильков.

Толик достал пачку, дал ему огня. Васильков затянулся с облегчением:

– Зайди…

Они пришли на кухню, и Васильков залез в угол на свое место, привалился к стене.

– Ее правда нет, – сказал он. – Она улетела.

Толик застыл в дверях, не сводя с него глаз.

– Куда?

– Куда-то на Кавказ. Позвонить обещала…

Он повернулся и исчез в коридоре. Васильков услышал, как он воюет с замком и безуспешно дергает дверь. Васильков вышел, помог. Толик рванулся на лестницу. Раздался треск, дверца стенного шкафа открылась – сумка зацепилась за ручку. Он стал ее отцеплять.

Он брел по улице. Дождь моросил не переставая. Прохожие торопились. Автобус ехал, окутавшись паром. Взгляд его рассеянно скользил по лицам, по лужам.

Вдруг он остановился и жадно вздохнул пропитанный сыростью воздух. Он посмотрел на небо. Ветер разгонял облака.

Сойдя на проезжую часть, он поднял руку навстречу

машинам.

У переезда застряли. Водитель вылез на дорогу размять ноги. На шлагбауме мигал красный огонь, и повторялось утробное урчание сигнала. Толик уставился в окно.

Товарный состав, грохоча, покатился через переезд.

На поле протянулись ряды стальных мачт. Мокрый бетон посадочной полосы поблескивал в тумане.

Машина подъехала к стеклянному зданию аэровокзала.

Он обошел стойки, где шла регистрация, справочное бюро, кафе. По радио объявили, что рейс на Киев откладывается. Он вышел на посадку.

Один из отсеков был открыт. Цепочка пассажиров спешила к автобусу. Он побежал к стюардессе:

– Куда рейс?

– На Сочи.

Она заперла турникет.

Он обыскал остальные отсеки, не теряя из виду автобус.

Привели еще группу. Рейс оказался сухумский. Он всех осмотрел.

Отойдя поодаль, он перемахнул через барьер и побежал на поле. Человек в летной фуражке загородил ему дорогу. Он увернулся и прибавил ходу.

Автобус стоял возле самолета. Пассажиры стайкой собрались к трапу.

Он услышал отчаянный визг и сразу увидел Машу. Расталкивая очередь, она рвалась к бортпроводнице и что-то кричала и показывала на него. Его поразило выражение ненависти на ее лице.

Он врезался в толпу. Какие-то люди схватили его. Он молча вырвался. Кто-то повис на нем. Появился милиционер.

Маша взбегала по трапу, таща кого-то за руку. У дверей человек упал, она помогла ему встать.

Толика повели к аэровокзалу. Он шел покорно, оглядывался, его крепко встряхивали. Трап уехал. Задраилась дверь. Заревели моторы.

Он резко присел. Милиционер от неожиданности споткнулся и выпустил его.

Самолет стал медленно разворачиваться.

Толик метался у самых колес, что-то крича.

Милиционер догнал его, свалил на полосу и упал сверху.

Самолет набирал скорость.

Подбежали двое рабочих. Втроем они подняли Толика и повели к зданию вокзала.

В сумерках он приплелся к дому.

Старухи сидели на лавочке у подъезда. Его окликнули. Он не обернулся.

Дверь в квартиру была приоткрыта. Что-то захрустело под ногами. Он щелкнул выключателем. Лампа не зажглась.

Мать мыла пол на кухне. Когда она выжимала тряпку, он увидел, что у нее разбито лицо. Он молча смотрел на нее.

Он достал фонарь в чулане и пошел в коридор. Над головой висел пустой патрон. Он отвинтил зажим, выбросил остатки плафона, ввернул лампу.

Замок входной двери болтался на одном шурупе. Он сорвал его. На кухне он развел шпаклевку. Подчистив рубанком брус двери, он зашпаклевал вмятины, поставил замок. Дверь закрылась.

Он принес веник и подмел мусор.

– Ты ему деньги дала?

– Ничего я не давала. Есть будешь?

Он взял ее за подбородок. Она покорно подняла лицо.

Буфетчица собиралась раскричаться, но, узнав, впустила.

– Забери ты их, ради бога! – проворчала она.

Отец стоял у стойки, пошатываясь. Толик молча отодрал его пальцы от чужого плеча. Он навалился на него, заглядывая ему в лицо, мучительно что-то припоминая. Вдруг он усмехнулся с пьяной хитростью, рванулся и упал кому-то на ноги.

Он был неимоверно тяжел и брыкался. Люди за ближайшим столом посторонились. Толик прислонил его к столбу.

– Козел! – заорали рядом, и Толик весь подобрался, услышав знакомый голос. – Козел, ты где? Куда ты девался?

И опять мутный огонь вспыхнул в глазах отца, он с силой стеганул Толика по руке, сделал несколько петляющих, неверных шагов, и Серков поймал его за рубаху.

Толик оказался на проходе, его толкали, но он не двигался с места, оцепенев, не в силах оторвать взгляд от Серкова.

Серков говорил не затихая. Он был возбужден и угрюм, но на ногах держался крепко.

Прячась за спинами, Толик подошел ближе.

Серков разлил вино и совал отцу в руки кружку. Он был все время чем-то недоволен, отпихивал соседей, высвобождая место. Несколько раз он подносил ко рту горлышко бутылки и опять принимался ругаться. Наконец он стал пить.

Как только он запрокинул голову, Толик выскочил из укрытия и ударил его ногой в пах. Серкова скрючило. Он

задохнулся и кашлял, прижав руки к низу живота. Толик обрушил ему на голову пивную кружку, но Серков сумел слегка уклониться и устоял.

Ударить еще раз Толик не успел – отец, потеряв равновесие, повис на нем. Он извивался, стараясь выскользнуть, уже расцепил впившиеся ему в горло пальцы, но удар в челюсть достал его. Не мешкая, Серков ударил еще раз, и у Толика подломились ноги. Он рухнул на пол.

Последнее, что увидел Толик, было лицо отца с кривой, недоумевающей ухмылкой, потом занесенная для удара нога в сапоге сверкнула у самых глаз, и все оборвалось.

Милиция и скорая помощь прибыли почти одновременно.

По знаку врача Толика накрыли простыней и вскоре унесли. Пока составлялся протокол, женщины подмели и все прибрали.

Мы уходили в последний день мая, пасмурным утром, прозрачным и гулким.

Во дворе военкомата нас построили в колонну по двое и повели на вокзал.

Впереди шел сержант с флажком.

Было совсем рано. Только дворники да бессонные старухи останавливались поглядеть нам вслед.

Расставание с домом и долгий предстоящий путь взбудоражили нас, и мы валяли дурака в строю. Сержант на нас покрикивал.

Мы поднялись в гору. Дружный стук наших ног об асфальт далеко разносился над бульваром. Пароход заревел в порту, и ветер, сухо шумевший в листве, донес к нам его прощальный гудок, торжественный и протяжный.

Город лежал внизу, укрытый туманом. Река отсюда казалась застывшей.

В воздухе плыл серый пух тополей.

1977

Хождение в сценаристы

Кино, кроме прочих отличий от других искусств, требует быстроты реакции и некоторого легкомыслия. Неповоротливым в кино тяжко. А я, к несчастью, из увальней – в работе, по крайней мере.

Бывает, конечно, что замысел долгие годы ворочается в голове драматурга, пока дело дойдет до бумаги. Но в нашем деле это редкость. Чаще сюжет прорезается внезапно, случайным и не всегда объяснимым озарением.

Абсолютное же большинство произведений кинематографа, как шедевров, так и бездарных, родилось на свет единственно от того, что у автора денег не было. Если нечего продать из дому и занять негде, остается лишь один легальный способ разжиться – сесть за стол, придумать сюжет, накатать заявку и попытаться ее сбыть. Так и жили многие сценаристы, во всяком случае, до нынешних ловких рыночных времен. Так появился и этот сценарий.

Начал я писать по обстоятельствам скорее случайным и безвыходным – не мог найти сценариста. После “Белорусского вокзала”, одаренного не только зрительским вниманием, но и лаской начальства, я безошибочно почувствовал – сейчас или никогда мне будет дозволено пойти дальше, чем положено по уставу караульной службы. У меня была припасена история интимного свойства, мне хотелось рассмотреть отношения двух любовников из моего поколения без обязательного в те годы соуса из плавки, жатвы и партсобрания. Однако драматурги, к которым я обращался, отказывались дружно на удивление – от Шпаликова до Трунина. Особенное подозрение (или, может быть, мужскую неприязнь) вызывал у них задуманный характер героини – скажем прямо, не сахар. В фойе ленинградского Дома кино я вцепился в Александра Володина. “Вот уж кто мастер женского портрета!” – думал я, рассказывая сюжет с некоторым заиканием. “Это готовый сценарий. – Он улыбнулся, как улыбается один он – ласково и печально. – Тебе никто не нужен, пиши сам”. За что ему и кланяюсь.

Но одно дело – написать сценарий, опирающийся более на собственные жизненные впечатления, чем на мастерство. И совсем другое – быть профессионалом, пишущим на заказ режиссера или студии. К тому времени, когда фильм был снят (это была “Осень”) и начались его цензурные мучения, я уже ясно сознавал промахи. Наташа Рязанцева, едва ли не первый мой читатель, сразу сказала: “Да ведь они у тебя все выговаривают”,

но я не понял, а сняв фильм, вспомнил. Несмотря на некоторую природную туповатость, я дошел до глубокой мысли – чтобы научиться писать, нужно писать. Дело было за малым. Мешала неуверенность в себе пополам со священным трепетом перед литературой, внушенным с пеленок, ведь я – писательский сын. Павел Филиппович Нилин, автор “Жестокости”, на прогулке в Переделкине, приволакивая ногу и останавливаясь для разговора с каждой встречной собакой, объяснял мне с непередаваемым оттенком задушевности и высокомерия, что человек, способный рождать сюжеты, не таков, как другие люди, это существо высшего порядка. Я и сам так чувствовал. И куда же мне, в калашный-то ряд? Потому, решил я, проверять себя надо на направлении главного удара – написать сценарий с острейшим сюжетом, с любовным треугольником и трагическим концом, лучше всего с убийством. И в конце концов я такой сюжет придумал.

Тут надо сказать, обстоятельства мои складывались неважно, прямо подталкивая менять ремесло. Участь “Осени” была печальна. Червинский написал для меня превосходный сценарий о Лермонтове. Его безнадежно утопили (разумеется, я имею в виду не самого Лермонтова). Другой сценарий того же Червинского “Верой и правдой”, уже принятый “Ленфильмом”, вызвал в Госкино взрыв ярости и нахлобучки тем, кто осмелился его принять. Все, что я предлагал, встречалось с заведомым подозрением. Мне стало казаться, что я обложен. Трудно передать самоощущение взрослого мужика, который не может заработать на хлеб.

Тот аванс не забыть мне до могилы. Договор, подписанный со мной “Ленфильмом” в лице Фрижетты Гукасян, был протянутой соломинкой, шансом выплыть. Чем рисковала Фрижа? За фиговым листком моральных сентенций и с жаром обещанного положительного героя в заявке легко читалась крутая ситуация – донос сына на отца, алкогольный ЛТП, свободная от обязательств сексуальная жизнь героини, убийство героя в пьяной драке. Словом, “чернуха”, как теперь принято выражаться, тогда это называлось “очернительством”, коренек тот же. Над пятью страницами я корпел чуть ли не две недели – профессиональный уровень не мог быть оспорен. О казенных деньгах речи тоже не было – либо я сценарий напишу, либо придется вернуть аванс в кассу. Но при любом качании маятника, при малейшем поползновении начальства избавиться от неугодного редактора подобный сценарий, сама тематика были бы желанным лыком в строку, материалом для цитат по обвинению в утрате идейности, бдительности, невинности (нужное впишите сами). Зуб на

Гукасян у Госкино имелся, и не один, рано или поздно должны были до нее добраться. И добрались, и с работы уволили, только было это лет через десять после описываемого, когда о моем сценарии и помнить забыли. Но другие уже были времена на дворе, расправы не вышло, ушел министр, а Фрижа вернулась. Понимала ли она свой риск, когда ставила подпись под моим договором? Разумеется. Не будем преувеличивать, а все же припомним, что людей, позволявших себе иметь свои понятия, отличные от начальства, маловато попадалось. И за это Фриже низко кланяюсь.

Полторы тысячи аванса! Это означало в те годы месяца четыре кормежки для семейства, можно было наплевать на все и писать, а там – что Бог даст. Итак, сюжет должен быть крепким, это было ясно. Но как его записывать? К этому времени я стал сильно подозревать, что кинематографический образ гораздо дальше отстоит от литературного, чем нас учили в институте и чем я привык считать. Навели меня на эту мысль недовольство собственной режиссурой, а более всего фильмы Тарковского и Висконти. Я пришел к некоторым выводам, малоутешительным для того, что предстояло делать.

Во-первых, понял я, кинематографический образ по своей пластической природе иррационален, и чем он точнее и ярче, тем менее поддается описанию. Во-вторых, я обнаружил, что сцена, необязательная по сюжету (но, заметим, стилистически точная), может неожиданно усиливать напряжение, а это, в свою очередь, означало, что способ нанизывания эпизодов в кино может быть совершенно иным, чем в прозе или пьесе для театра. “И чем случайней, тем вернее”, как сказано у Пастернака, хотя и по другому поводу. Словом, пластика у меня в сознании стала вылезать на первый план, оттесняя психологию. Значит, и писать следовало сухой протокол действия без всяких претензий на литературу. Но ведь мне предстояло доказать (кому-то, неизвестно кому, себе), что я – профессионал, владеющий пером, а доказать это можно только прозой, ритмом, то есть именно теми средствами, которые затемняют, затуманивают пластический материал и в конечном счете подменяют кинематографический образ литературным. Запутавшись, я решил писать, плюнув на вопиющее противоречие. Все сроки прошли, а я все писал, и Гукасян, по-моему, не раз пожалела, что связалась со мной. Фактически я пытался одновременно освоить два разных и кое в чем непримиримых ремесла – драматурга и прозаика. На результате это мало сказалось, но мне дало многое. Наконец сценарий был закончен, принят с некоторым даже триумфом, после чего благополучно завален. Лет через пять я

предложил его Свердловской киностудии, но вскоре его опять закрыли, на сей раз окончательно. Назывался он “Стойкий оловянный солдатик”, и, смею вас уверить, это был недурной сценарий.

Потом опять было безденежье, тоска зеленая и вечная мечта об авансе. Как-то вспомнил я годы послевоенного детства, хмурую школу, уголовный двор на Сретенке, вечный страх, снедавший меня, слабого и трусливого, вспомнил беспросветное одиночество малыша в убогом мире больших. И, толком еще не зная, о чем будет сценарий, тщательно написал сцену облома. Как учил меня Шура Червинский, заявка есть специфическая просьба о деньгах за обещание быть хорошим, и, помня об этом, я пристегнул к сцене туманную перспективу оптимистического финала. На что я рассчитывал, на что надеялся? Бог знает. Но опять нашлась добрая душа, которая рискнула – Мила Голубкина, и ее стараниями студия Горького заявку купила. Кланяюсь с благодарностью Миле.

На сей раз я поставил задачу прямо противоположного свойства, технически более сложную – сделать сценарий без интриги, чтобы сюжет держался только движением души тринадцатилетнего героя. Мне казалось, что сценарий будет более всего о смерти Сталина, о конце одной эпохи и начале другой, о том, как эти события преломляются в частной жизни мальчишки. Но в ходе работы рамки сюжета сами собой стали расширяться до антитезы “подросток – окружающий мир”, и в этом широком противоположении такие разновеликие события, как первая любовь или возвращение деда из тюрьмы, становятся равно важны и способны, не имея отношения одно к другому, сплетаться в единое движение сюжета. Я боялся поверить себе, меня преследовал страх, что сценарий распадется на частности, рассыплется. Все стало на места, когда я напоролся на строчки Блока:

> Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
> Все в облике одном предчувствую Тебя…

Сценарий обрел название, а я – ощущение единства сделанной вещи. Предчувствие любви, страданий, жестокости мира и его сладости, шире – предчувствие свободы, еще шире – самой живой жизни. Кончив сценарий, я обрел уверенность. Что, впрочем, не помешало его закрыть.

Свою профессиональную карьеру я считаю неудавшейся, хотя это и не повод для нытья. В те же годы я жил, любил, рожал детей, пил водку с друзьями. Кланяюсь всем, кто был ко мне щедр

и терпелив – Илюше Авербаху, Юлику Дунскому, Вадику Трунину, увы, уже покойным, и, слава тебе господи, живым Валерию Фриду, Наташе Рязанцевой, Шуре Червинскому, Толе Гребневу. “Что пройдет – то будет мило”. Потому мила мне моя неудача. Второй попытки все равно не дадут.

1993

Предчувствие

Мы сидим и смотрим на дверь. В коридоре прекращается беготня, смолк трезвон. Мы ждем.

– Крыса! – сообщает Гордей, отскакивая от двери.

Мы слышим быстрые шаркающие шажки. Дверь вздрагивает. Это Крыса налетела на нее с разгона и теперь недоумевает.

Стул, вставленный в дверную ручку, начинает ходить ходуном. Мы следим за единоборством Крысы с дверью. Чаша весов постепенно склоняется на сторону Крысы. Стул перекосило, Гордею приходится его поправлять. Неожиданно стул разваливается у него в руках, и Гордей сталкивается нос к носу с Крысой.

Мы встаем. Крышки парт дают залп.

– Гордеев – за матерью! С портфелем.

Она ждет, пока он покорно складывает манатки. Гордей выходит.

– Что-нибудь бы новенькое придумали… Сядьте и встаньте, как полагается.

Встаем еще раз. Получается даже лучше – дружней и звонче. Кажется, стены рухнут.

– Я вижу, вы настроены по-боевому. Кто дежурный?

У нас даром ничего не пропадает. Без промедления отвечают:

– Гордеев!

– Зуев! Сходи в учительскую, принеси мне стул.

И в ожидании прохаживается вдоль доски.

Крысу голыми руками не возьмешь.

Узкие губы с опущенными углами придают ей презрительное выражение. Прозвище ей известно, но тут она бессильна. Школа не знает промахов в кличках. Наши родители, знакомясь с ней, прячут улыбки – вылитая крыса.

Копейка приносит стул.

– Староста, кто отсутствует?

Староста Сальников сопит, оглядывая нас.

– Кто отсутствует, я спрашиваю?

– Филатов… Ну и Гордеев.

– Что с Филатовым?

– Ой, Анна Михална… – вылезает рыжий Пиня, и Крыса косится на него.

– Что? Хворает?

Пиня медлит. Мы стоим тихо.

– Его крысы съели!

Удержаться от смеха невозможно.

– Пинчук, вон из класса!

– А чего я сделал?

– Поторопись…

Пиня, вскинув на плечо противогазную сумку, идет к двери и так ею хлопает, что сыплется штукатурка.

С поразительной быстротой Крыса взлетает со стула. В ее расплывшемся теле скрыта подвижность грызуна.

– С родителями, к директору! И пока мать не заплатит за дверь, можешь не являться! Рублем наказывать будем!

Ее тонкий высокий голос раскатывается в пустом коридоре.

Она подбирает осколки известки, заворачивает в бумажку, прячет и хлопает себя по бедру:

– Будем бить по карману родителей!

И с ненавистью смотрит на заднюю парту – туда, где, привалясь к стене, возвышается Бадя, огромный, краснорожий, угрюмый. Его широкую плоскую физиономию освещает бронзовый фингал.

– Садитесь.

Даже учителя боятся Бадю.

Из рыжего бесформенного портфеля она достает бесчисленные листочки, раскладывает свой пасьянс. Некоторое время она молчит, вглядываясь в свои каракули. Записи ее не интересуют. Она просто набирается сил.

– Что вам было задано? Берг!

– Стих про школьников.

– Не паясничай, Берг. Иди отвечать.

– Книжку потерял, Анна Михална.

– Надо было прийти пораньше и выучить.

Черные живые глаза Берга смеются. Он огорченно разводит руками.

– Садись, двойка. Хлюпин!

Она уже понимает, что ее ждет.

– Не учил.

– Двойка. Данильянц!

– Не выучил.

– Двойка… – И тихо говорит: – Хочешь урок сорвать, Губайдуллин?

Бадя смотрит в окно. Страсти не туманят тяжелого Бадиного взора. Как Будде, ему ведома суть вещей. Он сразу видит, куда бить.

– Сальников! Может, и ты не выучил?

Сало долго вылезает из-за парты, оттягивая момент. Он сопит на весь класс, чувствуя, как Бадя улыбается ему в затылок, и краска волной поднимается по его шее.

– Не могу, Анна Михална…

Сяо Лю, мой сосед, смеется.

Обреченность прорастает в Крысиных морщинах. Она кашляет.

– Смеешься, Грешилов?

Я спешу отвести глаза, но поздно.

– Весело тебе?

– Ничего я не смеюсь.

– Ты ведь у нас член совета дружины? Вас там этому учат?

Я встаю.

– Правда, весело? Измываться над старухой. И смеяться исподтишка… Знаешь, кто так поступал?

Глухая печаль ее взгляда пронизывает меня.

– Фашисты. Они сразу не убивали. Растягивали удовольствие. Сначала помучат, посмеются. А потом убьют. Правда, смешно?

И улыбается беспомощной, надтреснутой улыбкой.

Я мотаю головой.

Тихий короткий свист раздается с задней парты. Я оборачиваюсь – Бадя подмигивает мне неподбитым глазом. Ненависть захлестывает меня, ноги сами собой делают шаг к доске…

…Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь…
Не стыдися! Что за дело!
Это многих славный путь…

Я стою у Крысиного стола и слышу себя, как сквозь вату.

Вот оно. Ползет по классу. Копейка перегнулся к Хлюпину, коротко шепчет ему в самое ухо. Тот замирает. Я понимаю, как ему хочется взглянуть на меня. Постеснялся.

А другие смотрят. Равнодушно. Сочувственно. Любопытно.

И Копейка улыбается мне в лицо, укрытый от беды, осененный могуществом Бади.

– А почему четыре? – с горечью спрашиваю я.

– Потому что читал без выражения.

Иду на место. Сяо Лю отодвинулся на самый край парты. Откалывается.

Черные лоснящиеся заводские корпуса проступают за окном в сыром тумане. На дворе под голыми тополями еще держатся островки грязного снега.

В ушах стучит это проклятое слово, перетекающее из уст в уста, с парты на парту.

Слово это – облом.

Крыса прохаживается, упрятав за спину руки и слегка переваливаясь.

– Некрасов называл свою музу “Музой мести и печали”… Что тебе, Грешилов?

– Можно выйти?

– Нельзя. Скоро звонок.

Меня знобит.

Они будут бить меня всем классом.

Я слышу женский смех на лестнице. Хорошенькая химичка Виктория Борисовна что-то рассказывает старшей вожатой Вере. Они забирают из гардероба свои пальто и присаживаются на лавочку. Слушая химичку и улыбаясь, Вера натягивает боты, прячет туфли в авоську.

– Грешилов, ты чего домой не идешь?

– Сидит и сидит, – говорит Никитична. – Медом намазано, что ли?

Вера оглядывает вестибюль.

За окном Валька Топоров в черном флотском бушлате, перешитом из отцовского, пританцовывает на ветру, не спуская глаз с дверей.

– Тебя ждут?

Я стыдливо киваю.

Мы выходим втроем. Валька с независимым видом пропускает нас. У ворот человек двенадцать. Вера решительно направляется к Баде:

– Только тронь его, Губайдуллин. Детской комнатой не отделаешься. Я в роно поеду. Вылетишь из школы как пробка.

Вера с Викторией доводят меня до угла.

– Ну, – улыбается химичка, – дальше доберешься, герой?

Мне очень хочется, чтобы они проводили меня до дому, но язык не поворачивается попросить.

Свернув за “Бакалею”, я припускаю во весь дух. Оглядываюсь – погони не видно. Размышляю секунду и ныряю в проходной двор.

Свист обжигает мне слух. Это Копейка, маленький и цепкий, повисает на моем плече. Я пытаюсь его стряхнуть, кричу, колочу изо всех сил по руке. Мы оба падаем. Они накатываются из-за угла и окружают меня.

Бьют портфелями, стараясь попасть по голове. Я прикрываюсь, как могу. Отступаю к стене. Не хватает воздуха, я быстро устаю. Удар сзади в затылок. Я роняю портфель. Теперь я безоружен. Берг, гадина, ты-то куда? Сегодня меня, завтра тебя…

Внезапно удары обрываются. Дышим.

Бадя, стоя в сторонке, манит меня:

– Ходи сюда.

– Не пойду.

– Ходи, говорят…

Кто-то дает мне пинка. Иду. Подхожу, загораживая рукой лицо.

– Убери грабку, – говорит Бадя.

– Не уберу.

– Хуже будет.

– Не уберу.

– Кому говорят?

Опускаю руку.

И слепну. Удар приходится в переносицу, все вспыхивает багровым огнем, я куда-то лечу, врезаюсь в какой-то ящик. Все солоно – из глаз слезы, из носа кровь.

– Понял, сука? – назидательно говорит Копейка.

Они уходят.

Прямо передо мной – глухая кирпичная стена. Ящики. Гора угля. Примятая стрелка травы щекочет мне щеку – свежая, ранняя. Из-за ящиков возникает хмурый Сяо Лю, поднимает мой портфель, стряхивает с него налипшую грязь.

Я ложусь на холодную землю, царапаю ее, молочу кулаками. И долго, злобно плачу.

– Я никуда не пойду!

– Это что-то новенькое…

От резкого света лампы чернота за окном еще глуше и бесприютней. Мне нестерпимо хочется под одеяло, оставшееся у бабушки в руках, обратно, в сон и тепло, туда, где нет ни этой морозной ночи, ни школы, ни надоевшего стука маминой машинки.

Бабушка трогает мой лоб.

– А ну-ка, померь… – Она уже стряхивает градусник, подозрительно приглядываясь ко мне. – И глаза у него блестят.

– Драться не надо в школе.

Мамин голос, слегка охрипший, доносится из-за шкафа, а машинка стрекочет не смолкая.

– Нет, он всю ночь воевал, разговаривал во сне. Я так и знала, что он заболеет!

– И горло что-то побаливает, – сообщаю я как бы с досадой и на глазах у бабушки делаю трудный тягучий глоток.

Одеяло я получаю обратно. Бабушка – моя единственная надежда.

– Здоровый парень не может сдачи дать! Слушать тошно!

Ненавижу маму! И звук у машинки противный.

– Когда же она встала? – тихо спрашиваю у бабушки.

– Она и не ложилась. Сам себя человек не жалеет. Голодаем, что ли?

– А не голодаем оттого, что я не сижу сложа руки! – Взвизгивает отъехавший стул, и мама, осунувшаяся, выдергивает у меня градусник и одеяло.

– Все равно он уже опоздал, – замечает бабушка.

– Вот я отцу расскажу! Барчук! Сию минуту одевайся! Потому тебя и бьют! Еще и голову морочит, работать не дает!

А без одеяла как-то особенно ясно, что чудес не бывает.

Я сворачиваю в переулок, позади остаются шум машин и свет фар, тускло горящие витрины и торопливая толпа. А здесь – только колючий снег крутится под фонарями, молчат замерзшие дома, и хруст моих шагов вспарывает ледяной воздух.

Нет на свете ничего тоскливее, чем опаздывать туда, куда вовсе и не хочется идти!

Я бегу, глотаю ветер, и слезы намерзают на щеках.

В вестибюле – одна Никитична.

Я влетаю в класс и от неожиданности спотыкаюсь – директор Яков Степаныч важно прогуливается в проходе между партами, у стола стоит понурясь Копейка, а Нилыч невозмутимо пишет на доске условия задачи.

– Это называется – дневник! – Осторожно, двумя пальцами, Яков Степаныч поднимает перед собой и показывает всему классу сильно похудевший, заляпанный Копейкин дневник. – От такого дневника в городе может вспыхнуть эпидемия, и ты, Зуев, будешь виноват. Это же просто бактериологическое оружие!

Все, конечно, смеются, и Яков Степаныч добродушно усмехается.

– А почему ты без галстука? Разве ты не пионер?

Копейка молча вытаскивает из кармана жеваный галстук. Новый взрыв смеха.

– Ну и разгильдяй! Хотя что же требовать от рядовых пионеров, если член совета дружины опаздывает на контрольную…

И широким жестом директор указывает на меня. Я покрываюсь пятнами.

Нилыч, записав задачу, отвернулся к окну и сопит, засунув, по обыкновению, руки в карманы необъятных штанин. Он мрачен.

– Иди за матерью, Зуев. Скажи, что я хочу ей твой дневник показать.

– Она не придет… – угрюмо бормочет Копейка.

Улыбка сбегает с лица директора.

– А не придет – можешь в школу больше не являться… А ты, Грешилов, зайдешь ко мне на большой перемене.

Дверь за ним закрывается, Нилыч кивком сажает меня на место.

– Левые – первый вариант, правые – второй! – объявляет он с облегчением. – Контрольная – районная, отметка в четверти будет от нее зависеть. Соображайте как следует…

Настороженный гул проползает по классу и стихает – мы читаем задачу. Задача ерундовая…

Сяо Лю толкает меня, кивая куда-то назад, я машинально оборачиваюсь.

Это Бадя зовет меня и, показав чистый листок, передает на переднюю парту. Он просит списать.

Кровь бросается мне в лицо. Я отворачиваюсь и долго не могу сосредоточиться. Сяо Лю искоса наблюдает за мной.

Бадин листок тем временем путешествует из рук в руки и прибывает ко мне. Бадя, усмехнувшись, как будто желая меня приободрить, пожимает плечом – мол, долго я буду злиться?

И, проклиная себя и весь свет, я пишу решение на его бумажке.

Нилыч стоит у окна, уставясь во мрак.

Мама купила новые занавески, и мы вешаем их всей квартирой. Сосед Миша вбивает костыль в стену, женщины подвязывают кольца, а я – на подхвате.

– Живей давай! – весело кричит Мишина жена Оксана. – Поглядеть охота.

Она в халате, разгоряченная, только после кормления, и ей не терпится участвовать. Витька дремлет у нее на руках.

Бабушка качает головой, ее мучают сомнения.

– Расцветка какая-то… слишком заграничная.

– Ой, мама, у тебя старорежимные представления!

– По двадцать восемь брали? – интересуется другая наша соседка, Соня, паспортистка из домоуправления. Она озабоченно курит у дверей, отгоняя дым в коридор.

– По тридцать два, – сухо отвечает мама.

– Чего ты даешь? – говорит мне Миша. – Молоток давай.

Ошибаюсь я от усердия.

В дверь звонят, я бегу открывать.

– Жалко, не успели! – нервничает мама. – Только не говори ничего, пусть сам увидит…

Папа приходит усталый.

– Здорово, поросенок… – Он привычно шлепает меня по

спине и идет на кухню.

Раздевшись до пояса, он долго умывается. Я стою у двери с полотенцем и чистой рубахой в руках, сторожу, чтобы не зашли женщины.

– Я по четвертной контрольной пять с минусом получил.

– А почему с минусом?

– Помарок много.

Брызги летят по всей кухне, он фыркает и стонет, стирая с шеи полосы копоти, и с такой же яростью вытирается.

– У нас занавески новые, – не выдерживаю я. – Только это – секрет.

В комнате мы появляемся в самый ответственный момент – Миша закрепляет багет. Отец здоровается, садится на свое место к столу.

– С обновкой, Константин Васильевич! – улыбается Оксана.

Миша спрыгивает на пол и задергивает обе половинки. Деревянные кольца сухо и тонко звенят. Все рассматривают покупку в торжественной тишине.

Мама старается выглядеть безразличной.

– Ну как тебе? – спрашивает она, не выдержав.

– Нормально.

Бабушка сдвигает мамину машинку и бумаги, ставит перед отцом сковородку с макаронами.

– Мне нравится, что рисунок скромный, – объявляет она.

– Хозяин доволен – с вас магарыч! – Миша оглушительно смеется.

– Ой, я вам так благодарна, честное слово! Мне прямо неудобно…

– Немыслимые все-таки деньги, – выходя, вздыхает Соня, и мама тускнеет.

– Да плюнь ты на эту воблу! – добродушно советует Оксана, пробуя Витькину пеленку. – Нам с Витькой нравится…

– Ради бога, тише! – пугается бабушка.

– Ее, что ли, деньги? Хоть приличная вещь в доме. А то все на эту чертову жратву.

– Совсем другой вид, правда? – Мама на глазах расцветает. – Знаешь, какую очередь выстояла!

Мы остаемся вчетвером. Бабушка берется за штопку. Родители молчат.

А занавески – восхитительные! По темно-вишневому фону бегут, извиваясь, блеклые зеленые огурцы, вспыхивают лимонные искры.

– Классные занавесочки! – говорю я. – Прямо как в театре…

Усмехнувшись, отец отодвигает сковороду.

Розовые пятна выступают на маминых скулах.

– Тебе не нравится? Если ты насчет денег, то ты напрасно волнуешься… – быстро говорит она отцу. – Я все рассчитала. Это я взяла из тех денег, что отложены на лето. Ты премию получишь за первый квартал, я туда доложу. А мне, наверное, шестнадцатого заплатят, я взяла баланс печатать… Неужели ты сам не видишь, насколько стало уютней?

– Какая премия? В мою смену две плавки запороли… – говорит он с досадой. – Ухнула премия.

– Ой, у меня там чайник… – вскакивает бабушка.

Мама пытается улыбнуться.

– Ну, возьму еще халтуру, – лепечет она. – Как-нибудь не помрем…

– Не ругайтесь, пожалуйста, – говорю я.

Папа надевает пиджак:

– Я к Сумарокову…

– Сыграй лучше со мной, – прошу я.

Когда бабушка приносит чайник, мама сидит, уронив на колени руки и глядя перед собой.

– А где Костя? Опять пошел в шахматы играть?

Вздохнув, мама раскладывает бумаги на столе, заправляет машинку. Я тащу кожаную подушку, на которой она обычно сидит.

– А все эти проклятые деньги… – говорит она еле слышно.

Я смотрю, как скачут мамины пальцы с коротко обрезанными ногтями. Машинка хлестко стрекочет, захлебывается.

– Тебе пора спать, – рассеянно говорит она.

Сцепив за спиной руки и покачиваясь, Копейка разглядывает плакаты на стенах пионерской комнаты. Смутная ухмылка теплится на его лице.

– Иди поближе, – говорит старшая вожатая Вера. – Не бойся, мы тебя не съедим.

– А кто боится? – храбрится он.

Мы сидим за столом, покрытым красным плюшем. Мартовское солнце, отражаясь от скатерти, бросает нам на лица огненные пятна.

– Ну, расскажи нам, Зуев, как ты дошел до жизни такой…

– Сколько у тебя двоек? – спрашивает Саня Колупаев, наш председатель.

– По какому? – интересуется Копейка, а мы хихикаем.

– Кончайте. По скольким предметам?

– Позабыл…

Вера справляется в тетради:

– По четырем. Да и по остальным дела у него далеко не блестящие.

– По трем, – спорит Копейка.

– Значит, я, по-твоему, вру?

– Он географию сегодня исправил, – сообщаю я.

– А по трем – мало, что ли?

– Вкатить ему выговор, чтоб знал… – предлагает Белоконь из седьмого класса. – Долго мы с ним нянькаться будем?

И замолкает под суровым взглядом Веры – все знают, что он торопится на тренировку, он у нас боксер.

Копейка бодро шмыгает носом.

– Ты же неглупый парень, Зуев, – говорит Саня. – Зачем ты из себя шпану корчишь?

– На него просто Бадя плохо влияет…

– Посмотри, как товарищи за тебя волнуются! – говорит Вера. – А тебе наплевать.

– Кому наплевать? – бормочет Копейка.

– Ты “Хижину дяди Тома” читал, Зуев?

Копейка молчит, ожидая подвоха.

– Что ты в рот воды набрал? Читал или нет?

– Постановку видел…

– Значит, имеешь представление, как живут в Америке такие ребята, как ты?

– Это же до революции было, Вера Георгиевна, – замечает Белоконь.

– А думаешь, сейчас лучше? Вы же недавно были в театре. “Снежок” смотрели. Помните, как его травят? А ведь он хотел учиться, очень хотел! А ничего не вышло. И все только потому, что он черный! Наводит это тебя на какие-нибудь мысли, Зуев?

Я зажигаюсь от слов Веры.

– Государство нас кормит, поит, одевает – только учись! – с жаром объясняю я. – Неужели так трудно выучить хоть на тройку?

– Мы же тебе добра хотим, – поддерживает Саня.

Копейка молчит.

– Своего ума нету, – говорит Вера, загораживаясь от солнца ладонью. – Связался с Губайдуллиным, лебезит перед ним. На парте вырезал матерное слово… Ты мать свою любишь, Зуев?

Угрюмый взгляд Копейкина упирается в пол. Над ухом у него – пятно зеленки.

– Мало матери забот, так еще придется платить за порчу школьного имущества. Никого ты не любишь – ни мать, ни товарищей, ни себя самого!

– А ведь он может учиться, – говорю я. – Если, конечно, захочет…

Вера встает задернуть штору и замечает, как Копейка показывает мне из-за спины свой щуплый кулак.

– Грешилов, это он тебе?

– Ты же сам себе делаешь хуже, Зуев, – с сожалением говорит председатель. – Прямо нарываешься на исключение.

– Ага… – бурчит Копейка.

– Исключение – это крайняя мера, – сурово говорит Вера. – Исключить никогда не поздно. Я предлагаю послушать мнение класса. Грешилов учится с ним в одном классе, он лучше других может судить, как воздействовать на Зуева.

Все поворачиваются ко мне.

– Не бойся, Грешилов. Говори то, что думаешь.

Я заставляю себя поднять глаза и, глядя в упор на Копейку, с бьющимся сердцем говорю твердо:

– Предлагаю исключить из пионеров.

Воцаряется тишина. Вера, кажется, немного ошарашена.

– Ты только выйди! – негромко цедит Копейка.

– Замолчи, Зуев! – обрывает его Вера. – Ну, может быть, предупредим его в последний раз? Вызовем мать…

– Сколько можно? – взрываюсь я с неожиданной для себя яростью. – Они же весь класс в страхе держат! Он и Бадя! Сами не учатся и другим не дают! Сколько раз он обещал исправиться! Сколько мы ему выговоров давали! А толку что?

– Не ори, Грешилов, – говорит Саня. – Я с ним согласен, Вера Георгиевна. Мы сами приучаем их к безнаказанности.

Вера молчит.

– Ставлю на голосование. Кто за исключение?

Поднимают руки все, кроме Белоконя и Веры.

Копейка силится ухмыльнуться, хмурые слезы наворачиваются ему на глаза, и он, рванув с шеи галстук, швыряет его на пол:

– Подавитесь! – и выбегает, звонко всхлипнув.

– Тебе, значит, безразлично – пионер ты или нет? – кричит Вера ему вслед.

Копейкин сбивчивый топот смолкает на лестнице. Тихо в коридоре.

– Если так – я тоже за исключение, – решительно говорит Вера.

– Может, домой к нему сходить? – предлагает Белоконь.

– Правильно! – кивает Саня. – Вот Грешилов и сходит.

– Сам иди!

– Как тебе не стыдно, Грешилов? Кому же, как не тебе? Ты его одноклассник. Вот уж не ожидала от тебя…

– Да он боится, – говорит Белоконь.

– Прекрати! Давайте сформулируем наше решение…

В палисаднике перед Копейкиным домом спорят и кричат мальчишки.

Притаившись под аркой ворот и зорко вглядываясь в пространство двора, я чувствую себя дичью.

Мне надо пробежать метров тридцать.

Я вижу трещины краски на стене крытого вагонкой барака. Я даже различаю на вербе под окнами серый пушистый ворс цветка, высунувшегося из бутона.

Весенний дурман, холодный, свежий, стоит в воздухе. В голове от него делается пусто и тревожно-весело.

Я слышу свист, звякает о землю планка, и двенадцать палочек разлетаются веером. Мальчишки несутся врассыпную, и пока они прячутся, а водящий подбирает палочки, я припускаю по доскам, проложенным через лужи.

Шмыгнув мимо многолюдной кухни, перевожу дух в полутьме длинного коридора и вкрадчиво стучу в дверь.

Скудная мебель сдвинута на середину комнаты. На столе – табуретка, женщина в темных сатиновых шароварах, стоя на табуретке, белит потолок. Она застывает, глядя на меня с равнодушным любопытством, и мел капает с кисти на ее голые сильные руки.

– Здравствуйте… Вы – мама Коли Зуева?

С топчана на меня таращится малыш. Голова его замотана пуховым платком, отчего она кажется огромной.

– Меня из школы послали…

Женщина морщится, поправляя съехавшую на лоб косынку. Она слезает на пол, застеленный газетами, и, оторвав клочок, торопливо обтирает пальцы.

– Нашкодил, что ль? – спрашивает она, не поднимая глаз.

Я мнусь, не зная, как подступиться.

– Просто на него Губайдуллин плохо влияет… – нежно объясняю я. – Он ведь может учиться, когда захочет. Никто его исключать не собирался, мы только хотели, чтоб он двойки исправил, потому что конец года скоро. Мы же его товарищи, правда?

Она слушает меня с тревогой и неприязнью.

– И мы за него болеем, а Губайдуллин сам не учится и других тянет назад…

– Маш, у тебя перловка есть? – В дверь заглядывает девушка, и газеты шуршат, всколыхнувшись на сквозняке. – Займи стакан.

Малыш хнычет. Сунув ему прищепку для белья, Копейкина мать сообщает со странной, как будто злорадной усмешкой:

– Мой-то допрыгался. Выключать его хотят. Дружка себе нашел, с Губайдуллиным сынком, говорят, снюхался…

Девушка косится на меня:

– Чего ж ты ябедничаешь? Сам небось такой же охламон.

– Ничего я не ябедничаю, – обижаюсь я. – Мне просто как члену совета дружины поручили. Мы в одном классе учимся… с Колей.

– Кутузка по нем плачет, по Губайдуллину, – размышляет соседка. – И вся семейка-то – прямо кодла. Ты, Маш, сходила бы к участковому, ей-богу, дали бы ему годика три, чтоб прочухался…

Мать Копейки вздыхает, и, как эхо, вздыхает девушка. Вздыхаю и я.

– Звать-то вас как? – спрашивает она нерешительно, и я заливаюсь краской.

– Грешилов Алексей…

Девушка всплескивает руками:

– Это в управлении у нас секретарша – твоя мать, что ли, сидит? На машинке печатает?

Теперь они обе рассматривают мое пальто и меня.

– Перловки дашь? – спрашивает девушка.

– На кухне там, в моем столе.

– Плюнь, Маш, – советует она уже в дверях. – Не слушай ты его. А Кольке всыпь.

Малыш затих. Мы молчим все трое.

– Штаны ему только купила, хорошие, лыжные, восемьдесят рублей отдала, – хмурясь, говорит Копейкина мать. – А уж он их порвал, новые ему подавай. А где я возьму? Одна я, мужика-то нету, сбежал. Детей вон настрогал, а теперь ищи-свищи. И Колька весь в отца, обормот… Юрочка заболел, на бюллетне я, за хлебом и то некому сходить.

– Давайте я схожу.

– Да не надо. Соседка уже принесла…

Она поднимает на меня задумчивый взгляд, словно ждет чего-то.

– Только вы его не бейте, – лепечу я.

Миновав коридор, я выскакиваю на улицу. В палисаднике играют в “ножички” четверо ребят, они оборачиваются, и Копейка тычет в меня пальцем.

Через мгновение я оказываюсь у дверей комнаты, из которой только что вышел.

Копейкина мать, забравшись на стол, размешивает в ведре краску.

Уставясь на нее, я молчу и моргаю.

– Чего случилось?

– Тетя… – всхлипываю я. – Выведите меня, пожалуйста!

– Заблудился?

О, как я презираю себя в эту секунду!

– Там… ребята…

Она мигом понимает и, спрыгнув на пол, кричит в коридор:

– Светка!

Малыш опять плачет. Она оглядывается на него, но я поспешно нашариваю на полу прищепку и отдаю ему.

– Отведи ты его, ради Христа, – просит Копейкина мама. – Они его колотить собрались. А Кольке скажи, чтоб сейчас же домой шел…

Девушка смеется за дверью. Она появляется, натягивая на ходу ватник, и машет мне рукой:

– Пошли, начальник!

Березы в Малаховке стоят, осыпанные зеленоватым пухом. Земля еще не просохла, мы прыгаем через лужи, и мама тревожно косится на мои ботинки:

– Промочил?

Мы ищем дачу на лето.

Гладкая тетка заводит нас в комнатку с мутным оконцем. На диване спит кто-то босой, в выцветшей белесой гимнастерке.

Мама приглядывается к дощатой стене.

– Извините, а у вас клопы есть?

– Совсем почти что нету, – лениво говорит хозяйка. У нее усики над пухлой бархатной губой.

Парень на диване просыпается, ерошит соломенный чуб.

– Дачники? – ухмыляется он. – Задаток нужен.

На веранде от нас шарахается привязанный за нитку петух. Мама пугается, а мы с отцом смеемся.

С потолка струйка сочится в таз.

– Это зараз все законопатим, – обещает хозяйка, запахивая жакет на необъятной груди.

– Понимаете, у сына порок сердца, и ему категорически нельзя простужаться. Мы потому и вынуждены снимать дачу, ему врачи в лагерь не разрешают…

Тетка, слушая маму, зевает.

– Куда теперь? – интересуется папа, когда мы выходим из калитки.

– Нет, это просто нахальство! – Мама возмущена. – За такие деньги – такую конуру!

Папа, конечно, молчит.

– Хвойная, дом восемь, где-то тут… – бормочет мама,

перебирая бумажки. – Скажите, пожалуйста, это какая улица?

За забором копается в огороде старуха в долгополом пальто.

– А вам какая нужна?

Мама горько усмехается:

– Вам что, сказать трудно?

– Вы мне скажите, что вам нужно, тогда я вам скажу.

– Господи, что за люди… – И мама шествует дальше.

– А Хвойная, дом восемь – это где? – спрашивает папа.

– Здесь, – торжествует бабка. – Я же вижу, что вам нужно. Только мы уже сдали.

– А вы не знаете, тут поблизости никто не сдает?

Старуха подходит к забору и охотно рассказывает, как идти.

Мы с трудом догоняем маму.

– Ты нарочно решил меня злить?

Но папа хитрый.

– Снаряды кончились… – сокрушенно говорит он и подмигивает мне.

– И солдат не жрамши! – подхватываю я.

Мама сразу все забывает, мысли ее перескакивают на еду. На опушке мы находим пенек посуше, подтаскиваем полусгнивший осиновый ствол. Мама раскладывает на газете яйца, бутерброды с маслом и колбасой, наливает из бутылочки сладкий остывший чай.

– Ей-богу, ты странная, – говорит папа. – То всю анкету выкладываешь до седьмого колена, то не можешь нормально объяснить.

Мама обижается:

– Тебя послушать – я просто непроходимая дура. Найди себе умную!

– А зачем им всем знать, какие у него болячки и что у нас на обед?

– Мы тебе действуем на нервы, я вижу. Ты не можешь один выходной провести с семьей. А между прочим, это твой сын.

– Не может быть, – говорит папа. – Эй, тип, ты чей?

– Твой, чей же еще?

Мы жуем, а высоко над нами ветер раскачивает верхушки сосен. Их мерный глубокий шум пробуждает во мне беспокойство, неясное и почему-то приятное.

Отец, задрав голову, следит за сереньким “дугласом”, который то появляется, то пропадает за мохнатыми облаками.

– Тыща? – прикидываю я. – Или выше?

– Восемьсот примерно.

– Снизится – тогда и подстрелим.

Папа советует:

– Ты открой огонь, а прицелиться всегда успеешь.

– Почему? – удивляюсь я.

– Как говорил сержант Стычкин, если фриц – начальство не заругается, что проспали, а ежели свой – так все равно не попадем…

Мы смеемся. Мама вздыхает:

– Господи, да пропади она пропадом, эта война! Ты так говоришь, можно подумать, что ничего веселее в жизни не было…

Папа ничего не отвечает, достает папиросу. Я вижу, что глаза у него совсем прозрачные и на дне их вспыхивает далекий чужой огонек.

Перед огромной, во всю стену, картиной мы стоим, окружив золотушную девушку в круглых очках, и толкаемся исподтишка.

– Ваши глаза сразу притягивает к себе фигура человека в центре толпы. Он указывает на идущего к людям Христа. Это – Иоанн Креститель. Художник создал яркий образ вдохновенного пророка и грозного обличителя. Лицо его озарено решимостью, верой в грядущее освобождение народа…

Голос девушки слегка спотыкается. Прямо перед ней истуканом торчит Бадя, уставясь на нее, не мигая, и, как всегда, невозможно понять, то ли он заворожен рассказом, то ли спит, не закрывая узких глаз.

Осторожно, чтобы не звякнуть фольгой, Берг пытается развернуть конфету, но она все равно трещит.

– Ему же жарко, – говорит Сяо Лю.

– Кому?

– Они все голые, а этот в тулупе, Креститель…

Крыса оборачивается, но Копейка успевает убрать приставленные ей рожки. Отколовшийся Гордей в сторонке пристально рассматривает картину, на которой нарисована раздетая женщина с негритенком. Наткнувшись на взгляд Крысы, Гордей спешит к нам.

– Двадцать лет жизни художник работал над своим произведением. Картина была закончена в 1857 году, в переломный для русского общества момент. Только что закончилась неудачей Крымская война… Какой вопрос был тогда главный, помните?

– Вы же учили! – ревниво подстегивает нас Крыса. – Что было через четыре года?

Бергу наконец удалось развернуть конфету, но Сяо Лю сцапал ее и отправил в рот. Берг дает ему затрещину.

– Берг!

– Крепостное право отменили, – сердито отвечает Берг.

– Ожидание этого исторического поворота и составило основное содержание картины. “По своей идее близка она сердцу каждого русского, – писал Илья Ефимович Репин. – Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником”…

Нас ведут в следующий зал. Крыса подгоняет нас.

– Поехали в Татарово, – шепчет Сяо Лю. – Хоть окунемся… Все равно три дня осталось.

– Два. В субботу уже консультация по алгебре.

Навстречу нам попадается галдящее стадо малышей.

– Ну! – тихо рявкает Сяо Лю, когда они на мгновение отделяют нас от Крысы и экскурсовода.

Мы ныряем за угол, плутаем по залам и, выбравшись в залитый солнцем двор, врезаемся в очередь за газировкой.

– Свечи есть? – интересуется Сяо Лю у газировщицы.

– Чего? – недоумевает она.

– А на базе? – грозно спрашиваю я, высовываясь из-за плеча Сяо Лю.

Очередь негодует, а мы с гиканьем скачем по Лаврушинскому к набережной.

Я просыпаюсь от звенящего птичьего голоса у меня над ухом.

Прямо на подоконнике цвиркает синица, задирает головку, и я вижу, как бьется ее напрягшееся шелковистое горлышко.

Теплый пряный запах смородиновых листьев льется в комнату.

Из пакли, торчащей между потрескавшихся бревен, выпутывается паучок и бежит сломя голову к потолку, карабкается через пашущего на картинке Льва Толстого.

Не шевелясь, чтобы не спугнуть синицу, я подсвистываю ей. В открытом окне вырастает лохматая голова с оттопыренными, как крылья, ушами и спрашивает:

– Керосин нужен?

Голова рассматривает меня, хмурясь, а птица как ни в чем не бывало прыгает у нее перед носом.

– Дрессированная? – удивляюсь я.

– Ей Барсик крыло отъел, – охотно объясняет парень, сгребая в ладонь синицу.

С веранды приоткрывается дверь, бабушка огорчается:

– Мальчик, зачем же ты его разбудил?

– Вам керосин нужен?

– Ой, нужен, нужен!

– Пошли, – решительно кивает мне голова. – А то разберут все.

Мой новый знакомый терпеливо ждет, пока я натяну штаны.

– Тебя Лешкой звать, я знаю, – сообщает он. – Я тебя целый час жду.

– А ты кто?

– Я – Вовка. Вы у нас живете…

На дорогу бабушка делает нам пирожные – намазывает маслом черный хлеб и посыпает сахарным песком.

– Мне без масла, – требует гость.

Бабушка не может утерпеть:

– Надо говорить “пожалуйста”…

Мы завтракаем на ходу. Стоит прозрачный пасмурный день, за забором цветут вишни. Редкие капли падают с неба, шурша в листве.

– В том году тут один художник в поселке “Известий” снимал, – рассказывает Вовка, – и к его сыну Бесков в гости два раза приезжал. Они потом в футбол играли и меня в ворота поставили. Он мне восемь голов забил. Ты тоже за “Динамо”? А кто болеет за “Спартак” – тот придурок и дурак! Ты в седьмой перешел? Я тоже, только у меня переэкзаменовка на осень по русскому. У нас в классе все отличники – дураки и зубрилы. Особенно девки…

– Мы теперь тоже с девками будем учиться, – говорю я.

– А чего хорошего-то? – фыркает он. – Они только воду мутят. И шепчутся: шу-шу, шу-шу, кто в кого втрескался.

– А красивые у вас есть?

– Ни одной!

На перекрестке стоит телега с бочкой. Мы занимаем очередь и подходим к лошади. Вовка скармливает ей свой хлеб с сахаром.

– Здрасте, дядя Колпакыч, – кивает он деду в тюбетейке, который отпускает керосин.

И дед здоровается с Вовкой.

– Как ты его назвал? – спрашиваю я шепотом.

– А его все так зовут – Колпакыч…

Вдруг Вовка толкает меня в бок. Посреди улицы едет девочка на дамском заграничном велосипеде с разноцветной сеткой на заднем колесе. Она держит руль одной рукой, в другой погромыхивает на весу бидон.

– Фикстула… – хмыкает Вовка. – У Люськи Кукиной снимают, там у них одни бабы…

Соскочив на землю, девочка на мгновение теряет равновесие, но удерживается на ногах. Чувствуя к себе внимание, она оглядывает очередь независимо и нерешительно и внезапным мягким движением головы забрасывает за спину косу.

– А ничего… – тихо говорю я и почему-то сплевываю.

– Да ну! Лупоглазая какая-то… А у тебя велик есть?

– Мне скоро купят.

– А мне купили ХВЗ. Только отец на нем на работу ездит.

Неожиданно девочка подводит свой “Диамант” прямо к нам и просит:

– Мальчишки, возьмите мне, пожалуйста, а то я опаздываю.

Темно-карие глаза ее распахиваются и становятся совершенно огромными.

Без колебаний Вовка отчеканивает:

– Дуня! – И ухмыляется ей в лицо: – Постоишь, не растаешь…

Обиженно дернув плечом, она отходит.

– Какая Дуня? – спрашиваю я с досадой.

– Всю жизнь мечтал ей за керосином стоять, – сварливым голосом говорит он ей вслед и косится на меня за поддержкой. – “Дураков у нас нет”. А сокращенно: “Ду-у-н-я”.

– А “я”?

Он довольно хохочет:

– Тебя позабыли!

Девочка топчется в стороне у забора, покусывает губу и все время посматривает вдоль улицы, как будто ждет кого-то. Исподтишка я наблюдаю за ней, а Вовка – за мной.

– Взять, что ли? – усмехается он.

Я чувствую, что краснею.

Он идет к ней. Она не сразу отдает ему бидон, но Вовка что-то шепчет ей на ухо, она прыскает, и я ловлю ее короткий взгляд, цепкий, как у зверька.

Когда дед Колпакыч наливает нам керосин, она подходит поближе, и Вовка подмигивает мне всей щекой.

Ее зовут Оля.

Я сижу на земле, обхватив колени, и не свожу с нее глаз. Они танцуют с Люськой Кукиной, она вертит Люську по-всякому, и Люська ее слушается и мурлычет:

– На далеком Севере эскимосы бегали…

Фокстрот называется “Девушка играет на мандолине”.

– А ты, Леша, танцуешь?

Швейная машинка стрекочет у крыльца. Люськина соседка Жанна, совсем взрослая девушка, большая и некрасивая, шьет и донимает меня расспросами.

– Я только падеграс умею.

Девчонки стоят, не разнимая рук, ждут, пока Галка, сестренка Люськи, меняет пластинку.

– Ой, иголка упала…

– Вот бестолочь! Последняя иголка! – ругается Люська. – Мы

теперь без музыки остались…

Все шарят в траве, сталкиваясь лбами, вокруг онемевшего патефона. Вовка хватает Люську за пятку, она визжит и лягается.

– А телевизор у вас есть? – спрашивает меня Жанна.

– Маленький.

– Все равно, значит, богатые, – говорит она мечтательно.

– Совсем мы не богатые, – обижаюсь я.

– А какие ж вы? Бедные, что ли?

Оля тоже вскидывает на меня взгляд, полный простодушного любопытства.

– Мы – нормальные…

– Ну сколько батя получает?

– Откуда я знаю?

Жанна недоверчиво улыбается. У нее обветренные красные губы на загорелом лице.

– Небось говорить не велели…

– Честное слово, я не знаю.

– Подумаешь, я тоже не знаю, сколько мой получает, – радостно говорит Вовка.

– Ты вообще долдон…

Жанна опять собирается что-то спросить, я жду с тоской, но, на счастье, незнакомый парнишка ловко проскальзывает в дыру в заборе и идет к нам. Он хмуро кивает нам с Вовкой и, развернув газету, протягивает Люське рентгеновский снимок – пластинку с черного рынка, оттиснутую на чьих-то ребрах.

– А, Валера… – насмешливо улыбается Жанна и косится почему-то на Олю.

– А Галка, рахитка, последнюю иголку посеяла…

– А вы лучше в почту сыграйте, – нахально советует сестренка и тут же получает подзатыльник.

– Правда, давайте в почту! – оживляется Оля.

Валера, осмотрев мембрану патефона, требует гвоздь и напильник и посылает Галку в сарай.

– Только чур я буду почтальоном! – кричит она.

Приносят бумагу, булавки, карандаши. Мы нарезаем и подписываем номера, прикалываем на рубашки.

– Напишем Жанке, что она – корова! – сразу предлагает Вовка.

Но мне не до него. *I love you,* криво пишу я, прижимая клочок к стволу сосны. Прибавляю *so much* и отдаю почтальону.

Патефон, громко шипя, наконец испускает бойкую музыку. Девчонки хлопают в ладоши:

– “Истамбул”!

– Это же самая стильная вещь! – ахает Жанна.

Тут Галка вручает ей послание, она читает его, догоняет Вовку и колотит.

С изумлением я замечаю, что у Валеры в ладони тлеет папироса. Он курит, не скрываясь.

Люська с Олей перешептываются, давясь от смеха.

– Галка, – не выдерживаю я и ловлю ее за косу, – ты передала?

Она доверчиво кивает.

– Она ничего не сказала?

– Она сказала, что ты дурак и что у тебя там грубая грамматическая ошибка.

Под сухой ветлой, сгорбленной над берегом, толкутся мальчишки. Я сторожу от них велосипеды и нашу одежду, сваленную на облысевшую траву. Они по очереди повисают на палке, привязанной к толстому суку, и, раскачавшись, падают в воду.

Гам стоит над желтой водой. Речка мелкая, а народу полно.

– Чокнутый, что ли? – неистово кричит Люська.

Это Вовка подныривает и хватает девчонок за ноги.

Я вижу, как Валера и какой-то рыжий сцепляют руки. Оля забирается к ним, хватаясь за их головы.

– Раз, два, три!

Она кувыркается вниз и выплывает довольная.

А Валера плывет настоящим кролем, выдыхая в воду.

– Ты чего не купаешься, Леш? – спрашивает Люська.

– Неохота…

Она натягивает платье прямо на мокрый купальник.

– Ребята сказали, в кино “Башня смерти” на пять и на семь.

– Я не могу, мне родителей встречать надо.

– С тарзанки ныряю и – ходу! – говорит Валера.

Он дожидается очереди и, красиво изогнувшись, стрелой входит в воду.

В руке у Оли желтая болотная лилия на длинном стебле.

– Ой, какая! – расстроенно тянет Люська. – Где взяла?

– Тут один мальчик подарил…

– Хочешь, я возьму тебе билет? – предлагает мне Люська. – А ты приходи прямо к сеансу.

– Ты разве не идешь? – спрашивает Оля.

– Сказал же, не могу…

Он останавливается на пороге, загородив проем, стаскивает кепку с обритой наголо коричневой головы и рассматривает меня насмешливо и жадно:

– Не помнишь меня, Лешка?

Глаза у него водянисто-голубые под белыми колючими бровями. Он словно быстро ощупывает меня взглядом.

– Помню.

– Врешь, где тебе помнить! Тебе два года было… Ну, здорово, барбос!

Я целую его в сухую щеку, и в нос мне ударяет пронзительный сладкий одеколон пополам с табаком.

– Ты чего нос воротишь? Это меня в вашей чертовой столице в парикмахерской каким-то клопомором одолжили… – Смеясь, он целует бабушке руку.

Дед расхаживает по веранде, топая сапогами, по-хозяйски все разглядывает, все трогает, заходит в комнату, и мы толпой ходим за ним.

– Шикарно живете. И граф Лев Николаевич! Это кто же его тут повесил? Ты, Лешка? Ты, что же, толстовец?

– Это хозяйский, – говорит отец, не сводя с деда сияющих глаз.

– Толстой на стенке – уже, значит, не мерзавцы.

– Люди как люди. Он – мясник.

Дед оглушительно хохочет:

– Мясник – толстовец! Вот это да!

Мы спускаемся в сад умыться.

– Ты Ивана помнишь, Костя? Лешка на него здорово смахивает… Это мой старший брат, – объясняет он мне. – Только он помер прежде, чем ты родился… – И смазывает меня по носу. – Вот с таким же румпелем.

– А глаза у него мои, – говорит мама.

– Коли хочешь знать, Люба, и глаза у него грешиловские. А вот взгляд – точно твой. Ну на кой черт парню этакий нежный взор газели? Ты драться-то умеешь?

– Да где там! Колотят его в школе.

– Кто же его драться научит? – возмущается дед. – Отец называется!

На веранде нас ждет накрытый стол. Окинув взглядом засыпанную укропом, всю в тающем масле картошку, блюдце с редиской и луком, бледные помидоры, бутылку “Столичной”, дед крякает и ладонью снимает капельки, выступившие на кувшине с квасом.

– А у нас только-только багульник зацвел…

Он хватает чемодан, но отец вырывает у него из рук:

– Ну зачем тебе тяжести ворочать? Я же вот он!

– Слушай, Котька, оставь меня в покое! Ей-богу, оденусь и

уеду! Я прекрасно себя чувствую!

Он достает из чемодана мохнатые маленькие бурки с серебристым отливом, вышитые по краям.

– Ну-ка, мерь, Лешка. Это олень.

– Стынет все! – стонет бабушка.

Но дед заставляет меня натянуть бурки и снова лезет в чемодан.

– Все на столе, чего тебе не хватает?

На свет появляется бутылка.

– А спирта у вас нет!

Наконец он усаживается, и отец наполняет стопки.

– Кума, мы на “ты” или на “вы”? Ей-богу, запамятовал!

– Немудрено, – улыбается бабушка. – На “вы”, на “вы”, Василий Никитич.

– Надо будет на брудершафт. И вообще – не приударить ли мне за вами, а? Холостые, молодые – что нам мешает?

Мы смеемся. Отец поднимает стакан:

– Ну, батька, со свиданием!

…Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет
И тихую песню заводит —
Про Родину что-то поет…

Они поют, откинувшись на спинку стульев, уставясь куда-то вверх. У обоих необыкновенно суровые лица, и рука отца лежит на дедовом плече.

Кончив песню, мы сидим в тишине. Сумерки обступили окна.

– Ну-с, – осведомляется дед, – а мат получить не желаете?

– Сейчас чай будет… – заикается бабушка.

Но отец уже расставляет фигуры.

– Ты играешь, Алексей?

– Не очень хорошо.

– Да что же это такое! Драться не умеешь, в шахматы не играешь… А велосипед у тебя есть?

– Нету.

– Черт знает что! Разве парню можно без велосипеда? Сколько он стоит?

Я без промедления сообщаю:

– Восемьсот двенадцать рублей.

– Ты брось деньгами швыряться, – говорит папа. – Тебе сейчас на новом месте – только успевай раскошеливаться. Купим мы ему велосипед.

– Раньше надо было думать, – отрезает дед. – Мой внук, и

деньги мои. Завтра же идем покупать. Кого ты из него воспитываешь?

– Нормального человека, – говорит мама с усмешкой.

Дед смеется:

– А зачем? Их и так развелось как собак нерезаных. Куда ни глянешь – всё постные рожи нормальных…

Бабушка вносит с улицы самовар. От него вкусно тянет дымом сосновых шишек.

– Чай пить – помирать, чай не пить – помирать, уж лучше чай пить! – вздыхает дед и подмигивает мне. – Поехали, Лешка, со мной, на вольное житье, а?

– Куда?

– В Макеевку.

– Поехали! – ору я.

– Это Донбасс? – беспокойно спрашивает бабушка. – Там ведь угольная пыль…

– Череповец еще предлагали, – объясняет дед. – Я решил: ну его к бесу! Хватит. Вреден Север для меня. И потом, в Макеевке Адабашьян, а мы с ним еще до войны в Харькове работали… Так что я теперь – южанин. Вишни посажу под окном, буду вас киршвассером снабжать из собственных погребов…

Сделав ход, он вытаскивает коробку “Казбека”, с удовольствием разминает папиросу, нюхает.

– Ну зачем, батька? – укоризненно говорит отец.

– Я сто лет “Казбека” не курил, оставь меня в покое. Лучше бы Лешку драться научил.

– У него порок сердца, – говорит мама.

– Ему бока намнут, пока он справку предъявит.

– Да я умею, – говорю я, – только я не надираюсь. Вот если меня тронут, тогда дам сдачи.

– И куда ж ты бьешь? – интересуется дед.

– Как куда?

– В какое место? В грудь, в лицо?

– В лицо одни хулиганы бьют, – замечает бабушка.

– В поддых, – говорю я, подумав.

Дед вдруг становится серьезным.

– Бить надо всегда первым, пока тебе вмазать не успели. Заруби себе на носу. И сразу – в лицо.

– Господи, чему вы его учите? – ужасается мама.

Папа смеется. Топорща белые брови, дед вглядывается в доску, шевелит губами.

– Дай ход назад, – бурчит он.

– Ну вот, начинается.

– Заморочили мне голову разговорами, я и зевнул! А позиция

у меня гораздо лучше…

Вот они передо мной – приваленные к стене, как придется, в закутке рядом с баянами на полках и белыми жестяными лейками на полу. От них исходит дразнящий запах тавота, жирный и сладкий. Рамы обмотаны промасленной бумагой и перетянуты шпагатом, и в разрывах обертки видна черная или синяя окраска труб. Мутно поблескивают широкие хромированные обода.

Сонный дядька выдергивает велосипед из кучи.

– Этот? – спрашивает дед.

Вовка и папа тоже смотрят на меня в ожидании. От волнения мне начинает казаться, что продавец перепутал.

– Что же ты молчишь? – говорит папа.

– Они все одинаковые, – печально говорит продавец.

Дед поднимает заднее колесо, раскручивает на весу педали, вслушивается, пробует тормоза.

– В ходу тяжеловат.

Вовка советует взять харьковский.

– Харьковский лучше, и у него седло мягкое.

– Знаю я это харьковское рукоделие… – бормочет дед.

В полузакрытых глазах продавца пробуждается вялый интерес.

– Поцарапано вон, – показывает Вовка.

– Где?

– Что за ерунда! – вмешивается отец. – Все равно он его разукрасит.

– А харьковские есть?

– Тц! – отвечает дядька.

– Нету?

Дед зачем-то трясет велосипед, всхлипывает звонок.

– Я вообще-то как раз такой хотел, – говорю я. – Синий…

На улице мы сдираем бумагу. Открываются сияющие голубые ребра и зубчатка, рубиновый фонарик на заднем крыле, белая пластмассовая эмблема с красными буквами ЗИС. Мне все еще не верится, а дед достает ключи из кожаной скрипучей кобуры, опускает седло, затягивает багажник и как ни в чем не бывало берется за руль.

– Ну-ка, – говорит он.

Оттолкнувшись, он на ходу перебрасывает правую ногу. Посадка у него прямая, он высоко держит голову на жилистой шее, напоминая гуся.

– Он без рук умеет? – шепотом спрашивает у папы Вовка.

Холода нагрянули среди лета. Повисли на кислом небе

оборванные, похожие на тряпки облака.

На веранде Вовка, унылый, лузгает для синицы семечки, и она скачет перед ним на краешке стола. Я стучу в окно, зову его гулять.

– Не могу. – Он задирает босую ногу. – Мать ботинки унесла чинить.

Улица как вымерла, все попрятались. Колючий ветер бьет порывами, забирается под пальто и гремит в ушах. Тягуче, с натугой скрипят деревья.

И у Люськи на участке – никого. Под яблоней курится сиротливо какая-то ветошь, белый дымок волочится, прижатый ветром к земле.

Приникнув к отсыревшим доскам забора, я тщетно вглядываюсь в пустое крыльцо.

Где-то там, за черными слезящимися окнами, – Оля.

– Оля…

Имя отделяется от моих губ туманным клубочком, мгновенно тающим.

Из-за угла выползает лошадь, пар окутывает ее лоснящиеся мокрые бока, и, обгоняя ее, Вовка шлепает ко мне по лужам в спадающих галошах.

– Так и знал, – ухмыляется он. – Пошли к ним?

– Да ну.

Телега едет мимо, громыхая подвязанным к задку ведром. Всякий раз, когда лошадь вытаскивает копыто из тяжелой грязи, раздается смачный лопающийся звук.

Вовка пронзительно свистит.

– Со скуки помереть можно, – говорит он.

Вскоре на крыльце показывается Люська, набросив ватник, высовывает ладонь на дождь. И, поколебавшись, спускается к нам.

– Вы чего делаете? – интересуемся мы.

– А вы?

– А мы к вам пришли.

Зевнув протяжно, она сообщает:

– А в Быкове девушку убили.

– Кассиршу, – уточняет Вовка. – Ее амнистированные убили и на кусочки разрезали. А потом кусочки собрали, сложили, смотрят – а это кассирша из “Промтоваров”.

– Кто собрал?

– Мильтоны. К отцу на мясокомбинат с собакой даже приходили.

За Вовкиным рассказом я не заметил, откуда в саду взялась Оля. Она присоединяется к нам.

– Никак не могу согреться… – говорит она сизыми губами.

В волосах у нее вздрагивают застрявшие капли.

– У вас свет есть? – спрашивает Люська.

– На нашей стороне ни у кого нет. Столбы вчера повалило.

Нет на свете такой вещи, которой бы не знал Вовка.

– А мне кабан снился, – говорю я.

– Кабан?

– Как будто я по лесу бегу, а он рядом бежит. И на меня поглядывает. Причем мне совсем не страшно, а, наоборот, хорошо, что он со мной бежит. Такой ласковый кабан… Потом лес кончился, и я вдруг полетел. А он внизу бежит и стал уменьшаться, все меньше, меньше и совсем пропал. И так мне жалко стало, что кабана больше нет…

– Чего вы там мокнете? – кричит нам женский голос из окна. – Ступайте в дом и кавалеров зовите…

Оля задумчиво смотрит куда-то в пустоту.

– Это моя мама, – говорит она, встрепенувшись.

Ужинаем мы с бабушкой при свечке.

– Спать рано, а читать темно, – ворчит бабушка. – Прямо как в ссылке…

– А мама когда приедет?

– А куда ей торопиться!

От ее саркастической усмешки мечется пламя свечи. Причудливые тени разбегаются по бабушкиным морщинам.

– Засунули нас на эту чертову дачу, им и горя мало…

Дождь все шелестит в саду. Струя воды скатывается с крыши и звучно разбивается прямо под нашим окном. Хочется спать под ее бесконечное сбивчивое бормотание.

Лампочка над столом вспыхивает, и в абажуре сразу же оживают, шуршат мотыльки.

– Слава богу! – веселеет бабушка. – Ты почему котлету не съел?

Погасив свечу, она приглядывается ко мне, как всегда, с суеверным страхом.

– У тебя глаза блестят!

– Опять двадцать пять…

Но она уже вскочила и несется в комнату, вытряхивает шкатулку с лекарствами, машет градусником.

– Только не хватает, чтобы ты заболел!

В полдень одуряюще трещат кузнечики в сухой траве за окном.

Печет нещадно, на белый подоконник больно смотреть, а бабушка водит ладонью в воздухе, нашаривая сквозняк.

Я терпеливо жду, пока ей надоест.

– Ей-богу, дует! – говорит она, и у нее останавливается взгляд.

Обливаясь потом на горячей подушке, я играю с бабушкой в “шестьдесят шесть”.

– И хоть бы какой-нибудь завалящий козырь, – бормочет она. – Одна дрянь…

– А валет?

– Ты что, подглядываешь?

– Раз у меня его нет, где же ему быть?

Тут ее опять подбрасывает на стуле.

– Я же чувствую, что дует!

– Как может дуть из стены?

На веранде кто-то сдавленно хихикает, доносится возня, и мордочка Люськи Кукиной просовывается в дверь.

– Можно? – спрашивает она, с трудом сдерживая смех.

– Заходите, заходите, только двери закрывайте…

Люська исчезает, я слышу шепот, и через секунду она втаскивает в комнату упирающуюся Олю.

– Здравствуйте…

Она улыбается неловко, и я вижу, что она загорела и у нее чуточку облупился нос.

Девчонки мнутся и, переглянувшись, прыскают, как по команде. Бабушка, поджав губы, рассматривает обеих.

– Ну, как ты себя чувствуешь? – спрашивает Люська.

– Я уже выздоравливаю.

– Какой скорый! – сухо говорит бабушка. – Доктор сказал, что тебе с нормальной температурой еще четыре дня лежать.

И зачем-то поправляет мою подушку. Я с досадой отбиваюсь.

– Я даже не слышал, как вы зашли, – говорю я.

– Мы же босиком, – объясняет Люська.

По глазам ее видно, что она вот-вот опять расхохочется.

– А вы учитесь? – величественно спрашивает бабушка.

– А как же! Я в седьмой перешла, а вот Ольга в восьмой…

Оля с независимым видом предлагает:

– Может, вам помочь?

– Правда, давайте мы чего-нибудь сделаем! Хотите, за водой сбегаю?

– Ну, если вам не трудно…

Люська первой выскакивает на веранду, отпихнув Олю. Бабушка идет за ведром.

Руки у меня ледяные и колючая сухость в горле.

Мы остались вдвоем.

– Что ты читаешь?

– “Большие ожидания”.

– А… – Она неуверенно кивает.

– Это Диккенса, который “Дэвид Копперфилд” написал.

Она стоит, прислонясь к стене и упрятав за спину руки, точно она у доски. Смутная улыбка бродит у нее на губах. Вдруг она быстрым движением засовывает за ухо мокрую прядь волос.

– Купались? – выдавливаю я.

– Что? – переспрашивает она, хмурясь.

– На речку ходили?

– Нет, я просто голову вымыла…

Бежит драгоценное время. Меня охватывает непреодолимое отвращение к себе.

– Куда это Люська подевалась? – сердито говорит Оля.

Я спускаюсь на край берега, раздвигаю заросли, сажусь на корточки. Цветок слегка относит в сторону. Я подгребаю, толстый стебель не поддается, пружинит, как резина, я надрезаю его ногтем и отламываю.

Мой букет остро пахнет болотом.

Короткая коса заросла ольхой, в разрыве кустов видны плети ряски в темной, неподвижной воде. Сверкнуло желтое пятно и пропало за маслянистой зеленью осоки. Вот они где прячутся.

Я складываю на мох свою добычу, раздеваюсь. Кочка оседает подо мной, выцеживая розоватую жижу.

Я вхожу в душную воду. Ольховый куст торчит из берега, нависнув над лилиями. Ухватываюсь за сук. Со дна бегут пузырьки, скользким холодом окутывает ступни. Еще немного, и я касаюсь поверхности плоского листа, мясистого и шероховатого. И проваливаюсь с головой в яму. Я извиваюсь, колочу что есть силы по воде и, нахлебавшись зеленой, пахнущей гнилью бурды, сам не понимаю как, выскакиваю и вцепляюсь в ольху.

В протоке покачивается лодка.

– Дяденька, сорвите мне, пожалуйста, вот эти лилии.

Голый рыболов недовольно щурится и берется за весло. Сухо шуршит камыш, расступаясь. Одну за другой он достает все четыре лилии.

– Спасибо большое!

Он бросил и промахнулся, лилии, не долетев, опускаются на воду. Я сползаю за ними, тянусь и не могу дотянуться – дно обрывается.

А дядька уже выгребает на середину, и лягушки провожают его скрипучим стоном.

– Боишься? – говорит он кисло. – Да тут мелко…

– Я плавать не умею, дяденька.

Но ему уже не до меня.

Отплевываюсь, отдираю ряску.

Лилии уносит в протоку, они кружатся, колеблемые слабым течением, переливаясь на солнце матовой влажной желтизной.

Навстречу мне в сумерках проносится “Диамант”, обдав меня пыльным ветром.

Мы оба тормозим, она спрыгивает на землю и ждет, пока я развернусь. На руле ее велосипеда раскачивается полная авоська.

– Жанкин день рождения, все уже за стол садятся, а хлеб забыли купить… – Она прерывисто дышит. – Ой, красота какая…

Пальцем она осторожно поглаживает, словно котенка, чашечку цветка.

– Это кому же?

И поднимает на меня хитрые, сияющие глаза.

Я вдруг угрюмо бормочу:

– Мало ли кому…

Она смотрит на меня с простодушным изумлением и медленно, беспомощно краснеет. И, дернув плечом и пряча лицо, суетливо нащупывает ногой педаль, соскальзывает, торопится. И я вижу, как у нее вздрагивают губы.

Я стою, тупо глядя ей вслед, с велосипедом в одной руке и с букетом в другой, как победитель велогонки.

Горбится передо мной пустынная улица в сером тающем свете.

Лилии я высыпаю в канаву.

Я бью, мяч гулко колотится в дощатую стену сарая, я бью еще и еще, раз за разом.

Бабушка стоит на крыльце, сложив на животе руки, уставясь вдаль. Когда мяч закатывается в траву у ее ног, она с ненавистью пинает его и уходит в дом.

Пот щиплет глаза. Я утираюсь майкой. Разбежавшись, вкладываю всю силу в удар.

Я иду за мячом и у калитки натыкаюсь на взъерошенную маму.

– Что с тобой? – пугается она.

Бабушка, дрожа от негодования, летит навстречу.

– Вы меня хоть золотом осыпьте, я с ним не останусь ни на минуту!

– Что тут у вас происходит?

– Он со вчерашнего вечера ничего не ел!

– У меня тоже с утра крошки во рту не было, – устало улыбается мама. – Лешка, ты сейчас умрешь. Мама, не падай в

обморок. Мы с ним едем на юг.

– Куда?

– На юг, на море, в Гудауту.

И в изнеможении валится на диван.

– Деньги некуда девать, – бормочет бабушка. – Такая хорошая дача… И Костя едет?

– Его не отпустили, – сухо отвечает мама.

– Опять? – спрашивает бабушка саркастически.

– Мама, не порти мне настроение…

Она нетерпеливо поглядывает на меня.

– Нет, как вам нравится! Я думала, он до потолка прыгать будет… Ты же моря-то никогда не видел!

Слова застряли у меня в горле.

– Нет, правда, это какой-то выродок, – нервно говорит мама.

Никто не отзывается на стук в окно.

На дверях замок.

Сквозь кисею занавесок мне виден стол с неубранной посудой. Я зачем-то дотрагиваюсь до ржавой, нагретой солнцем дужки замка, и она тихонько лязгает.

Обогнув дом, я поднимаюсь на Люськино крыльцо, захожу в темные сени.

– Можно Люсю?

При виде меня желтый кот недовольно спрыгивает с пышных подушек. В комнате разговаривает радио.

– Кто-нибудь есть дома?

Кто-то кряхтит за перегородкой. Старик в меховой безрукавке привстает на топчане и, приоткрыв беззубый рот, вопросительно улыбается мне.

– Извините, а где Люся?

– В город поехали, в город! – кричит он и кивает.

– А Люся когда вернется?

– Что?

– Когда Люся вернется?

– Нет никого, в город поехали, – повторяет он неуверенно. – Скоро приедут…

Я показываю на стенку и тоже кричу:

– Вы не знаете, где ваши дачники?

Он напряженно вглядывается в мои губы.

– Леша, пойди погуляй, – сдержанно говорит мама.

В сумерках мы стоим у вагона, отец стряхивает пепел с папиросы и косится на меня с сожалением. Ему явно не хочется, чтобы я уходил.

– Ну, ступай… – бормочет он.

Я слоняюсь в сутолоке по перрону, вдыхая угольный сладковатый запах вокзала, не зная, куда себя деть.

Мама плачет:

– Ты со мной никогда не считался…

– Это же работа, Люба.

Украдкой отец бросает взгляд на часы на столбе, и она взрывается:

– Ты знаешь одно только свое удовольствие!

– Хватит вам! – не выдерживаю я. – Люди смотрят!

Отец смущенно сопит. Виноватость в его глазах какая-то ироническая.

– Ну, поросенок, будь здоров… – И, морщась, добавляет: – И мать не серди. Видишь, она нервничает…

Проводница принесла белье и привела военного с крыльями на фуражке. Забросив чемоданчик на полку, он оглядел нас и бодрым зычным голосом сказал:

– Что это вы, товарищи женщины, такие невеселые?

И застенчиво поставил на столик бутылку коньяку.

Наша соседка нахмурилась при виде бутылки. Мама молча постелила и ушла умываться.

За окном проплывал еще только Донской монастырь, а уже все женщины в вагоне были в халатах, а мужчины – в полосатых пижамах.

Переодевшись, все, как по команде, сели закусывать.

Только в нашем купе повисла унылая тишина. Пришлось раздеться и лечь. Военный, озираясь, курил в коридоре.

– А маму, значит, под потолок? – Он покачал головой. – Это, брат, не дело…

Я смутился и не стал ничего объяснять.

– Зачем же вы в чужое воспитание лезете? – сказала соседка, неприязненно улыбаясь, и, как мышь, втянула внутрь морщинистые щечки с пятнами пудры.

Я полез наверх.

Мама вошла и сразу сказала:

– Лучше не зли меня.

Летчик подмигнул мне.

– Что я, драться с тобой должна?

– Напрасно вы, гражданочка, переживаете, – ласково заговорил он, но она так посмотрела на него, что он осекся.

– Я хочу спать! – закричал я. – Оставьте меня в покое!

– Грудной он, что ли?

– Он хуже грудного! Я его стульями загораживаю, он и то

умудряется падать!

– Это же не кровать, – засмеялся летчик. – Мы же тут специально наклон имеем, чтобы не загреметь. Повернется – а его все равно к стенке поведет.

– Почему это?

– Как почему? – удивился он. – Гравитация…

Мама порозовела слегка.

– Вы будете отвечать, – сказала она, сдаваясь.

– А по маленькой для знакомства? – обрадовался летчик, достал из чемодана яблоко и протянул мне. – А, товарищи женщины?

Тетка кисло усмехнулась:

– Позвольте мне раздеться.

Ей почему-то не понравилось, что все так удачно разрешилось. Раздевшись, она потушила свет.

Летчик так огорчился, что мне стало жаль его. Он долго топтался в темноте, стягивая сапоги. Вдруг он крякнул, решительно налил стакан коньяку, выпил и прыгнул на полку.

Ночью я слышу грохот.

Кто-то тормошит меня, кричит, плачет. В тусклом синем свете я вижу две склоненные ко мне головы.

– Я так и знала! Уверена была!

Летчик быстро ощупывает мою голову, бока, руки:

– Где больно?

– Да не больно ни капельки!

Мама недоверчиво следит за тем, как я поднимаюсь с пола.

– Господи, зачем я только вас послушала! С ним же нельзя быть спокойной ни минуты, это не ребенок, это какой-то кошмар!

– Мама, – шепчу я сердито, – ты же голая!

Они с летчиком пугливо косятся друг на друга. На нем только белые подштанники, а мама в ночной рубашке.

Она с визгом кидается под одеяло, а летчик – к дверям. Купе наше сотрясается от хохота.

Наутро не только в нашем, но и в соседних вагонах уже знают, что я упал. У нас полно народу, сесть негде, и мне уже порядком надоело торчать в коридоре.

– Нет, вы себе представьте! – рассказывает мама очередному гостю. – Буквально сантиметр в сторону – и он бы ударился головой об стол! Это надо умудриться!

– Ну, хватит, – ворчу я.

Пузатый дядька в украинской вышитой рубашке осматривает место происшествия, прикидывает высоту.

– То, видать, как дернуло покрепче, ты и нырнул, – рассуждает он.

– Так он же не с этой полки упал, а вон с той, – возражают ему. – Мы же вон куда едем!

– А мы в Курске паровоз меняли, – вспоминает проводница. – Это в котором часу было?

Летчик стеснительно пожимает плечами. Он с утра не проронил ни слова.

– Это было ровно без двадцати три, – хладнокровно сообщает соседка. – Я сразу же на часы посмотрела.

– Точно! Как раз мы паровоз меняли, он нас назад подавал.

– Он и нырнул! – заливается дядька. – Без парашюта!

За окном летит нескончаемый южный день, дымный, солнечный, мелькают белые мазанки, крытые золотистой соломой, встает громада, черная среди желто-белесой степи, и поворачивается, пока мы ее огибаем.

– Ой, что это? – спрашивает девушка.

– Это терриконы, – объясняю я.

Человек в кителе смеется:

– А что такое терриконы?

Я презрительно пожимаю плечами:

– Сваливают в кучу пустую породу, вот и получается такая гора.

– С ним лучше не связываться, – улыбается мама. – Где он это все берет – хоть убей, не знаю!

– Перестань, мам!

– А что я такого сказала? – обижается она.

На станциях нас караулят бабки с ведрами и корзинами. Они бросаются к дверям и окнам вагонов и певучими голосами предлагают свой товар, а мы мечемся между ними.

– Мама, это кукуруза?

Торговка торопливо разворачивает марлю, натирает солью дымящийся початок. Аппетитный пар щекочет мне ноздри.

– Покушай, хлопчик…

Мама удивляется:

– Ты никогда не ел кукурузы?

Загорелая краснолицая молодуха чертит босой ногой в пыли.

– Почем вишня?

– Десять карбованцев.

– Кило? – недоверчиво спрашивает мама.

Девушка пугается:

– Та ведро…

И, дурея от дразнящего изобилия и непривычно дешевых цен, мы тащим с собой в вагон горячую вареную картошку и

малосольные огурцы, вздутые, все в складочках, огромные помидоры, мелкие, каменные, необыкновенно сладкие груши и ведро вишни, которое нам нипочем не съесть.

– …А в Уфе у Лешки последние штанишки украли…

Мама рассказывает, не в силах оторваться от помидора, жадно ловит его сахарный багровый сок, чтоб не пропало ни капли.

– Мы там прямо на пристани две недели валялись. У него единственные штаны были. Я постирала, сушиться повесила, а их увели… Он у меня там совсем помирал. Врач посмотрел и говорит: вы силы зря не тратьте, вы еще молодая, живы будете – еще нарожаете, а ему все равно не выжить…

– Тиф, что ли?

– Не дай бог! – пугается мама. – Понос голодный.

– Да-а… – тянет толстяк. – Вот тогда бы эту обжираловку!

И самодовольно смеется и обводит всех взглядом – как хорошо, что все мы живы!

– Мы в сорок втором в Копейске жили, муж мой приехал на два дня, их там переформировывали… – вступает проводница. – Я картошечки достала. Муж говорит: у меня поллитра есть, сходи обменяй на что-нибудь. Ему, бедненькому, конечно, выпить охота, ну, он увидел, на кого мы похожи, и не выдержал. Водка тогда, сами знаете, дороже всех денег была. Взяла я эту поллитровку и пошла с дочкой на базар. Гляжу – инвалид безногий бутылку масла продает. Предлагает меняться. А я, дура, думаю – ведь что ни купишь, все враз съедим, а масла надолго хватит. Поменялась я с этим инвалидом, чтоб ему ни дна ни покрышки, прихожу домой, а в бутылке только стенки маслом обмазаны и сверху чуточку налито, так смотришь – вроде масло. А там – вода… Господи, как я ревела!

Она, кажется, и сейчас готова заплакать.

А слушатели кивают и улыбаются задумчиво, у каждого своя похожая история плывет перед глазами, осеняя лица особой, сладкотомительной грустью военных воспоминаний. В их улыбках – и жалость к себе, и превосходство над самими собой тогдашними, прежними, времен войны…

– Эти инвалиды – это какое-то бедствие, – оживляется вдруг наша соседка. – Я живу на Дорогомиловской, так у нас на рынке до сих пор проходу нет от этих инвалидов. Пьяные вечно, дерутся, ругаются! Мы даже в Моссовет писали!

– А у нас во дворе контуженый жену убил, – говорю я. – Он ее из пистолета застрелил, потому что она с ним жить не хотела.

– Какой ужас! – говорит тетка. – И главное, что на них нет никакой управы. Милиция сама их боится.

Проводница вздыхает в дверях:

– Народ от войны лютый стал.

– Да войны уже десять лет как нет, а он – все лютый!

Летчик как-то странно щурится.

– Инвалиды буянят… – говорит он, заерзав, и неприязненно улыбается. – Интересно знать, где бы вы все были, кабы не эти инвалиды?

Воцаряется неловкая тишина.

– Я же совсем не в этом смысле… – заикается тетка, оглядываясь за поддержкой.

Летчик спрашивает у мамы:

– Извиняюсь, ваш муж на фронте был?

– Всю войну, – вздыхает мама. – Ранен два раза…

– Руки-ноги целы?

– Слава богу, целы.

Он отворачивается к окну и бормочет:

– Ну, счастье ваше…

Я караулю вещи на узком перроне. Толпа быстро растекается во мраке. В горячем, мягком воздухе, насыщенном влагой, струятся пряные запахи, и женщины кричат гортанными голосами.

Мама приходит в сопровождении высокой, прямой как доска старухи во всем черном. Мы берем чемодан и идем за ней.

Редкие фонари горят в кронах деревьев, бросая лучик света на темную зелень. Прямо на тротуарах сидят на стульях смуглые люди, разговаривают и смеются, разглядывая прохожих без всякого стеснения.

Мы сворачиваем в переулок. Шум и голоса улицы сразу удаляются, смолкают. Старуха легко шагает впереди, то и дело пропадая во тьме, и мы с трудом поспеваем за ней, торопимся, перебираемся через насыпь железной дороги, карабкаемся в гору. Наконец она впускает нас в калитку и зажигает лампочку над входом.

В домике стоит чужой, кислый запах.

Мы распахиваем оконце, и откуда-то снизу доносится мерный влажный шорох осыпающихся камней.

Мама растерянно смотрит на меня:

– Пойдем на море?

– Где море? – допытываюсь я у старухи. – Море, море?

Понять, что она говорит, невозможно. Держась за руки, мы ощупью спускаемся по тропинке.

Над нашими головами – черное бездонное небо с яркими звездами, похожими на крупинки соли. Невидимые волны

накатывают на берег с глухим нарастающим гулом, и что-то мерцает в их сумрачной глубине, перемигиваются блеклые огоньки.

Мама зябко вздрагивает, и дрожь ее передается мне. Я беру ее руку.

– Как-то вдруг одиноко, – говорит она.

Сквозь строй обалдевших малышей, бабушек и мам с огромными букетами и цветами в горшках я проталкиваюсь к табличке “7Б”, которую держит Виктория Борисовна, молоденькая химичка, и сгоряча оказываюсь в толпе десятиклассниц.

Взрослые, недоступные, с короткими модными прическами вместо кос, они снисходительно косятся в мою сторону, и пот катит с меня градом.

Пинок в спину означает, что я добрался до своих.

Я ору бессмысленно, хлопаю по рукам, плечам, получаю в ответ одобряющие затрещины и толчки.

Все стали какие-то нескладные, худые. И шевелюры запустили – нам теперь можно, кончились наши страдания. Только Сало все такой же увалень, и Копейка ничуточки не подрос и по-прежнему лысый, и опять пятно зеленки на темечке.

– Чего ж ты лысый, Копейка?

– А чего хорошего в зачесе-то? Только вшей разводить…

– Врет он! Лишай у него был! – хохочет Берг, и Копейка бросается на него.

Мы гогочем. Девчонки держатся особняком.

– Поберегите глотки, – говорит Виктория.

– А где же Крыса?

– Ты что, не знаешь? Крыса умерла летом.

– Врешь!

– Виктория Борисовна, это правда – про Анну Михайловну?

– Да, ребята, к сожалению, правда…

– А у ашников одна баба чемпионка Москвы по гимнастике, – сообщает Пиня.

– А нам какие-то конопатые достались…

– У тебя тоже гимнастерка? У нас только Гордей и Берг в кителях, а так – сплошные гимнастерки…

– А я на коне ездил!

– А я в деревне с одной девкой целовался!

– Ты с кем сидеть будешь? – спрашивает Копейка.

– С Сяо Лю, конечно.

– Уехал Сяо Лю, у него отца в Молдавию перевели…

– Вот гад, – опечаленно говорю я. – И мячик мой зажухал…

На лестнице мы украдкой разглядываем девчонок.

– Что? – смеется Виктория. – Барышни вас не устраивают?

– Ни одной хорошенькой!

– А вы на себя гляньте…

У дверей класса она нас придерживает:

– Пропустите девочек, будьте мужчинами.

После толкотни, сопровождаемой хихиканьем, девочки заходят первыми.

Мы бежим в конец и затеваем потасовку. Кто-то толкает меня, и я врезаюсь в Бадину заднюю парту у окна. И вспоминаю, что ее хозяин не показывался.

– Братцы, а где Бадя?

– Он на “Фрезер” работать пошел, – говорит Копейка.

Тут до него доходит, что мне задаром досталось лучшее место, на меня налетают, я отбиваюсь. После стычки моим соседом становится Пиня.

По звонку к нам в класс входит директор. Мы еще шумим, разгоряченные возней, и Гордей успевает схлопотать по уху от сидящей впереди девчонки.

Виктория Борисовна разворачивает газету и ставит на доску фотографию в рамке. С портрета смотрит на нас, улыбаясь, Крыса.

– Ребята, – говорит Яков Степаныч, – двадцать восьмого июля скоропостижно скончалась Анна Михайловна Непомнящая, ваш классный руководитель. Анна Михайловна прожила короткую и славную жизнь. Она прошла путь от беспризорницы в одной из первых трудовых колоний до заслуженной учительницы. В сорок первом году Анна Михайловна ушла добровольцем на фронт и провела в действующей армии три года. Тяжелое ранение вывело ее из строя. Анна Михайловна была награждена боевыми орденами. Девять лет своей жизни она отдала нашей школе… Прошу вас почтить ее память вставанием.

Стучат крышки парт, и растерянная глухая тишина повисает в классе.

Ни с кем из учителей мы столько не воевали и никому не доставили столько хлопот.

Директор уходит, Виктория садится за стол и говорит:

– А почему это первая парта пустует? Я хочу видеть перед собой живые лица, а не мебель. Пинчук, ты ко мне хорошо относишься?

Пиня встает и краснеет, все смеются.

– Вот и хорошо. Переезжай ко мне. Девочка с челкой, как твоя фамилия?

– Патрикеева… – бормочет высокая, тоненькая девочка в

очках.

– И ты, пожалуйста, садись на первую парту.

К общему восторгу, Пиня садится с девчонкой.

– Другое дело… Теперь мне будет приятно приходить на урок. С сегодняшнего дня мы с вами приступаем к новому предмету – химии. Вы должны завести себе две тетради, одну – для лабораторных работ, другую…

Дверь распахивается, на пороге вырастает взъерошенная девчонка с белыми бантами в черных как смоль косичках. Со скуластого темного лица смотрят на Викторию узкие глаза.

– Извините… – выпаливает она.

– Как твоя фамилия?

– Бедретдинова…

– На первый раз прощается. Ступай к Грешилову, на последнюю парту.

Опять класс гудит, все оборачиваются, а я заливаюсь краской.

– Повторяю, – говорит Виктория, – одна тетрадь вам понадобится для лабораторных работ, а в другой мы будем решать задачи. Наука химия изучает строение вещества, взаимодействие веществ и различные процессы, в результате которых молекулы одного вещества превращаются в другое. Откройте тетради, приготовьтесь записывать…

Двор за окном опустел. Родители разошлись. Поредели тополя у забора, и ветер гоняет по земле пожухлые, скрученные листья.

Украдкой я поворачиваю голову и натыкаюсь на такой же вороватый, настороженный взгляд моей соседки.

Хмыкнув, она сердито роется в портфеле, никак не может отыскать тетрадку. Солнце просвечивает насквозь ее маленькую смуглую мочку.

– Сегодня первое сентября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года…

1976

Свет Выборга

Памяти Павла Лебешева

Полвека тому назад мы были молоды и мечтали снимать кино. А нам не давали – не доверяли. И мы жутко маялись. И вот весной 67-го года я получил предложение от Экспериментальной Творческой киностудии Григория Чухрая принять участие в создании киноальманаха “Начало неведомого века”. Предполагалось, что альманах будет состоять из нескольких новелл – экранизаций советской классической прозы, и приглашенное молодое поколение советских режиссеров (к которому я имел честь принадлежать) прославит предстоявший в ноябре пятидесятилетний юбилей октябрьского переворота (который назывался тогда Великой Октябрьской социалистической революцией).

Я получил в руки сценарий, на его титульном листе стояли три имени – ни один из авторов не был профессиональным сценаристом. Написали его журналист Илья Суслов, его младший брат оператор Михаил и режиссер Борис Ермолаев, вместе с ними я учился во ВГИКе. В основе сценария лежал превосходный рассказ “Ангел” из ранней прозы Юрия Олеши.

Режиссер в простое, особенно молодой режиссер, начинает загнивать, как капитализм по Марксу, и сомневаться во всем, прежде всего в самом себе. К тому моменту я уже почти три года мыкался – мои проекты отвергались “Мосфильмом”, сценарий, который написали для меня Зак и Кузнецов, закрыли. Предложение студии Чухрая – это был нешуточный вызов, и долгожданный. Вот теперь поглядим, думал я про себя, режиссер ты или так, недоразумение…

С чего начинается работа над фильмом? С формирования съемочной группы. С кого начинается съемочная группа? Разумеется, с оператора! С того, кто будет смотреть в глазок и нажимать на кнопку, от кого зависит качество изображения, картинка. Выбор оператора – всегда риск, это шаг судьбоносный, почти как выбор жены, он не только полнокровный соавтор режиссера, его первый друг и собутыльник, именно от него зависит, будешь ли ты засыпать после съемки усталый, но счастливый, или придется ворочаться в постели, кляня бессонницу и судьбу.

Меня раздражало изображение в советском кино. Конечно, был еще жив и здоров великий и чудной Сергей Павлович Урусевский, в расцвете сил и зените карьеры были Вадим Юсов и

Герман Лавров, всходила звезда Георгия Рерберга – но это все были исключения. Средний мосфильмовский оператор, страхуясь от козней отдела технического контроля, привык закладывать в изображение излишек освещения, отчего картинка выглядела приподнятой, лакированной.

А я мечтал о камере, видящей мир жестким и трезвым, о резких перепадах света и тени, о контрасте, в котором выразится темперамент автора и повысится температура рассказа. Я хотел увидеть изображение таким, как у француза Рауля Кутара в фильмах Жан-Люка Годара или у шведа Свена Нюквиста в фильмах Ингмара Бергмана. И при небольшом своем опыте знал, что советская черно-белая пленка А-2 была вполне качественной и давала такую возможность.

После недолгих размышлений я принял бесповоротное решение – никакого искусственного света, никаких павильонов, снимаем только на натуре, при естественном освещении, без грима и осветительных приборов. Теперь предстояло найти союзника – оператора.

На мои предложения со строгим предупреждением о том, что приборов на съемке не будет, и Юсов, и Лавров отвечали иронически, в один голос: “Вот ты сам и снимай…” Я решил обратиться к Пашке…

Тут приходится остановиться и задаться вопросом – вопросом и этики, и стиля. Речь зашла о выдающемся российском операторе Павле Тимофеевиче Лебешеве, работавшем с лучшими нашими режиссерами, и не только нашими, обладателе многочисленных кинематографических призов, кавалере правительственных наград и государственных премий, приз его имени ежегодно вручается лучшему оператору на фестивале “Дух огня” в Ханты-Мансийске. Уместно ли тревожить тень друга, который вот уже тринадцать лет покоится на Кунцевском кладбище, и при этом фамильярно называть его Пашкой?

Лебешев был настоящее дитя “Мосфильма”. Его отец Тимофей Павлович – крепкий советский оператор, снявший больше двух десятков картин, не только популярную довоенную “Девушку с характером” Константина Юдина, но и такие заметные в общем советском потоке, как “Случай на шахте восемь” Владимира Басова или “Мичман Панин” Михаила Швейцера. Павел с шестнадцати лет работал на студии сначала механиком, потом ассистентом и, можно сказать, с молоком матери впитал простые и грубоватые нравы операторского цеха – цеха, прежде всего, технического, где одинаково важны и механика, и оптика, и химия, где ценятся умелые руки слесаря и безошибочный глаз фотографа. Конечно, когда он стал маститым,

обращались к нему со всем почтением по имени-отчеству, но в памяти друзей, тех, кто с ним работал и его любил, кто называл его иногда ласково “Павлик”, он был и остался Пашкой, и когда в Киеве на съемке Рома Балаян сообщал: “Пашка звонил, передавал привет”, это означало, что он говорил с Лебешевым.

Мы познакомились в спортзале. Он учился на заочном операторском факультете ВГИКа и играл за институтскую баскетбольную команду на первенство московских вузов. Виделись мы на тренировке или на игре в Лужниках, а после игры – в пивной по соседству. Когда я предложил ему снимать “Ангела”, за плечами у него была вгиковская ученическая короткометражка, как оператор был он совсем зеленый. Он охотно согласился. Я предупредил, что снимать придется без осветительных приборов. Пашка с легкостью необыкновенной, несколько меланхолически отвечал фразой, которая со временем станет в кино легендарной: “Да, б…, хоть без пленки!..” Конечно, бранное междометие можно опустить без ущерба для содержания, но, согласитесь, оно придает высказыванию живости, а значит – красоты.

Сегодня это звучит пророчеством. Во всем мире изображение стало цифровым, и пленка, которую мы, старики, любим нежной сыновней любовью – хотя бы за то, что в темном пространстве кадра она дает существенно больше градаций черного, чем цифра, – пленка бесповоротно уходит в историю кинематографа. Лебешев не дожил до этих времен. Ни до, ни после, за всю свою длинную жизнь не встречал я никого, кто бы так непосредственно, как дитя, без тени сомнения верил в свой дар и судьбу. Неудачи его только злили. Когда фильм положили на полку, он мне сказал: “Наплюй, все равно мы самые талантливые…”

Но это все случится потом, а пока что в моем рассказе течет лето 67-го года, мы выбрали натуру под Выборгом, нормальные люди уехали на Кавказ или, в крайнем случае, в Серебряный Бор, а мы с Пашкой и художником Володей Коровиным как проклятые сидим в душной Москве над раскадровкой – в сентябре нам снимать. Мы уезжаем в Питер, там продолжается формирование съемочной группы, а главное – мы начинаем пробы актеров на натуре без осветительных приборов, и мне предстоит увидеть, каковы будут плоды долгих бдений, как воплотятся в волшебном изображении наши мечты и фантазии, или, проще говоря, я наконец увижу, чего стоит в деле мой новый оператор.

Покидая столицу, мы поклялись друг другу – не пьем, снимаем на трезвую голову. Но клятву не сдержали, выпили с питерскими друзьями вечером перед первой пробой. Наутро мы

выезжаем за город и там, в сельской местности, снимаем актеров и сами как бы разминаемся – строим длинные кадры со сложной мизансценой и движением камеры. Вместо осветительных приборов оператор использует отражатели (щиты, покрытые фольгой) и затенители (такие же щиты, затянутые черной тканью), и на глаз свет в кадре выглядит неплохо. Материал проявляется в лаборатории “Ленфильма”, и приходится ждать несколько дней, прежде чем мы его увидим. Наконец этот волнующий момент наступает, мы усаживаемся в просмотровом зале студии, сейчас нам покажут то, что мы сняли в первый день.

На экране вспыхивает какая-то дрожащая серая жижа, ни черного, ни белого, лицо артиста как будто в маске. Похоже, напрасно мы выпивали накануне. Оператора, наверно, придется менять. Минут пятнадцать продолжается эта пытка, свет зажигается в полной тишине.

Пашка подходит убитый, бледный. Я спрашиваю: “А чего написали в бумаге ОТК?” “Операторский брак, – говорит он с угрюмым вызовом. – Там ошибка в две диафрагмы…” Опустим занавес.

Через день мы смотрим следующий материал – изображение улучшилось, оно уже нормальное, вполне профессиональное, но далеко не такое шикарное, как я рассчитывал. Мы уезжаем в экспедицию, я в тревоге.

Рассвет только занимается, тихий Выборг еще спит, а мы всей оравой торопимся на вокзал, где уже ждет под парами наш игровой поезд – платформа, два обшарпанных четырехосных вагона и древний паровоз, на тендере которого красуется выведенный белой краской подлинный китчевый лозунг Гражданской войны: “Напором дружным, усильем смелым мы капиталу главу сотрем!” Минуем город и оказываемся в заповедном девственном лесу, кажется, здесь не ступала нога человека. В ту пору это была пограничная зона, нас пускали по специальному пропуску. Стоит дивная осень, грибы торчат в траве нетронутые. Состав не торопится, девчонки – гримеры, костюмеры – спрыгивают на ходу, успевают набрать белых и догнать платформу.

Мы останавливаемся на открытом пространстве, начинаем репетировать первый кадр. Стены внутри вагона – почти черные, покоробившиеся, точно вышедшие из огня. Это была идея художника Володи Коровина – опалённость как образ Гражданской. Камере попадаются обгоревшие кусты, обугленные деревья. И в единственной декорации, построенной на натуре – сарае в финале, – Володя своими руками обожжет бревна

паяльной лампой.

Снимать без осветительных приборов на ходу поезда в тесном и темном купе старинного вагона с маленькими окнами – задача на грани возможного даже для опытного оператора. Пашка работает хмурый и злой. Обсуждая движение камеры, мизансцену, мы общаемся нормально, но я чувствую, что за каждой командой, которую он отдает, за его мрачными хохмами прячется вызов, словно он задался целью доказать кому-то – всем и мне в первую очередь, – как он уверен в себе. Группа работает безукоризненно – споро, толково, профессионально. Любое пожелание режиссера или оператора, если только оно реализуемо в лесу, выполняется быстро и весело. Результат мы увидим не раньше чем через неделю – ассистент оператора поедет в Питер с отснятым материалом, в лаборатории "Ленфильма" его проявят и напечатают, и он привезет его обратно. К тому времени мы закончим сцену в поезде и перейдем на другой объект.

Возвращаемся в темноте. В гостиничном ресторане стоит грибной запах – девчонки снесли свою добычу на кухню. Надо успеть поесть и торопиться на совещание по поводу завтрашней съемки. Ах, что это была за группа!

На "Мосфильме", пока ты молодой, ты – крепостной. Заполучить настоящего специалиста практически невозможно, производственный отдел старается всунуть тебе тех, кто долго сидел в простое, – бездарного оператора, тупого художника, ассистента, известного скандальным характером. Конечно, каждому из них тоже надо кормить семью, но ремесло наше довольно жестоко, в нем – относительно высокий уровень конкуренции. Хочешь снять хорошее кино – избавляйся от тех, кто не умеет работать качественно.

А на студии Чухрая – полная свобода, творческого штата нет, зови кого хочешь. Впервые в жизни мы собрали всю артель по рекомендациям друзей: художник по костюмам – со студии Горького, операторская команда – с "Ленфильма", ассистенты режиссера – мосфильмовские, есть люди из Киева. У группы только один недостаток – сверстники, сплошь молодые парни и девки, романы начались прежде съемок.

В двенадцатом часу ночи у меня звонит телефон. Это Витя Лунин, классный ассистент оператора, сама надежность, – он у нас стоит на фокусе с детской улыбкой и ямочками на румяных щеках. Спиртного не употребляет, что большая редкость в этом цеху, но жуткий ходок, проблема у него одна – женский пол на вечер. "Сергеич, не спите? Может, зайдете? Чапаевки пришли, одного бойца не хватает". Я смеюсь: "Не могу, новый текст нужен к утру, вот сижу, кропаю…"

Директор картины Полина Александровна Борисова, строгая партийная дама, жалуется, что ночью никого не удается застать в его номере. Мы с Лебешевым возражаем – работают-то они великолепно. “А вы вообще помалкивайте, антисоветчики!” Слово “диссидент” еще не было в ходу. Мне казалось, что втайне мы ей нравились. Она это подтвердит мне через двадцать лет на питерской премьере “Ангела”, когда его снимут с полки.

Утром на съемке появляется ассистент, который привез материал из Питера. Сегодня мы увидим на экране первый снятый объект – поезд. Мысль об этом не дает покоя весь день на съемочной площадке. Ни Пашка, ни я не заговариваем о предстоящем просмотре, мы работаем, даже шутим, но по тому, как притихает группа, я чувствую, что напряжение, которое нас сковало, ни для кого не тайна.

В первом часу ночи по пустым затихшим улицам мы приходим к кинотеатру и топчемся возле двери в ожидании, когда закончится последний сеанс. Наконец народ вываливается, ассистент тащит наши коробки в будку киномеханика. Нас зовут в зал. Затрещал проектор, гаснет свет…

Выборг – серый залив, булыжная мостовая, бульвар с вековыми липами, шведский замок, финский рынок, библиотека Аалто, ратушная площадь – Выборг, остров блаженства…

Я смотрю на экран – поезд с обожженными стенами, портреты людей без грима, грубые, всамделишные, как в уличной толпе, черное – настоящее черное, с выраженной фактурой в тенях, камера поворачивается – и белое слепит, грубый ворс серой шинели, потная белая рубаха, черный плюшевый бабий жакет – можно потрогать рукой…

Значит – это возможно. Все – не зря. Значит, мы можем.

У Пашки и счастье выражается по-своему – глаза сияют, кажется, он готов убить любого, кто усомнится в его предназначении.

Ни выпить, ни закусить – на дворе ночь, магазины закрыты, ресторан давно спит.

Мы проговорили до утра и поехали на съемку.

2016

Сентиментальное путешествие на картошку

Фильм “Сентиментальное путешествие на картошку” снял в 1986 году режиссер Дмитрий Долинин с Филиппом Янковским и Анжеликой Неволиной в главных ролях.

Случалось ли вам бывать в Лужниках – в сумерках, в юности, с девушкой? В час, когда отгремел футбол, растеклись и бесследно исчезли в городе толпы разгоряченных мужчин и юнцов, опустели теннисные корты, ушли домой грузные молодящиеся дамы из группы здоровья, когда наконец закрылись многочисленные забегаловки и смолкли на аллеях мужские грубые голоса, притихли Лужники, – о, какое это волшебное место! На набережной ни души, потемнели синеватые склоны гор на том берегу, река мерцает, и светится повисший над ней вестибюль метро, и вдруг набегает остывающий ветер, и так беспокойно, так пронзительно шумят над скамейкой деревья!

– …А мама говорит – оставь ты ее в покое, не видишь, она бешеная. И мне говорит – зачем его обижаешь, шипишь все время. Ты уже большая, неужели не понимаешь – боится он. На дачу приедет и всю ночь ворочается, бурчит. О тебе думает. Боится, чтобы с тобой не случилось чего… Господи, что со мной может случиться? Мне его даже жалко иногда. Я говорю: папа, почему ты меня все время в чем-то подозреваешь? Разве я такая плохая?

– Охота тебе с ними спорить.

– Я же не спорю. Честное слово, они последнее время какие-то бестолковые. Особенно отец со странностями. Ему все время хочется, чтобы я сделала что-нибудь бессмысленное. Теперь с этой дачей пристали. Я говорю – я там с тоски умру. Нет, поезжай. А мама говорит – ну, хочешь, пускай он приедет. И смотрит выжидающе. Я так со смеху и покатилась. Хочешь на дачу?

Она тихо смеется. Голова ее закинута к нему на плечо, ноги задраны на скамейку. Она – маленькая, черненькая, крепкая, с темными живыми глазами.

– Ты как думаешь – поступил?

– Откуда я знаю!

– Неужели не чувствуешь? А я чувствую, что поступила.

Она берет его ладонь, перебирает пальцы. Тень пробегает по ее лицу.

– Я как собака, все заранее чувствую…

Фонари горят на той стороне в деревьях, придавая зелени мертвенный оттенок. Булькая, стучится о набережную вода. Какое черное небо в августе!

Случалось ли вам в юности испытывать внезапное одиночество, когда вдруг сжимает душу необъяснимая тревога, и комок застревает в горле, и сердце бьется? Словно вы оказались на краю обрыва, и там, далеко внизу, замерещились будущие страдания и потери, и все-таки сладко, и так и манит прыгнуть!

– Катерина, у тебя так не бывает – тоска навалится ни с того ни с сего? – Он высвободил плечо, встряхнулся.

– Ты меня просто разлюбил.

– С тобой серьезно…

– Говори, говори! У меня тоже бывает. Особенно зимой, с утра, когда темно.

– А тут – на ровном месте. Накатит, потом отпустит. Может, я псих?

– Ты совсем не псих. Даже чересчур.

Он засмеялся. Они поднялись и пошли, обнявшись, и тогда стало видно, какой он длинный, сутулый слегка. Они целуются на пустынной набережной, он сгибается в три погибели.

Мокрый, злой, взъерошенный, вот он вертится под щитом, ускользая от соперника – Петя Карташов, третий номер. И игра у него не идет.

Площадку окружает проволочная сетка, осеняют молодые, уже сильные липы, им – за четверть века, они ровесницы стадиона. По красному вылинявшему настилу носятся рослые молодые люди, порхает оранжевый мяч. Немногочисленные зрители смотрят.

Там, в гуще игры, не затихая, течет схватка. Умело – так, чтобы не увидел судья, – толкаются, хватают за майку, бьют по рукам. Все, кажется, сделал Петя правильно – выцарапал мяч у защитника, продрался под кольцо, а – не попал. Тут же его и свалили, покрытие деревянное – падать больно.

В минутном перерыве он стоит вместе со всеми около тренера Чена, жадно дышит, вяло огрызается.

– У тебя, может, падучая, Карташов? Толкаться не умеешь? Я, как ни гляжу, ты все на полу чего-то ищешь. Деньги потерял?

Чен – кореец с иссиня-черными волосами, лицо непроницаемое, а слова все обидные, задевают.

– Терешкин, восьмого возьми по всей площадке. Они сейчас сдохнут, вон как воду хлебают…

Опять танцует Петя, слыша на затылке чужое горячее

дыхание. Толкнули – устоял, придержали – вырвался, да еще локтем ткнул восьмого номера. Получил пас – и уже на полу.

– Судья, свистеть будешь? – не выдерживает Петя.

– Третьему номеру – предупреждение! – объявил судья.

Ему же. Скорей бы конец. Соперник еще два очка забросил. Терешкин украл мяч у ихнего центрового, водится, ждет, пока кто-нибудь освободится. Петя рванулся в сторону, выскочил из захвата, финт влево, разворот вправо – а бросок не вышел, восьмой успел полоснуть по руке.

Засвистел судья, не выдержал. Дал штрафные.

Петя долго собирается, стучит мячом в пол. Девчонки какие-то кричат, зашумел ветер, листья уронил на дощатый настил. Петя выдыхает, бросает. Мяч поплясал по дужке, замер – и свалился мимо корзины. И второй мимо. И третий. Чен тут же показывает замену.

Петя стоит в душевой. Ровно шумит вода. Азарт прошел, лицо у него пустое. Как только дверь хлопает, впуская возбужденные голоса, он плетется в раздевалку.

– Хоть бы фолы бросал не как козел…

Это – ему вслед.

Натягивает на мокрую шкуру рубаху и штаны и, швырнув в сумку форму, выскакивает на улицу, в боковую безлюдную аллею. Он шагает один, не торопится, сует в рот жевательную резинку. Под липами сумрачно, а редкие березы уже сияют ранней августовской желтизной.

Крюков разговаривает с клиентом.

– Ключ у вас финский. Хороший ключ. Один недостаток – заготовок к нему нет.

– Что же делать?

– Можно съездить в Финляндию. Или сменить замок. Кому что нравится.

Он никогда не горячится, объясняет терпеливо и обстоятельно, как все, что он делает, но легкое презрение чудится то ли в его голосе, то ли во взгляде. Некоторых это приводит в бешенство. Петя любит наблюдать за ним, в нем есть загадка. Майка с надписью обтягивает мощную грудь, руки штангиста и раннее брюшко. Рот прячется в тщательно подстриженной бороде. У него есть инженерский диплом, но он уже давно осел здесь, в мастерской на бульварах.

Откинув доску, он пропустил Петю за прилавок, попросил обождать.

Абажуры, статуэтки, дверные ручки, фарфор – весь хлам, который несут сюда чинить, заполнял каморку. Все это стояло,

лежало, сохло и ждало своей очереди на полках, в тисках, на сверлильном станочке. Живого места не было и на стенах, сплошь залепленных картинами. Тихо урчал вентилятор. Петя разглядывал огромную гравюру в темной раме с разбитым стеклом, изображавшую шлюпы на рейде.

Крюков появился с двумя бутылками пепси, открыл их зубами, протянул Пете.

– У тебя в Астрахани адресов нет?

– В Астрахани? – удивился Петя.

– Хотел семейство на плавни свозить. У меня там дружок. Звоню, а он на Север уехал. Нет у тебя там никого?

– Откуда?

Опорожнив бутылку, Крюков взял куртку, выключил вентилятор.

– Карина, я ушел, – сказал он кому-то в коридор.

На бульваре он отпер машину.

– Спешишь? А то поехали со мной в одно место.

– Куда?

– Книжки продаются. Взглянуть надо.

– Мне в институт, – сказал Петя.

– А я тебя потом подброшу.

В машине Петя вынул из сумки пластинку *Pink Floyd* в ярком конверте. Осторожно, держа за ребра, Крюков осмотрел ее с обеих сторон.

– Игранная.

– Раза два, может.

– Зачем продаешь? Хороший диск.

– Деньги нужны.

– Могу дать в долг.

Петя покачал головой. Крюков спрятал пластинку, отсчитал деньги. Он не спеша закурил, достал очки, натянул перчатки с прорезями для пальцев.

– С Богом.

И тронул.

На заднем сиденье лежала книжка, Петя полистал. Артур Шопенгауэр “Свобода воли и основы морали”.

– Читал?

– Нет.

– Зря. Умнейший мужик. Между прочим, очень любил животных.

Петя не знал, что сказать.

– Это теперь общества всякие, – помолчав, заговорил Крюков. – А раньше как? Дал собаке дубиной по зубам – никто тебе ничего не скажет. На то она и собака. Дураки были. А он сам

дошел, что у зверей душа есть, и доказал. Тут все и спохватились.

– Не скучно?

– Что значит – скучно? – внушительно сказал Крюков. – Это же бессмысленное понятие. Согласен?

Петя подумал и не согласился.

Квартира была голая, разоренная, с окнами без занавесок, со снятой люстрой. Крюков копался в книгах, сваленных грудой в нише, где, наверное, стояла кровать – шкура лежала на полу, искусственные гвоздики торчали в вазе на туалетном столике. Немолодая полная тетка в нейлоновом халате кормила малыша лет двух.

– Нам главное – скорее, а то мы и так очень задержались. Дочка звонила, говорит: бог с ним, лучше потеряем, только бы скорее уже. Она в Одессе теперь, муж у ней капитан, очень хороший. Тоже торопит нас, а мы все никак, сил уже нет. А выкидывать жалко, может, пригодится кому. А в магазин я таскать не могу, Кирюшу не с кем оставить. Мы уже и билеты заказали.

Петя читал, присев на подоконник.

– А хозяин не явится потом за книжками? – поинтересовался Крюков.

– У нас все по закону, – с удовольствием сказала тетка, – я вам выписку могу показать. Все по суду, каждая вещь и каждая книжка зафиксирована. Никакой он не хозяин. Это кто же вам такую глупость сказал?

– Мне все равно, – сказал Крюков. – Я на всякий случай. Ты нашел чего-нибудь?

– Андерсена двухтомник, – показал Петя.

– Я сама двадцать семь лет бухгалтером проработала в министерстве, а муж у меня полковник, в семьдесят четвертом году от рака желудка умер. Мы чужого ни тряпки не возьмем…

Крюков поднялся:

– Ничем я вас обрадовать не могу. У вас тут все – собрания, вещь ходовая, но у меня интересы другие. Хотите – пришлю вам одного. Он все заберет. Только много вы на этом не заработаете. А за Бунина и Андерсена – получите.

Он достал бумажник, взял деньги у Пети.

– Погоди, Кирюша, не плюйся. – Сунув малышу пустышку, она пересчитала и замялась: – Маловато…

– Я гляжу, вы не промах, мамаша, – спокойно усмехнулся Крюков. – Но и мы не жулики. Мне ваш телефон Мария Григорьевна давала. Она вам родственница?

Странный скрипучий крик донесся из глубины квартиры. Женщина встрепенулась.

– Я же ничего не понимаю… Я бы взяла Кирюшу да уехала, – бормотала она. – А кто его знает, приедем, а скажут: денег мало, куда глядела? И попугай еще. Не знаете, куда попугая девать? Они сказали, он больших денег стоит…

– Живой?

– Поехали, Крюков! – взмолился Петя.

Но тот уже шел за ней по коридору, перешагивая через картонные ящики.

На кухне на отдельном столике в высокой металлической клетке сидел большой ярко-зеленый попугай и грыз семечки.

Крюков даже в лице изменился.

– Откуда же такой?

– Все по суду, можете не тревожиться…

– Откуда он родом?

– Из-за границы, – отвечала она сердито.

Крюков смотрел как зачарованный.

– Разговаривает?

– Кто его знает… Орет вот так.

Словно поняв, попугай пронзительно закричал так, что все вздрогнули. Из комнаты ему ответил малыш, женщина убежала и вернулась с ребенком на руках.

– Ты моя радость! – говорил попугаю Крюков, просунув между прутьев палец и пытаясь его погладить. – Ты меня ждал?

Входная дверь института была заперта. Петя приник к теплому стеклу, но ничего не разглядел. Крюков в машине беседовал с попугаем.

Петя топтался у фасада, обросшего лесами, как вдруг хлопнула угловая полуподвальная дверь, и маляр в заляпанной робе и пилотке из газеты вылез с ведром, щурясь на белый свет.

В вестибюле, тесном от наставленных козел, ведер и краскопультов, вахтер со смаком хлебал чай. Петин вежливый вопрос вызвал у него мрачное оживление.

– Очухался! – сказал он. – Ты бы еще ночью явился.

Двое маляров переодевались. Бестолково складывался день. И Петя собрался с духом.

– Меня просто в военкомат вызывали, потому что сестренка заболела, а родственники приехали из Ростова. Я на минутку, отец, узнаю только…

Недолго думая, Петя сунул ему рубль.

– В учебной части была, – после некоторого раздумья с презрением сказал вахтер. Но рубль взял.

Однако ни в учебной части, ни в деканате никого не оказалось. В одиночестве Петя носился по лестницам и

понапрасну дергал двери. Он уже спускался, когда донесся слабый стрекот машинки.

– Где списки, не знаете? – спросил он спину в кофточке.

Женщина, смеясь, обернулась, прикрыла телефонную трубку и сказала:

– Закрой двери.

Пришлось гулять по коридору. Как только машинка застучала, он опять сунулся в дверь:

– Извините…

Она не слышала. Пальцы ее бегали без остановки. Машинка была старенькая, громоздкая, стол ходил ходуном. Наконец она стала менять лист.

– Не подскажете, где узнать? Списки сняли из-за ремонта, а завтра выходной, что же мне, до понедельника теперь? Я в третьем потоке сдавал, Карташов моя фамилия. А на мандатной комиссии…

Опять зазвонил телефон, и Петя покорно вышел в коридор и прикрыл дверь. С лестницы на него смотрел вахтер.

– Давай уходи, мне запирать надо.

Голос его зычно разнесся в пустых пролетах.

– Сейчас, сейчас! – многозначительно зашептал Петя, боясь, что он спугнет женщину, и заискивающе улыбался. – Списки смотрит…

Вахтер постоял, поглядел вниз. Ему было скучно.

– Кому сказал – уходи! – рявкнул он, неожиданно распаляясь. – И ей скажи, чтобы шла! Запру сейчас – и все!

Видно было, что каши с ним не сваришь.

– Слушай, дед, – безнадежно сказал Петя, пытаясь тянуть время. – Ты сейчас неправ.

И машинка затрещала. Не мешкая, он ринулся к двери.

– Инициалы Пэ И? – не оборачиваясь, спросила женщина.

– Пэ И…

– Принят.

И все. Петя остолбенел.

– Точно? – пролепетал он.

– Точно, не мешай работать…

Руки были заняты, он с трудом попал ключом в замок. Войдя, свалил продукты на зеркало, швырнул сумку и взялся за телефон, набрал номер. Пока в трубке пели гудки, он успел захлопнуть дверь ногой, отломить горбушку, оторвать колбасы, откусить угол молочного пакета.

Комната выглядела мертвой – мебель, расставленная по стенам, прикрыта прозрачным полиэтиленом. Майка валялась на

полу. Он опять покрутил диск. Не выпуская телефона, майку сунул в шкаф, достал чистую, а ту, что стянул с себя, бросил на пол. Распутал провод и отправился на кухню, еще номер набрал. Никого.

Оглядел свое царство – гору посуды в раковине, неубранную койку, стол и подоконник завалены книжками, записи, скотчем налепленные на стену, разноцветные стрелки от одной бумажки к другой. И, не зная, куда себя деть, завалился на койку. Секунду он лежал, уставясь в потолок, привстал на локте и смел со стола на пол все до единой книги. И газету сбросил, обнажив голубую столешницу. Весь пол усыпался книгами. Внушительное было зрелище. Через минуту он спал.

На фотографии над ним знаменитый Абдул-Джаббар закладывал мяч в корзину двумя руками. И на негре что-то написано было красным фломастером.

Когда он открыл глаза, за окном синели ранние сумерки, на пороге кухни стоял отец и говорил:

– …И ящик отперт, ремень исчез, и в ванной вот такой таракан.

Петя сполз с койки и стал собирать книги.

– А у мамы давление катастрофическое. Если она увидит, что делается в доме, ей никакие уколы не помогут. Боюсь, опять придется класть в больницу. Все к этому идет…

Петя натолкал полный рюкзак книг, пошел за чемоданом.

– И еще эта проклятая погода. Четыре дня дождей – и все, нога у меня как деревянная, ступить невозможно. Пью бруфен, а толку – ни на грош. Адская боль… А книги уже не понадобятся? – опомнился он, когда Петя залез на стремянку и чемодан и рюкзак переехали на антресоли. – Все? Провалился? Работать идем?

– Ага, – буркнул Петя.

Отец печально усмехнулся:

– Поздравляю. Может, ты кого-нибудь удивил, только не меня. Мать опять расстроится… Я предупреждал, чтобы она не обольщалась. Все правильно. Одни мяч гоняют, другие учатся в институтах. Так было всегда…

Тем временем Петя мыл посуду.

– Теперь еще дядя Боря с семейством пожалует. Как она все это выдержит, я не представляю…

Как ошпаренный Петя понесся в коридор, вытряс сумку со спортивной формой, нашарил смятую телеграмму.

– Сегодня? – увидев, как он накручивает телефон, обреченно спросил отец. – С тобой не соскучишься.

Наконец справочная ответила.

– Пятьдесят второй поезд из Ростова-на-Дону по расписанию?

Отец глянул на часы:

– Ни за что нельзя быть спокойным…

– Знаешь, почему у нас клопов нет? – сказал Петя, положив трубку. – Они с тоски дохнут, пока тебя слушают.

Отец надулся, но тут позвонили в дверь.

– Уже они? – ужаснулся он.

За дверью стоял Петин однокашник Моргунов, подняв кверху обе ладони. Петя протянул свои, и он по ним хлопнул что есть силы.

– А у вас? – заорал Моргунов, но Петя подмигнул, приложил палец к губам и побежал домывать посуду. – Игорь Федорович, как здоровье? – громыхал его юношеский бас. – Прогноз опять ни к черту, весь сентябрь, говорят, сплошные дожди. Что с погодой стало! Где бабье лето?

На кухне Петя давился от смеха. Расправившись с посудой, он содрал бумажки со стен, прикрыл постель, на стол кинул клеенку. Кухня сияла.

– Диагноз не могут поставить толком, – рассказывал отец Моргунову. – А куда это вы собрались? Не вижу повода для гулянки…

Они уже мчались по лестнице к лифту. Нажав кнопку, Петя встретил вопросительный взгляд Моргунова. Он поднял ладони, ухмыляясь.

– А я так и знал! – сказал Моргунов, подставляя руки. – Дуракам должно везти…

– А худой какой! Тебя надо к доктору! Это же ненормально, чтобы парень был как селедка! Это же глядеть противно! – пугая очередь, высоким южным голосом с хохляцким “г” кричала на всю Каланчевку тетя Галя, мамина сестра. – А как же мы влезем? Нас же пятеро! Нас не погрузют!

– Мы фургон возьмем, – успокаивал Петя.

Муж ее, дядя Боря, спокойно ухмылялся в усы, и дико поглядывала по сторонами десятилетняя, такая же толстая, как мама, дочка. Подошел фургон, Петя с Моргуновым стали грузить бесчисленную поклажу – чемоданы, и тюки, и сетки с арбузами, и ящики с фруктами.

– Это же стекло, это в кабину! – шумела тетя. – Давай сюда лук, а банки мне в ноги!

– Галочка, не делай волну, – говорил дядя Боря.

– А лук зачем? В Москве луку навалом.

– Ой, у вас разве лук! Ни покушать, ни заплакать…

Как только выехали на Садовое, дядя Боря сказал дочке:

– Вот, Юличка, это и есть это самое знаменитое Садовое

кольцо.

И дочка глазела, хотя глазеть было не на что. Петя тут же выудил из сетки арбуз:

– Можно, теть Галь?

– Ой, да кому я привезла!

Арбуз был разбит о колено, и кусок подсунут шоферу, который недовольно оглядывался.

– …Люся замуж вышла, жених с Таганрога. У нас уже никто ей не подходит. Ой, Петька, ты бы его видел. Ты бы со смеху помер! Выбирала, выбирала, а взяла такого – весь Ростов с нее смеется! Где она его только выкопала! Сам в очках, голос тоненький – комарик, а не мужик!

– Ну, зачем ты зря говоришь, Галочка! – возражал муж. – Парень солидный, к ней относится даже очень хорошо.

– Рыбный институт закончил, зарабатывает – ты же понимаешь! Вся рыба с испугу разбежалась… Да черт с ним. Ты мне за маму скажи. Чего она все болеет? Поехала бы к нам, фруктов покушала. Сидит на этой даче, в сырости. Я же знаю, какое тут у вас питание, тут здоровый заболеет! Щей похлебают, капуста за капустой гоняется… Петька, у тебя деньги есть? Борис, дай ему сейчас же! Молодой парень, а они ему трешку сунут на обед и гуляй!

Вытаскивая тюки из лифта, Петя сообщил скороговоркой:

– Только, теть Галь, мне в одно место нужно позарез, я даже заходить не буду, смотаюсь и вернусь…

– Что же, ты с нами даже не выпьешь? – огорчился дядя.

Петя с Моргуновым уже бежали вниз.

– Ты же ничего не рассказал! Тебя в институт-то приняли? – кричала сверху тетя.

– Приняли!

– Боря, дай ему еще десятку! Лови! Молодец, Петр!

В парке, в надувном шатре кегельбана играла музыка, голоса гулко отдавались под потолком. Со стуком ползла вверх заслонка, открывая пирамиду кеглей. Лыкиш, босой парень в широкополой шляпе, надвинутой на глаза, разбежался и бросил шар.

– У нас три дня лекции, а четвертого уже на картошку, – рассказывал Моргунов. – Куда-то под Рязань, на две недели. А вас везут?

– Наверное, – пожал плечами Петя.

– Вы там сопьетесь, – сказала шляпа.

– Я лично никакой радости не чувствую. Какая там радость, одна нервотрепка, – говорила Настя, девушка Моргунова, длинноногая и тонкая. – Слава богу, что все кончилось. На всех

чертей стала похожа, без снотворного не засыпаю.

– Долго мы тут сидеть будем? – нетерпеливо дернулась Катя. – Поехали куда-нибудь!

– Лыкиш, хватит тебе! – сказала Настя. – Пусти меня.

– Ко мне нельзя, – сказал Моргунов. – Поехали к Лыкишу.

– У меня ремонт, – возразил тот.

Катя усмехнулась, глядя, как Настя, взяв тяжелый шар, принимает позу для удара.

– Ты, Катька, язва, – заметил Моргунов.

– Ни капельки. Гусыня твоя Настя.

– Лыкиш, – спросил Петя, – а ты документы подавал?

– А как же! Только сдавать не ходил.

– Куда?

– Понятия не имею, – добродушно сказал Лыкиш. – У меня через дорогу какой-то вуз. Туда и снес, мать сама видела.

– Ну и как? Хорошо тебе, Лыкиш?

– Отлично. А начнут ныть – пойду работать. Это же не учиться…

В баре они сидели на высоких табуретках у стойки, ели мороженое, пили “Фанту” и коктейли.

– Возьми мне кофе, только двойной, – попросила Настя и вздохнула. – Не могу. Хочу удрать куда-нибудь на недельку. Мне нужно отоспаться и вообще привести себя в порядок. Тут один знакомый звонил, предлагал поработать с делегацией. Жалко, конечно, деньги упускать, но я решила – все, хватит, здоровье дороже.

– Золотые слова, – сказал Лыкиш из-под шляпы.

Катя фыркнула:

– Что ты врешь, Настя? Кто тебе предлагал? Кому ты нужна!

– Я вообще не имею такой привычки – врать, – с кротким высокомерием улыбнулась Настя. – Ты можешь у мамы спросить. И не надо на мне зло срывать.

– Уйми свою, – сказал Пете Моргунов. – Чего она цепляется?

– Потому что слушать противно. Все хвастается, хвастается…

– А ты не завидуй.

– Было бы чему.

– Я не виновата, что ты не поступила! – взорвалась Настя.

– Как бы ты поступила, если бы мать там не работала! Хоть бы уж молчала!

– Девки, вы даете, – сказал Петя.

– Я, между прочим, двадцать из двадцати набрала!

– А то мы не знаем, как это делается! Все равно – по блату!

– Я вообще не желаю с тобой разговаривать!

– По блату, по блату! – кричала Катя.

Петя тряхнул ее за плечи:

– Ты нормальная?

– А чего страшного? – спокойно сказал Лыкиш. – Ну хочет человек и высказывается…

Помолчали. Девушки сидели, отвернувшись друг от друга.

– Мы едем куда-нибудь или нет? – мрачно спросил Моргунов.

– У меня ремонт, – сказал Лыкиш. – А к Насте нельзя?

– Пожалуйста, – буркнула Настя. – Мама только рада будет…

Катя сидела на подоконнике, они торопливо, бурно целуются в притихшем подъезде на лестнице между этажами.

– Подожди! Ну, еще немножечко…

– Опять через весь город пешком шлепать.

– Потерпи. Уже недолго.

– Чего недолго? Кать, ну что с тобой?

– Ничего.

– Чего ты плачешь, дурочка? Поступишь на будущий год. Не топиться же теперь.

– Совсем я не из-за этого.

– А из-за чего? Кончай. Может, я еще на троллейбус успею.

– Влюбишься там в какую-нибудь дрянь…

– Бред все это.

– Ну и пожалуйста. Тебя никто не держит.

– Ты мне жутко нравишься, ты же знаешь. Мне никто так не нравился.

– Знаем…

– Зачем я врать буду?

– Тогда подожди, не уходи…

Он бежал, прислушиваясь к пению проводов. Троллейбус плавно обогнал его, остановился далеко впереди и ждал, распахнув двери на безлюдной остановке, дразня. Наконец он тронулся. Петя сразу перешел на шаг. На Садовом было тихо и пустынно.

Первое сентября! И вот это – новая жизнь? Солнце бьет в широкие окна вестибюля, разомлевший вахтер слушает радио, клюя носом, гардеробщица вяжет, на вешалке – пусто, еще лето, безлюдно в коридорах, где-то монотонно стучит машинка, и уборщица уже подбирает окурки возле урны, в столовой глотает сардельки одинокий прогульщик, буфетчица принимает товар и уже чем-то недовольна.

Но вот открылась дверь актового зала. Вздыхая и потягиваясь от долгого сидения, не спеша выходят первые, те, кто сидел у дверей, на них напирают, кто-то вылетел и понесся по коридору,

мощно нарастает гудение голосов, мигают огоньки спичек, в фойе уже полно, давка, толпа заливает обе лестницы и, тяжело колеблясь, катится вниз, к вестибюлю. Нарядные девчонки, развязные парни, солидность напускная, детское возбуждение – первый курс, видно сразу.

– Ты из шестой группы? – спрашивает Петю парень в грубом свитере. – Велели собраться на крыльце.

В вестибюле Петя угощает его сигаретой. Он качает головой:

– Свои курю, – и вытаскивает смятую “Приму”.

Взгляд у него колючий, настороженный. Скулы торчат на широком лице.

– Я тебя помню, физику в одном потоке сдавали. – И протягивает руку все так же хмуро: – Василий.

– Петр.

В толкучке на выходе новый знакомый тычет пальцем:

– Вон тоже наш, из шестой. Батя у него академик.

Петя усмехается – толстый, губастый, в очках, да еще и кудрявый. Достанется ему.

На ступеньках стоит крепко сколоченный солдат со списком.

– Как фамилия? – спрашивает он, смерив Петю взглядом. – Воронец?

– Карташов.

– Есть такой. Ты – Середа, знаю, – кивает он Василию и зычно окликает: – Шестая группа, второй поток! Все ко мне!

Около него сбивается стайка ребят и несколько девушек.

– Я за старосту, – объявляет солдат. – Фамилия Проскурин, звать Николай. Отъезд на картошку – завтра утром. Сбор в восемь ноль-ноль у института. Иметь с собой резиновые сапоги, ватник, головной убор. Опоздавшие добираются своим ходом. Вопросы есть? – И, не дожидаясь, стягивает с плеча фотоаппарат. – Есть предложение – сняться всей группой по такому случаю.

– У меня нет ватника, – говорит девушка.

Проскурин уже наводит на фокус, машет рукой, сдвигая тех, кто с краю. Все посмеиваются, но послушно образуют группу, а губастый сын академика ложится в костюме прямо на ступеньки и подпирает голову.

– Пятигорский есть? – спрашивает солдат.

– Я Пятигорский, – отвечает очкарик. – Снимай быстрей.

– Воронца одного нет, – говорит Проскурин и, выдернув из толпы первого попавшегося парня, просит: – Будь другом, щелкни.

И сам бежит, встает в середину.

И оказывается, не митинг и не первая лекция, а именно

отъезд на картошку и есть праздник и начало всему. Дом и Москва рассеялись за горизонтом, а плывет за окнами мокрый лес, холмы под серењким небом, дождик, еще теплый по-летнему, то налетает на стекла, то отстает, и вот она – новая жизнь!

К Можайску все перезнакомились. Гремела гитара в автобусе, стоял гогот, песни, причем самым заводным оказался очкарик Пятигорский, который сразу уселся в гуще девчонок, и они только стонали от смеха. Сосед Петин, Василий Середа, поглядывал в ту сторону мрачно.

Вдруг стали. Впереди виднелись автобусы, сзади напирал самосвал, сигналили на разные голоса. Какой-то частник пытался пролезть по обочине и тоже замер. В автобусе поскучнело, кто дремал, а девушки завели протяжное “Вот кто-то с горочки спустился”. Желто-синяя машина ГАИ выскочила из дождя, пронзительно квакая, загнала частника в кювет и умчалась.

– Авария…

Проскурин постучал шоферу:

– Пойду разведаю.

Вылезали размять ноги. Моросило. Забитая дорога ползла в гору, причина заминки скрывалась за гребнем. В автобусе остались двое парней, спавших друг у друга на плечах, да девушки с Пятигорским.

Петя натянул капюшон куртки. Пологие холмы уходили к горизонту, тянулось убранное бурое безмолвное поле. Вороны слонялись в бороздах среди светлых ниток соломенной трухи. Далеко у синего леса тащилась лошадь в телеге, груженной жидкой копешкой сена.

– Сейчас тронем. – Рядом стоял Середа. – Самосвал с “газоном” столкнулся.

Бензиновый туман висел над шоссе. Частника вытаскивали из кювета добровольцы, мотор его взвывал с надсадой.

Там, вдалеке, мужик взял лошадь под уздцы и тянул в сторону, обходя невидимую канаву.

– По машинам! – раздалась команда.

Они побежали к автобусу. Проскурин что-то рассказывал оживленно. Опять завыла сирена, перекликались сигналы.

Петя оглянулся в окно, но поле и лошадь уже пропали за мордой тягача.

– Ты в деревне-то был? – спросил Василий.

Петя покачал головой.

– Никогда?

– А ты?

– Я деревенский, – хмуро сказал Середа.

К вечеру развиднелось. Солнце высунулось из красных туч, заблестело в лужах и на мокрых стенах школы. С грузовика выдавали матрацы.

– А чем укрыться? – спросил Середа, получив матрац.

– Завхоз я тебе, что ли? – отвечал парень из кузова. – Бери, что дают.

Рядом томился шофер, засунув в карманы руки, подгонял очередь:

– Шевелитесь, мне еще обратно пилить…

Петя тоже получил матрац и расписался.

Поместились в спортивном зале школы, по стенам раскладывали матрацы и пожитки, тут же гоняли мяч. Пятигорский уже лежал, уютно устроившись в углу, грыз орехи и читал английскую книжку.

Петя сбросил на пол свою ношу. Середа вклинился между ним и Пятигорским, раскатал матрац и уселся с недовольным видом.

– Порядочек… – проворчал он, ни к кому не обращаясь. – В армии и то одеяло дают.

– Белье будет часов в десять. Машина опоздала, – сообщил Пятигорский, не отрываясь от книжки.

Середа недоверчиво посмотрел на него:

– Дай орешков.

Толстяк молча протянул ему кулек. Середа набрал полную горсть.

– А девок куда-то увезли, – сказал он после некоторого размышления.

– Они в общежитии. Тут техникум молочный.

Но Середа опять остался недоволен.

– Тоже мне, деревня. Техникум есть, а коровы ни одной не видать…

– Как раз коров здесь уйма, – заметил Пятигорский. – Совхоз мясо-молочный. Это центральная усадьба, Трудовое, здесь за тыщу дворов.

В Середу угодили мячом, и он поднялся, бурча:

– Пошли отсюда.

– Куда?

– Разнюхаем. Где тут чего… Тебя как звать? – обратился он к Пятигорскому.

– Никита.

– А магазин открыт?

– Откуда я знаю?

Василий усмехнулся презрительно:

– Академия…

Магазин оказался закрыт.

– Так я и знал, – заявил Середа. – Нет чтобы по-человечески. Отметить, как говорится, со знакомством. Никто даже не поинтересовался. А мне что, больше всех надо?

Раскрытая канава тянулась по улице. Пройти можно было только по тропке вдоль забора. На тесных участках лепились внушительные дома на каменных фундаментах, в четыре, в пять окон, гаражи. Середа неторопливо разглядывал дворы, посмотрел в канаву.

– Газ тянут, – пробормотал он. – Богатые.

Проехал самосвал, спрятаться было негде, их обдало глинистой жижей.

– А грязища как при царе Горохе, – сказал Петя.

– Асфальт постелить забыли, – ухмыльнулся Середа. – Не знали, что ты едешь. Деревня она и есть деревня. Хоть и на газу.

Вообще он почему-то забирал верх.

– Раз деревня – значит, грязь обязательно?

– Это в городе грязь. А здесь это просто земля.

На площади на берегу необъятной лужи стоял дом с колоннами, а посередине торчала из воды кабина грузовика. По соседству строили что-то, бетонные опоры поднимались из заросшего котлована. Смеркалось.

На мостках Середа обернулся, тыча пальцем в сторону. Поросенок чесался о штабель труб, трубы позвякивали.

– Ты чушку-то живую видал?

Петя остановился, балансируя на доске.

– Куда мы идем?

– Это же клуб, ясное дело. Вон мелкота болтается. Танцы, наверняка.

– Неохота, – буркнул Петя.

Середа глянул на него озадаченно:

– Я хоть в туалет схожу…

У входа в Дом культуры горел фонарь и бегали девчонки-подростки. Трое парней топтались под раскисшей афишей.

– Неинтересно, какие тут крали водятся? – сказал Середа. – Ну, постой, я мигом.

Петя остался ждать на ступеньках. Из дверей неслась хриплый голос Пугачевой. Огни зажигались в домах.

Один из парней оказался рядом с Петей и, катая сигарету в пальцах, рассматривал его как-то странно, в упор. Петя покосился на него.

– Продай джинсы, – неожиданно сказал парень.

– Чего? – нахмурился Петя.

– Джинсы продай, – повторил он хрипло и шагнул еще ближе.

Петя не сразу нашелся:

– А больше ничего не хочешь?

Он был ниже Пети на добрую голову. Глядя куда-то мимо, он вдруг мучительно улыбнулся, открыв стальные зубы.

– Дай спичку. – И потянулся, дыша перегаром.

– Нету, – сказал Петя, отстраняясь, но не успел – парень резко ударил его головой в подбородок.

– Ты что? – завопил Петя и тут же, прежде чем сгруппировался, получил два быстрых удара в лицо. Он достал парня ногой, но по ступенькам летели еще двое, и в руках у одного блеснул в свете фонаря гибкий металл, и донеслось характерное сухое лязганье.

“Цепь!” – мелькнуло у него в голове.

Он отмахнулся и кинулся бежать по мосткам. Его встретил пронзительный женский визг – навстречу шли две девушки. Одна из них, не удержавшись, шлепнулась в воду, другая замерла в ужасе, и Петя невольно притормозил, едва не наскочив на нее. Он обернулся, выставив руку, но удар пришелся в бок, и, застонав от боли, он полетел в лужу. Послышался свист, кричали, кто-то бежал по доскам, и когда Петя не сразу поднялся, шум замер вдали, только всхлипывала девушка, забираясь на мостки.

Петя хотел ей помочь, но она отскочила.

– Только тронь! – закричала она злобно на всю площадь и зашлепала прямо по луже к освещенным окнам клуба. – Шпана проклятая!

Какие-то люди бежали к ним в темноте.

– Карташов! – Петя узнал голос Проскурина.

Его окружили свои.

– Цел? – В лицо ему заглядывал Середа.

Разноцветные пятна копошатся по всему полю, голые тела парней, Проскурин явил накачанные бицепсы, спина так и играет. Печет по-летнему, поле спускается с длинного холма, обдувает со всех сторон – идеально для загара. И заплывший глаз греется, и содранный бок не так саднит.

Дорога сворачивает к берегу озера, газик мелькает мимо темных елей и краснеющих кленов. На взгорке – десяток бревенчатых изб, деревушка, крохотное кладбище на краю. Одинокая корова лежит, черная на зеленой траве.

– Вот где жить надо, – кивает на деревушку Середа. – И на работу пешком, и сметанка.

Кусты уже выворочены из грядки машиной, отдираешь ботву,

стряхиваешь налипшую землю, клубни – в корзину. А что черно под ногтями – даже приятно, а что согнувшись – для пресса полезно.

Петя тащит полную корзину – ссыпать. Девушка работает, сидя на корточках, двое парней вьются около, воркует красавец грузин. Она гибко выпрямляется – стройная, в сапожках, светлые волосы забраны пучком под теннисную кепку – и, узнав Петю, отворачивается, насупясь. Та самая, вчерашняя, что угодила в лужу.

Проскурин машет рукой, зовет. У газика стоят на меже двое, кто-то местный в потертой шляпе и незнакомый молодой человек. Они смотрят в Петину сторону.

– …А вы в первый же день, не успели приехать, ввязываетесь в драку. Как это вас угораздило?

Костюм с галстуком, телогрейка наброшена на плечи. У него открытое лицо. А человек в шляпе слушает равнодушно, стирает пот с коричневой, задубелой шеи.

– Я-то при чем? – бормочет Петя, глядя исподлобья.

– Это вам не школа, это вуз. На ваше место – десятки желающих. Нам далеко не безразлично, какую мы оставим по себе память. От нас ждут работы, помощи реальной, а вы… Выпили, что ли?

Проскурин молчит. Петя повернулся и пошел прочь.

Середа угощает грузина сигаретой.

– А у вас картошка растет? Или привозная?

– Вот такая! – Тот разводит ладони на ширину арбуза. – Слушай, девушку знаешь – вон высокая, кепка теннисная?

Петя молча принимается за работу. Возвращается Проскурин.

– Ты не гоношись. – Он усмехается. – Все уладим, только без шуму. Зачем ты ему козью морду сделал?

– Чего там? – настораживается Середа.

– Я же еще и виноват, в драку влез… Что за тип?

– Эх ты, в лицо надо знать начальство. Это Волков Серега, секретарь комитета.

– Не связывайся, – советует Василий. – Характеристики небось писать будут. Еще выгонят.

– Девушку видишь? – приступает к Проскурину грузин. – Вон блондинка высокая – в кепке. Как зовут, скажи?

– Нравится? – невозмутимо спрашивает Проскурин. – Опоздал ты, брат, уже забито. Карташов ее вчера в лужу загнал, теперь должен жениться…

Петя довольно смеется вместе со всеми.

Вечером он топтался у общежития. В раскрытые окна звенели

голоса, шла обычная вечерняя суета у девушек. Его заметили, пофыркали.

– Вызовите Аню Баскину.

Переспрашивают нарочно громко. Он терпеливо ждет. Через некоторое время она показалась на пороге, такая же угрюмая, как днем.

– Можно вас на два слова?

Поколебавшись, она подошла к калитке:

– Я вас слушаю.

Всем видом показывала, что на ерунду у нее времени нет. Зрительницы устроились у окошка.

– Пойдемте погуляем?

Почему-то с ней он робел.

– Гулять – как? – экзаменует. – Свежим воздухом дышать? Или как в деревне говорят – он с ней гуляет?

– Мы же в деревне…

– Ясно… – смотрела она прямо в лицо, свободно и высокомерно. – А как же с разбитой физиономией? Я же стесняться буду.

– Я вполсилы, этой стороной. Может, заживет до свадьбы.

Засмеялась наконец.

– Я смотрю, ты без комплексов, – сказала она, переходя на “ты”. – Пошли. Дома еще хуже.

– Плохо устроились?

Она поморщилась:

– Ненавижу дур. И они меня тоже.

За поселком дорога шла по дамбе. По одну ее сторону лежало озеро в лесных берегах, по другую – пруды, частью спущенные, с обнажившимся черным илом. Посередине пруда возились несколько человек по грудь в воде.

– Тут карпов разводят, – сказала Аня. – Я не пойму, они сейчас ловят или разводят?

– Для меня это – вообще темный лес, – заметил Петя.

Тишина стояла пронзительная, солнце садилось.

– За что тебя били?

– Они не сказали.

– Недаром мне в деревне жутко, – сказала она неприязненно. – Дикари.

Он смотрел на нее с любопытством.

– У меня отец с матерью расходились, заткнули меня к родственникам в Кемеровскую область на целых два года. Я так и не привыкла, – спокойно, со взрослым апломбом рассказывала она. – Я один раз заблудилась. Знаешь, как страшно в лесу!

Идешь и чувствуешь, что ты тут чужой, тут своя жизнь, которую тебе никогда не понять. А ты – так, букашка. Пропадешь – и ни одна веточка не шелохнется… Пойдем обратно, – вдруг попросила она.

– Темноты боишься?

– Я не боюсь. Мне неприятно.

Петя засмеялся:

– Ты потрясающе красивая.

– А обещал глупостей не говорить, – буркнула она с раздражением. – С этого любой дурак начинает.

Он смутился, это было неожиданно.

– Во-первых, далеко не все женщины любят комплименты, это легенда. Количество информации в твоем сообщении равно нулю. А в наше время любая фраза должна нести новую информацию, согласен? Если, конечно, собеседники – не два идиота. Зачем же сразу впадать в банальность?

Некоторое время они молча шли рядом.

– Что молчишь? Обиделся уже?

Он остановился, взял ее за руку. Она дернулась, но руки не отняла. Пальцы у нее были ледяные.

– Я всегда хотел влюбиться в такую, как ты.

– И что дальше? Я-то не собираюсь в тебя влюбляться.

– А это не важно. – Он улыбнулся и выпустил ее руку.

– Почему?

Он ответил не сразу.

– Не знаю, – просто сказал он. – Но почему-то не важно.

Она молчала, но и не глядя на нее, он почувствовал – попал.

– Достоевского любишь? – вдруг спросила она.

– А я его не читал.

– Совсем?

– В школе проходили “Преступление”, не помню ничего. Я спортом занимался. Не способствует чтению.

– Есть же спортсмены, которые читают.

– Две тренировки в день – какой там Достоевский! До кровати бы добраться. А чего ты его вспомнила?

Она подняла глаза, усмехаясь.

– Это он считал, что настоящая любовь – только неразделенная.

– Это как?

– Ты любишь, а тебя – нет.

– Он же вроде больной был.

– Серый ты, как мои родители.

– Вот она, деревня Бедово, – сказал Середа.

На темном небе завиднелись темные огоньки на взгорке. Они шагали по лесной дороге.

– Целовался хоть?

– Нет, – сознался он. – Не было ничего.

– Чего же так долго?

Фонарь на улице горел один.

– Где-то тут колодец был… Корова у ней одна на всю деревню. Холодно – пожалуйста, печку растопили, есть охота – бабка картошечки спроворит. Сейчас сам увидишь…

Шуганув собаку, они поднялись на крыльцо, свалили в темных сенях пустую канистру.

– Баба Зоя!

– Нет ее, – отозвался юношеский голос. – Она у соседей телевизор смотрит.

Они переглянулись – голос показался знакомым.

– Пятигорский, что ли?

В самом деле, в комнатке на допотопном диване лежал Пятигорский с книжкой.

– Ты чего тут делаешь?

– Живу, – меланхолически отвечал толстяк. – Я тут комнату снял у старушки.

– Эту комнату снял я, – сердито объявил Середа. – Я еще в обед договорился. Вон целая деревня, места тебе мало?

– Ну, оставайтесь, раз уж так вышло, – лениво пригласил Пятигорский. – Меня вы не стесните.

– Мы же первые, вот наглость! Давай выметайся!

– Странная история. Я и деньги вперед отдал. И вообще, я уже лежу. – И он обезоруживающе улыбнулся.

В доме оказалась еще каморка с железной кроватью да маленькая кухня.

– Братцы, тут еще вещи! И матрац… – Петя принес набитую спортивную сумку.

Середа только присвистнул:

– Бабка – просто аферистка. Это Проскурина сумка. Чего делать будем?

За окном лаяла собака. Они прислушались, и вскоре в сенях загремела упавшая канистра.

– Проскурин! – рявкнул Середа.

– Здесь! – зычно отозвался тот и возник в дверях, глядя на них озадаченно. – Вы как сюда попали?

Ему ответил хохот…

Когда наконец появилась хозяйка, стол в комнате был сдвинут, Середа уминал наваленное на пол сено, Петя с Проскуриным тащили необъятных размеров сундук.

– Бабуся, ты чего же, нас за дураков держишь? – кинулся к ней Середа.

– Мы так не договаривались, мамаша. Взяли деньги и ничего не сказали. Мы хотели поодиночке, а получается опять казарма.

Широкая в пояснице, приземистая старуха, горбясь, стояла на пороге, сложив под животом искалеченные пальцы.

– Совсем стала бабка никуда, – сказала она, улыбаясь, подняв к Проскурину желтое личико, и зачем-то потрогала его гимнастерку. – Все позабываю, ничего не разберу, вот глупость-то, господи! На помойку пора… – Она усмехнулась, не сводя с Проскурина глаз. – Внучок, думала, пришел, Мишка. В армии тоже, внучок.

– Как же нам тут вчетвером, баба Зоя? – буркнул Проскурин, смягчаясь. – Повернуться негде.

– А покрыться чем? Согнала ораву – хоть одеяло дай! – кипел Середа.

– Сейчас, сыночки, не серчайте, глупая бабка совсем…

– И молока три литра!

Она пропала, валенки ее шаркали за стеной, и слышалось беспрерывное бормотанье.

– Горбатая стала, ноги не ходют, все не помру никак…

И тащила серое армейское одеяло, подушки, охая, полезла в сундук, достала перину. И заунывно улыбалась.

– Баночка нарядная, – сказала она, увидев консервы, сложенные на подоконник.

– Возьмите, мамаша, – поспешно сказал Пятигорский.

– А молоко? – спросил Середа.

– Утречком попросите у соседки, у Тоси. У дочки у ней ребятенок, сама на ферме работает. У ней молочко завсегда.

– Корова чья?

– Чего корова? Она у меня в запуске, стельная, теленочка принесет сегодня-завтра. Нету, сыночек, молочка, теперя когда будет…

Она скрылась в каморке. Середа все не мог успокоиться.

– Вот Бабка Яга, одуванчик божий… А диван? – спохватился он. – Ты, академик! Освободи койку.

– У тебя совесть есть? Я уже лежу.

– Ты что, особенный? – сказал Проскурин. – Разыграем.

– Или меняться в порядке живой очереди.

– Это уже совсем бред. Ночь на диване, потом три на полу?

Пока Проскурин колдовал, отвернувшись, Пятигорский сказал:

– Зачем вы эту муру затеяли? Все равно я выиграю.

– Поглядим… – Проскурин выставил спички, зажатые в

пальцах. – Кто вытаскивает короткую – диван на весь срок.

– Стой, раз он такой жук, пускай тащит последний.

Середа насупился и вытащил целую спичку.

– Я предупреждал, – добродушно сказал очкарик и, не глядя, вынул короткую. – Я не виноват…

Так и остался Пятигорский на диване, а Середа полез на сено к Пете. Сундук достался Проскурину.

В темноте запел сверчок. Не спалось. Собака подняла лай, кто-то всходил на крыльцо.

– Эй, студенты есть? – заорали в дверь.

– Кого еще черт несет?

Загремела канистра, человек споткнулся, чертыхнулся, раздался смех.

– Вот люди…

По стене пошарили, зажегся свет, и они увидели черноволосого ухмыляющегося парня в светлом костюме, забрызганном грязью. Ворот рубашки был распахнут, галстук приспущен.

– Здорово, мужики! – Он поднял ладонь, другая была в кармане. – Вы чего залегли в такую рань? Маманя, спокойно, извиняюсь за внезапность, – обернулся он к старухе, высунувшейся в коридор. – Своих искал.

– Ты чего тут забыл?

Тот пожал плечами:

– Мне велели – я прибыл. Чуть в болоте не утоп. Жду указаний.

– Гаси свет и вали отсюда!

– Медом тут намазано… – проворчал Середа.

– Вы что, парни? – Он посмотрел изумленно и как ни в чем не бывало рассмеялся. – Я всю деревню поднял, пока вас засек. Я в дороге четвертые сутки…

Проскурин сел на сундуке:

– Воронец, что ли?

– Я самый. Не похож?

– Где же ты скрывался?

Он ухмылялся.

– Я в пять утра в столицу прибыл – денег шиш, сунуться некуда. В девять прихожу в вуз – все на картошке. Ладно, пока в баню сходил, туда-сюда, приезжаю на станцию Махонино. Оттуда восемнадцать километров, автобусы закончились. Я на перекладных. В школу ворвался, уж темно было. Начальства нет, никто ничего не знает. Говорят, ищи старосту, а старосты нету, он на природе живет… Ты, значит, староста? – обратился он к Проскурину. – А вы как – спать-то сильно собрались? Время

детское…

– У нас нету, – откликнулся Середа.

– А у старушки? – И, не дожидаясь, он скользнул в коридор, голос его загудел за стеной.

Они услышали бормотание, потом заскрипела кровать – старуха встала.

Воронец появился стремительно.

– Сейчас закуска будет. – Он поставил на стол бутылку, снял пиджак.

Смеясь, они стали подниматься. Первым вскочил Середа:

– Неужели у бабки?

– Мы же не в Патагонии. Но бабуся, я вам скажу, матерая. Копейку понимает.

– А где твои вещи?

– Все на мне… – Он поднял стакан. – Лично меня зовут Лешка.

Пришла старуха, принесла отварной картошки и сала.

Наутро Петя высматривал на поле теннисную кепку – ее не было.

– Я и в Сванетии был, и в Тушетии, – рассказывал Пятигорский. – Весь Кавказский хребет пешком прошел, страшно вспомнить.

– Ты мне лучше скажи, откуда у грузин денег много? – приставал к грузину Середа.

– Работать надо, слушай, – добродушно отвечал тот. – А в Кахетии был? В Кахетии не был – значит, в Грузии не был!

– У меня отец – фанатик, – сказал Пятигорский. – А я ненавижу ходить в горы.

– А ты кахетинец, Дато? – спрашивал Середа.

– А кто же!

– А у кахетинцев откуда деньги?

Ветер задувал с холма. Озеро нахмурилось, по воде бежали барашки. Вороний крик в сером небе стал казаться печальным, осенним.

Воронец, разувшись, закатав брюки, сидел верхом на корзине.

– Нет, парни, это не жизнь, без сапог…

– Как же ты умудрился? На картошку – в галстуке?

– Элементарно, – отвечал он с ухмылкой. – Непредвиденные обстоятельства. Выхожу я утречком из общаги, смотрю – человек. А мне – на мандатную комиссию. Нет, говорит, не могу, я проездом, сегодня уезжаю. Я ее за углом на лавочке посадил, а сам – в институт. Выхожу – сидит, шельма. И угодил я с ней в Минводы. Мамуля, папуля, дом двухэтажный. Рай. Отец директор

санатория. Погуляли недельку, чувствую – пора, к знаниям тянет. Давай, говорю, за картошкой сбегаю. Мамуля обрадовалась – вот это муж! И в поезд.

Они смеялись. Петя слушал и не верил.

Пришел бригадир в потертой шляпе, спрашивал желающих работать на машине.

– Шоферов не хватает.

Воронец вскочил, схватил в руки свои мокасины:

– Спецодежду давай.

Бригадир недоверчиво оглядел его:

– Права-то есть?

– Где твой драндулет? У меня ребра поломанные, я ж автогонщик!

Кормили их в столовой на краю поселка. Подъезжали автобусы, улица оживала, они галдели, толкались в дверях, и в столовой сразу становилось шумно и тесно.

Аня пила молоко и с задумчивым видом поглощала конфеты.

– Спать не дали, девчонки трепались до утра. Привезли на какую-то станцию, на сортировку. Там горы картошки. Гнили полно, запах жуткий… – Она посмотрела отрешенно. – А настроение – прекрасное, на душе почти весело, почему – не знаю.

– Может, ты в меня влюбилась.

– Чего нет – того нет… – Она улыбалась, глядя ему в глаза из-под козырька своей кепки, и это было неприятно.

За окном самосвал резко затормозил, распугав компанию девчонок, они отскочили с визгом. Из кабины вылез, ухмыляясь, Воронец, в сапогах и в ватнике, по-прежнему при галстуке.

– Это еще что за чучело?

Петя угрюмо ковырялся в макаронах.

– Ужасно хочется шоколадку, – сказала она капризно. – Я больше всего люблю такой горький, темный, знаешь? А тут, кроме подушечек, ничего нету… – Она нахмурилась – Воронец с подносом подходил к их столу.

– У меня, между прочим, день рождения, – скромно объявил он, сгружая обед. – Никаких подарков, умоляю. Посидим тихо, по-деревенски.

– Что же ты молчал? – удивился Петя. – Поздравляю.

– Там подружка найдется какая-нибудь? Только нам чего-нибудь попроще. Я не гордый, мне красавиц не надо.

– Вам самую страшную? – осведомилась она. – Трудно будет остановиться, выбор большой.

Оба рассмеялись.

– Страхолюдочка ручки сложит и сидит смирно, она брюки уважает… – Он шумно хлебал суп. – А как вывеска посимпатичней – уже она вся в заботах, ой-ой, как бы не промахнуться! КПД – как у паровоза…

– Это неостроумно.

В окно постучали – Проскурин звал Петю.

– Правильно, – охотно согласился Воронец. – Скажешь вслух – вроде пошлость, а сделай тихо – уже называется по-другому, житейская мудрость.

Петя выскочил на улицу. Рядом с Проскуриным стоял немолодой грузный милиционер в чине лейтенанта. Он обернулся к Пете.

– Ерунда, ничего страшного… – пробормотал он, бесцеремонно разглядывая его синяки. – С фиксой такой? Чернявый? Его оформить – одна минута. Фомин Игорь, он срок досиживает, уже на химии. А на выходные их домой пускают. Протокол на стол – ему сразу добавят. Подавать будешь?

Петя молчал, насупясь. Заразительно смеялась Аня за окном.

– А может, и не мешало добавить? – сказал Проскурин.

– В самый раз, – кивнул, пыхтя, участковый, – парень-то поганец. А мать одна, да у ней второй растет, такой же.

– Не буду я ничего писать, – буркнул Петя.

Лейтенант ушел, переваливаясь с боку на бок. Вышла Аня с Воронцом, он махнул им рукой и залез в кабину.

– По-моему, он жуткий пошляк, – сказала она, продолжая улыбаться ему вслед.

Вечером Петя выскочил из автобуса на станции. Он спросил, где магазин, и побежал на эстакаду.

Начинались сумерки, с электрички валил народ. На площади рядом с водокачкой стояли два магазина, продуктовый и хозяйственный, оба почему-то запертые. На вопрос о ресторане два летчика показали ему в обратную сторону.

Петя опять помчался через эстакаду. На автовокзале толпа все прибывала, один за другим подъезжали автобусы. Из буфета долетал жирный запах пончиков. Он пробрался к стойке, но шоколада там не оказалось.

Он миновал квартал одноэтажных, окруженных палисадником домишек, свернул с пристанционной улицы и на развилке шоссе нашел стеклянный павильон. За шторами колыхалась тесная толпа танцующих. У входа дремали машины. На стук никто не откликался.

Обойдя дощатый забор, через хозяйственный двор Петя проник на кухню, а оттуда – в зал. В ресторане гуляла свадьба.

После долгих переговоров усатая официантка принесла две плитки шоколада под названием “Сказки Пушкина”.

Стемнело, когда он вернулся на опустевший автовокзал. Затих буфет. Женщины с сумками дожидались автобуса, и кто-то спал на лавке.

– Это Махонинский, а на Трудовое больше не будет, – объяснила одна из них. – Последний ушел…

Петя потоптался, не зная, на что решиться. Затарахтел автобус, они стали садиться, растолкали спящего.

– Туда километров двадцать, – сказал Пете водитель, но, заметив уныние на Петином лице, уступил: – А может, и поменьше, я не мерил…

Автобус уехал. Петя остался один на площадке у автовокзала. Он рассовал шоколад в карманы куртки, застегнул молнии и припустил ровной трусцой.

Дорога петляла в открытом поле. Ветер гудел в ушах. Иногда его обгоняли машины, он пытался голосовать. Потом машин не стало. Потянулся лес, по-осеннему молчаливый. Петя слышал только собственный топот.

Бежать в резиновых сапогах было неудобно, он взмок и временами переходил на шаг. Луна плыла над синим асфальтом. Темной стеной стояли по обе стороны деревья.

На диване лежал Пятигорский и читал книжку при свете старенького ночника, прикрытого полотенцем.

– Мы уже хотели шум поднимать, – сказал он шепотом. – Где ты загулял?

В полумраке он разглядел спящих: Проскурина на сундуке, на лежанке в одиночестве – Середу.

– Запри двери, бабка ворчит.

– А Воронец?

– Постучит, если явится…

Он стащил сапоги. Ноги горели. Проковылял в сени, заложил засов, вернулся. И все-таки не выдержал:

– Ну, как праздновали?

– Это же чистой воды липа, это рожденье, – засмеялся Пятигорский. – Мы, как дураки, не пошли на ужин, сидим. Васька жрать хочет, злится. Наконец является Лешка, выпивку привез и двух барышень. Тост подняли за именинника, а именинник вышел с этой длинной, только его и видели. А вторую провожать надо, Проскурин ругался, на чем свет…

Толстяк смотрит на него через очки большими близорукими глазами. Он гасит лампу. Петя лежит, уставясь в темноту. Где-то над головой сонно звенит сверчок.

И кажется – только прикрыл веки, а в распахнутом окне бесшумно вырастает Воронец, подтягиваясь на руках, и сизый утренний туман клубится за его спиной. Он легко спрыгивает в комнату и наступает на Середу, тот чертыхается.

– А з-зачем двери з-заперли? – У Воронца стучат зубы, он дрожит.

Натянув свитер Пятигорского, он бежит на кухню, приносит кружку воды, включает кипятильник и уже что-то жует.

– Когда у тебя рожденье? – Проскурин во весь рот зевает.

– Мартовский я, Коля, – смеется Воронец и никак не может унять озноб. – П-рямо в женский день.

И Пятигорского разбудили. Щурясь, он тянется за очками, ворчит:

– Ты, Лешка, аморальный тип.

– Точно, – подтверждает Проскурин. – Мы тебя будем воспитывать по-страшному.

– Только не покалечьте.

Они лежат и смотрят, как он, обжигаясь, глотает кипяток и блаженно кряхтит.

– Самый сон перебил… – бормочет Середа и ползет к столу. – Налей чайку-то.

Воронца вдруг прошибает хохот, не в силах удержаться, он прыскает:

– Что было, мужики!

Смех у него такой, что все невольно начинают улыбаться.

– Занесло куда-то впотьмах, амбар, не амбар. Только разговор пошел серьезный – вдруг открывается дверь, мужик лошадь заводит. А мужик тепленький, хочет привязать и промахивается, а веревку роняет прямо на нас. А лошадь за сеном тянется, того и гляди ей голову откусит. Я со смеху помираю, она – со страху…

Старуха, услышав хохот, беспокойно сунулась в дверь.

– За что тебя только бабы любят? – Середа даже прослезился.

– Не говори! – соглашается Воронец. – Нос торчком, хвост крючком, уши разные…

– Врешь ты все! – срывающимся голосом выговорил Петя и вскочил. Он стал натягивать брюки, в спешке не мог попасть в штанину. – А если было, тогда ты – просто мразь.

И шагнул к Воронцу.

Тот взглянул на Петю снизу с открытым, каким-то простодушным удивлением. Он хотел засмеяться, но передумал и покосился на Проскурина:

– А нельзя ему старый фингал засчитать?

Раздался хохот, Петя выскочил из комнаты.

Он стоял посреди двора. За забором у соседей кто-то гонял

мотор мотоцикла, он оглушительно взревывал. Скрипела на ветру дверь сарая, бабка охала, разговаривая с коровой.

– Прямо беда, – сказала она, увидев Петю на пороге. – Никак Музка не разродится…

Что-то дрогнуло в полутьме, корова вздохнула, и только тут он различил черные выпуклые бока, широкую морду с белым пятном на лбу, темный, влажно блеснувший глаз.

Пятигорский с надеждой поглядывал на небо. Низкие облака легли до самого горизонта.

– Ей-богу, капает!

– Не любишь трудиться, академик.

– Ему что! У него батя, – бурчит Середа.

– А батя при чем?

– Ладно… Твой трубку снял – и ты в институте. А попробуй без блата.

Пятигорский только ухмыльнулся:

– Я за своих ребят в два вуза математику сдал, и еще химию в Менделеевский. И все в полном порядке, один только лопух по истории пару схватил. Я тебе на спор сдам куда хочешь.

Петя видел, как приехал Воронец, стоял, ждал, пока грузился самосвал, но не подошел.

Над дальними холмами плывет птичий косяк.

– Высоко… – щурится Середа, и все, как по команде, задирают головы. – С ружья не достать.

– Ты, Васька, практик, без всякого полета. Лес увидал, сразу думаешь – дрова.

– Дрова и есть, – усмехается Середа. – Природа – она красивей всего, когда мимо в “Жигулях” проезжаешь. А в деревне от нее человеку один вред.

– Почему вред? – удивляется Пятигорский.

– Дожди польют – дороги нет, мороз как даст – дров не напасешься. Никакой жизни, только вкалывай. Дом-то на земле, крышу починил – крыльцо завалилось…

Пятигорский лежит на грядке, раскинув руки, и читает:

…Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни,
На ласковой земле, сестре звездам,
Мы – на чужбине, а они – в отчизне…

Ветер раскачивает березы на кладбище. Пахнет осенью.

Он увидел ее сразу, войдя в столовую.

За столом тесно сидели несколько девчонок, они замолчали, когда Петя подошел. Аня кивнула угрюмо и уткнулась в тарелку.

Он растерялся. Он ждал, что она спросит, куда он пропал вчера, но она не спрашивала и ела торопливо, как будто была очень голодная.

– А вас опять… на сортировку возили? – пробормотал он.

Девчонки переглядывались. Молчание затянулось, и Петя стал медленно, позорно заливаться краской на глазах у всей столовой. Он сделал вид, что ищет кого-то и с кривой улыбкой, на негнущихся ногах пошел к раздаче.

В очереди он стоял, сгорая от стыда и отвращения к себе. Оказывается, и Воронец был здесь. Петя заметил его в углу, когда он встал и понес грязную посуду.

Петя сел к своим. Он пытался есть. Пятигорский и в столовой читал книжку.

Аня ушла с девушками. Они потоптались на солнышке у входа и побрели к автобусу мимо Воронца, сидевшего на подножке самосвала. Петя видел в окно, как она приостановилась и Воронец протянул ей сигареты и спички, она закурила, а он, разомлевший от еды и солнца, что-то говорил с ухмылкой, глядя себе под ноги. Но то, как она вдруг расхохоталась, запрокидывая голову, как распахнулись и просияли ее глаза, как дотронулась до его плеча – этого не мог вынести Петя. Как ужаленный он вскочил из-за стола, бросился в уборную и заперся на крючок.

Он стоял, привалясь к дверям, уставясь в потолок раненым взглядом. Кто-то стучал. Он расстегнул молнию, достал две плитки шоколада “Сказки Пушкина”, положил их на высокий, заросший плесенью бачок.

Вечером, возвращаясь с поля, они услышали крик во дворе. Собака заливалась лаем, у калитки корова выщипывала остатки травы, а сама старуха хныкала на крыльце. Они окружили ее:

– Что случилось, баба Зоя?

– Дед озорует, – всхлипнула она. – Корову из сарая прогнал, изверг.

– А корову твою сдам на пункт! – закричал из-за двери тонкий хриплый голос. – У меня слово – камень!

– Муж, что ли?

– Не-ет! – испуганно отвечала она. – Это он выпимши.

Проскурин решительно забарабанил в дверь.

– Вот я те ноги переломаю, – пообещал голос. – Ступайте отсюдова, а то посажу. Я тут живу, это моя квартера! Постояльцев никого не пущу…

– Откуда он взялся?

– Он тут хозяин, сыночки, – вздохнула старуха. – И дом его, и сад.

– А твой дом где?

– А мой дом там. – Она показала на улицу. – Там майор живет, и сын его, и сноха с дочкой…

– Твоя сноха?

– Майора…

– Ничего не понимаю.

– Вы бутылочку ему поставьте, он и утихнет, – посоветовала соседка за забором. – Он ее каждый раз гоняет, добавить хочет…

– Так это в магазин бежать.

– А больше его ничем не взять.

Середа молча достал рубль.

– Чего же ты раньше молчала, баба Зоя? – проворчал Проскурин, собирая деньги.

Самосвал притормозил у ворот. И Петя сразу увидел девичью голову в кабине рядом с Воронцом.

– Леха, сгоняй в магазин. Тут хозяин объявился, бузит.

– Обижаешь, парень. – Воронец открыл дальнюю дверь, и Аня спрыгнула на землю. – Или я не за баранкой.

И вытащил бутылку из-под сиденья.

– …Да не Бе́дово, а Бедо́во, бедовая значит! Никого, значит, не боялись – бедовые потому. Где какой народ жил, такое и название. Трудовую знаешь? Это она теперь Трудовая, а ей название было Сучья Горка. А мы завсегда были бедовские… Это раньше, теперь один жмых остался. Дрянь народ. Сидят как мыши, за шкафом пьет, под одеялкой закусывает. А я с их смеюсь. Они у меня знаешь где? Все тут…

Худой, тщедушный дед страшно морщился, опрокинув стакан, и, как слепой, хлопал по столу в поисках папиросы. Середа принес дымящуюся картошку в мундире, все накинулись.

– Я молодой знаешь какой был? Я их тут всех крушил. Без меня ни одна драка не получалась. Я какой человек? Мне ничего не жалко. Мне все равно, я свое отсидел… Яблоков-то принеси! – закричал он и закашлялся. – Мои яблоки, не твои, чего жмешь?

Помимо воли Петя чувствовал каждое движение Ани и напрягался всякий раз, как она оглядывалась на Воронца.

– А я их никого не боюсь. Меня первый раз посадили, мне пятнадцать стукнуло. Друг у меня был, Бырин Митюха, я ему башку проломил. А после тоже друг у меня был хороший, Иван Савич. Он счетовод был, совхоза не было тогда, колхоз был. И мы с им казенную кассу прогуляли, в Александров уехали, и нас прямо у марухи у его взяли. А мне все равно сверху врезали, как я

только был отсидемши…

– И бухтит, и бухтит… – проворчала старуха, сунув в дверь миску яблок. – Угомон тебе будет?

– Ты им расскажи, расскажи постояльцам-то, какая ты есть дура старая! – обрадовался дед. – Дом продала и к сынку своему намазалась в Вологду, на сыновы харчи. Теперь сбегла обратно, не глянулось у снохи. А куды? Конура собачья – и та майорова… Видали ворону? Где бы ты без Сереги была? А она мне, зараза, на бутылку жалеет!

Они смеялись. Воронец шагнул на порог, глянул через плечо на Аню. И она послушно поднялась и вышла следом. Хлопнула дверь в сенях.

– Я с их всех смеюся. Я сам себе хозяин, на стакан у меня завсегда будет. Коровник в Трудовой, старый, где теперь склад, строили, и, значит, балку на меня сронили… – Он засмеялся: – Вот те и пенсия! Увечился-то на работе. Я только с лагеря пришел. Председатель был, Карманов, переживал. Хоть бы на кого, говорит, а то первый бузотер, а теперь хошь не хошь, а плати…

Петя не выдержал, вышел, сбежал с крыльца. Он курил, вздрагивая на ветру. Корова вздыхала в сарае. Все было тихо на улице, луна светила.

За калиткой он едва не налетел на застывшую парочку. Они стояли обнявшись в тени акации у забора.

– Чего людей пугаешь, Картошкин? – тихо засмеялся Воронец, высвобождаясь.

Слова застряли у Пети в горле. Аня смотрела мимо, словно его не заметив. Она поежилась, прижалась теснее, потянулась к губам Воронца.

Не помня себя, Петя шагнул вперед, схватил ее руку, но Воронец поймал его за кисть.

– Очухайся, Петро! – услышал он остерегающий голос.

– Н-ненавижу! – прошипел Петя в лицо девушке и, оттолкнув Воронца, бросился бежать по улице неведомо куда. Собаки, одна за другой, провожали его отчаянным лаем.

– Живем в деревне, а молока не кушаем, – сказал Проскурин у дверей столовой. – Пюре это из ушей лезет. Пошли на ферму?

Середа отказался, и с Проскуриным отправился Петя.

– Нам питание дороже, – сказал Середа.

За магазином они свернули в проулок. Дорога шла задами, вползла на пригорок, на котором виднелись длинные кирпичные строения. Дни стояли сухие, а здесь землю покрывал слой черной жижи со следами колес.

Они заглянули в коровник. В проходе торчала лошадь с телегой, на ворохе сена сидел карапуз в пальто и ушанке. Девушка с вилами, совсем девчонка, курносая, с круглыми румяными щеками, высунулась из загородки.

– Неужели твой? – кивнул на малыша Проскурин.

Она стеснительно улыбнулась.

– Сестры, – отвечала она охотно, а румянец еще сильнее разливался по ее лицу. – А я вас знаю. Я же бедовская. Вы у бабы Зои живете, а мы – через забор.

– Нам бы молочка…

– Чего надо? Светка, иди отсюда! Чего к девке вязнете? – зазвенел женский сердитый голос, и сразу откликнулись, забеспокоились коровы в стойлах.

Старухина соседка, полная, круглая, как шарик, катилась по проходу.

– Чего ты шумишь, мать? – грубовато сказал Проскурин. – За что девчонку обижаешь? Продай нам молока, мы и уйдем.

– А, ребята… – улыбнулась женщина, пересаживая малыша на телеге. – Внучонка оставить не с кем, так с ним и ездим. Светка, сбегай к Лиде, попроси молока, скажи, я просила… Вот тут я и работаю, меня теть Тося звать, Таисия Павловна. Хочете, покажу наше хозяйство? – быстро, нараспев говорила она и все время посмеивалась. – Тут у нас все телочки, все стельные, а которая телиться собралась, вон туда переселяем. Все у нас хорошо, только теляточки мрут. А кто их знает отчего? Не велят сырого давать, я и не даю, сухое даю, сено или комбикорм, а они все равно мрут…

– А дочка дояркой, что ли? – спросил Проскурин.

– Светка? Нет, она на почте работает, помогать приходит мамке. А старшая у меня в военном городке, в магазине, и зять у меня. А мужа нету, сами обходимся, мы привыкшие… – Она засмеялась. – Работа у нас тяжелая, кормовоз называется, выходных не допросишься, потому работать некому, народу нет…

Девушка принесла ведро молока.

– Кушайте на здоровье, ребята, молочко у нас хорошее, у нас в области молоко второе по жирности…

Выйдя на улицу, Петя так и застыл с ведром. На обочине стоял на траве парень в начищенных сапогах, в черном бушлате и кричал в окно коровника:

– Клав, Нинку позови, кому говорят!

– Ты чего? – обернулся Проскурин.

– Тот самый. Что меня в первый день отметелили…

Проскурин подошел к парню вплотную:

– Здорово, друг.

Тот покосился угрюмо, и Петя понял, что он не узнал.

– Отвали, – буркнул он.

Спина Проскурина коротко дернулась, и парень полетел на дорогу, разбрызгивая грязь. Он приподнялся, ошалело помотал головой и, увидев над собой Проскурина, загородился рукой.

– Вставай, падаль. Я лежачих не топчу.

– Хватит, пускай катится, – сказал Петя.

Парень встал.

– Офонарел, что ли? – пробормотал он, оглядывая в изумлении свой костюм.

– Не надо, Коля! – Петя схватил его за плечи, но Проскурин, легко увернувшись, ударил снова, и парень рухнул. – Ты что, спятил? Кто тебя просил?

Но Проскурин и не думал отступаться.

– Молчи, дурак, они только это и понимают. Привыкли, дешевки, по темным углам… Учить их надо.

– Козел, ты же меня без зубов оставил… – Парень сплюнул.

Из коровника бежали женщины.

– Не тронь, гад! – кричал Петя, отталкивая Проскурина. – Ты сам такой же!

С ночи зарядил дождь.

Утром пришла соседка с малышом, они со старухой затеяли квасить капусту. Середа вызвался помогать, и в комнате сразу стало не повернуться, втроем они стучали ножами у стола, мешая друг другу.

– А песни петь будете? – поинтересовался Пятигорский.

Он сидел с книжкой и играл в шахматы с Проскуриным.

– Мы же тверезые, – сказала Таисия. – С чего нам петь-то?

– А раньше пели. Девушки собирались со всей деревни, рубили капусту, а по ходу дела играли и пели. Хозяева угощение выставляли. Это и называлось – капустник…

Середа, фыркнув, недоверчиво покосился на него:

– Ты-то откуда знаешь?

– Читал…

– То раньше! – оживилась старуха. – Раньше сколько солили! У кого семья большая – и десять кадушек насолят. Без капустки да без картошки до Пасхи нипочем не дотянешь.

Малыш добрался до сундука и норовил ухватить с доски крошечные фигурки. У Проскурина желваки ходили на лице – он проигрывал.

– Забери ты его, Тось! – не выдержал он. – Играть не дает.

– Ребенок ни при чем, давно сдаваться пора… – Пятигорский делал ходы, не отрываясь от книжки.

Петя валялся в своем углу с приемником. На диване, уткнувшись в валик, беспробудно спал Воронец.

– А вы раньше бедные были, баба Зоя? – спрашивал Середа. – До революции?

– Которые вино пили – конечно бедные. А кто работал да сыновья у кого, те хозяйство имели. У нас лошадь была одна, корова была, овцы еще, поросята. Курей мы не держали…

– Чего же на капусте сидели?

– Так пост же! После Масленой-то пост семь недель. Ни мяса, ни рыбы… Чего матка на стол поставит, то и лопали. Не как нынче. А брат старший, Пашка, с погреба сало таскал тишком. Драл его папаша, а он все равно таскал. Здоровый был, что ни съест – все мало. Отец придет на Пасху, Пашка сразу хоронится… Или с ребятишками окуней в проруби наловят, пожарят да трескают, чтоб мать не видела. Озеро-то не наше было, ловить не позволяли. Его немец купил, Шумахер, и фабрику на той стороне поставил…

Проскурин встал, отодвинув доску:

– Какой у тебя разряд?

– Нет у меня разряда, Коля. Я просто играю прилично.

– Пора ему темную сделать, наглый очень.

Пятигорский вздохнул:

– Принцип у тебя, в общем, правильный. Сила есть – ума не надо. А в этой игре все наоборот…

Малыш уползал в коридор, Таисия ловила его и совала то кочерыжку, то кусок сахару. Середа с бабкой тискали нарубленную капусту, чтоб дала сок.

– А в войну все на озеро повадились, – рассказывала Середе старуха. – За лето всю рыбу съели, пропала рыба. И чего мы только не жрали, сыночки! И щавель конский, и крапиву…

– Тут разве немцы были?

– А как же. Двадцать третьего ноября пришли, а ушли одиннадцатого. Ни одного дома целого не оставили, все пожгли. Как их под Яхромой стукнули, так мы их больше не видели, чертей проклятых. Наворотили делов…

– А жгли зачем?

– А спроси у его. Чего им тут понадобилось, кого искали? Мужиков-то никого не было, ни одного, бабы да ребятишки… Всю Россию забрать хотел. Вот и жег, чтоб одна мертвая зола осталась. А только не вышло, не пропала Россия… – сердито и важно сказала она. – Вот которые дома сейчас стоят, они все бабскими руками ставлены. Женскую бригаду организовали, она все и строила. Бабы-то у нас привычные, без мужиков. Раньше мужики в Москву ходили. Была такая Жмочкина фабрика в Москве,

хомуты делали и сбрую. Всякую кожаную работу. На праздники приезжали, конечно, и на сенокос. А то и пахали бабы… Папаня наш как ушел на германскую, так до двадцать второго года не видали мы его. А пришел весь покалеченный, у немцев в плену был, и в Красной армии воевал, и в Сибирь ходил, и в Польшу ходил. А пришел, и видать было, что скоро помрет. А нас у матери четверо да бабушка… Вот теперь одна я осталась живая.

Таисия уминала капусту в кадушке, пересыпая ее крупной солью. Вдруг она засмеялась и прильнула к окну:

– Рубит! Глянь, баба Зоя, солдат рубит… Рассерчал.

Во дворе под дождем Проскурин рубил дрова. Голый до пояса, босой, он неторопливо устанавливал полено и ловко разваливал с одного удара. Крепкая, загорелая спина его блестела от дождя и пота, и при замахе на плечах вспухали бугры мышц.

– Интересный парень! – Таисия ухмыльнулась. – Нам бы с тобой такого мужичка, а, баба Зоя?

– Будет тебе молоть…

– Ты им лучше про Гордея своего расскажи, расскажи, как ты любовь крутила! Баба Зоя у нас знаете какая была!

– Сдурела ты, Тося! – разозлилась старуха. – Внук у тебя, а ты брешешь незнамо что…

– А чего стыдиться? – Она подмигнула Середе. – Им же интересно, как все раньше было…

Бабка, упрямо поджав рот, кромсала морковку. Ребята с любопытством поглядывали на нее.

– А помещиков мать с отцом помнили? – спросил Середа.

– Бабушка помнила. Мать с отцом молодые были… Барин у нас был Оленев, он в Калуге был начальник большой, забыла, как называется…

– Губернатор? – подсказал Пятигорский.

– Вроде… Нет, по-другому.

– Предводитель дворянства?

– Откудова он знает? – удивилась старуха. – Точно, предводитель… Вспоминали его старики, хороший был барин. Бабушка рассказывала, вот поедет он гулять, сейчас первым делом в деревню и обязательно глядит, кто как живет, остановится и спросит. У кого окошко побитое – хозяина позвать: почему да как? Денег даст, велит вставить. И уж на другой раз глядит – вставили или нет. Все помнил. А если прогуляли денежки, то сейчас его поучить. Справедливый… А барыня Евстолья Дмитриевна дралась, горничных девок била. А сама-то с крепостных, с Никольского, тут недалеко. Он ее взял и на ей женился. Не любили ее, больно злющая…

Пришел мокрый Проскурин с охапкой дров, свалил их у

печки. Воронец подскочил на диване:

– Ты нормальный?

– Хватит дрыхать, Лешка. А то девки заждались.

Воронец потянулся, почесался:

– А ну их всех в болото…

– А баба-то Зоя видали какая! – зашептала Таисия, как только старуха вышла. – Не хочет про себя… А сама бешеная была, с норовом, Конюх у нас был Гордей, из себя красавец, отец у него цыган. И завелась у них промеж себя любовь. Вся деревня знала. Муж ее в кровь бил, а ей все нипочем. Отлежится, очухается и обратно к цыгану своему. Сама рассказывала. Ужасно она его любила. А потом убился он, пьяный был, и лошадь понесла…

Воронец сделал голубя из газеты, пустил. Ребенок в восторге ползал за голубем. Проскурин открыл дымоход и сел на корточки у огня. Сырые дрова постреливали.

– Академик, почитай стишки, что ли, – попросил Середа.

– Вам же Есенина надо, а я его не знаю.

– Да говори что хочешь, только складно…

За окном расплывались холмы, на потемневшей бурой земле светлыми пятнами блестели лужи. Сверчок запел за стенкой.

Пятигорский задрал ноги на сундук, смотрел в потолок и читал, слегка завывая:

За покинутым бедным жилищем,
Где чернеют остатки забора,
Старый ворон с оборванным нищим
О восторгах вели разговоры.

Старый ворон в тревоге всегдашней
Говорил, трепеща от волненья,
Что ему на развалинах башни
Небывалые снились виденья.

Что в полете воздушном и смелом
Он не помнил тоски их жилища
И был лебедем нежным и белым,
Принцем был отвратительный нищий…

И в Трудовом все попрятались, вымерли улицы. В небе посветлело, над горизонтом легла розовая полоса, а дождь все падал однообразно и ровно. Спустив на уши капюшон, упрятав в куртку руки, Петя брел по глинистой расползшейся тропе вдоль заборов. Наконец навстречу попались мальчишки, он спросил, где живут Фомины.

Он пересек поросший травой пустырь и, отсчитав от угла четвертый дом, оказался у забора с дверью, навешенной вместо калитки. Двор был пуст. Он двинулся к крыльцу, услышал стремительный мокрый шелест и едва успел выскочить на улицу. Грязно-желтый лохматый пес вылетел откуда-то сбоку, из травы и, наткнувшись на дверь, взорвался неистовым лаем. Петя держал дверь, боясь, что она распахнется, а пес, захлебываясь, кидался снова и снова. Тут Петя заметил веревку, длинную, через весь двор, к которой собака была привязана, и, чертыхнувшись, выпустил дверь.

Кто-то свистнул и закричал:

– Фантомас!

Из-за сарая в глубине высунулась голова.

– Игоря позовите, – крикнул Петя.

Голова скрылась, не ответив. Пес все стервенел.

Появился парень в майке и пошел к калитке, прихрамывая, раскрыв дамский зонт в пестрых цветах. Петя узнал косящий по сторонам угрюмый взгляд из-под нависших бровей, увидел кровоподтек и распухшие губы.

Разделенные забором, они молча хмуро рассматривали друг друга. Петя вытащил из-за пазухи сверток, протянул парню.

– Чего надо? – с угрозой сказал тот, косясь на сверток, но не брал, газета быстро намокала. – Собаку-то спущу, он тебя пощекочет, – пообещал он.

– Кретин! – рявкнул Петя, судорожно выдергивая из газеты скатанные джинсы. – Тебе же, дураку, тащил, а если ты такой козел…

Парень схватил джинсы, развернул, и Петя зашагал прочь.

– Постой! Ты, фитиль!

Петя остановился.

– Зайди, говорят. – Он открыл калитку, замахнулся на пса:

– Фантомас, а ну в сумку!

Дождавшись Петю, он повел его к крыльцу и тут же, на ступеньках, стянул сапоги.

– Померить надо? – сказал он с ухмылкой и пронзительно свистнул.

Дверь открылась, вылез мальчишка лет четырнадцати.

– Видал, Витек? – Он завернул длинные обшлага, обдернул и подмигнул Пете. – Норма?

Мальчишка, зыркнув на Петю, засмеялся:

– Почем?

– Ничего не надо… – пробормотал Петя, рванувшись к выходу, и пес помчался ему навстречу. – Собаку возьми!

Братья в два голоса заорали:

– Фантомас!

Уже на улице Петя услыхал:

– Э, командир!

Старший стоял у забора под зонтом, ухмылялся:

– Отдашь курточку? За наличные…

Солнце обливает стену, душно по-летнему, спать невозможно и встать нет сил. Воронец распахивает окно:

– Ну, надышали, кони…

В сенях журчит голосок:

– Приглянете, баба Зоя? Я быстренько, мне только к Люське на минутку…

Старуха на кухне гремит посудой, ворчит. В комнату на четвереньках влетает малыш и следом – соседкина дочка.

– Здрасте… – Она заливается краской, хватает ребенка, он орет.

Сонные, невыспанные, они собираются, натыкаясь друг на друга, завтракают хлебом да чаем. Воронец курит у окна, свесившись на улицу, черный чуб его сияет на свету.

А Петя еще валяется.

Пятигорский явился со двора мокрый, розовый, как поросенок, и читает какой-то клочок, должно быть, из сортира.

– Сачкуешь, Картахена?

Петя сладко потягивается:

– Надоело…

– Ага, в Москву охота, – отзывается Воронец.

У ворот сигналит машина. Он перебрасывает ноги через подоконник и исчезает.

Проскурин готов первым, как всегда.

– Шевелитесь…

– Какая еще Картахена? – язвительно спрашивает Середа.

– Город в Южной Америке. А я имел в виду знаменитого пирата Хуана Картахену. Отстань! – отмахивается Пятигорский.

Оставшись один, Петя сползает с лежанки, натягивает штаны. Холмы за окном ясные, в пятнах яркой зелени. Сосны на том берегу еще в тени, сизые, перевитые туманом.

– Сыночек, постереги ребятенка! – Старуха тащит упирающегося малыша. – У меня корова непоеная, а он, черт, орет как укушенный! Я мигом…

Мальчишка рыдал и рвался к дверям. Унять его не удавалось. Бабка не показывалась.

– Баба Зоя, мне уходить надо! – кричал он в окно.

На дворе стояла безмятежная тишина. Взяв малыша, он вышел на крыльцо и сразу увидел у сарая лежащую навзничь

старуху, опрокинутое ведро. Он бросился к ней, оставив ребенка. Падая, она уткнулась лицом в траву. Открытый застывший глаз смотрел на Петю. Он пытался ее перевернуть. Разлитое варево уже ушло в землю, парок еще курился. Тут он заметил, что мальчишка добрался до открытой калитки. Он помчался за ним, схватил, тот молотил руками и ногами.

На кухне ему попался булыжник на бочке с капустой. Он засунул малыша в комнату и дверь припер камнем.

Старуха лежала в той же позе. Он думал, что она умерла. Он перевалил ее на спину. У нее шевельнулись губы.

– Баба Зоя! Вы меня слышите? Что сделать, баба Зоя? У вас лекарства есть?

На лице ее выразилось мучительное усилие, но ни голос, ни тело не повиновались. Он поднял ее на руки, отнес в дом, уложил на кровать. Сходил за водой, но пить она не могла, все выливалось на подбородок.

С малышом на руках Петя выскочил на пустынную улицу и затрусил по дороге. Во дворе последнего дома стояли три девушки, они обернулись, и он узнал дочку Таисии.

– Куда ты пропала? Бабке плохо, никого нет, и пацан… Беги туда, я за врачом… Где у вас скорую вызывают?

Она сразу заплакала:

– Ой, я боюсь одна, Люсь, пойдем со мной, а то вдруг она помрет…

Солнце нежарко сияло над сухим асфальтом. Грибные запахи осеннего леса плавали в воздухе. Бежать было легко.

Заслышав сзади мотор, Петя поднял руку, но “москвич”, вильнув, обогнал его и скрылся. Он побежал дальше. Наконец навстречу ему показался из-за поворота самосвал Воронца.

– Ми-ко-ла… – внятно выдавила старуха.

– Никола? Баба Зоя, что ты? – встревожилась Таисия. – Где же его взять, Николу твоего? Он же в Вологде? Забыла.

– Может, телеграмму послать? – предложил Петя.

– Погоди ты помирать, баба Зоя! Может, обойдется еще, а мы сразу – телеграмму. Успеется. Сейчас доктора привезут, укольчик тебе… Еще побежишь.

В глазах старухи была досада. Она упорно смотрела куда-то в угол, потом взгляд ее возвращался к Таисии.

– Угодника, что ли? Николая? – догадалась та. – Вон он на месте, куда ему деться? Чего ты хочешь-то, баба Зоя? За попом, что ли? У нас тут и попа негде взять, сама знаешь. Надо же, в церкву не ходила, а как помирать – попа ей… Дать тебе его, что ли, угодника?

Она сняла со стены небольшую икону в темной рамке, положила на одеяло. Сиплый неясный звук вырвался из горла у старухи, она скашивала глаза вниз, к животу, где лежала икона.

– А, поняла, поняла! – засмеялась Таисия. – Денежки у ей там, ясное дело! А я-то, дура…

Она вытряхнула доску из рамы, оклад не снимался. Петя содрал его, и оттуда выпал сверточек, перетянутый резинкой.

– Мишке двести… – прочла она, разгладив бумажку с каракулями. – Это внуку, в армии он. – Она кивнула на фотокарточку на этажерке. – Послать или когда приедет, баба Зоя? Да ведь, если помрешь, Николай приедет, заберет. Чего тогда делать? Не давать? Ну, гляди. Не дам, спрячу. Не бойся, придет твой Мишка бабку проведать, и все ему достанется до копеечки…

Смеркалось. Она зажгла свет и пересчитала деньги.

– Двести семьдесят три. Точно, баба Зоя? Мишке, значит, а остальное на похороны, это я поняла. Давай считать. Помыть Катерину звать. Я помню, ты говорила. Катерине десяточку…

Петя притих в углу. Бабка следила спокойно, лицо ее разглаживалось.

– Теперь Матвею за работу да могилку вырыть. Считай еще двадцать пять. И на поминки выходит тридцать восемь рублей. Правильно? Вот и разобрались… А корову-то? – спохватилась она. – Корову Колька небось заберет?

На крыльце послышался топот. Воронец привел двоих в белых халатах.

Потные, чумазые, они вылезают из автобуса у столовой, и в дверях возникает толкучка. Петя невольно застывает. Поодаль с независимым видом стоит Аня. Глаза их встречаются. Кивнув хмуро, она отворачивается.

Народу полно, к умывальнику не пробиться.

– Обойдется, – бурчит Середа. – Микроб от грязи дохнет.

Из очереди машет Проскурин. Что-то объявляет девчонка в косынке, старается перекричать гам, но ее не слышно. Пятигорского посылают занять стол.

За окном подъехал самосвал, из кузова спрыгивают парни. Петя видит, как Аня заглядывает в кабину и разочарованно отходит.

– Отъезд в Москву завтра в восемь утра! – кричит девушка в косынке, вскарабкавшись на стул. – Сегодня в Доме культуры прощальный вечер! Кино и танцы!

Ей отвечают улюлюканьем.

Пятигорский увлеченно читает санитарный плакат на стенке.

Столик у него под носом занимают.

Неожиданно Петя замечает в проходе Таисию. Лицо у нее красное, взбудораженное. Она пробирается к ним.

– Подсобите, ребятки, прямо чего делать, не знаю… – говорит она торопливо. – Собрались хоронить, а мужиков – никого, одни старухи да я с девками. Зять в район поехал и пропал. Хоть до кладбища донесите…

Середа с сожалением косится на суп, который наливает повариха.

Они выскакивают на улицу. Аня все стоит у дверей.

Таисия семенит сзади, пыхтит.

– Куда вы несетесь-то? Ей теперь торопиться некуда…

– …Это вот самая и есть баба Катерина. У нас, когда похороны, всегда ее зовут. Она все порядки знает, как положено, обмыть, одеть… А на кладбище – там уж заросло давно, обвалилось, а она все помнит, где чьи родичи лежат. Это Дрося, племянница ее, они так и живут вдвоем…

Старухи чинно стояли в палисаднике, ожидая, когда позовут в дом. Середа передавал через забор стулья некрасивой девушке в блестящем платье.

– А это Алка наша, сестренка моя. Вы разве ее не знаете? А вот маленькая, теть Шура… Она знаете что? – Глаза Светки заблестели, она готова прыснуть. – Она в том году замуж вышла! Ей-богу! А ей семьдесят четыре. А мужу – только семьдесят будет, Иван Демьянович, он у нас в школе учителем был… А это просто Галя, у матери на ферме работает.

Появился и дед Серега, мрачный, тихий, с красными колючими глазами. Зять Таисии, молодой парень с длинными патлами до плеч, с большими руками, черными от масла, поздоровался и стал умываться у крыльца.

– Вон – хромая, видите? В сапогах. Это Комариха. Она у нас вроде гадалки. Травки у ней, болячки заговаривает. А потом милиция ее забрала, она и испугалась. У бабы Зои брат был, жена его – сестра Комарихина. Она ей родственница. Я маленькая была, я ее боялась… А вот глядите, глядите!

Через улицу вели высокого, грузного старика. Мальчик лет двенадцати и старуха поддерживали его с двух сторон. Он тяжело переставлял ноги в огромных бурках. Таисия вышла к калитке ему навстречу.

– Это дед Федор, – прошептала Светка, – Черебушкин его фамилия. Ему девяносто два года, я родилась – уж он слепой был. Он у нас самый старый, и в Трудовом никого старше нету. Баба Зоя рассказывала, он молодой был – лошадь подымал, такая

сила… И что интересно, ничего не соображает, родных путает, а спросить, что раньше было, до войны или совсем при царе, – все помнит. У кого мельница была и когда школа сгорела…

Деда завели во двор. Все потянулись к крыльцу.

Пришли домой – и замолчали, расселись по углам.

Тихо было в доме. Сверчок трещал за стеной. За окном озеро переливалось на закатном солнце.

– Мне на психику давит… – вскочил Проскурин. – Пошли в клуб.

– Я, пожалуй, пас… – Пятигорский завалился с книжкой на диван.

– Пойдешь, Картошка?

– Чего я там не видал? – пробурчал Петя.

– Кино бесплатное. И сеньориты. Все веселей, чем здесь торчать.

Середа считал медяки.

– Семьдесят шесть копеек на всех, – объявил он. – По пятаку на метро надо?

– Как раз полтинник на сеньорит, – заметил Воронец.

– И ты, Ворона? А как же прощальная гастроль?

Воронец ухмыльнулся и полез на лежанку.

Середа с Проскуриным ушли. В углах стало темнеть. Пятигорский зажег лампочку.

– Чего ты читаешь?

– У Таисии на кухне валялась. – Толстяк показал растерзанную книжку. – Ни начала, ни конца, сразу с девяностой страницы. “Вечером его привезли на очную ставку”… – прочел он и поднял голову, прислушиваясь. – Жутковато, да? Сверчок стрекочет, а бабки нету…

В тишине отчетливо донесся стук в дверь. Они переглянулись.

– Кто там?

Воронец сел. Опять постучали. И Петя пошел открывать.

На крыльце в серых сумерках нетерпеливо переминалась Аня.

– Позови Воронца, – сказала она с досадой.

И, отвернувшись, зябко покусывала воротник куртки, наброшенной на плечи.

– Кто пришел, Петь? – крикнул Пятигорский.

Он поплелся в комнату. Воронец смотрел невозмутимо. Он кивнул на дверь:

– Кто?

– Сам знаешь кто…

Воронец хотел встать, но вдруг задумался, уставясь в угол.

– Она там стоит? – шепотом спросил Пятигорский.

– Лешка, не будь гадом… – выдавил Петя.

Воронец провел рукой по лицу, усмехнулся.

– Я сплю, меня нет, – громко, на весь дом сказал он, лег и закрыл глаза.

Она ждала внизу, стоя на нижней ступеньке и обернувшись к нему, как будто собиралась уйти, но замешкалась. Она все еще не верила. Петя увидел, как у нее дернулся подбородок, она судорожно засмеялась и опрометью бросилась к калитке. Он побежал следом.

Единственный фонарь на улице горел, и небо еще светилось прозрачным светом. Из низины полз редкий туман. Сбегая к дороге, она поскользнулась в траве.

– Оставь меня в покое! – со злобой вскрикнула она. – Я тебя видеть не могу! Уйди, уйди…

Лицо ее скривилось, сразу залившись обильными слезами, и, не сводя с Пети полного ужаса, беспомощного взгляда, она стала беззвучно всхлипывать.

Ему показалось, что она сейчас упадет. Он шагнул к ней, подхватил за плечи. Она оседала в его руках. Ему пришлось опуститься на колени, чтобы не уронить ее.

– Мало мне, мало… – еле слышно бормотала она и мелко вздрагивала. – Дрянь, дрянь! Так мне и надо!

Понемногу она затихла. Достала платок, вытерла лицо.

– Прости, – сказала она, поднимаясь на ноги, отряхнула юбку, надела куртку в рукава.

И пошла к шоссе, не оглядываясь.

Утром спозаранку явился дед.

– Стакан налить надо, – сказал он.

– Мы бы рады, да нету. Пустые мы…

Он попросил закурить и топтался в дверях. Уложенные вещи стояли в коридоре, и только Пятигорский, взмокший, воевал со своей шикарной сумкой.

– Это… Значит, трешницу давайте.

– Нету, нету, сказали же… – присаживаясь к столу, сварливо сказал Середа. – Иди чай пить, отец.

– Не пьем, – буркнул он. – Гостинец надо, подари чего-нибудь. А то – жили, жили и до свидания.

Воронец протянул ему зажигалку. Дед щелкнул раз-другой и, усмехнувшись, отдал:

– Ерунда, не годится.

– Хотите кофе? – обрадовался Пятигорский. – Тут почти полная банка.

– Шесть рублей, – сказал Середа. – Дефицит.

Дед покосился недоверчиво, открыл, понюхал зачем-то и, ничего не говоря, исчез.

– Ключи куда деть? – крикнул Проскурин.

Хлопнула дверь.

– Тут и украсть-то нечего…

– Чудачок, чай не пьет, уважает кофе.

– Да нужно ему твое кофе! – засмеялся Воронец. – Он в магазин побежал, на бутылку меняться.

Мелкий дождик потрескивал за окном. Наконец послышалось урчание мотора.

– Автобус! – объявил Середа.

Все вскочили.

– Пора пристреливать. – Воронец кивнул на Пятигорского, в панике перебирающего пожитки.

Проскурин отодвинул его, что-то вынул, переложил, и молния застегнулась.

– Армия по тебе плачет, академик…

Они высыпали на крыльцо, Проскурин – последним, огляделся на пороге, запер, навесил замок.

– Карташов, сарай закрой.

В полумраке сарая шуршало сено, Таисия с вилами обернулась к Пете.

– Вот он, лодырь-то! – сказала она, посмеиваясь. – Не мог раньше вылезти, бабку побаловать…

На свежей соломе лежал голенастый теленок, черный, с белым пятном на лбу. Корова облизывала ему морду, он жмурился.

– А мы уезжаем, Тося, – сказал Петя, и ему вдруг стало грустно.

Заглянул Середа, ухмыльнулся и протиснулся внутрь, присел к теленку. И Проскурин пришел посмотреть. Корова забеспокоилась.

– Мужик или баба?

– Бычок, – улыбнулась Проскурину Таисия. – Вроде тебя…

Автобус сигналил. Они побежали садиться. Таисия махала им, что-то крича, но за стуком мотора не разобрать было.

Промелькнула короткая улица, березы на кладбище. Автобус, переваливаясь, выехал на мокрый глянцевый асфальт. Через минуту он пропал за поворотом.

Осталась деревня на взгорке, обнаженные поля под редким дождем, холмы, земля, притихшая до весны, под сизым спокойным небом…

1983

Легко ли быть молодым?

Весной 37-го года они решили пожениться. Они были одногодками, ей стукнуло двадцать два в мае, он был на четыре месяца моложе. Познакомились у друзей на вечеринке, и он за ней несколько лет ухаживал, а она кочевряжилась. Родители ворчали – очень им нравился претендент.

Его дразнили “простите-извините”, он жутко краснел и извинялся, но добиваться своего умел, это она уже усвоила. У него были наполеоновские планы и пылкое упорство. В Энергетическом он решил выучить английский, положил зубрить пятьдесят слов в день – и не давал себе поблажки даже с похмелья. Выучил за год, получил благодарность в приказе и премию шестнадцать рублей. Теперь он читал ей Киплинга, она скучала и думала, что он воображает.

Жить с женой на деньги родителей – такая идея еще не возникла. “Я пойду работать, – сказал он, – устроюсь куда-нибудь в газету – тогда и жениться”. Он собрался стать журналистом, а может, чем черт не шутит, даже писателем. Но – уходить с пятого курса, когда до конца рукой подать! Он, правда, пытался печататься, была даже заметка в “Вечерке”, но ведь это все – туман, мираж, неопределенность, а тут – диплом инженера!

Дома были удручены. Его отец был инженером. Не какой-то там особенный, выдающийся, а просто – *инженер*, тогда еще попадались такие. Слово “спец” уже умирало, “технократ” появится через много лет, а тогда говорили – инженер, и говорили почтительно. Сухой, подтянутый и слегка мешковатый, с гладковыбритым черепом и щеками, с холодноватым юмором, голос никогда не повышается, к жене – “Мария Федоровна, вы”, так же как она к нему “Сергей Алексеич, вы”, наизусть – “Медный всадник” и “Конек-горбунок” наизусть, похвала сыну: “Ты, Гаврила, молодец…” К революции отнесся довольно хладнокровно, чтобы не сказать равнодушно, на фронте был даже избран солдатами в полковой комитет, хотя был офицером и спокойно пошел работать к большевикам, полагая, что политика – дело грязное, а инженеры нужны всем властям. Сын казанского чиновника, он учился в Москве, в Высшем техническом, а потом на самолетных курсах при “Техноложке” в Петербурге и до конца своих дней считал, что есть только одна профессия, достойная мужчины и, уж конечно, его сыновей.

С тяжелым вздохом сын пообещал закончить институт, выговорив право не защищать диплома.

Невеста прибыла в Москву из Краснодара, спасаясь от голода

и безработицы, и ютилась со всем своим семейством в темной, как чулан, комнатенке громадной квартиры на Тверской. Ответственных съемщиков в квартире было за тридцать, плит на кухне – за двадцать, скандал не утихал, крыли провинциалов, набежавших в столицу как тараканы. Семья была безалаберная, бестолковая – музыканты, никак не могли приноровиться к новым временам. На лето отец подряжался дирижировать куда-нибудь в Ейск, в Таганрог, за ним тянулись остальные. Зимой жили впроголодь, отец сидел без работы, девочки подрабатывали игрой на фортепьяно. Она занималась в училище при консерватории, но с третьего курса пришлось бросить – надо было зарабатывать на хлеб. Теперь она за двадцать рублей в месяц аккомпанировала пионерскому ансамблю одного из Дунаевских в Доме медработников на Большой Никитской.

“Ты должна учиться, – заявил он, – в наше время нельзя без образования”. Она хотела стать артисткой. Он сказал, что это несерьезно. “У тебя есть специальность, надо в ней совершенствоваться”.

Летом она уехала в Сосновку, под Киев, где дирижировал ее отец, а когда вернулась, он с гордостью показал ей газету “Гудок”, а в ней – свою фамилию.

Как любой журналист, свое первое задание – День железнодорожника в Парке культуры – он запомнил на всю жизнь. Он накупил уйму блокнотов и полночи чинил карандаши. Рассвет застал его у запертых ворот парка, и он еще долго дрожал на утреннем холодке, прежде чем пришел сторож и отпер калитку. Весь день он носился по парку как угорелый, боясь пропустить что-нибудь стоящее. К вечеру все блокноты были заполнены его торопливым размашистым почерком, пришлось писать на обороте и обложках. Ночью, измочаленный, но гордый, он ввалился в редакцию. Заведующий отделом пригласил его сесть и, не торопясь, взялся за чтение. Проглядев первую страницу, он ласково сказал: “Это мы пока что бросим в корзину”, – что и было исполнено незамедлительно. “И это мы пока что бросим туда же”, – сообщил он после второй. Реплика и действие повторились девятнадцать раз. Автор курил, на глазах увядая. А на последней, двадцатой странице заведующий решительно отчеркнул толстым красным карандашом абзац и с той же мягкостью промолвил: “А вот это мы сию минуточку отправим в набор”.

> …Весело и жизнерадостно было в этот день в Парке культуры и отдыха. Вместе с железнодорожниками торжественно отметили День железнодорожного

> транспорта рабочие заводов и фабрик столицы. Начавшееся с утра народное гулянье затянулось до поздней ночи.

Он любил повторять: “Будь я дворником, я бы сделал все, чтобы мой двор был самым чистым”. Когда он был маленьким, нянька жаловалась, что у нее от него “в глазах мелькание”. Его мать рассказывала: ему было пять, а брату Вовке – годик, они сидели за столом, Вовка стучал по столу ложкой, и Сережа сказал: “Ты, Вовка, женись и живи с мамой, а я буду путешественником”. И Вовка, плюясь кашей, покорно сказал: “Хорошо, я женюсь”.

Он обладал неистощимой энергией. Он мотался по станциям и дорогам и писал обо всем, что поручали, – о подготовке общежитий к зиме, о недостатках в снабжении города фруктами, об учебе допризывников, о кривоносовском движении. В тот год предстояли первые выборы в Верховный Совет. Газета рассказывала о кандидатах, и вскоре стали появляться подвалы, под которыми стояла его подпись.

> В Минводах он разговорился с местными машинистами. От них он узнал, что на Орджоникидзевской дороге весьма часты случаи аварий по вине службы связи. Ларионов решил помочь товарищам. Он забывает о лечении, о санатории. Сдав чемодан в камеру хранения, он четыре дня ездит с машинистами, внимательно присматриваясь к сигнализации. Через несколько дней он прислал в редакцию подробное описание сигнализации и объяснил причины частых аварий. Оказалось, что сигнализация была установлена вредительски…

Первый раз его отца арестовали в 29-м году в Харькове, в разгар “шахтинского дела”. Он стоял у окна и смотрел в спину отцу, его вели по двору среди бела дня, и соседи оглядывались вслед конвойным. Ему тогда было четырнадцать. Школу пришлось бросить и идти на завод, Харьковский электромеханический, надо было кормить семью – мать и брата. Он был еще слаб для мужской работы, не успевал восстановиться после смены. Мать кричала, не могла его добудиться, он был как пьяный.

Что такое быть сыном вредителя, он знал на собственной шкуре. В тот раз обошлось – отца выпустили раньше чем через год, а вскоре предложили перейти на службу в Наркомтяжпром. Они переехали в Москву и получили квартиру в Панкратьевском

переулке на Сретенке, в новых домах, которые строили немцы.

Потом отца опять арестуют, а мать “уплотнят”, оставят ей одну комнату, и когда сыновья вернутся с фронта, в этой единственной комнате стиснутся все три поколения – родители, сыновья, их жены и дети. Теперь, когда снесли всю Сухаревку, немецкие мансарды этих домов глядят на Колхозную площадь…

> Бывший начальник станции Набойщиков и ревизор движения Котенко попытались дискредитировать методы работы Михина. Набойщиков договаривается со своим единомышленником по вредительским делам, бывшим начальником станции Ряжск Щербаковым, чтобы тот задерживал приемку составов от Кочетовки. Но врагам народа не удалось осуществить свои преступные замыслы. Стахановцы во главе с Михиным доказали преимущество нового метода…

Знать бы, что с ними стало – с “вредителями” и “врагами народа”. Сгинули в лагерях? Или на фронте, в штрафной? Или выжили, несмотря ни на что? Или сами потом разоблачали? И не погиб ли кто-нибудь из них в Бресте?

“Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…” Э нет, дудки, избави бог, лучше куда-нибудь на исторические задворки, в какую-нибудь вегетарианскую эпоху, в застой, в болото… Да вот беда – “времена не выбирают, в них живут и умирают”.

Мир, в который мы входим молодыми, не нами устроен, не нами определено, что в нем – доблесть, что – изъян. А так хочется бойцом в когорту, плечо к плечу, чеканя шаг, да за общее дело! “Время, вперед!” – так и хочется крикнуть вместе со всеми, вот-вот загоним клячу истории, а ты можешь остаться на обочине только потому, что ты – из чуждой прослойки, и если бы не завод – не видать тебе комсомола, как своих ушей.

> Вокруг рвались снаряды. Машинист Сироткин, стиснув зубы, сжал ручку регулятора. В это время в будку вбежал командир. Его лицо было в копоти, на лбу выступила кровь.
>
> – Михалыч! – сквозь грохот снарядов услышал машинист. – Мы подбили паровоз белых…

В сентябре пошли расписываться. Все шло, как он задумал. Он работал в газете и печатался. В Энергетическом начался пятый курс, надо было дотерпеть. И главное – его приняли на заочный в Литинститут. Он настоял, чтобы она поступила в Гнесинское училище. Выпускной экзамен по фортепиано она будет сдавать

под аккомпанемент первой воздушной тревоги.

В 35-м году они вместе играли “Предложение” Чехова, был тогда такой самодеятельный театр Промкооперации на Триумфальной, она – Наталью Степановну, он – Ломова, и, конечно, потом была дежурная шутка, что он ей сделал предложение на сцене, а она поверила и на самом деле вышла за него замуж.

Вот они выходят из Сокольнического загса, стоят и спорят. Он предлагает пойти в ресторан, отметить. Она сердито отказывается. Он ее уговаривает, не может понять, чего она боится. А по ее краснодарским понятиям, приличная девушка в ресторане ни под каким видом очутиться не может, это все равно что выйти на панель.

Они покупают полкило сосисок и едут к нему, в комнату, которая теперь принадлежит им, – немыслимая роскошь по тем коммунальным временам. Его мать дарит им скатерть и пару вилок и ножей. Они сварили сосиски, сидят, едят…

Они еще многого не знают. Он не знает главного – про войну, про истребительный батальон, артиллерийское училище под Уфой, про Северо-Западный фронт, про газету 27-й армии “Мужество”.

Не знает, что, когда они будут в училищах – он в артиллерийском, а брат Вовка – в танковом, отца опять возьмут не то за “вредительство”, не то за “восхваление немецкой техники” и отправят на пять лет в мордовские лагеря, и мать впервые в жизни будет наниматься на работу, чтобы отец не остался без посылок.

Не знает про старинную крепость на реке Буг, про тех, кто будет драться там, когда фронт будет уже за Смоленском, и каждого, кто останется в живых, нужно будет найти и вернуть из небытия – одного вытащить из тюрьмы, другого восстановить в партии, третьему добиться квартиры и всем им – вернуть доброе имя и уважение народа.

А пока он ничего этого не знает, он ест сосиски, смотрит на свою жену и волнуется. Идет 37-й год, и ему, моему отцу, – двадцать два.

1987

Родненькие мои
Сентиментальная комедия в 2-х действиях

Леночке. Я никогда не встречал женщины, более достойной любви.

– …Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило!

– Да зачем упразднять? – сказал Иван.

– А чтоб истина скорей воссияла, вот зачем…

Ф.М. Достоевский, Братья Карамазовы

Действующие лица:

муж – 26 лет
жена – 26 лет
тесть – 52 года
теща – 50 лет
свекровь – 54 года
брат тещи – 40 лет
жена брата – 35 лет
первый друг – 27 лет
второй друг – 30 лет
третий друг – 25 лет
подруга – 30 лет
девушка – 19 лет
сосед – 60 лет
москвич – 30 лет

Действие первое

Летний домик с застекленной верандой. У крыльца одноногий стол, опоясанный лавкой. Лето. Июнь. У калитки появляется Тесть, нагруженный сумками.

тесть *(переводя дух)*. Дом стоит – уже хорошо. Значит, не сгорел…

Отпирает замок на дверях, исчезает в доме. Скрипят двери, отворяются окна. Выходит на крыльцо, недоверчиво оглядывает участок.

И вроде не обокрали… Все время какая-нибудь ерунда мерещится. Тот раз прямо весь измучился. Еду и вспомнить никак не могу – закрыл шпингалет на террасе или не закрыл? *(Присаживается на лавку.)* Град обещали. Дождик – даже неплохо, поливать не надо. А град совсем ни к чему… Сны какие-то бестолковые. Приснилось вдруг, что я в Японии. Компрессоры поехал выбивать. Почему-то с Кулагиной из планового отдела. Идем и все спорим. А тут толпа, и человек какой-то в халате пальцем показывает – сюда, мол. Подхожу – а там сосиски дают по два шестьдесят, молочные… Старость, что ли? Третьего дня пришел с работы, Серафима окрошку сделала. Только кушать сел, она спрашивает: “дворники” снять не позабыл? И знаю, что снял, а уверенности нет. Кусок в горле застревает… Ну, ничего. Уже осталось недолго. Восемь лет. Два месяца. И одиннадцать дней. И пенсия! И заживем! *(Смеется.)* Эх, Витька, Витька! Как ты там? Вчера Раиса зашла из седьмой квартиры три рубля разменять и дала ему конфету “Вечерний звон”. Он ее мусолил, мусолил. Серафима говорит: не хочешь конфету – давай мне. А ты чего с ней делать будешь, спрашивает. Серафима говорит: съем, чего с ней еще делать? А он лобик сморщил, поглядел на нее так в задумчивости и говорит: нет, баба Сима, лучше я ее сам съем. И в рот! *(Смеется.)* Надо же, у полковника уже пристройка готова! Быстрота и натиск. Прошлый раз только стропила стояли…

За забором появляется Второй друг. Он шарит хмурым взглядом по участку. При виде Тестя лицо его проясняется.

второй друг. Приветствую, дядь Вить.

тесть *(помрачнев)*. Начинается.

второй друг. Я вас приветствую.

тесть. Богдана нет. Он в городе.

второй друг. Ясно. Задерживается, значит… *(Поколебавшись, заходит в калитку.)* А прогноз неблагоприятный. Я как раз подумал – поеду пораньше, а то можно попасть в грозу…

Тесть уносит сумки в дом.

Разрешите вас поздравить. И пожелать, так сказать, всему вашему семейству. Между прочим, зря вы “дворники” на стекле оставляете. Там уже пацаны какие-то вертятся.

Тесть выскакивает из дому и убегает за калитку.

Хоть бы какую-нибудь зацепку дал. У Богдана – в марте. Это я точно помню. У Алены осенью. Свадьба вроде зимой была…

Возвращается Тесть.

тесть. Пошли!

второй друг. Куда?

тесть. Кто там у машины ошивался?

второй друг. Я “дворники” снял. И положил в багажник. Он у вас, между прочим, незапертый. Так что с вас причитается.

Тесть растерянно смотрит на него и опять убегает.

А стоило бы тебя нагреть. Загнал бы Славик твои “дворники”, омрачил праздник…

Возвращается Тесть.

тесть. Ты сразу не мог сказать? Кажется, доброе дело сделает – и то с нагрузкой.

второй друг. Вы так рванули, что я не успел.

тесть. Я тебе в отцы гожусь. Ты меня уважать должен.

второй друг. О чем речь! Я вас уважаю.

тесть. Точно помню: ключи вынимал, еще подумал – не забыть багажник. Отвлекся, наверное. А на что отвлекся – опять не помню… Тревожный симптом.

второй друг. Мозги перегружены информацией. Утром встал сегодня – четко помню, что нужно к вам ехать. А что именно празднуете – как отшибло.

тесть. Ты, Вячеслав, можешь обижаться, я тебе прямо говорю – стол у меня сегодня семейный, родственники и все такое. Так что, извини, не могу тебя пригласить. Неудобно будет.

второй друг. Чего неудобно? Закуски вам жалко? Нужна мне ваша закуска!

тесть. При чем тут закуска? Мы не крохоборы какие-нибудь. А просто мы любим, чтобы были все родные, своей семьей. И нам чужой человек – как кость в горле.

второй друг. Тут я вас понимаю.

тесть. Ну, вот. Сейчас народ начнет подходить. А у меня еще дел невпроворот.

второй друг. Помочь, что ли? (*Тесть, махнув рукой, уходит в дом.)* Помочь – пожалуйста, я не отказываюсь. А родственники ваши меня все знают. И я их знаю буквально всех. Все знают, что я – друг Богдана…

В калитку заходит Сосед.

сосед *(разглядывая Второго друга)*. Ты, хлопец, чей? Что-то я тебя раньше не видел. Не ты, случайно, на мусорной машине прибыл?

второй друг. А что, нельзя?

сосед. Ты не бойся. Я все равно узнаю. Так ты или не ты?

второй друг. Ну, я.

сосед. Добре. Вот так бы сразу… А хозяин на месте? *(Громко.)* Виктор Тимофеич, друг дорогой! Выходи, ругаться будем.

тесть *(показывается на крыльце, улыбаясь)*. Ругаться нехорошо. Не по-соседски, Иван Васильич.

сосед. Зарываешься, Виктор Тимофеич. Я этого молодца второе воскресенье дожидаюсь, а ты его сманиваешь у меня из-под носу.

тесть. Кого сманиваю? Он сам пришел, я его не звал. На кой он мне нужен!

сосед. Вот видишь, как ты. Сразу отбой. Это же я договорился. Лично в управление ездил. И в принципе я не возражал – вывезет у меня, а потом хоть весь поселок обслужит. Пускай человек заработает. А теперь я возражаю. Так дела не делают.

тесть. Вы же сказать не даете, Иван Васильич. А между прочим, кидаетесь на меня без толку. Это же Киреев, зятя моего дружок.

сосед. Прохиндей он, а вы его еще хуже портите.

тесть. Прохиндей – точно, спорить не буду. Только он наш, заводской. Он в электроцеху сменным инженером работает.

сосед. Да он сам сознался, что с мусорной машины!

тесть. Он и не такие номера откалывал.

сосед. Где машина?

второй друг. А я почем знаю? Я с автобуса шел, а он мимо ехал.

сосед. А тогда где же шофер?

второй друг. Понятия не имею. Он меня у пруда высадил, а сам в магазин побежал.

тесть. Я даже и не знал, что такая машина прибыла.

сосед *(недоверчиво оглядывает Второго друга)*. Вот этот – инженер?

тесть. Вы не сомневайтесь, я его знаю как облупленного.

сосед. Добре. Тогда пускай живет. *(Смеется.)* А я уж хотел тебя покритиковать, Виктор Тимофеич. Ты пристройку мою не видал еще? Не хочу хвастаться – отлично получилось. Пообедаешь и прямо приходи.

тесть. Вы, Иван Васильич, тоже заходите. Серафима скоро должна подъехать. Небольшое мероприятие намечается.

сосед. Да я догадался. Ты из машины сумки выгружал, а у тебя там печень трески, опознается легко. И где ты харчи такие берешь, Тимофеич? *(Смеется.)* Воруешь небось?

тесть. Может, у вас кто ворует, так это не значит, что и другие такие же.

сосед. А где же у тебя чувство юмора? Это же я пошутил, а ты не понял.

тесть. Я сразу понял. Если бы я не понял, так я бы плюнул и ушел. Короче говоря, я вас позвал, а там – дело ваше, придете – хорошо, не придете – тоже неплохо.

сосед. Думаю, не получится. Не хочу зря обнадеживать. А что отмечаете, если не секрет?

тесть. Витькино рождение сегодня.

сосед. Наследника? Ну, это, брат, не шутки.

второй друг. А я сижу и думаю: у Аленки – осенью, у Богдана – в марте, это я точно помню. А про Витьку забыл!

тесть *(Соседу)*. Вот и заходите. И супругу можно.

сосед. Куда заходить? Я же вот он, тут.

второй друг. И дождь, похоже, собирается.

тесть *(глядя на Второго друга)*. Не терпится ему… *(Соседу.)* Женщины мои подтянутся, и все будет как положено. И стол будет, и шашлык. А то что же мы будем накоротке? Внук все-таки родной.

сосед. Ты меня тоже пойми. На мне мусор висит.

тесть. Да пожалуйста, я же не против… *(Поднимается на веранду, достает посуду.)* Вы меня знаете, Иван Васильич. Если бы мне жалко было, я мог спокойно вам ничего не говорить. А то я вас сам позвал.

сосед. Я уж и на пруд сходил. Позавтракал. Сижу, жду. Кобель с утра чего-то беспокойный. Я его подразнил маленько, он в норму вошел. Вдруг жена приходит, говорит, у Лыкова, дом пять, стоит машина. Я туда. Лыков говорит, действительно, был, мусор вывез и к Фомичевой Клавдии Федоровне поехал…

второй друг. Между прочим, вон он едет.

сосед. Где? *(Выскакивает за калитку.)*

тесть *(спускается с крыльца с бутылкой и стопками в руках)*. Сел и сидит.

второй друг. А я предлагал помочь.

тесть. И ничем его не проймешь.

второй друг. Вы мне скажите, что сделать, конкретно.

тесть. Разливай. Как говорится, от каждого – по способности.

второй друг. Я к вам поехал в гости, в такую даль тащился, а вы меня все время цепляете. Это еще хорошо, я не обижаюсь. *(Разливает.)*

сосед *(возвращается)*. Действительно, уехал. И значит, я опять при мусоре остался. Вот уже второй выходной мне срывают отдых.

тесть. Очень народ распустился, Иван Васильич. Особенно – молодежь.

сосед. Это ты зря, Виктор Тимофеич. Молодежь у нас хорошая, боевая. А отдельные моменты не должны заслонять нам переспективу. Ты же оптимист?

тесть. Я очень нахальства не люблю. Другой раз обидно бывает от какого-нибудь сверчка терпеть.

сосед. А думаешь, мне не обидно? Лыков сейчас в полной чистоте нюхает свои настурции, а у меня на участке такая обстановка, как после танковых учений. Кобель себе места не находит. Жена расстроенная. А я как рассуждаю? Зачем же я буду огорчаться, тем более в выходной?

тесть. Вообще-то я, конечно, оптимист.

сосед. И правильно. Переспективу нельзя терять никогда. Ну, чтобы все было!

Чокаются.

тесть. А мы же за Витьку собирались!

сосед. Действительно, непорядок. Хорошая у тебя семья, Виктор Тимофеич.

тесть. Это верно. Семья, конечно, стоящая. Я своей семьей очень доволен.

сосед. Давайте, товарищи, поднимем бокал. Как известно, дети – наше будущее. И мы для наших детей, как известно, ничего не пожалеем. Обратите внимание – как звать твоего внука, Виктор Тимофеич? Его звать Виктор. Потому что его так назвали в честь его дедушки неслучайно. Виктор, как известно, означает – победитель. Чтобы побеждать, нужно что? Первым делом здоровье. Здоровье – это важнее всего. Так что пускай растет здоровым. И еще нужно кой-чего. Голова нужна, чтобы котелок

варил. Я что хочу сказать? Я, Виктор Тимофеич, видя с твоей стороны такие заботы о твоем внуке, желаю тебе, чтобы он вырос настоящим победителем!

тесть. Спасибо.

второй друг. И, между прочим, чтобы людей уважать. Я так считаю – если ты людей не уважаешь, то и они тебя не будут уважать.

сосед. Правильно! И чтобы уважал деда!

тесть. Постойте! *(Сунув свой стакан Второму другу, бежит в дом.)*

Второй друг и Сосед озадаченно смотрят ему вслед.

сосед. Чудной, ей-богу. Куда ты пропал, Виктор Тимофеич? И нас в напряжении держишь.

тесть *(с веранды)*. Вручить вам кое-что хочу, Иван Васильич, за ваши теплые слова. Груздей баночку собственноручного засола.

сосед. А белых у тебя не будет? Я лучше белые люблю.

тесть. В крайнем случае можно белых.

сосед. Добре, ждем…

второй друг. Такой тост повис в воздухе.

сосед. А правду мне Клавдия Федоровна говорила, что у тебя и ранняя картошка поспевает?

тесть. Так, ерунда. Пару ведер.

сосед. Ох, хитер! *(Смеется.)* Хозяин! Неслучайно я тебя всегда на правлении в пример ставлю. Ты у нас – дом образцового содержания.

второй друг. Между прочим, опять мусорная машина появилась.

сосед. Не может быть! *(Подходит к калитке.)* Ты погляди, что делается. Это он как раз от Фомичевой под шумок выезжает. Нет, с таким положением нельзя мириться! *(Сует стакан Второму другу и уходит.)*

тесть *(показываясь на крыльце)*. Куда же вы, Иван Васильич? Ну, вот… Еще обидится, чего доброго. Грузди-то на виду стоят, а белых всего три банки осталось. Серафима их в угол заткнула. *(Опять скрывается на веранде.)*

второй друг. Вы скоро, дядь Вить?

тесть. Лично я все равно выпивать не буду.

второй друг. Как же так? А за Витьку?

тесть. Мне сейчас не с руки. *(Спускается с крыльца, разбирает сумку.)* А то гости приедут – ничего не готово, и хозяин выпимши.

второй друг. Чего же, я один, что ли, должен?

тесть. Это ты сам решай.

второй друг. Надо подумать. Вообще-то я один не пью.

тесть. Тебе виднее.

второй друг. Пожалуй, выпью немного. В порядке исключения. Ну, за Витьку! Ничего, что я без подарка?

тесть. Можно подумать, ты хоть раз в жизни пришел с подарком.

второй друг. Сколько раз покупал!

тесть. Во сне, наверное.

второй друг. Я бы мог сейчас кое-что напомнить. Но я просто не хочу. Не на рынке, между прочим. *(Тесть молча разбирает сумку.)* Нет, я в таких условиях выпивать не могу.

тесть. А тебя никто не заставляет.

второй друг. Если я вам не нравлюсь – это ваше личное дело. Все-таки людей уважать надо.

тесть. Тебя, что ли? Какой ты такой особенный, чтобы я тебя уважал?

второй друг. Уважать всех надо.

тесть. Всех подряд уважать – дурости не хватит. Вон у нас Теребилов со второго подъезда, пьяница известный. Придет с отсидки, неделю дома покуролесит, глядишь – уже новый срок схлопотал. А я, значит, уважать его должен?

второй друг. А как же вы хотите, чтобы я вас уважал? Вы меня не уважаете – значит, и я вас не уважаю.

тесть. Хорошенькое дело. Ты ко мне в дом явился, мою водку пить собираешься – и меня же не уважаешь. Хоть бы уж молчал.

второй друг. Вы же сами сказали: почему я должен тебя уважать. Тогда я тоже сказал: а я почему должен вас уважать?

тесть. А какое ты право имеешь меня не уважать? Я тебе в отцы гожусь. Мне скоро на пенсию идти, а меня везде уважают, и на производстве, и во дворе. А вот я погляжу, какое будет к тебе отношение. Лично я большого уважения к тебе покамест не замечаю. И в конторе опять свежий выговор на доске висит.

второй друг. А выговор при чем? Вас куда поведет, вы то и говорите. Вы, дядь Вить, просто первобытный.

тесть. А вот ты до моих лет доживи, я на тебя погляжу.

У калитки появляются Брат тещи и Жена брата.

жена брата. Такая исключительная погода, я даже вся вспотела. Здравствуй, Витя. Мы с Валентином тебя поздравляем, и Серафиму, и Аленушку в связи с днем рождения. Желаем, чтобы у вас все было хорошо, успехов в работе и личного счастья. И конечно, самое главное – здоровья.

брат. И чтобы родичей не забывали.

тесть. Спасибо.

Целуются.

брат. И Киреев уже на месте. Можно заряжать.

жена брата. Алена сказала, чтобы подарок деньгами, только я сейчас много не могу. Открытка на гарнитур должна прийти, я Симе рассказывала. Так что вот десяточка, а в другой раз больше дадим.

тесть. Ничего, не последний раз встречаемся.

брат. Ты когда террасу застеклил?

тесть. Еще тот год застеклил. Ты разве не видал?

брат. Где же я мог видать? Зовешь редко. А тут по телевизору показывали, дача у одного, он стены сделал раздвижные, на роликах. Так вроде закрытая терраса, а захотел, раздвинул – получается открытая.

второй друг. Это в передаче “Человек и закон” показывали.

брат. Точно. Он цветами спекулировал, ему восемь лет дали с конфискацией. А Серафима где?

тесть. Витьку в сад повезла, и вот до сих пор нету. Может, ты мне поможешь, Тамара, с закуской?

брат. Ты что? Ее к продуктам близко нельзя подпускать. Лучше сразу выкинуть.

жена брата. Тебе Валентин поможет. Ты же знаешь, Виктор, я стряпать не очень люблю.

Тесть и Брат уходят в дом.

жена брата. И кто их придумал, эти выходные? Ну сходишь на рынок, погуляешь. Телевизор, как назло, сломался. Мучение прямо.

второй друг. А ты любовника заведи.

жена брата. Еще не хватало! Тут мужа-то не знаешь, куда сплавить. Я считаю – у кого там шашни какие-нибудь на стороне, значит, человек просто не нашел своего места в жизни. А это же не выход. И менять надо не мужчину, а коллектив. Я лично свой отдел ни на что не променяю. Придем, чайку попьем, все обсудим – и за работу. А там обед скоро. У нас в отделе труда девочки подобрались просто исключительные. Всегда очередь в столовой займут. Или, если в универмаге чего-нибудь выбросили, кто первый узнал, всегда скажет. Между прочим, я ведомость по вашему цеху делала. С тебя премию сняли.

второй друг. Это же я на лозунге погорел. Вызвали лозунг

писать к маю, как обычно. Я половину сделал, пошел на обед. Прихожу, а бумажку куда-то задевали. “Ознаменуем предпраздничную трудовую вахту…” А чем ознаменуем – неизвестно. Не помню, хоть убей. Я и махнул – “повышением производительности труда”. Оказывается, неправильно. Надо было – “ознаменуем снижением простоев”. И главное, работы меньше на одно слово.

жена брата. Ты думаешь, почему у тебя все время какие-то срывы? А потому, что ты еще не нашел себя в коллективе. Ты, Киреев, в общественном плане очень запущенный. Может, тебе надо стенгазету выпускать. Или секцию какую-нибудь организуй. Неужели у тебя нет никаких увлечений?

второй друг. Нету.

жена брата. Так не бывает. Что-нибудь обязательно есть. Ты подумай.

второй друг. Я пиво очень люблю.

жена брата. Значит, тебе надо с женщинами работать. Они на тебя будут влиять положительно.

второй друг. Не надо. Я и так алименты плачу.

В калитку входит Муж.

Муж. Не слышу музыки, не вижу смеха. А где все?

жена брата. Валя с Виктором стряпают, а больше никого нету.

второй друг. Тещи нет, Алены нет, дед нервный.

муж. А вот мы сейчас выпьем холодного шампанского, и все уладится само собой.

жена брата. Я вижу, у тебя хорошее настроение.

муж. Отличное, родненькие. Солнышко светит, два выходных, и самое главное, я выспался. Для меня сон – это все. Если я свои десять часов не прихватил – я не человек. Зато теперь я в форме и могу функционировать на полную мощность.

второй друг. Тем более у тебя сегодня сына рождение.

муж. Я считаю, все зависит от настроя. Ты скажи себе десять раз с утра: “Я в порядке, мне здорово!” Тут же начинает везти. Люди же, как собаки, чувствуют, какая от тебя волна идет.

жена брата. Вот сразу видать лабораторию НОТ!

На крыльце появляются Тесть и Брат тещи.

тесть. Нашелся! У меня уже все поджилки трясутся.

муж. Во-первых, здравствуйте, Виктор Тимофеевич. Мы с вами сегодня еще не виделись.

тесть. Здравствуй, здравствуй. А где Аленка?

муж. Чего не знаю – того не знаю. Я когда встал, ее уже унесло. Она же все равно приедет последняя.

тесть. Ничего у вас не поймешь. А мясо?

муж. Я вас когда-нибудь подводил?

тесть. Ну а где же оно? Почему я его не вижу?

муж. Баранину везет Стас.

тесть. Так я и думал. Какой Стас?

муж. Мой друг. Что вы, Стаса не знаете? Со мной вместе работает.

жена брата. “Жигули” у него желтые.

тесть. А если он надует, что будем делать?

муж. Во-первых, мясо у него уже в холодильнике. Я звонил, он мне его даже описал. А во-вторых, Стас не тот человек.

тесть. И народу прибавилось – полковник придет и вон Киреев. Ты хоть предупреждай, кого зовешь.

муж. Я персонально никого не звал. Кто помнит – придет сам. Весь город знает, что у меня сегодня рождение сына.

тесть. Может, весь город явится?

муж. Что вы предлагаете? Всякую шушеру зовут, а для моих друзей места за столом не найдется?

брат. Это кто же шушера?

тесть. А если харчей не хватит?

муж. Виктор Тимофеевич, родненький, о чем вы думаете? У нас с вами праздник сегодня. Сейчас женщины приедут. Выпьем холодного шампанского и будем веселиться.

жена брата. А я шампанское не люблю.

тесть. Его и нету. Я в городе замотался, думал, тут у Серафимы найдется в загашнике, а у ней только мускат.

муж. Вот это удар ниже пояса. День рождения единственного сына, а стол без шампанского?

тесть. Где же его теперь взять?

второй друг. У меня продавщица знакомая в Троицком.

муж. Интересно, что бы я делал без своих друзей?

второй друг. Только у меня рубль.

муж. Виктор Тимофеевич, на минутку!

тесть. Денег, что ли? Вот Тамара дала на подарок.

муж. Давайте ключи.

Муж и Второй друг уходят.

тесть. И всегда что-нибудь такое поднесут, что только крякнешь. Теперь сиди как на иголках.

жена брата. Тебе, Виктор, надо было к Порфирию обратиться. Он для своих в лепешку разобьется, а сделает.

брат. Мы тут у теть Грани были. Солидный стал Порфирий. Все, говорит, больше не пью, а только хочу учиться. Граня говорит, она его и не видит, день и ночь занимается.

тесть. Молодец. А по какой специальности?

брат. Курсы мясников заканчивает. Обижается на тебя Граня. Совсем, говорит, позабыл Виктор родственников. Не позовет никогда.

тесть. Да приезжайте хоть каждый выходной.

брат. Ты позови, мы и приедем.

тесть. Я же зову.

брат. Кто так зовет? Надо все точно, такого-то числа, во столько-то часов. А то мы приедем, а тебя, может, дома нет.

тесть. Суматохи много. Каждый день какая-нибудь новость. И кто его знает, кого он там позвал?

жена брата. Люди зачем придут? У них выходной, пятидневку отработали, всем хочется повеселиться, музыку послушать. Я считаю, главное – встретиться и отдохнуть, а не обжираться.

брат. Теперь ты, Виктор, понимаешь, какое у нас дома может быть питание через такие ее взгляды?

тесть. Ты меня, Тамара, просто удивляешь. Какое же это веселье на голодный желудок? Винегрету налопались и разошлись – ничего себе весело. И потом, это же не то, что мы в пивной бар завернули с получки. Это же мой внук. И у него не что-нибудь, а рожденье. Я даже не пойму, где ты такого набралась, Тамара.

жена брата. Я и спорить с вами не буду. Потому что я знаю, что я права.

брат. Ты докажи сначала. Ты нам пока что ничего не доказала.

жена брата. У тебя просто неправильное понятие. А у меня правильное.

брат. Во-первых, нас двое, а ты одна. Нас больше, значит, и понятие у нас правильное. Вон еще кто-то подъехал. И мы сейчас от твоих понятий мокрое место оставим.

жена брата. Между прочим, это Стаса машина.

тесть. Откуда он взялся, этот самый Стас?

брат. Какой он ни есть, он все равно с улицы. Он к тебе зашел и ушел. Может, ты его больше в жизни не увидишь. А с родственниками тебе до самой смерти дело иметь и даже после.

тесть. Это как же? На том свете, что ли?

брат. А хоронить кто будет? Опять родственники.

В калитку заходит Свекровь.

тесть. Агния Петровна! Это, наверное, свет перевернулся. Сколько раз вы к нам собирались, и все никак.

свекровь. Здравствуйте! *(Целуются.)* Честно говоря, думала, что опять не выберусь.

тесть. Нехорошо, Агния Петровна. У внука рождение, а у бабушки все дела. Виноват, забыл, что вы не любите, когда вас бабушкой кличут.

свекровь. Это Стасу спасибо, он меня вытащил.

тесть. А где же он сам?

свекровь. Они музыку выгружают.

тесть. А много их?

свекровь. Кого?

тесть. Ну, этих… Стаса.

свекровь. Их двое.

тесть. Ясно. А второй который?

свекровь. Он с девушкой.

тесть. Уже, значит, трое.

свекровь. Вы меня считаете?

тесть. С вами четверо.

свекровь. А кто четвертый?

тесть. Ну как же. Вы, девушка и двое парней. Получается четыре.

свекровь. Вы меня не поняли. Нас трое. Парень всего один.

тесть. Опять четыре в сумме. Да какая разница! Одним больше, одним меньше.

В калитку заходят Третий друг и Девушка, они несут магнитофон и колонки.

третий друг. Я извиняюсь, Виктор Тимофеевич, вы меня, скорей всего, не помните. Меня зовут Стас. Мы с Богданом вместе работаем.

тесть. А мы вас ожидаем. Даже тревожиться начали: что это вас не видно?

третий друг. А это Надя.

свекровь. И больше никого.

девушка. Музыку куда?

третий друг. Где все будет происходить?

тесть. Закусывать будем на террасе.

третий друг. Я почему интересуюсь, Виктор Тимофеевич? Если все в доме – это одно. А если шашлык, то лучше, видимо, на лужайке. Соответственно, и музыку туда.

тесть. Ничего я не знаю. Богдан приедет, пускай сам разбирается.

брат. Ты его не томи, а скажи прямо – баранину привез?

третий друг. Это наш подарок. Мы вас поздравляем с именинником. Как говорится, было бы здоровье – а все остальное приложится.

тесть. Спасибо.

брат. А музыку тащи на веранду, там видно будет.

третий друг. Сейчас оформим… *(Уносит аппаратуру на террасу.)* Надя, ты не стесняйся.

брат. Ну вот, баранина приехала – уже, значит, никаких разговоров.

тесть *(девушке)*. Вам, может, умыться с дороги или попить?

девушка. Надо будет – я скажу.

тесть. Я в том смысле, что мы люди простые, и действительно, стесняться не нужно.

девушка. Я никогда не стесняюсь. Нет у меня такой привычки.

тесть *(сбитый с толку)*. Вот и хорошо. Можно пока погулять. Агния Петровна у нас первый раз. Хоть поглядите, как мы живем.

свекровь. Вы же знаете, Виктор Тимофеевич, я стараюсь избегать шумных сборищ. Так устаешь от людей на работе, что хочется побыть одной в тишине. Директор наш, как всегда, уехал и горя не знает. Школа практически на мне. И ремонт, и вся канцелярия.

брат. Рождение тоже не каждый день бывает. Не чужие люди. Не стоит родственниками бросаться.

жена брата. Это мы с тобой – родственники. А Агния Петровна – родная бабушка.

свекровь. Я же просила, Тамара, чтобы меня так не называли.

жена брата. Нравится вам или нет, а только ваш внук, никуда не денетесь.

тесть. Мне даже за Витьку обидно, Агния Петровна! Стыдитесь вы его, что ли?

свекровь. Вы прекрасно знаете, что я его люблю, как никто. Тем более он такой симпатичный ребенок, хотя и избалованный. Но все равно он больше ваш, чем мой.

тесть. Это как же?

свекровь. Так уж природа устроила. Ребенок сына – это совсем не то, что ребенок дочери. Дочка и замуж выйдет, и детей родит, а по-прежнему к матери тянется. А сын, что же – отрезанный ломоть. Женится – только мать его и видела.

тесть. Я, конечно, не так разбираюсь, но мне все равно обидно. У вас выходит, что Витька вам – какой-то троюродный.

свекровь. Просто я привыкла говорить то, что думаю. В жизни мне это часто вредило. Что же делать! Есть у меня такая слабость.

На веранде раздается оглушительная музыка, разговаривать невозможно, все молчат. Слышится шипение, музыка внезапно обрывается.

третий друг *(появляется на крыльце)*. Я извиняюсь, где у вас пробки?

тесть. Что случилось?

третий друг. Все будет в лучшем виде.

тесть. А зачем пробки?

третий друг. Долго объяснять. Вы скажите – где.

тесть. За кухней в чулане.

Третий друг скрывается в доме.

тесть. Он кто по специальности, Стас?

девушка. У него лучшие записи в городе. И аппаратура, между прочим, японская.

тесть. Кем он работает?

девушка. А я почем знаю? В лаборатории.

жена брата. По штатному расписанию он – консультант. Социолог, что ли.

тесть. Лаборатория-то у них особенная – научная организация труда. Да мне лишь бы пожара не было. А музыку я даже люблю.

В калитку заходит Теща.

теща. Соскучились, гости дорогие? *(Целуется с Братом, его Женой и Свекровью.)* Небось нагуляли аппетит?

тесть. Где вы все запропастились? Я тут зашился один. Ну, как Витька? Уехал?

теща. Я вам скажу – это будет фигурист! Весь сад разогнал. Сказал – не поеду, и хоть ты тресни. Два автобуса ушли, один наш стоит, последний. Залез под автобус, и никак не могли его оттуда выкурить. Главное, они мне не верят! Заведующая нервная такая. Я ей спокойно объясняю, что надо сидеть и ждать. Надоест ему, он и вылезет. Нет, пристала с ножом к горлу: ребенок ваш, вы должны что-то предпринять, не может быть, чтобы не было какого-нибудь средства. Я ей говорю: ну нету.

тесть. Что же ты, внука своего не знаешь, что ли!

теща. Не верит! А что я могу сделать? Ребятишки орут, родители – на меня. А она свое: вы нам график срываете, дети к обеду опоздают! Я, говорит, милицию вызову! Меня прямо смех берет. Да хоть пожарных. Все-таки заставила воспитательницу,

бедную, за ним лезть. Вылезает, конечно, вся в слезах. Укусил, говорит. И водитель на стенку лезет, у меня, кричит, время вышло, я ему сейчас покажу!

тесть. Вот это зря.

теща. Не надо, говорю, ничего хорошего не получится. Нет, полез. Еле его оттуда вытащили.

брат. Витьку?

теща. Шофера. Вот с таким фонарем, левый глаз весь закрылся. Чем-то он ему съездил. И тоже на меня: я на вас в суд подам, вы мне бюллетень оплатите! Я говорю: это ребенок, можете вы понять?

свекровь. Это же позор будет на весь город.

теща. А я им говорила. Не позорьтесь, говорю, все равно по-вашему не будет.

тесть. С ним силой – себе дороже выходит. К нему подход нужен.

теща. Вот не потому, что мой внук, а я совершенно объективно могу сказать: я таких детей не встречала. Это будет фигурист!

тесть. Интересно, чем кончилось?

теща. Как я и говорила, так все и вышло. Водитель этот, конечно, уже никуда не годится. Пришлось другой автобус вызывать. Детей пересадили, Витька мигом и вылез. Скучно ему стало. Всех распихал – и на сиденье к окошку. Даже “до свиданья” не сказал.

брат. Орел!

тесть. Эх, Витька, Витька!

свекровь. Боюсь, что ему трудно придется в коллективе.

теща. Вот если не по правилам, а по жизни – кому лучше всех живется и во дворе, и в школе? Первым драчунам и забиякам. А по-научному выходит наоборот. Как же это?

свекровь. Конечно, Витя – ребенок не совсем обычный. В чем-то даже незаурядный. Но он очень избалован.

теща. Я знаю, Агния Петровна, вам наше воспитание не годится. Другое-то где же взять? Вы бы сидели почаще с внуком, вот и было бы все по науке.

свекровь. У ребенка есть родители.

тесть. У него, между прочим, день рождения. Давайте лучше за стол поскорей.

теща. А где они делись, родители-то?

тесть. Алена с утра по делам носится. А Богдан с Киреевым шампанское достают.

теща. Вот они, родители. Ищи ветра в поле… Там студень не растаял? *(Поднимается на веранду.)* Ну, потерпите чуток, и будем

садиться.

тесть. Хозяйка дома – тараканам веселее. Хоть посидеть спокойно, а то я волновался.

брат. Аппетит очень усилился.

тесть. Можем пока поговорить.

брат. Можно. А на какую тему?

тесть. Столько всяких проблем. Все культурные, все при деле. Любой вопрос можем развернуть.

брат. Ну, я не знаю. Как нарочно, ничего в голову не приходит.

тесть. Вообще, что новенького слыхать?

брат. На автобазе, что ли?

тесть. Хотя бы. Есть какие-нибудь новости?

брат. Особенных новостей не слышно. Михеева опять в слесаря перевели. Запчастей нет. Все по-старому.

жена брата. Брюки я ему купила румынские. Покажись, Валентин.

брат. Вот брюки действительно новые.

тесть. Чего-то Агния Петровна пригорюнилась? Погрузилась, наверное, в свою арифметику.

свекровь. Меня эта история с автобусом просто подкосила. У меня и так хватает доброжелателей в кавычках. А тут такой повод. Разговоры по всему городу пойдут.

брат. Как будто в городе уже поговорить не о чем.

жена брата. И все знают, что Витька у них живет, а не у вас.

свекровь. С них такого спроса быть не может. У них работа совсем другого профиля. А я – педагог. Это моя специальность. И в том, что Витя совершенно не приучен к дисциплине, будут винить меня.

тесть. Успеет он еще к дисциплине привыкнуть.

жена брата. К дисциплине надо приучать с пеленок. А вы его уже упустили.

брат. На работе-то от этих разговоров уши пухнут.

жена брата. Потому что ты сам к дисциплине не приучен. Ты ее недооцениваешь.

тесть. А ты, Тамара, сначала своих детей нарожай, а потом советы давать будешь.

С веранды опять доносится взрыв музыки. Все молчат, пока она играет. На крыльцо выходит Третий друг.

третий друг. Мощности не хватает. Это же самые последние вещи. Они рассчитаны на то, чтобы бить по ушам.

тесть. А разговаривать как же?

третий друг. Зачем же разговаривать? У вас день рождения, правильно? Собрались близкие, все хотят отключиться. Какой же культурный отдых без музыки? Кассета кончилась – пожалуйста, подняли тост.

брат. А у нас как раз разговор завязался.

тесть. Раз такой порядок – мы же не будем срывать. Они молодые, у них все под музыку.

теща *(выходит на крыльцо)*. А ну, быстренько за стол, пока картошка горячая!

брат. Пирог с капустой на месте?

теща. Тебя дожидается. Мне только скажи, что Валентин придет, у меня ноги сами за капустой бегут.

брат. Сестра меня в обиду не даст. Учись, Тамара. Действительно, сколько я этого пирога съесть могу– это невозможно сказать. И то же самое макароны по-флотски.

тесть. А как же шампанское?

брат. А вот шампанское у меня желудок не принимает, хоть ты что.

свекровь. А родители?

теща. А где их черти носят? Семеро одного не ждут.

свекровь. Как-то дико – мы сядем праздновать, а за столом отца нет.

теща. Подумаешь, Агния Петровна, матери нет – я и то ничего не говорю! Уж мать-то поважней!

свекровь. Почему же это мать важней отца? Извините, Серафима Павловна, тут я с вами никак не могу согласиться.

теща. Вы и сами так думаете, Агния Петровна. Я удивляюсь, чего вы вдруг уперлись? Ну кто для вашего сына важнее – мать или отец?

свекровь. При чем тут мой сын? У меня особый случай. И мы сейчас не обо мне говорим, а в принципе.

теща. Все равно, вы сами знаете, что мать главней. Это вы просто нарочно говорите. А я на вас все равно не обижаюсь, потому что вы ко мне в гости пришли. Идемте-ка лучше за стол!

В калитку заходят Жена и Подруга.

жена. Держите меня, сейчас умру.

брат. А вот она и мамаша прибыла.

тесть. Аленка, какая ты красивая, прямо как певица!

жена брата. Ну и платье! Где ты его взяла?

брат. В цирке. Там все такие.

жена. Лариса, ты не удивляйся, у нас тут простота нравов, как на рынке. А дядя Валечка вообще самый остроумный на всей

автобазе. И так нервы на пределе, меня прямо всю трясет.

теща. Интересно, я и стряпала, и стол накрыла, а тебя всю трясет.

жена. Мам, ты меня знаешь, у меня так не бывает, чтобы все было нормально. Почему-то у других не случается, а у меня случается.

тесть. Обокрали?

жена. Папа, у тебя других идей нету? Ну почему сразу – обокрали?

тесть. Да? А ты знаешь, что в тот понедельник у Клавдии Федоровны пятнадцать метров шланга среди бела дня увели?

теща. Ты можешь толком сказать, что случилось?

жена. Мам, ну что ты на меня прямо набрасываешься? Я-то чем виновата? Я же голая не поеду!

подруга. Жанна в своем репертуаре. Я свидетель.

жена. Жанка пропала вместе с платьем. Ехать давно пора, а ее в природе нет. Весь город обегали как чумовые, а она сидит у Инны как ни в чем не бывало и кофе пьет в платье.

теща. А я тебе говорила – не давай!

жена. Ну дура я, дура! Умру, наверное, такая добрая. Все никак не могу привыкнуть, что людям верить нельзя.

подруга. И главное, не хотела отдавать. Я с нее буквально силой содрала.

жена. Вообще, Лариса за меня так переживала. Представляешь, я говорю, ты же только на новоселье к Игорю брала, а таскаешь, как будто это спецовка.

подруга. Она в нем и на рынок ходила. Совести у людей нет.

жена. А я сама его только четыре раза надела.

теща. Не надо было давать.

жена. И не дам больше в жизни! В парикмахерской такую очередь отсидела, укладку сделала. Помнишь, я на Мариночкину свадьбу укладывалась? Примерно так же, только без локонов.

подруга. И вдруг – как обухом. Отключили ток.

жена. А я только сушиться села.

подруга. Вчера грозой столб повалило, так они проснулись, нашли время чинить.

жена. Хорошо, Лариса сразу Сережке Гордееву позвонила, он мне по старой памяти щипцами сделал. Но конечно, уже не так, никакого сравнения.

подруга. Такси не могли поймать. Ехать никто не желает. Что хотят, то и делают.

жена брата. Алена, мы с Валентином тебя поздравляем, желаем здоровья и личного счастья, а на подарок я Виктору отдала. Только мы сейчас много не можем, потому что открытку

ждем со дня на день.

жена. Тамара, ты меня знаешь, для меня подарок совершенно не главное. Я не как другие, которые только и думают, как бы стол оправдать.

жена брата. Такое стечение, что как раз завезли “Версаль”, а я об этом гарнитуре столько лет мечтала.

жена. Тамара, ну зачем ты говоришь? Меня это вообще не волнует. Для меня главное – отметить, хорошо посидеть. Я, когда людей зову, про подарки вообще не думаю. Я потому и прошу деньгами, чтобы и вас не затруднять, и самой удобней – что нужно, то и купишь.

свекровь. Алена, Богдан сказал, что я дала на подарок?

жена. Вы бы меня хоть поздравили, Агния Петровна.

свекровь. Как же я могла тебя поздравить, если ты только что появилась? Как хочешь, гости твои, и надо было приехать пораньше, а не взваливать все на маму.

теща. А чего им? На готовенькое лучше. Привыкли, что мать сделает.

жена. Мне почему-то казалось, что у меня сегодня праздник.

свекровь. У нас у всех праздник.

подруга. Сын-то все-таки Аленин.

жена. Я его, между прочим, родила.

свекровь. Я тоже имею к нему некоторое отношение.

тесть. Ага! А то открещивались.

теща. Ладно. Агния Петровна, вы уж давайте своего воспитывайте, а с Аленой мы сами. Быстренько за стол, гости дорогие! Все остыло, сил моих больше нет!

Все поднимаются на веранду, рассаживаются. Девушка и Третий друг задерживаются у крыльца.

девушка. Как чувствовала, что зря еду.

третий друг. Ты погоди. Сейчас Богдан появится. Немного закусим, потанцуем.

девушка. Тут со скуки помрешь. Поехали, пока не поздно.

третий друг. А шашлык? Все будет в лучшем виде. *(Заходят на веранду, садятся за стол.)*

жена. Есть хочу, умираю. Папа, дай нам винегрет.

тесть. Кто будет тост говорить?

жена. Лариса, пускай Лариса скажет!

свекровь. Это совсем не женское дело. Женщина должна украшать стол, а не тосты произносить.

теща. Правильно, пускай мужчины скажут, пока не нагрузились.

тесть. Давай ты, Валентин. Встань и скажи, как положено.

брат. Ну, вот. Я так сразу не могу.

тесть. Ты просто объяви, за кого пьем и почему.

брат. Я этого никак не ожидал. Мне надо подумать. Зачем я буду позориться?

жена брата. Тебя никто не просит доклад делать.

теща. А мы на тебя смотреть будем? И так картошка стынет.

брат. То сколько ждали – и ничего. А как мне пять минут на подготовку – так сразу невтерпеж.

тесть. Все, тихо! Пускай думает.

жена. Папа, ты что? Зачем ты нам эту гадость наливаешь?

тесть. Ничего себе гадость, пять рублей бутылка. Это же материн мускат. Она его и давать не хотела.

теща. Мне не жалко, а просто это мое самое любимое вино. Мне Граня три бутылки достала на Первое мая, и я его берегу.

жена. Все равно гадость. Нам с Ларисой шампанского.

тесть. А шампанского нету. Богдан за шампанским поехал.

жена брата. Почему это гадость? Я, например, даже очень люблю мускат, тоже, как вот Серафима. Мне этого вашего шампанского и даром не надо.

жена. Тамара, ну зачем ты ерунду говоришь? Если сама не понимаешь, лучше спроси кого-нибудь, кто понимает.

брат. Можно хоть минутку не болботать, чтобы человек сосредоточился?

тесть. Все, тихо!

жена. Спросить можно?

тесть. Помолчи, Алена.

жена. Я тихо.

теща. Да черт с ней, пускай спросит! Дешевле выйдет.

жена. Чего ты сердишься? Могу я узнать, как Витюшка уехал?

теща. Лучше не бывает.

жена. Я же беспокоюсь.

подруга. Алена у вас – совершенно сумасшедшая мать.

теща. Это она в меня, по наследству.

свекровь. Валентин сейчас обидится.

подруга. Чтобы так ребенка любить – это я просто такого не видела.

тесть. Тихо! У нас вся семья такая.

Все замолчали и смотрят на Брата.

жена брата. Заснул, что ли?

брат. Твое счастье, Тамара, что в гостях. *(Поднимает рюмку.)* Я, конечно, говорить не умею, но тут я хочу сказать, если,

конечно, мешать не будете. Ну, за что пьем – и так ясно, что за здоровье…

В калитку заходят Муж и Второй друг.

жена брата. Давай сначала, Богдан приехал.

жена. С шампанским?

тесть. Зато теперь все в сборе, никто не перебьет.

муж *(поднимается на веранду)*. Последняя бутылка. Такое бывает раз в жизни.

второй друг *(ставит на стол шампанское*). Еле отняли.

жена. Ура! Нам с Лариской шампанского!

тесть. Садитесь, ребята, скорее, и – ни звука!

муж. Что случилось?

тесть. Вот собрались наконец за Витьку выпить.

муж. А почему в тишине?

тесть. Валентин слово говорит.

теща. Слава, иди сюда! Богдан, ступай к Аленке! Аленка, молчи! Все! Валя, рожай!

свекровь. Извините, но я тоже хочу шампанского.

третий друг. Открывать?

девушка. Только чтобы не стреляло.

тесть. Не надо, потом.

муж. Что тут у вас происходит? Почему атмосфера какая-то накаленная?

брат. Ты просто не в курсе дела. Хотели, чтобы кто-нибудь сказал тост. Чтобы солидно было, не в забегаловке. Сын твой, сам понимать должен. Ну и выдвинули меня. Я же не просился. Мне это вообще ни к чему. Я до того есть хочу, что у меня прямо руки трясутся.

муж. Ну и съешь чего-нибудь, родненький! Кто тебе не дает? Сейчас откроем, нальем женщинам шампанского, и говори хоть до утра.

жена брата. Чего ты психуешь? У тебя выходной, ты в гости приехал.

третий друг. Не пойму, открывать или не надо?

муж. А как же!

жена. Дядь Валечка, мы мигом!

девушка. Только можно, чтобы не стреляло?

третий друг. Все будет в лучшем виде.

Возится с пробкой, все смотрят на него, Девушка затыкает уши.

брат. Это какое же нужно терпение!

Пробка неожиданно хлопает, вино бьет из бутылки.

девушка *(вскакивает и визжит)*. А-а-а! Я же русским языком сказала, что боюсь!

третий друг. Осечка. Я сам весь мокрый.

свекровь. Разве можно так кричать?

девушка. Я забыла, когда последний раз так пугалась! Не могу прямо. Не умеешь нормально открывать – не рыпайся!

муж. Родненькие, давайте не нервничать по пустякам.

второй друг. Все хорошо, у всех налито.

муж. Отличная погода, самочувствие прекрасное. И вы молодцы, что приехали. Мы рады вас видеть. Одних – больше, других– меньше, но главное, что всех.

жена. И пускай все что хотят, то и делают!

муж. Алена, помолчи.

жена. Не буду я молчать. Я хочу, чтобы мои гости чувствовали себя как дома! У меня сегодня праздник!

муж. Во-первых, праздник не у тебя одной. И гости не твои, а общие.

жена. А если мне будут портить настроение, я вообще встану и уйду!

муж. А ты меня не пугай.

жена. А я не с тобой говорю.

теща. Да вы что, спятили? Стынет все.

тесть *(кричит)*. Или мы будем отмечать, или действительно, ну его все в болото! *(Воцаряется тишина.)* Валентин, давай тост!

брат. Позабыл, на чем остановился.

жена брата. Что говорить не умеешь.

брат. Честно скажу – конечно, нет уже того настроя… В общем, и так ясно, что раз Витькино рождение, то мы ему желаем обязательно здоровья. Здоровье – это такая вещь, что если здоровья не будет, то ничего не будет. Заболеет человек – хорошего мало. А вот в смысле родственников хочу пожелать отдельно…

В калитку заходят Первый друг и Москвич.

Пошла нынче такая мода, чтобы, как говорится, в колодец плевать. И сродников своих задвигать на последнее место, как какой-нибудь бабкин сундук. А я считаю – зря…

первый друг. Богдан дома?

тесть. Вам кого?

жена. Это же Валерка!

муж. Валера, ты?

теща. Какой еще Валера?

брат *(ставит рюмку).* Вот ей-богу, сейчас все разнесу!

Муж выбегает навстречу пришедшим, следом выходит Жена.

первый друг *(обнимается с мужем).* А я думал – забыли Валеру. Здорово, старина!

муж. У меня с утра предчувствие было! Не веришь – у Аленки спроси.

жена. А я тебя сразу узнала. Как увидела, говорю: ну, все – это он!

первый друг. А мы по соседству были. Дай, думаю, заглянем к землякам по пути. Авось не выгонят.

жена. Это только Валерка мог отколоть! Сегодня как раз моего Витьки рождение!

первый друг. Значит, сердце подсказало. Подарок – за мной.

жена. Да ты мне сделал самый лучший подарок!

муж. Почему тебе? Валера все-таки мой друг, а не твой.

первый друг. Семен, чего ты там стоишь как сирота? Стесняется. Архитектор из Москвы. Мы с ним третий день по области мотаемся. Иди сюда. У них тут целый банкет, мы прямо в точку попали.

москвич. Поздравляю вас.

жена. Правда из Москвы? Это же для меня полная неожиданность! Я ужасно рада. Я вообще люблю гостей, а тем более если интересные люди.

муж. Алена, чего ты все “я” да “я”? По-моему, ты здесь не одна.

первый друг. Только мы ненадолго.

Поднимается на крыльцо.

жена *(мужу).* Если ты еще раз сделаешь мне замечание при людях, сам увидишь, что будет. Хватит с меня любимой свекрови.

муж. Не трогай мать. Дай ей дожить спокойно.

жена. Она меня переживет.

свекровь. А я думаю – кто это такой солидный?

первый друг. Не признаете, Агния Петровна?

муж. Родненькие, это же мой самый главный друг, Панов Валера! Вместе в школе учились. Наш земляк, с нашего завода!

жена брата. Что мы, Валеру, что ли, не знаем!

муж. Только он теперь не простой человек. Он теперь в

области большими делами заправляет, забыл какими. С большими людьми дружбу водит.

первый друг. Ерунда, старина. И сведения твои устаревшие.

свекровь. Успел проштрафиться, Валера?

первый друг. Обижаете, Агния Петровна. Зачем же вниз, когда можно вверх? Я уже скоро три недели как зам.

тесть. Серафима! У нас коньяк есть?

теща. Я же не знала, что Валера будет. А у нас его никто не пьет.

первый друг. К чему эта суета? Я же совершенно не изменился. Какой был, такой и есть.

третий друг. У меня вообще-то имеется энзе в машине. Можно организовать.

тесть. Может, для товарища?

первый друг. Товарищ не пьет.

муж. Это Семен, наш московский гость. Друг Валеры по работе.

тесть. Придется немного потесниться. У нас, конечно, не Москва, но тоже есть положительные стороны. Я лично в Москве два раза был, второй раз, правда, недолго. Из Домодедова в Быково ехал. Мне очень понравилось.

Первый друг. Не надо ему наливать! Не пьет человек. И мяса не употребляет. Салатику ему да картошки. Он травоядный.

тесть. То есть как?

подруга. Это сейчас модно. Хобби такое.

брат. Такой моды быть не может, чтоб не кушать. Ее бы давно запретили.

тесть. Напиваться никто не заставляет. Ты, Валера, у себя в исполкоме командуй. А здесь я пока что. Вы ко мне в дом пришли. У меня рождение внука.

первый друг. Попал ты, брат Семен. Вот теперь ты узнаешь, что у нас в городе за народ и какое наше гостеприимство.

жена. Валерка, ты должен тост сказать!

муж. Давай, старина, будь тамадой!

первый друг. Вот, Семен, это все мои самые любимые люди. Все с нашего завода. Кроме Агнии Петровны, которая нас, лоботрясов, учила в школе уму-разуму, а мы ее, конечно, огорчали.

свекровь. Видно, кое-чему я вас все-таки научила!

первый друг. Дорогие земляки! Вы, конечно, знаете, а вот гость не знает, что наш город – это фактически наш завод. А завод – это, можно сказать, и есть наш город. Такая у нас особенность. Все в одном месте живут, в одном месте работают. И само собой напрашивается поднять первый тост…

теща *(вскакивает)*. Стойте! Стойте! Нельзя ни в коем случае! Нас тринадцать человек за столом!

первый друг. Ну и что?

теща. Примета плохая. Хотите – смейтесь, а я ни за что не сяду!

Все пересчитывают друг друга.

подруга. Ровно тринадцать! Как нарочно.

жена. Зачем же при людях, мам?

первый друг. Серафима Павловна, как же так? Культурная женщина, опытный плановик – и вдруг такие проявления отсталости?

тесть. Серафима, не позорься. Ты же член месткома. Все это чепуха, конечно, ни во что мы не верим, во все эти приметы.

теща. А как Вовку провожали – забыл?

тесть. Мало ли что. Случай у нас был. Действительно, нескладно получилось. Позапрошлый год племянника в армию провожали. А после дед Николай помер.

теща. Точно! Было такое дело. Я это, как сейчас, помню.

жена брата. Да ему сколько лет было, деду Николаю? Из него давно песок сыпался.

тесть. Лет ему действительно порядочно было. Точно неизвестно, он сам не знал. Он еще с японцами воевал, только не последний раз, а прошлый.

теща. Вот то-то и оно.

тесть. В каком смысле?

теща. А то, что человек все на свете пережил, и Отечественную, и Первую империалистическую, и хоть бы хны. А тут посидел за столом и – поминай как звали!

брат. Точно! И месяца не протянул.

жена брата. Прямо слушать тошно!

подруга. А я считаю, нельзя над этим смеяться. Можно самой не верить, никто не заставляет. А смеяться нехорошо.

девушка. У нас в первом квартале тоже бухгалтер зеркало кокнула, а зеркало чужое было, товароведа. И все точно – ревизия, и недостачу нашли.

свекровь. Вот видите, Серафима Павловна, какой вы пример подаете для молодежи! Внука воспитываете, а сами в плену пережитков!

первый друг. Да, что же это у вас происходит, товарищи? В небе спутники летают, а тут люди с техническим образованием выявляют свою полную темноту и незрелость! Вы сами подумайте, как мы выглядим! Мне за наш город стыдно!

теща. Нехорошо, конечно. Вы уж извините, гости дорогие. А только не могу, и все. Возраст такой, здоровье уже не то.

жена брата. Вот тебе и плановый отдел!

Пауза.

брат. Я не понял – по домам, что ли?

второй друг. А если, скажем, один в садике сядет? За столом-то уже двенадцать. Как, теть Сима?

теща. Кто его знает.

тесть. Ты нам голову не морочь! Заварила кашу. Раз не знаешь, значит – можно.

теща. Главное, чтобы за столом не тринадцать.

второй друг. И все целы будут. Давайте мою порцию, я пошел.

москвич. Можно я пойду в сад? Я все равно не пью.

первый друг. Тогда пошли все.

теща. Сидите, пожалуйста, не срамите вы нас!

брат. Всем смысла нет. То же на то и выйдет.

тесть. Ну Серафима! На весь город ославила. Товарищ из самой Москвы ехал…

второй друг *(выбирается из-за стола)*. А я местный, мне проще. Мне разницы никакой.

жена. Человек сам предлагает.

подруга. На воздухе даже лучше.

тесть. Куда полбутылки взял? Забирай целую. Не хватит – я еще принесу. Не стесняйся.

теща. Вот еще с мясом пирожочки.

тесть. Ты, Вячеслав, нас просто выручил. Ни пуха тебе, ни пера!

второй друг. К черту!

У калитки появляется Сосед.

сосед. Виктор Тимофеич, поймал я этого разгильдяя, можешь меня поздравить. Здравствуйте, кого не видел! Буквально весь поселок прочесал с кобелем на пару и поймал.

теща. Иван Васильич, где же вы? Мы без вас не начинаем!

тесть. Все, садись, Киреев.

Второй друг садится.

сосед. Никак не получится. Я на минутку отошел и то беспокоюсь, как бы он там не напортачил. Я только сказать, чтобы вы его не упустили. Ты мусор-то думаешь вывозить?

Второй друг встает.

тесть. Я же гостей не брошу. А вот вы обещали, а сами сбежать норовите уже второй раз. Присядьте ненадолго, проявите уважение.

теща. Из Москвы даже приехали, а соседи чокнуться не хотят.

жена. Дядь Вань, ну пожалуйста! Все вас просят!

теща. Одну за внука!

сосед. Так и быть. *(Заходит в калитку.)* Только уговор дороже денег. За внука – и домой!

жена. Ура!

теща. Садись, Киреев.

Второй друг садится.

тесть. У всех налито?

Все усаживаются по местам.

муж. Тамада!

первый друг. Сколько ему стукнуло?

жена. Три годика.

первый друг. За виновника, товарищи! За Виктора Богдановича! Пожелаем ему, чтобы стал он современным парнем, без всяких там суеверий и предрассудков! Чтобы не был слюнтяем! Чтобы трудностей не боялся! Чтобы на жизнь смотрел оптимистически! Чтобы за что ни брался – только перья летели! Чтобы нас всех обскакал! Словом, чтобы вырос из него настоящий русский человек!

Все кричат “ура” и пьют.

второй друг *(быстро оглянувшись по сторонам*). Думал – не доживу… *(Пьет.)*

Действие второе

Разгар застолья.

Все *(поют)*. …

А утром у входа родного завода

Влюбленному девушка встретится вновь
И скажет: “Немало я книжек читала,
Но нет еще книжки про нашу любовь…”

муж. Пора запускать мясо!

девушка. Когда же музыка будет?

сосед. Пошли все ко мне! Приглашаю!

теща *(запевает)*. “Что стоишь, качаясь…”

жена. Мам, ну, хватит! Сколько можно петь?

первый друг. Земляки, минутку! Стол вышел из-под контроля. Не будем разводить анархию! Слово имеет Богдан.

брат. Погоди говорить, налить надо.

муж. Родненькие, шашлык – это такая вещь, в которой нет мелочей…

жена брата. Сразу видать – лаборатория НОТ!

муж. Все факты должны быть учтены, и в частности, фактор психологической свежести. Вы давайте передохните, побеседуйте, а мы со Славой приступим.

подруга. Пойдемте все жарить шашлык!

муж. Шашлык – это чисто мужское дело. Тут женщина может только навредить.

брат. Ничего не попишешь – такая традиция.

жена. Тогда давайте танцы!

брат. Какие танцы! Закуски еще сколько!

второй друг. Закуски много не бывает, бывает мало выпивки.

тесть. Где мало, где? Ты, Вячеслав, думай, когда говоришь. Вон еще непочатые стоят.

Муж и Второй друг уходят за дом.

теща *(поет)*. “…И чтоб никто не догадался…”

первый друг. Серафима Пална, дорогая вы наша! Как говорится, века проходят, а вы все та же! Ты бы видел, Семен, как она нас гоняла, когда Богдан за Аленкой ухлестывал! А помните, как мы с Богданом у вас все варенье съели?

теща. Кизилового вот такую банку! Валерка, да ты же мне как родной!

первый друг. Дайте я вас поцелую, теть Сима!

Целуются.

тесть. Молодец, Валера! Главное – от своих не отрывайся!

первый друг. Вот, Семен, теперь ты сам видишь, что я тебя не

обманывал. Такой у нас народ. Работать так работать, гулять так гулять! Я знал куда ехать. Неудобно, говорит. Чего неудобно? Это же все родные мне люди! Это у вас, может, неудобно, а у нас – по-русски, я к ним голый-босый постучусь, и меня как своего обогреют!

теща. Потому, что у нас все просто, от души.

первый друг. Ты меня понял, Семен? Тяжело ему с непривычки. Укатал я его.

сосед. А какая задача вашего приезда?

свекровь. Ты бы нам, Валерий, хоть что-нибудь рассказал о своей работе.

подруга. Мы же тут сидим и ничего не знаем.

первый друг. Слыхал, Семен? Интересуются земляки. Что я могу сказать? Шеф ко мне относится даже очень хорошо. Не могу жаловаться. Чуть что – где Валера? Доверяет мне шеф. Про заповедник слыхали?

жена брата. Не в тайге живем.

первый друг. Короче, есть идея создать у нас заповедник старинной архитектуры и музей быта. Избушки, церквушки, рухлядь всякая. Мельницу нашли. Традиции у нас богатые, нам есть чего показать людям. Но надо же вопрос подготовить. А кто будет готовить, спрашивается?

жена. Ты?

первый друг. А то кто же!

свекровь. Это же какая ответственность!

первый друг. Ответственность, конечно, большая. Можно больших дров наломать. Но тут у нас с Семеном полный контакт.

сосед. А он смыслит чего-нибудь?

первый друг. Кто? Семен? Да он там, в Москве, по этим делам первый человек! Семен, ты что? Задремал? Это у него вид такой. Дурака разве пошлют? Ты не стесняйся, Семен, здесь все свои. Он парень-то простой. Вы не глядите, что москвич.

сосед. Точно москвич?

первый друг. Самый натуральный. Мы с ним как родные.

сосед. Я думал, загибает. Москвичи все наглые такие. Глянешь, и сразу видать – москвич.

свекровь. А какие новости в столице? Мы хоть и в провинции живем, но нас все волнует. Что читают? Что носят? Нам все интересно.

подруга. Действительно, хочется поспорить, мнениями обменяться. Собрались интересные люди…

жена брата. А кто вчера по телевизору кино смотрел? Такая интересная кинокартина! А у нас перегорело, и я так и не знаю, чем кончилось.

подруга. А на какую тему?

жена брата. Так закручено, прямо сидишь, дрожишь. На тему недостаточной отдачи дополнительных фондов. Там у них конец квартала, и план под угрозой. Как раз должны поступить стройматериалы, а их все не подвозят. Оказывается, в чем дело – железная дорога завалила график перевозок…

свекровь. Погодите, это где у него жена ушла?

жена брата. Как раз у главного диспетчера дороги! А он, как водится, из-за бытовых неприятностей проявил халатность и сорвал своевременный подвоз цемента. А от этого объекта все зависит – сдадут или не сдадут? И тут, в самый такой момент, их, как нарочно, смежники подвели…

девушка. Это же совершенно нежизненно.

жена брата. Ты просто молодая еще и не знаешь производства. А по-моему, многим бы у нас не мешало посмотреть это кино.

теща. А конец какой? Я терпеть не могу, когда плохо кончается.

свекровь. Я так поняла, что она к нему вернулась.

жена брата. А план-то дали или нет?

свекровь. Я как-то упустила. Там в конце какой-то праздник.

жена брата. А что я говорила! Значит, дали. Я как раз еще говорю Валентину: не может быть, чтобы не дали, должны они найти скрытые резервы!

свекровь. А товарищ все молчит.

москвич. Я… Я столько пить не могу.

первый друг. Не смеши народ. Сколько ты там выпил? Затяжелел ты, Семен. Ступай погуляй, подыши нашим воздухом.

сосед. А то пошли ко мне. Я приглашаю. И пристройку мою новую поглядите.

тесть. Зачем же сманивать, Иван Васильич? Нехорошо. Это наши гости, а не ваши.

сосед. Чудной ты, Виктор Тимофеич. Я же запросто, по-соседски. Тем более он архитектор, ему полезно. Кобель на цепи, не тронет.

тесть. Вот вы своих гостей позовите и водите, сколько хотите. У нас, может, тоже найдется чего посмотреть.

брат. А ты, Виктор, действительно, покажи нам, какой ты хозяин. Нам интересно знать, чего у тебя есть. А то мы не знаем.

тесть. Например, погреб могу новый показать.

первый друг. Идешь, Семен? Ты же зодчий! Тебе обязательно нужно посмотреть. Эх ты! Ну, ладно, сиди…

Все спускаются в сад. Москвич, Жена и Подруга остаются

сидеть на веранде.

Красота какая у нас! Душа прямо радуется! Где я только не был… И в Болгарии был, и в Монголии, а честно скажу – такой красоты, как у нас, нигде нету!

Все уходят за дом. Девушка и Третий друг отстают.

девушка. Ты куда меня привез? Ты вообще долго думал?

третий друг. Ты погоди. Все будет в лучшем виде.

девушка. Чего будет? Выходной пропал – это я точно знаю. Меня Гарик звал, я и то не поехала! Я думала, действительно компания. Действительно время провести. А это что? Люди, кажется, с образованием – даже не потанцевали! Никаких интересов!

третий друг. Вот это ты зря. Ты же людей не знаешь, а говоришь.

девушка. Я людей не знаю?

третий друг. Потому что ты еще молодая.

девушка. Как я людей знаю, так никто людей не знает! У меня их за день столько намелькает перед носом, что я сразу вижу – и кто, и что, и чего от него ждать! Комик.

третий друг. Я, между прочим, тебя не оскорблял пока что. Тебя привезли в гости. Ты должна себя культурно вести.

девушка. Лучше бы я с Гариком поехала!

Уходит за калитку, Третий друг спешит за ней.

подруга. Мне очень нравится, как сосны шумят. Сидишь, слушаешь, и в голове возникают всякие картины.

жена. Ты бы отсидела тут, как я, два лета – я бы на тебя посмотрела.

подруга. Ты не любишь природу, а я люблю. Для меня природа – это все.

жена. С каких пор?

подруга. Да я тыщу раз об этом говорила. Все мои друзья знают, а для тебя – новость. Вы можете мне не верить, Семен, но я буквально заболеваю, если я не еду за город. Мне кошмары снятся.

жена. Как раз мне сон снился, я тебе обязательно должна рассказать.

подруга. И потом ты так рассуждаешь, потому что есть дача.

жена. Мне хоть бы ее не было.

подруга. Значит, ты не любишь одиночества.

жена. Еще не хватало! С какой это радости я должна любить одиночество?!

подруга. А я природу ни на кого не променяю! Еще не родился тот человек, на которого бы я променяла природу.

жена. Ты так говоришь, потому что у тебя сейчас никого нету.

подруга. Как у тебя все просто.

жена. Да я вообще другой человек, если хочешь знать! Мне все эти елки только на нервы действуют! Я цивилизацию люблю! Я лично отдыхаю, когда я себе принадлежу.

подруга. Ты хотела сон рассказать.

жена. Плыть – это к чему?

подруга. В воде? Нехорошо.

жена. Слушайте, Семен, вы только не подумайте, что мы тут все из лесу сбежали. Мы с Ларисой переводчицы в бюро технической информации. Она – с французским, я – с английским. Это же мы не из суеверия, а просто интересно. Мама, между прочим, тоже с дипломом. Я даже не знаю, откуда она взяла, что нельзя тринадцать человек.

москвич. Это же тайная вечеря.

подруга. Что, что?

москвич. Христос и двенадцать апостолов. Тринадцать человек за столом. А потом одного распинают.

жена. Так вы лучше нас разбираетесь!

подруга. Все-таки что значит – Москва!

жена. Чего же вы раньше молчали? В общем, такой огромный пароход…

подруга. Лайнер?

жена. Вроде. И на палубе полно народу. Причем я почему-то в мини. Помнишь, у меня такая замшевая была? В ней. И все время чувствую на себе взгляд. Смотрит, прямо не отрываясь, а меня – в жар.

подруга. Брюнет?

жена. Всех перебрала – никто не подходит. Ну, блондин – вряд ли. Меня прямо колотило. Не может быть, чтобы блондин. А потом я удираю по лестнице, а он – за мной. Чувствую – сейчас догонит. Бросаюсь в какую-то дверь, а там буфет. Сосиски дают, и никого народу.

подруга. И все?

жена. Бред какой-то! При чем тут сосиски?

подруга. Мясо – вообще нехорошо. Мясо к несчастию снится.

жена. Еще не хватало.

Появляются Тесть, Брат тещи и Первый друг.

первый друг. Эх, Семен, все ты пропустил! Ты бы поглядел, какие у дядь Вити золотые руки. Один погреб чего стоит. А красота, я считаю, нужна. Без красоты тоже нельзя. Все торопимся, все в делах. А красота на нас правильно влияет, не дает совсем шерстью зарасти.

тесть. Поверишь, Валера, каждую досточку на собственном горбу притащил. Молодежь у меня вся ученая, копать-строгать не заставишь. А я это дело люблю. Вот выйду на пенсию – сразу возможности другие будут. Не так долго осталось. Восемь лет, два месяца и одиннадцать дней.

Входят Теща, Жена брата и Свекровь.

первый друг. Баньку надо ставить, дядь Вить. С вашей сноровкой вы это потянете. Настоящую, русскую. По-черному!

теща. Это нам пока что не по плечу. Вот гараж нужен.

тесть. Действительно, есть у нас такая задумка. Хочу замахнуться на гараж. Оглянуться не успеешь, как внук подрастет. Скажет: ты куда, дед, глядел? Машина есть, а где ее держать?

теща. Ой, Валера, это такой парень растет! Жалко, ты его не застал. Всего-то три годика, от горшка, извиняюсь, два вершка, а уже – мужчина. Ох, это будет фигурист!

жена. Мам, опять ты за свое? Ничего он не будет фигурист, а будет дипломат.

теща. Это мы поглядим.

жена. Я мать, и я знаю.

теща. Я с ним вожусь, а не ты. Я получше твоего знаю.

тесть. Он может быть дипломат, а по выходным – пожалуйста, катайся, сколько влезет. Из-за чего спорить?

жена. Я за сына горло могу перегрызть. Тут ничего не поделаешь, я такой человек.

теща. Ты соображаешь, что говоришь? Ты кому это горло грызть собралась?

жена. Мам, ты прекрасно знаешь, что как раз тебя я совершенно не имею в виду.

Входит Второй друг.

второй друг. Богдан велел подтягиваться к костру, только горючего прихватить. Шашлык на подходе.

подруга. До чего все женщины разные! Мне, например, важней всего – чувствовать, что я именно женщина. То есть для меня это на первом плане. А Алена, конечно, прежде всего мать.

первый друг. Вот мы и выпьем за нее как за мать.

жена. Хоть ты, Валерка, догадался.

первый друг. Есть предложение – поднять за Аленку, которую мы все знаем и с детства уважаем, потому что она и мать, и со стороны внешности интересная, и, несмотря на это, успешно трудится. В одном лице, как говорится, и слесарь, и плотник…

второй друг. И китобой-охотник.

первый друг. Даже в рифму.

жена. Что еще за глупости?

тесть. Дайте Валере досказать!

жена. Какой охотник? Чего он хотел сказать?

второй друг. Ты что, шуток не понимаешь?

жена. А что за шутки дурацкие?

подруга. Что ты, первый день его знаешь?

жена. Пусть скажет, что он хотел сказать.

тесть. А что он сказал?

второй друг. Я же как раз в положительном смысле пошутил. Я же Богдана имел в виду.

свекровь. А при чем тут Богдан?

второй друг. Ну, что его разные девушки пытались заарканить, а ничего не вышло. А у ней – раз и готово! Чуток сноровки – индюк в духовке.

тесть. Чего?

второй друг. Это выражение такое.

жена. Все, хватит. Лопнуло мое терпение. Кто тебя сюда звал? Придет без подарка и про меня же еще всякие гадости будет распространять! Он и на свадьбе себе позволял!

второй друг. Ты на меня не кричи, тут тебя никто не боится.

жена. Убирайся из моего дома сию минуту!

второй друг. И дом это не твой, а твоего отца и твоей матери.

Входит Муж.

муж. Родненькие, такое мясо раз в жизни бывает!

жена. Чтобы духу его здесь не было! Или он – или я! Я же русским языком просила, чтобы ты его не звал! Ты мне назло его привел?

муж. Алена, что с тобой? Нашла время, сейчас все пережарится… Во-первых, я его, кажется, не звал.

второй друг. Ты забыл. Звал.

муж. Все равно. Слава – мой друг. И ты не имеешь никакого права его выгонять. Он будет с нами кушать шашлык. Оставайся, Слава, я тебя прошу.

жена. Ах так? Хорошо. Пускай остается. А я-то, дура! Сына

ему родила! Да другую бы на руках носили! Ждала, готовилась, думала, хоть этот день у меня никто не отнимет! Все надеюсь, что люди культурные, сами понимают. А он за меня тоста сказать не догадался! Как будто я тут – вообще никто! Ему пьяница какой-то дороже собственной жены! Ты мне хоть колечко паршивенькое подарил за сына? У, ничтожество! *(Плачет, убегает в дом.)*

второй друг. Пожалуйста, я могу уйти.

тесть. Какой теперь толк? Теперь уже все равно.

теща. Ты, Богдан, хочешь – обижайся, а твоя линия тоже неправильная.

муж. Я, конечно, извиняюсь перед гостями, что вышла такая накладка. Только умоляю – вы идите кушать, а мы сейчас нормализуем. Алена, конечно, погорячилась. Ну и я, конечно, немного погорячился. Все бывает. Не надо обращать внимания.

первый друг. По-моему, правильное решение. Это по-мужски.

жена брата. Пускай сами разбираются.

второй друг. Так что в результате? Мне куда?

тесть. Давай, Киреев, возьми на себя горючее.

Все уходят. На веранде остаются Муж и Москвич.

муж. Даже сюда корочкой тянет. Очень удачно замариновался. Я люблю, чтобы сверху хрустело, с дымком, а внутри – предельная нежность. Ты что же, даже не попробуешь? Хочешь, я тебе сюда принесу? Ты съешь, никто не увидит.

москвич. Не ем.

муж. Может, ты – сектант? Тогда молчу. Или йог?

москвич. Не ем, и все.

муж. А мне холодную баранину нельзя. Для меня это – яд. И она это, естественно, знает. Нарочно сидит, берет измором. Ничего, что я на “ты”? Как-то само вышло. Ты вроде с Валерой, а Валера – мой самый главный друг.

В калитку заходят Девушка и Третий друг.

Родненькие, где же вы ходите? Все у шашлыка!

девушка. Мне домой надо.

третий друг. Заладила: поехали, мне у вас неинтересно. Я говорю – погоди, не все сразу. Только имей терпение.

девушка. А почему я должна какие-то разговоры слушать, если у меня выходной?

муж. Тебя как зовут? Как ее зовут?

третий друг. Надежда.

муж. Ты, Надежда, иди отсюда, только быстрой походкой.

третий друг. То есть как?

муж. А то догоню. Ясно?

девушка. Я пешком не поеду. Я на машине приехала, пускай меня отвезут.

третий друг. Ну, ты тоже неправ.

муж. Ты скажи спасибо, что тебя за стол с дядями посадили! Человек на подарок потратился, в приличный дом ее привез. Ты в своей лавке и разговоров таких не услышишь. Шпилька! И за бензин с нее получи.

девушка. А я, между прочим, ничего такого не сказала. Я еще молодая, зачем мне нужно, чтобы у меня вечер пропал?

третий друг. Не пропадет. Все будет в лучшем виде. Иди, кушай шашлык. Иди, я сейчас приду.

девушка. И тоже не надо очень много про себя понимать. *(Уходит за дом.)*

муж. Где ты ее взял? Сколько ей лет?

третий друг. Девятнадцать. Остаться можно будет? Ты обещал.

муж. С бельем плохо. Молодежь какая-то бескрылая. Совершенно не подготовлены к жизни.

третий друг. Белье у меня с собой. В машине.

муж. Мы в этом возрасте были совсем другие. Старики уедут – пожалуйста, оставайся.

третий друг. Ты только не забудь. *(Уходит.)*

муж. Сидит, не выходит. Характер давит. А самой небось шашлыка хочется до смерти. Она больше всего на свете любит ребрышки. И я ребрышки. Мы с ней всегда из-за ребрышек деремся. Я капризов не выношу. Я считаю, хуже нет – потакать. Нет, я ничего не говорю, живем нормально. Квартира хорошая. Условия есть. Бывает, конечно. Дело житейское, правда? Тебе хорошо, а как я шашлык люблю – так никто не любит. Ты все равно сидишь, может, скажешь ей пару слов? Она долго не протянет, вот-вот появится. Скажешь, ладно?

москвич. Что? Кому?

муж. Жене моей, кому же? Скажи чего-нибудь, не важно чего. Шашлык, скажи, стынет. Она обожает шашлык. А я народ успокою. Двух зайцев убьем. Давай! Не в службу, а в дружбу!

Муж убегает. Москвич сидит один. Выходит Жена.

жена. Вот возьму и пошлю все к черту! А что вы – посторонний, мне за это наплевать с высокой колокольни. Мне праздник испортили, и я могу кое-кому испортить. Мне это ничего не стоит.

москвич. Вы мне точно нравитесь.

жена. Сидят и едят как ни в чем не бывало. Я тут, может, руки на себя наложила – никто даже не поперхнется… Вы же ничего не знаете. Вы же не здешний. А я знаю. Я такого порассказать могу! Только я не хочу. А если бы не я – вообще ничего бы не было. Ни гостей, ни дня рождения никакого. Это они теперь – “Витенька, Витюшечка”! А если хотите знать, так этого ребенка бедного никто и не хотел. Буквально никто! Даже мои родители. Сколько меня уговаривали! Я вся обревелась. О свекрови и говорить нечего. Вот она, правда. Если бы не мое упрямство – никого бы не было!

москвич *(с внезапным восторгом)*. Да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами!

жена. Это намек?

москвич. Завидую, честное слово! Люди живые! Гулять – так до упаду, ругаться – так до драки! Все в глаза, без церемоний. Душа – нараспах. У вас – родник! Так и надо жить! Как дышится. Сгорать, безумствовать! Прекрасно! К черту логику! Красть женщин! Стреляться! Как Кирибеевич! Как боярыня Морозова! Я сразу почувствовал, что вы способны отмочить!

жена. В каком смысле?

москвич. Взять и послать все к черту! Заглянуть в бездну – и не считать варианты!

жена. Даже удивительно, как это вы меня сразу раскусили. У нас, конечно, такого не услышишь.

В калитку заходит Сосед.

сосед. Вот не пошли ко мне и прозевали. Инцидент был потешный. А где все? На шашлык навалились? Я почему задержался? Шофер на мусорной машине стал из ворот выезжать и цепь порвал. А цепь у меня здоровая, в палец, тряхнуло его. Вылезает он поглядеть, в чем дело, а кобель, конечно, не будь дурак, сейчас его за ляжку. Такой склочный малый оказался. Я, говорит, не могу теперь ехать, с вас за амортизацию. Я ему объясняю, что у кобеля только вид внушительный, а так – он еще салага. Ничего не знаю, говорит, у меня стресс. А торгуется – как здоровый. Пойду расскажу, пока все не съели. *(Уходит за дом.)*

жена. А я думала, я вам понравилась просто как женщина. Чисто внешне.

москвич. Я вообще люблю тип русской красавицы.

жена. Положим, я прекрасно знаю, что я не красавица.

москвич. Вы в красоте ничего не смыслите.

жена. А вы смыслите?

москвич. Это моя специальность. Если я не понимаю, что – красиво, а что – нет, значит, мне зря платят деньги.

жена. Одно дело – дом, а другое – живой человек. Требования совершенно разные.

москвич. Суть красоты едина – гармония. Как говорит мой учитель Алик Джапаридзе, лучшая архитектура – это красивая баба.

жена. Значит, я – красавица?

москвич. Вы слушайте, когда вам говорит профессионал.

жена. Вас не переспоришь. *(Целует его в губы.)* Вот возьму и действительно пошлю все к черту!

Из-за дома появляется Второй друг. Увидев целующихся, пугается и спешит обратно.

жена *(оборачивается)*. Ты меня еще выслеживать будешь, подонок!

второй друг. Что ты ерунду городишь, Алена? Это чисто случайно получилось.

жена. А я вот не испугалась! Хоть по всему городу раззвони, что я с ним целовалась! Плевать я хотела, что обо мне скажут!

второй друг. Зачем же я буду звонить? Даже не собираюсь. Мало что тут у вас будет твориться! Мне-то что? Мне вы хоть дом спалите, я и глазом не моргну. Я тут гость. Меня Богдан послал.

жена. Еще лучше! Дружка подослал за женой шпионить! Это муж, называется!

второй друг. Там просто вся выпивка вышла, а мне велели принести. Вот и все. Ты сама посуди, откуда мы могли догадаться, какие тут у вас дела?

Появляются Муж и Первый друг.

жена. Очень вовремя ты явился. Я развожусь.

муж. Славик, что же ты? Люди ждут с пустыми бокалами, а ты застрял. Что тут происходит?

второй друг. Ничего не происходит.

жена. Нет, происходит! Я развожусь!

муж. Что случилось?

второй друг. Абсолютно ничего.

жена. Случилось, случилось! Если ты глухой, я не виновата. Я тебе русским языком говорю, что развожусь!

второй друг. Да не слушай ты ее!

первый друг. Алена, а ведь мы за тобой.

жена. Во-первых, не за мной, а за выпивкой.

муж. Ты бы хоть момент выбирала. Человек из Москвы ехал, и какие он теперь впечатления увезет? Можешь ты хоть в день рождения сына…

жена. Вспомнил? А что если бы не я, не было бы никакого сына – это забыл?

муж. Что у тебя за привычка – всегда все невпопад!

жена. Ты думаешь, ты все про меня знаешь. Что я за тебя держусь, боюсь, что ты меня бросишь. Весь твой расчет, что я при посторонних все стерплю, молчать буду. Ты и Валеру для того прихватил. А вот и ошибся! Я сама тебя бросила! Ухожу я от тебя.

муж. Куда?

жена. Я вообще ухожу. Навсегда.

муж. Сейчас, конкретно – ты куда идешь?

жена. Какое твое дело?

муж. Ты шашлык кушать будешь?

жена. А неужели нет?

муж. Ты можешь прихватить выпивку заодно? Гости не виноваты, они ждут.

жена. А сам почему не можешь?

муж. Потому что ты мне все испортила. Я должен собраться с мыслями.

жена. Пожалуйста! *(Забирает бутылку, уходит.)*

муж. Испугала! Да мне же лучше.

первый друг. Семен, нам пора трогаться. Машина пришла.

второй друг. А посошок на дорожку?

муж. Никуда мы вас не отпустим. Чай будет с тортом. Валера, ты мне друг или нет? Ты же видишь, какая складывается ситуация.

первый друг. Я тебя не узнаю, старина. Ты как-то прокис. Что у тебя делается на семейном фронте?

муж. Это Семен виноват. Я его просил с ней поговорить, по дружбе. А он, наверное, сморозил чего-нибудь. Что ты ей сказал?

москвич. Спор был. О красоте.

муж. Ну, вот. Кто тебя просил о красоте? Ты другой темы не мог найти? Не видишь – она не в форме? У них тут чего-нибудь было?

второй друг. Ты на него погляди. Чего с ним может быть?

муж. А чего же она как с цепи сорвалась? Целовались, что ли? Слава, ты брось темнить. Целовались – так и скажи.

второй друг. Да так, ерунда.

москвич. Это же не в смысле измены! Разговор получился горячий. С прозрениями. О корнях, о гармонии. У вас вообще люди – со страстями. А у нее аура – оранжевая! Аж звенит!

второй друг. Ты бы пошел мяса съел. С голодухи еще не то

померещится.

первый друг. Конечно, Семен, ты у нас гость, представитель столицы. Тебе все в диковинку, я понимаю. Но нужно тоже себя в руках держать.

муж. Ладно, я на него не сержусь. Не бойся, Семен.

второй друг. Я предлагаю поднять за дружбу.

первый друг. Ты что собираешься делать?

муж. Поехали в город все вместе. В конце концов, черт с ним, с тортом.

первый друг. Зачем?

муж. В загс. А ты что думал? Буду я ждать, пока она первая заявление подаст! И так позору не оберешься…

первый друг. Сегодня суббота, закрыто все. Тебе не в загс нужно, а в суд. У тебя ребенок.

муж. А ведь говорил же ты мне, Валерка, говорил: не будь дураком, не женись!

первый друг. Ну разведешься. Чего хорошего? Сын – без отца, шуму – на весь город. Уже клеймо на тебе – ненадежен, семью порушил. Моральная устойчивость – нулевая. Какое же дело ему доверить можно? Не о том ты, старина, не о том. Ты мужик или нет? А мужик должен дело делать. Извини, какая разница – была бы не Алена, а другая? А у ней свои дефекты.

второй друг. А то и почище.

первый друг. А то и почище! Чего тебе не хватает? Все девки – твои. Но дело-то важней! А завтра женишься, уже в анкете писать придется: первая жена, вторая жена… Это уже не анкета. Ее в руки взять противно.

муж. Валера, ты мой самый главный друг. Но даже ты не все знаешь.

первый друг. Какие там у тебя секреты? Все на моих глазах. Свидетелем в загс ходил.

муж. Ладно. Тут все свои вроде. Я же не хотел жениться. Как чувствовал. Она прибежала, плачет. Говорит, ребенок будет, сделать ничего нельзя. Поздно. Я, конечно, слегка заметался. Тут меня голыми руками… Сам пошел родителей уговаривать. Мать моя просто на стенку лезла. Все сам себе устроил.

первый друг. Ну и что? Сын чей?

муж. Да сын-то когда родился? Через два года! Понятно? Не было никакого ребенка! На испуг взяла!

первый друг. Подумаешь, новость – девка замуж хотела, за тебя цеплялась, а ты слабину дал. Ну и что? Ты меня не убедил. Если ты – мужик, ты должен даже промашки свои себе же на пользу оборачивать. Счастье-то – в труде, никуда не денешься. А когда у человека цель – ему никакая жена не страшна. У тебя

планы-то есть? Век ты там сидеть собрался, в этой своей лаборатории? Приезжай ко мне. Помозгуем. Есть свои ребята, поможем.

муж. Вообще говоря, планы у меня есть. Мысли всякие. Всего не упомнишь.

первый друг. Мало что у нас у всех дома бывает… Зато на работу утречком пришел, и сердце радуется. Стол письменный финский, календарики японские – и неужели это я, Валера, вот этой своей башкой добился? Поверишь, другой раз в коридор выскочу, когда нет никого, стою и на дверь гляжу. А на двери – табличка, а на табличке – моя фамилия. Цель надо перед собой иметь, старина! И – ползи, царапайся, кусайся!

второй друг. Это же тост.

Появляется Третий друг.

третий друг. Не выяснилось, как там со стариками?

муж. Ты о чем?

третий друг. Я все насчет ночевки.

муж. Вот, ей-богу, не до тебя, Стас. Ты как будто специально выбрал момент.

Входит Девушка.

девушка. Если на ночь, так я все равно не останусь. Предупреждаю всех. Музыка будет когда-нибудь? Прямо в сон клонит. От воздуха, что ли?

третий друг. Ты на воздух не сваливай. Ты шашлыка сколько съела? Страшно было смотреть.

девушка. Ребрышки жирненькие, прелесть! Покушала, действительно, просто удовольствие получила. Разводитесь, говорят?

первый друг. Кто говорит?

муж. Ну, вот, уже поползло.

первый друг. А эти обывательские слухи надо сразу пресечь, на корню. Никто ни с кем не разводится. И точка.

девушка. Мне это все – вообще мимо. А ты так на жену выпучивайся. А я тебе – никто пока что.

Появляются Тесть, Теща, Свекровь, Брат, Жена брата и Сосед.

тесть. Богдан, чего вы там с Аленой не поделили? Когда вы утихомиритесь?

первый друг. У вас ошибочные сведения, дядь Вить. Уже все в

норме.

тесть. Как же в норме, когда она говорит, что они расходятся?

теща. И что это за мода такая: чуть что – обязательно разводиться!

первый друг. Просто не поняли друг друга. А потом разобрались.

свекровь. А почему Богдан молчит?

первый друг. Он скажет. Скажи, старина.

муж. Что именно?

первый друг. Внеси ясность. Покончи со слухами.

муж. Никто ни с кем не разводится. И точка.

первый друг. Вот видите. У нас веселье только начинается. Сейчас танцы будут.

Третий друг включает магнитофон. Муж, все три Друга, Девушка и Москвич уходят в сад. Теща заходит в дом.

жена брата. Так хорошо посидели. Такой вечер исключительный, а обещали грозу.

тесть. Только отвлечешься – отдохнешь немного – а тут тебе свеженькое что-нибудь и поднесут.

На веранду выходит Теща.

теща. Сейчас самовар поспеет – и чайку с тортом.

тесть. Эх, жалко Витьки нету!

брат. Ты зря переживаешь. Ему там в саду гораздо лучше.

жена брата. Да вы меня спросите. Я, взрослый человек, и то понедельника не могу дождаться. Дома чего хорошего? А в коллективе весело, потому что дисциплина.

свекровь. Коллектив тоже разный бывает. И дети разные.

жена брата. Как же это, Агния Петровна? Сами учительница, а сами против коллектива?

свекровь. Как раз я в своей работе всегда делаю упор на коллектив. А вот Богдана мне пришлось забрать из сада комбината и перевести в другой. Мальчишки его там всяким вещам учили.

жена брата. Коллектив плохому не научит. Конечно, если ребенку дома говорить, что он особенный и не такой, как все, – кто же из него вырастет? Алкоголик какой-нибудь.

сосед. А в армию другой такой приходит необразованный – прямо хулиган. А послужит годик – и не узнать его. Коллектив ему направление дал. В коллективе не почудишь.

теща. Ваш-то Богдан ходил в сад – и ничего, вырос, какой-

никакой.

свекровь. Вы прекрасно знаете, Серафима Павловна, у меня другого выхода не было, я должна была и деньги зарабатывать, и сына растить.

жена брата. Что же вы, саду не доверяете? Ну, и воспитывали бы сами. Весь ваш опыт и пустили бы на внука.

свекровь. Можно подумать, что у ребенка никого нет, кроме меня.

теща. Я дома сидеть не буду, вы меня хоть зарежьте. Не дождетесь.

свекровь. Ах это я должна уйти с работы?

теща. Сколько вам до пенсии – и сколько мне! Я-то помоложе вас.

свекровь. Я себя старухой не считаю. И, между прочим, у ребенка есть мать.

тесть. Она-то вас обеих моложе, вместе взятых.

теща. Для того она диплом свой вымучивала, чтобы на кухне повесить!

свекровь. Вон вы как рассуждаете! Алена работает – без году неделя, она пока еще как специалист – никто. А я, как вам известно, практически везу на себе всю школу, и, значит, я должна все бросить и сидеть с ее ребенком! Я уже не говорю – в материальном отношении.

брат. Ха!

свекровь. Это что означает? Что за выходки?

брат. Тут уж вам совсем молчать надо.

свекровь. Как это понимать?

жена брата. Чего вы притворяетесь, Агния Петровна? Все понимают, одна вы – никак. Квартиру им свою Виктор с Серафимой отдали? Мебель купили? И Витька у них живет, и еще деньги дают, уже не говорю про дачу с машиной.

брат. Весь город знает.

жена брата. Золотую жилу ваш сын нашел.

свекровь. Я не желаю слушать ваши мещанские разговоры! Я не позволю так говорить о моем сыне! Мой сын – не иждивенец! Мой сын работает и зарплату домой приносит!

брат. А кто про зарплату говорит?

свекровь. И я тоже помогаю в меру своих возможностей.

брат. Какие там ваши доходы? Что мы, не знаем?

свекровь. Воровать я не умею.

жена брата. Это кто же, интересно, ворует?

брат. Чего там говорить! Свадьбу какую им отгрохали! Один вокально-инструментальный ансамбль – это какие сумасшедшие деньги! Я помню, я лично заказывал, меня Виктор попросил. А

рыбу Тамара доставала.

тесть. Да ладно вам. Когда то было!

свекровь. И уж если на то пошло, то именно вам, Валентин, стыдно должно быть!

брат. Это почему?

свекровь. Потому.

брат. Нет, уж вы давайте говорите, а то – сразу в кусты. Я сразу догадался, куда вы гнете. Потому что вы по всему городу бегали и сплетни размазывали. Даже люди возмущались. Известны нам ваши мнения!

жена брата. Про подарок, что ли? На свадьбу?

брат. Оно самое и есть!

жена брата. Только не вышло у вас ничего. Потому что нас все знают и все равно уважают, а другим завидно.

брат. А считаются – учителя!

теща. И чего ты, Валя, в бутылку лезешь, как будто новость какую услыхал? Кто же не знает, что Тамара твоя за копейку удавится? И в гости сами ходите, а к себе не зовете, и подарков дороже десятки сроду не дарите.

жена брата. Вот он – плановый отдел! Пошли отсюда!

брат. Куда? Чаю попьем и пойдем.

жена брата. Жену твою обижают, а тебе – чай? Позвали, чтобы у меня в кармане считать. А за мое здоровье даже не выпили!

брат. Ты-то – ладно, а я родной брат, а про мое здоровье никто и не вспомнил. Действительно, идем, Тамара, хотя пить хочется жутко после ихней баранины. Только прежде я кой-чего скажу.

тесть. Чего вы, ей-богу, из-за ерунды!

брат. Как раз тебе хочу сказать, Виктор. Позабыл ты, все позабыл. А добро нужно помнить.

тесть. А я добро всегда помню.

брат. Ты, если хочешь знать, нашей родне всем обязан. А ты позабыл.

тесть. Чего это я позабыл?

брат. Ты вспомни, какой ты приехал. У тебя с армии штанов и то целых не было. Я малец был, а помню – вы когда с Серафимой записывались, тебе на свадьбу дядь Леша костюм одолжил.

тесть. Да я его сразу отдал, как домой пришли, спроси у Серафимы.

брат. Ты теперь в котельном цеху начальник, а кто тебя в этот самый цех привел и пристроил? Опять батя наш! Позабыл ты, кто тебя человеком сделал.

тесть. А я кто был? Порченый какой?

брат. У тебя и жилплощади не было.

тесть. А у вас какая была? Конура на семь человек? В коммуналке!

брат. Видал, какой ты стал. Дачей перед нами гордишься. А может, не было бы у тебя ничего, ни дачи, ни “жигулей”, кабы тебя в эту конуру из жалости не прописали.

тесть. А ну катись отсюда, пока цел!

теща. Ты в своем уме?

тесть. И макаку свою забирай!

жена брата. Ноги нашей здесь не будет!

тесть. Благодетели какие! Человеком они меня сделали! А я кто был? Я и был человек! Я не по карманам промышлял, а на производстве работал, семью кормил и еще ему, сопливому, на ириски подкидывал!

Брат и Жена брата уходят.

теща. Посидели … *(Заходит в дом.)*

сосед. Я, пожалуй, тоже двину.

тесть. А чаю как же?

сосед. Кобель меня беспокоит. У вас, конечно, интересно – уходить жалко. Домой тоже надо, порядок тоже навести.

Сосед уходит. Теща возвращается с самоваром.

теща. Ты чего развоевался?

тесть. А чего он шарманку завел?

теща. Тебе что! Мои родичи, не твои.

тесть. Прописки не было… Дятел носатый!

теща. Угомонись. Прописки и впрямь не было.

тесть. Чего, чего? Я вам покажу – не было! Я с армии пришел, мне все дороги открытые! Я куда захотел, туда и прописался!

теща. Ты орать бросай. Нервный какой нашелся. А что помогали – правда, нечего открещиваться. И Граня сколько раз в долг давала, и жилплощадь на бабушку нам досталась.

тесть. Вот, ей-богу, не погляжу, что люди! Я вас на чистую воду выведу! Да мне даром ничего не досталось, ни вот столечко! И родичам твоим я ничего не должен, я все вдвое отработал! И стены клал, и потолки белил, и картошку возил, и черта в ступе! А институт! Граня твоя дом строит, а у меня сессия на носу, я – смену в цеху, потом – смену у Грани! А ночью тетрадки откроешь, а в глазах мошки скачут! Я все своим горбом добыл! И знать я никого не хочу! Я всю жизнь работаю, я море только по телевизору видел!

свекровь. Не волнуйтесь, Виктор Тимофеевич. Глупостей

наговорят, а вы будете свое здоровье тратить.

теща. Вы тоже, Агния Петровна, культурная женщина… Давно быльем поросло, зачем вы про подарок-то ляпнули?

свекровь. По-вашему, я молчать должна? Намеки какие-то гнусные на моего сына…

теща. А чего уж такого сказали про вашего сына? Что деньги мы им даем? Что Витька у нас живет? Так правда же. Чего на правду обижаться?

свекровь. Нет уж, извините, Серафима Павловна! Вы им помогаете, или я им помогаю – это никого не касается, кроме нас с вами. Мой сын имеет специальность и в состоянии себя обеспечить.

теща. А то вы не знаете, как они живут! Ой, да ладно! Как вам хочется, так и поворачиваете. И Витьку мы избаловали, и Алену избаловали. Все вам наше не по нутру.

свекровь. Я не хочу с вами ссориться, Серафима Павловна. Тем более – в день рождения внука. Могу только одно сказать: да, я не хотела, чтобы Богдан женился на Алене, и вы это знаете, я не скрывала. Но меня не спросили. Я сама его таким воспитала, за свои ошибки сама и расплачиваюсь. А уж вам, извините, придется расплачиваться за ваши.

тесть. Да что же это такое! Весь день – сплошной ералаш! И выпить-то не с кем!

У калитки показываются Брат и Жена брата.

брат. Слушай, Виктор, только погоди шуметь. По телевизору сейчас “Вокруг смеха” начинается, а у нас перегорел, и нам уже никуда не успеть. Мы с Тамарой “Вокруг смеха” еще ни одной не пропускали. Я и подумал: может, помиримся и поглядим все вместе? Родственники все-таки.

тесть. Ладно, чего там. Давай лучше выпьем.

теща. И слава богу! Садитесь скорей, пока чай горячий!

тесть. Тащи в комнату, Серафима. Мы пошли телевизор включать.

Все заходят в дом. На веранде остается одна Свекровь. Входит Муж и идет к калитке.

свекровь. Подожди, Богдан. Я должна тебе кое-что сказать.

муж. Только быстро. Я тороплюсь.

свекровь. У тебя для всех есть время, кроме матери. У тебя привычка разговаривать со мной на бегу, и я нервничаю и сбиваюсь.

муж. Ты меня задерживаешь.

свекровь. В результате я забыла, что хотела сказать.

муж. Тогда я пошел.

свекровь. Подожди! Нас здесь не уважают! Я все терпела. Да, она мне никогда не нравилась, я считаю, что она плохо воспитана и они загубят ребенка. Но я не могу равнодушно слышать, как оскорбляют моего сына!

муж. Я подаю на развод в понедельник.

свекровь. Я еще ничего не успела сказать, а ты уже разводишься!

муж. Я еду за Витькой.

свекровь. Куда?

муж. В детский сад. Сына я ей не оставлю.

свекровь. Кто же тебе на ночь глядя отдаст ребенка? Почему такая спешка? Может, вы еще помиритесь?

муж. Исключено. Ты знаешь, меня трудно вывести из себя. Я вообще ни на что внимания не обращаю. Тем более буду я реагировать на собственную жену. Когда она сказала, что я – бездельник, я засмеялся ей в лицо, все видели. Я даже пропустил мимо ушей, когда она заявила, что мне – что есть сын, что нету – без разницы. Это я-то плохой отец. Но когда она при всех говорит, что у меня друзья – всякая шушера! Я не дам замахиваться на самое главное! Извините! Для меня друзья – это все, ты же знаешь. *(Свекровь плачет.)* Где же твоя логика? То ты спала и видела, когда это случится, а теперь плачешь?

свекровь. Мало того, что ты рос без отца… А теперь – и сын.

муж. Вот именно – как я вырос, так и он вырастет. Ты же ушла от отца и никогда не жалела, ты сама говорила.

свекровь. У вас ребенок. Вы его спросили?

муж. Раз люди не могут жить вместе – нечего мучиться, надо разбегаться, и побыстрее. Ты меня не спрашивала, когда бросила отца. И я тебя понимаю.

свекровь. Что ты об этом знаешь, дурень! Никого я не бросала…

муж. Ты мне сама рассказывала!

свекровь. Не могла же я правду сказать! Ты был маленький.

муж *(растерян, пытается иронизировать)*. У меня вообще-то был отец?

свекровь *(она уже жалеет о сказанном, но под взглядом сына с трудом преодолевает стыд)*. У него была семья. Он говорил, что уйдет ко мне совсем, но все не мог решиться. Он за мной долго ухаживал, конфеты дорогие покупал. Я была страшная сластена… А когда я сказала, что будет ребенок, он испугался. Плакал, говорил, что тяжелый момент, жена в больнице. А я сказала: ты –

как хочешь, а у меня будет сын. Я думала, что он на мне женится. Он меня очень любил.

муж. Он был… действительно летчик?

свекровь *(еле слышно)*. На самом деле он был завуч в школе, где я работала, в Саратове…

муж *(совсем потерялся)*. Все-таки ты могла бы раньше рассказать… Он жив?

свекровь. Он уехал в другой город, прислал деньги. Я была как помешанная. Написала, что нам от него ничего не нужно. Ты слабенький родился, болел часто. Нам с тобой трудно жилось. Я не выдержала и написала ему, но письмо вернулось. Он опять переехал, неизвестно куда… *(Долгая пауза, наконец она решительно вытирает слезы.)* Я пойду, не хочу никого видеть. Что ты решил? Поедешь?

муж. Не знаю.

Они смотрят друг на друга. Свекровь поворачивается и уходит. Муж опускается на лавку. Из сада доносится музыка, из окон – смех. Он сидит, глядя перед собой. Входят Жена, Подруга и Первый друг.

жена. Держите меня, сейчас умру!

подруга. Ой, не могу! Ты, Богдан, самое интересное пропустил. Такое творилось – чуть живот не надорвала. Архитектор на дерево залез, представляешь?

жена. Я сроду так не смеялась.

первый друг. Да они все такие, москвичи. С виду только – не подходи, а сами – как дети.

подруга. Ага, и шнырь на дерево! На суку уселся и тост говорит: давайте не расставаться никогда!

Входит Второй друг.

второй друг. По-моему, он слезть не может. Я ему налил, а он не откликается.

первый друг. Ты ему больше не наливай.

второй друг. Я сам вижу, что хватит. А потом думаю: все-таки гость, еще обидится.

Входят Девушка и Третий друг.

девушка. Вы все ушли, а этот на дереве сидит. Скука смертная.

третий друг. Да он спит.

первый друг. То есть как?

третий друг. Как тетерев. Сидит на ветке и спит.

первый друг. Еще свалится, а мне отвечать перед шефом!

подруга. Пусть поспит человек. Завтра воскресенье.

первый друг. Его надо немедленно снимать. Это у вас выходной, а мы же фактически на работе. Нам завтра часовню в деревне Косово утверждать, это у чертей на куличках, на пароме переправляться.

второй друг. Одеяло можно постелить внизу, и – камешком. Залезть я сейчас не берусь.

первый друг. Слава, будь другом, сгони его оттуда!

Второй друг уходит.

девушка. Вы на машине? В город? Я с вами.

третий друг. Никуда она не поедет.

первый друг. Сами разбирайтесь. Мне места не жалко.

третий друг. Ты со мной приехала, со мной уедешь. Ты есть хотела – тебя накормили, танцы требовала – пожалуйста, организовали. А ты, значит, вместо спасибо сядешь и уедешь.

девушка. Не нравится мне тут, и все. Я, может, еще к Гарику успею.

третий друг. Ты нам тут свое воспитание не показывай. Молодая еще так разговаривать.

девушка. Вот как раз что я молодая, так мне дороже, чтобы вечер не пропал. Подумаешь, мужчина на дереве сидит! Я в жизни кое-что и посмешней видала.

первый друг. Я больше ждать не могу. Так и быть, пускай Семен остается. Тем более ему так понравилось. А я завтра его подхвачу.

муж. Уже едешь? Не поговорили толком.

жена. Я лично ужасно рада, что ты, Валера, у нас побывал. По крайней мере, свежую какую-то струю внесли. А это иногда очень полезно.

первый друг. Действительно, удачно получилось. Всех сразу повидал, посидели отлично. Как говорится, вы в порядке – мы в порядке.

девушка. Между прочим, у меня времени в обрез.

первый друг. Счастливо оставаться, ребята. Всем привет!

Первый друг и Девушка уходят.

жена. Где ты только таких девушек берешь, Стас?

третий друг. А меня очень устраивает, что она уехала. Во-

первых, она живет где новые дома, за комбинатом. Ее провожать – километров четырнадцать крюк, одного бензину сколько. А потом, она же мне совершенно не нравится.

подруга. То-то ты так суетился. И все даром.

третий друг. Что значит – даром? Я не знаю, зачем ты сюда ехала, Лариса, а я ехал именно в гости.

подруга. Кругозор надо расширять, а то у тебя все девушки исключительно из промтоваров. Я-то, кроме удовольствия, ничего не получила. Если у кого настроение испорчено, то никак не у меня.

жена. Мне настроение никто не может испортить, если я сама не захочу. Я очень довольная. Я тебе желаю, чтобы ты хоть раз в жизни была такая довольная, как я сегодня.

подруга. А я и так довольная. Я ехала прежде всего на природу. А природа – вот она, никуда испариться не может.

жена. Я довольная, потому что люди ко мне пришли, чтобы меня поздравить, потому что я для них что-то значу. Раз у меня праздник, то и у них. Рождение все-таки у моего сына, а не у чьего-нибудь. И как я хотела, так все и вышло.

третий друг. Мне тоже очень понравилось. Теперь хорошо бы чайку попить.

жена. А торт, как мама печет, никто во всем городе не испечет.

Жена, Третий друг и Подруга поднимаются на крыльцо.

муж *(негромко).* Алена!

Все трое оборачиваются.

подруга. Ты кого звал, Богдан?

Муж. Жену.

Жена ждет, стоя на крыльце. Подруга и Третий друг, переглянувшись, входят в дом.

муж. Алена, давай сбежим.

жена. Куда это? Гостей, что ли, бросим?

муж. Карусель какая-то. С виду вроде все нормально, а все не так. Пяти лет не прошло. Куда все делось, Алена? Жизнь как будто чужая.

жена. Ничего не поняла.

муж. А ведь было же что-то, Алена! Все у нас было другое. Помнишь, как ты ко мне в стройотряд приезжала, на третьем

курсе? Лето кошмарное, холодина, сигареты у всех кончились, а катер – раз в неделю. Ждали мы его, ждали. Всей оравой пошли встречать. В плащах, в телогрейках, льет как из ведра. А на палубе – один пассажир, в юбке. Мокрая как мышь… Какая ты была тогда!

жена *(спускается на ступеньку)*. Какая?

муж *(идет к ней)*. Сбежим, Алена! Прямо сейчас, сию минуту!

Целуются. Из сада появляется Второй друг.

второй друг. Еле я его подшиб.

жена *(оборачивается)*. Ты что, издеваешься?

Второй друг опрометью бросается обратно. Муж увлекает Жену к калитке. Они сталкиваются со входящим Соседом и убегают. Из-за дома с опаской выглядывает Второй друг.

второй друг. Уже можно?

сосед. Если они насчет мусора – опоздали, машины и след простыл.

второй друг. Тут больше никого нет?

сосед. А кто нужен?

второй друг *(выходит из-за дома)*. Ступить нельзя, чтобы на кого-нибудь не напороться. Сумасшедший дом.

сосед. У меня буквально такая же ситуация. Парень этот с мусорной машины, которого кобель мой покусал, отлежался, как у себя дома, даже борща поел. А стал опять выезжать – свалил новый забор и удрал. Опять убыток.

второй друг. И чего людям не хватает? Тепло, тихо, птички поют. Кажется, садись за стол и радуйся. Нет, мельтешат чего-то, спорят, обижаются…

сосед. И кобель мой до того разволновался – я его с трудом унял. Мне этот мусор влетел в копеечку. Не считая порванной цепи.

второй друг. Народу полно, а посидеть спокойно не с кем, все какие-то малахольные. А чего, спрашивается, суетиться?

сосед. В армии был?

второй друг. А как же. В инженерных войсках.

сосед. Сразу чувствуется. Мыслишь правильно. Сапер, значит?

второй друг. Да я больше в клубе, лозунги рисовал.

сосед. Художник? Ты-то мне и нужен! Пошли ко мне. У меня в гараже все оборудовано – и рыбка имеется, и музыка, и огурчики. Только выручи, нарисуй ты мне транспарантик! Чтобы надпись и

портрет небольшой. Краски у меня с ремонта остались.

второй друг. Это можно. Чей портрет? Ваш или супруги?

сосед. Зачем же мой? Кобеля моего. И надпись поаккуратней: осторожно, злая собака. Ходят, понимаешь, не смотрят, а потом жалобы строчат…

Сосед уводит Второго друга за калитку. Из дома слышен смех, на веранду выходят, хохоча, Брат тещи и Тесть, за ними Теща, Жена брата, Подруга и Третий друг.

брат. А как ты про Тамарку-то! Забирай свою макаку! Не могу прямо… Ну точно – макака!

жена брата. Дурак ты, и больше ничего. Наберутся – и обязательно куролесить…

теща. Хватит вам, утихомирьтесь.

тесть. Поругались, помирились – еще веселее. Ты, Тамар, не огорчайся. Под горячую руку еще не то брякнешь.

жена брата. Буду я внимание обращать. На работе, бывает, такого друг дружке навтыкаем, а глядишь, уже в столовой очередь заняли.

теща. А раньше как жили! А ругались как!

брат. А помнишь, Вить, в комнатухе у нас всемером, а метров – шестнадцать и ноль две. Серафима на окошке баланс считает, у бабки радио орет, а дядь Леша придет на взводе – и баян из-под дивана! Вот смеху-то было!

теща. И ничего, все целые, все в люди вышли.

подруга. Воздух изумительный. Прямо чувствуешь, как все тело дышит.

жена брата. Повезло. Град обещали, а даже дождика не было.

тесть. Дождичек не помешал бы. По такой жаре завтра на клубнику не одну бочку вылить придется.

теща. Куда молодежь-то подевалась? Чай остыл.

подруга. По-моему, у них серьезный разговор намечался.

теща. Обоих нет – значит, ничего страшного. Пускай разговаривают, лишь бы не поцапались.

третий друг. Я вот думаю: не остаться ли до утра? Ночь на дворе, а у меня резина лысая.

подруга. Хоть до станции довези.

тесть. Оставайся, картошку будем окучивать. Тут тебе все сразу – и воздух, и физкультура.

третий друг. Пожалуй, поеду. Я вспомнил, у меня в городе дела.

теща. Вот и хорошо. И меня возьмете.

тесть. А ты куда?

теща. Я лучше постираю. Гостей завтра нет, а с картошкой сам управишься. Ты у нас деревенский парень.

тесть. Для кого я, интересно, надрывался? Другие бы и рады на дачу, а нету. А моих калачом не заманишь. Эх, Витьки нет!

брат. Я даже устал. А хорошо все-таки придумали, что два выходных. А то если бы три – это какое нужно здоровье!

Все уходят за калитку. Из-за дома, озираясь, появляется Москвич. Увидев раскрытые двери, он поднимается на веранду, исчезает в доме, наконец показывается на крыльце.

москвич. Самовар еще теплый. Будить не хотели. Первый раз видят человека – и тут же оставляют дом и спокойно уезжают! Поразительное гостеприимство! Надо будет все запереть… Хорошо спится на земле. Замерз немного. Что-то странное снилось, древнее. Город на берегу, детинец, звонница шатровая. И ни души. А мы на пароме плывем. И вдруг – кто-то говорит, так отчетливо: мне сосиски, только без гарнира. Открыл глаза – небо над головой черное… “Над Непрядвой лебеди кричали, и опять, опять они кричат…” Потрясающие люди!

Он заходит на веранду, одно за другим закрывает окна, вынимает ключ, торчащий в двери, запирается изнутри. Шаги его затихают, в окнах гаснет свет. Тишина. У калитки появляется Тесть, взойдя на крыльцо, дергает дверь и останавливается в изумлении. Обходит дом, пытается открыть окна на веранде.

тесть. И шпингалеты все заложены! Совсем спятил. Когда же это я запер? И свет выключил. Постой, постой… Вот ключи от машины, от погреба, от квартиры, от замка на сарае… А этот где же? Вот это номер. Серафиме, что ли, сунул? *(Присаживается на лавку.)* Устал как собака. И ноет что-то в спине, не пойму. Прострел? Хоть старались не зря, все довольные уехали. Посидели, действительно. Солидно получилось… Эх, Витька! Как ты там сейчас, родненький? И сад хороший, и воспитательница знакомая, а всё – не дома. Коллектив, конечно, привыкать надо. Всю жизнь, можно сказать, в коллективе. Я первый раз заснуть не мог. В казарме чисто, красиво, все храпят давно, а я никак. Привык на печке. Уж светать начало, а я лежу и думаю: вот, значит, мать доить пошла. А тут – па-аа-адъем!.. Сколько мне было, а сколько Витьке. Салажонок еще… Что ты будешь делать! Вот мешает что-то под лопаткой, и все тут. Может, к дождю? Дурень старый! Хоть убей, не помню, как запирал! Придется в машине залечь. Оно и надежней. Утром разберемся… Эх, Витька,

Витька! Нам бы с тобой вдвоем. Ну, ничего. Что там осталось? Восемь лет, два месяца и одиннадцать… нет, уже – десять дней.

В саду слышен ветер, внезапный порыв его, нарастая, шумит в листве. Глухо рокочет далекий гром. Разражается сильный ливень. Вспыхивает молния. Протяжно гремит раскат. За стеной дождя тают калитка, дом, сад…

Занавес

1982

Свободен, наконец свободен!

В конце 50-х годов в хрущевскую оттепель на выставке французской живописи в Москве я увидел знаменитое полотно Делакруа “Свобода, ведущая народ”. В газете было написано, что встреча с этим шедевром вызывает потрясение. Мне было пятнадцать лет, я старался читать толстые книги, а по ночам мне снились голые женщины. В толпе, окружавшей картину, я болтался не меньше часу, переходя с места на место из боязни, что кто-нибудь из взрослых меня прогонит. Я ушел в тревоге. Ночью мне опять приснилась какая-то мерзость, я встал с зеленым лицом. Перед глазами так и маячила грудь Свободы – белая, нежная, с восхитительными розовыми сосками. Тогда я не знал, что живу при тоталитарном режиме и что это была практически первая в моей жизни встреча со свободой.

Во времена перестройки я был так занят борьбой за свободу, что как-то упустил момент ее прихода. Вдруг оказалось, что я уже живу в свободной стране. Я словно проснулся. Оглянувшись вокруг, я почувствовал смутное беспокойство. Действительность была так же отвратительна, как в лучшие годы коммунизма.

“Свобода – это деньги”, – объяснил мне владелец банка, сын генерала КГБ.

“Свобода – это выбор”, – объяснил мне брокер московской биржи, прежде работавший в Центральном Комитете партии.

“Свобода – это спонсор”, – улыбнулась известная красавица, недавно купившая гостиницу.

Тут я вспомнил, что Шопенгауэр утверждает, что, поскольку под свободой мы понимаем отсутствие помехи и препятствия, следовательно, само понятие свободы представляется отрицательным. Это меня немного успокоило.

Рекламы кинотеатров в центре Москвы поразили меня богатством репертуара. В прежнее время российский обыватель, сбитый с толку коммунистической пропагандой, бегал в кино каждую неделю, спасаясь от преследований тайной полиции. Но и там у него не было выбора. Смотреть приходилось советские фильмы – русские, грузинские, литовские, киргизские, изредка разбавленные индийской мелодрамой или французской комедией. Теперь выбор неограничен. На афише пятьсот названий – и все американские.

На окраине афиши я нашел два русских фильма. Названия показались мне несколько экстравагантными – “Обнаженная в шляпе” и “Маленький гигант большого секса”. По количеству зрителей оба они оказались в третьем десятке, первые двадцать

номеров заняли американцы. Я решил познакомиться с лидерами списка.

Цена билета меня потрясла. Сколько мы возмущались тем, как низко ценилась наша работа при коммунистах! Любой мальчишка шел в кино от нечего делать, потому что мороженое стоило дороже. Свобода все поставила на свои места. Теперь посещение кинотеатра – это сознательный поступок свободного гражданина, который решился на жертву ради искусства. Я заплатил за билет с гордостью за свою профессию.

Реклама обещала невиданный для Голливуда взрыв эротизма. Несмотря на это, в зале на шестьсот мест я с трудом насчитал семнадцать человек – две шумные группы подростков, молодые пары и несколько потертых мужчин, тихо сидевших поодиночке в разных концах. Мой вопрос о посещаемости директор кинотеатра, крашеная блондинка, встретила с плохо скрытой неприязнью. “Избаловались, проклятые”, – сказала она, имея в виду зрителей. Но назвать цифру отказалась. Я поинтересовался, какая именно русская компания приобрела права на только что увиденный мной эротический взрыв. Оказалось, это тоже коммерческая тайна.

Я был озадачен. Кто же будет финансировать мой будущий фильм? Значит, деньги, вложенные в кино, невозможно вернуть? Государственной субсидии хватит сегодня разве что на коктейль для журналистов. Если это деньги телевидения, журналистам придется ограничиться пивом. Куда же делись почти две сотни картин, которые Россия произвела в 1992 году? Десяток показался на фестивалях, еще десятка два мелькнули в прокате и на телевидении, остальные исчезли бесследно. В условиях спада и инфляции в стране нашлись спонсоры для 192 фильмов, и, значит, все эти добрые люди разорились?

“Никто не разорялся, – посмеялся надо мной молодой коллега, недавно закончивший картину. – Спонсор дает не свои, а чужие деньги”. – “А тот, у кого он их берет?” – “И этот дает не свои”. – “А прокатная компания? А кинотеатр, заплативший за копию?” – “Все они платят чужими деньгами”. – “Тогда кто же тот, последний в цепочке, кому эти деньги все-таки принадлежат?” Это осталось коммерческой тайной.

Несколько ошарашенный, я пришел домой, сел к письменному столу. Включил телевизор. По двум каналам выступали православные священники. Один с жаром говорил об экономической реформе, другой давал советы молодым супругам. По остальным программам шли американские фильмы, перемежаемые рекламой японских автомобилей.

По данным социологов, в 1992 году 93 % всей

аудиовизуальной продукции в России были американского производства. За тот же год кинотеатры потеряли почти миллиард зрителей. Средняя заполняемость залов не превышает 12 %. Девяносто кресел из ста остаются пустыми.

Может быть, свобода – не только отсутствие препятствий, может быть, свобода – это отсутствие пути?

Вот, сказал я себе, мечта сбылась, ты можешь творить свободно. Наконец русская культура вдохнула воздух свободы, и, судя по всему, это ее последний вздох. Для кого же я буду делать свой фильм? Кому обращу я свое послание?

Как известно, святой Франциск Ассизский проповедовал птицам. И кажется, с успехом.

1993

Темная вода

В последние дни августа 1957 года, когда каштаны начинают ронять листву, в городе Париже в кафе “Ротонда” на углу бульваров Монпарнас и Распай сидят двое молодых людей и девушка. Пьер и Николь пьют кофе, Жан-Мари разглядывает благополучную пожилую пару, которая оживленно беседует с официантом. Он достает пачку “Житан”, закуривает.

– Посмотрите на этих рантье… Он уже минут десять выбирает вино. Полюбуйтесь на это боа, на эту бабочку! Они ходили на Мольера во Французский театр, а теперь пора немного закусить. Он проспал весь спектакль, но зато – в кресле, в котором спал еще его прадед. И так – каждое воскресенье…

– Какой Французский театр? Август месяц, все на каникулах.

Девушка ухмыляется:

– Вот эта пара? Жан-Мари, ты попал пальцем в небо. Это господин Жиру, инженер у “Ситроена”, член партии. На “Ситроене” очень сильная ячейка, коммунисты есть среди инженеров…

– Все равно, меня тошнит от их буржуазных манер… Как сказать по-русски *haut les mains?*

– Руки вверх… – сообщает Пьер.

– *Rouki ver! Un roux qui est vert*…[1] Забавно.

– В Алжире русских нет.

– Чешское судно с оружием задержали? Значит, и советники из Москвы сидят в штабе. Где пахнет жареным – русские тут как тут…

Николь пожимает плечами:

– Ты повторяешь клевету буржуазной прессы.

– Да? Ты забыла, что писала “Юманите”, когда русские танки вошли в Будапешт? Информацию можно было получить только из буржуазных газет.

– Ерунда! В Венгрии была настоящая контрреволюция…

– Николь, ты больше роялистка, чем король.

– Ты не понимаешь, что Советский Союз – единственная реальная надежда рабочего класса!

– Счастливец… – вздыхает Жан-Мари. – Ты увидишь Кремль, Мавзолей Ленина…

– Балет Большого…

Николь хмурится:

– А я думаю, Дюрану в Москве придется нелегко. Компания у него – буржуазная, абсолютно правая.

– Ну почему? Парни из Сен-Клу – скорей левые…

– Все ребята из Эколь Нормаль, которых я знаю, – это всё буржуа… Но мы все-таки на тебя надеемся. Нужны прямые связи с советскими товарищами…

– Когда ты уезжаешь? – спрашивает Пьер.

– Завтра. Ночью уходим из Марселя. Мы расстаемся, надо выпить по стакану. Гарсон! Шабли, пожалуйста.

– Бокал?

– Бутылку! Почему мне так не везет? Если бы я прошел конкурс, я бы тоже учился в Эколь Нормаль, а через год бы тоже поехал в Россию… Какого черта я должен идти на войну, которую я ненавижу всей душой? Все равно это их земля, надо оставить их в покое и уйти…

– Я так не думаю, – говорит Пьер.

Николь возмущена:

– Ты не согласен с линией партии?

Официант приносит бутылку, откупоривает, наливает на дно бокала. Жан-Мари нюхает вино:

– Пахнет пробкой…

Официант принюхивается к бутылке:

– Извините, месье, мне кажется, запах шабли…

– А я вас уверяю, что пахнет пробкой! Пожалуйста, принесите нам хорошего вина…

– Что за буржуазные замашки! – иронизирует Николь. – Ты насмехался над господином Жиру, а сам?

– Почему я должен пить плохое вино? Да еще за эту цену!

Официант приводит метрдотеля.

– Месье?

– Мы хотим выпить хорошего вина. К сожалению, эта бутылка отдает пробкой.

– Поверьте, это аромат шабли…

– У вас есть шабли пятьдесят четвертого года?

– Разумеется, месье. Но оно в полтора раза дороже…

– Не имеет значения. Я угощаю… Зачем мне деньги в Алжире?

Дождавшись, чтобы метрдотель отошел, Николь дергает Пьера за локоть:

– Так ты считаешь, что Алжир должен оставаться французским?

– Да. Я бы голосовал за генерала де Голля.

– Нет, он совсем рехнулся! Я просто плюну и уйду!

– А пять поколений французов, которые поливали землю Алжира своим потом и слезами? Их кости гниют в этой земле. И вот так запросто взять и вышвырнуть их? Тебе это кажется справедливым?

– Пьерро, ты не замечаешь, как съезжаешь все дальше вправо. Все-таки сказывается, что вы оба из буржуазной среды…

– Это ты мне говоришь? Я работаю с одиннадцати лет. Рабочий класс – это я. Я работал полтора года на заправке и четыре года в мастерской автосервиса…

– Как я ему завидую! – Жан-Мари оживляется. – Я встретил Жюля, он только вернулся из Москвы, с фестиваля молодежи. Там было две тыщи французов – и никакого железного занавеса! Жюль в восторге от русских девок…

– Это все, что он увидел в стране социализма! Жюль всегда был мелким буржуа в душе…

Метр приносит бутылку, демонстрирует ее Жан-Мари, откупоривает, наливает на донышко. Жан-Мари обнюхивает, пробует.

– Отлично! Вот это настоящее шабли…

Он разливает вино.

– Хватит, Николь. Даже Маркс учит, что пролетарий должен уметь расслабиться…

– Никогда Маркс подобных глупостей не писал.

– Ну, может, Энгельс… В кого ты такая строгая?

Она смеется:

– Мама говорит, что я никогда не выйду замуж. Она хотела сделать из меня девушку хорошего общества. Но я выбрала народ.

– Ну, чин-чин! – Он поднимает стакан: – *Fare thee well! And if for ever, still for ever, fare thee well…* [2] А небольшой поцелуй?

– На Пигаль… – презрительно советует Николь. – Масса вариантов…

– Отказать солдату! Да меня, может, завтра убьют… Последний поцелуй!

– Ну, так и быть…

Она подставляет лицо. Жан-Мари целует ее в губы. Поцелуй затягивается. Она мычит, вырывается, он ее не выпускает. Пьер смеется.

В салоне самолета ТУ-104 объявляют по радиосвязи о начале посадки. Пьер пристегивается, приникает к иллюминатору. Самолет выныривает из облаков, ложится на крыло. Там, внизу, открывается Москва.

Наконец шасси касаются земли, самолет бежит по дорожке.

Пассажиры спускаются по трапу и садятся в автобус.

Пьер переминается в очереди к окошку паспортного контроля. Пожилой, похожий на немца, красномордый господин ныряет в зал. Пьер подходит к окошку, кладет паспорт:

– Здравствуйте…

Из окошка на него подозрительно смотрит широколицый узкоглазый казах в форме пограничных войск. Он то поднимает взгляд на Пьера, то опускает на фотографию в паспорте. Листает паспорт и хмуро спрашивает:

– Какая цель вашего приезда?

– Стажировка в Московском университете…

– Где?

– В Московском Государственном университете имени Ломоносова…

Нагруженный чемоданом и сумкой, Пьер выходит в зал прилета.

Шишмарева, полная блондинка лет сорока с шестимесячной завивкой на голове, сердито отчитывает молодого шофера. В руках у нее табличка с надписью *Pierre Durand*. Пьер подходит к ней, здоровается. Лицо ее преображается, его освещает широкая сияющая улыбка.

– Добро пожаловать в столицу нашей Родины Москву!..

Она говорит так громко, что люди останавливаются и с любопытством разглядывают Пьера. Он не знает, куда деваться.

Видавший виды “москвич” мчится по шоссе. Пьер вертит головой по сторонам. Мимо мелькают деревянные избы и заборы. Шишмарева сидит рядом с шофером, повернувшись к Пьеру, и не переставая говорит:

– Гостиница очень комфортабельная, а через пять-шесть дней закончится ремонт, и мы вас переведем в общежитие на Ленинские горы. Не теряйте время, в Москве есть что посмотреть – театры, музеи. Изумительная прогулка по каналу имени Москвы с Речного вокзала! Вы знаете, что Москва – порт пяти морей?

– Откуда же пять? – удивляется Пьер. – Я карту, в общем, знаю, я в детстве марки собирал…

– Дело в том, что канал, построенный в тысяча девятьсот тридцать седьмом году, не только привел в столицу волжскую воду, но и открыл путь в моря – Белое, Балтийское, Черное и Каспийское…

– Получается четыре…

– Белое, Балтийское, Черное, Каспийское… Какое ж пятое?

– Азовское вроде… – меланхолически роняет шофер.

– Тьфу ты, Азовское забыла! Попутал нечистый… Очень советую также съездить на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку…

В гостинице “Националь” Пьер захлопывает за собой дверь

номера, ставит чемодан и сумку, подходит к окну. За окном – Кремль, Александровский сад, угол Красной площади.

Вот Пьер гуляет по Красной площади. У Лобного места его внимание привлекает молчаливая группа узбеков в халатах и тюбетейках. К Мавзолею тянется длинная очередь. Над входом надпись: “Ленин Сталин”. Начинается смена караула. Пьер проталкивается поближе.

Вот Пьер разглядывает коней Аполлона на фасаде Большого театра. На скамейках сквера шумная команда приезжих школьников с учительницей подкрепляется колбасой и молоком.

На Пушкинской торгуют арбузами с лотка. Пьер идет вдоль очереди, заходит в телефонную будку. Он листает записную книжку, опускает 15 копеек в автомат, набирает номер.

– Можно говорить с господином Чухновским? Здравствуйте, Николай Кузьмич, это Пьер Дюран, если помните. Да, я в Москве…

Пьер выходит из автобуса на Котельнической набережной и, задрав голову, рассматривает высотное здание. Он идет вдоль фасада, заходит в арку.

В кабинете писателя Чухновского Пьер шарит взглядом по фотографиям на стенах, по старинным книжным шкафам. Чухновский, сидя за письменным столом, говорит по телефону:

– …Анри Дюран, коммунист, участник Сопротивления, погиб в Равенсбрюке в сорок третьем… Ты книжку-то прочел? На рыбалке я дарил… Этот самый! А это – его сын. Между прочим, член партии, как и отец. Семью эту я знаю, я у них бывал в Париже. Помочь нужно, Сергей Васильич, тут без тебя не обойтись… Короче, мать у него русская, толковая очень женщина. Родственник ее был репрессирован в тридцатых, а потом она следы его потеряла. Кажется, брат двоюродный, или сводный… Пошарить можно там у вас? Может, он реабилитирован, может, он жив-здоров? Спасибо, кто бы сомневался… В Союзе? Да ничего хорошего, та же толкотня… Любка с мужем разошлась, пацан теперь без отца растет… Баньку новую поставил. Приезжай!

Он кладет трубку.

– В общем, так… Вас найдут, примут и попробуют помочь.

– Спасибо. Это всё ваши книги?

– Это вот чешское издание. Венгерское, польское. Голландское… Западные издатели с нами не больно церемонятся. Вон бельгийцы перевели молчком и даже авторских экземпляров не прислали, я случайно в Лондоне купил…

Просторная гостиная обставлена карельской березой. По

стенам живописные полотна в золоченых рамах. За столом ужинают Чухновский, его жена Зинаида Пална, дочь Люба с пятилетним сыном Витькой и Пьер. Чухновский наливает вина жене и дочери, водки – Пьеру.

– Я же помню, как ваша мама звала вас по-нашему – Петя. Не возражаете, если мы вас будем звать так же?

– Мне будет очень приятно, – улыбается Пьер.

– Ну, Петя, с приездом!

Они чокаются. В коридоре звонит телефон. Зинаида Пална выходит. Пьер распробовал закуску.

– Очень вкусно…

– Угощайтесь. Устриц у нас, правда, нету, зато будет настоящая русская селянка. Закуска вся, конечно, под водку. Селедочка, грибки, капустка бочковая…

Возвращается Зинаида Пална:

– Из Союза звонили.

– Ильин?

– Просил перезвонить… В ноябре съезд писателей в Болгарии.

– В Болгарию пусть сам едет… Ульяна! Как там селяночка?

В дверь заглядывает раскрасневшаяся кухарка Ульяна, полная женщина лет пятидесяти, в фартуке и наколке.

– Дак перестоит же, Николай Кузьмич! Готово давно…

– Давай…

Ульяна приносит супницу, собирает тарелки из-под закуски, принимается разливать суп. Пьер разглядывает большую картину на стене:

– Неужели… Айвазовский?

– Он самый… А вот это Шишкин.

– Подлинник?

– Я копий не держу… – усмехается Чухновский. – Молодец, Петя! Знаете русскую живопись?

Он чокается с Пьером. Дочь Люба и ребенок встают из-за стола.

– Нам пора на боковую…

Ребенок бежит к Чухновскому, тот поднимает его и целует:

– Спи спокойно, барбос…

– Спокойной ночи, деда.

Пьер пробует суп:

– Изумительно…

– Э, брат… Это старинный рецепт, Елена Молоховец – классика русской кухни. Тут одного мяса четыре вида…

– Четыре?

– Говядина на кости, копченый язык, сосиски и телячья

почечка…

– Я вам очень благодарен, Николай Кузьмич. Без вашей помощи я бы не знал, куда обратиться. У вас другая система. Мне советовали писать письмо в Верховный Суд или в Верховный Совет…

– Тут ни суд, ни Верховный Совет помочь не могут. Только госбезопасность.

– Значит, госбезопасность – по-прежнему главная? Как при Сталине?

Чухновский хмурится:

– Я этого не говорил. И не надо ловить меня на слове…

– Простите… Мне просто интересно.

– Чего ты раздражаешься? – говорит Зинаида Пална с натянутой улыбкой. – Он же все-таки француз… Лучше объясни.

Чухновский, не глядя на нее, набивает трубку, разжигает.

– Только учтите – я с вами сейчас говорю не как с заезжим иностранцем, а как с коммунистом… Про Двадцатый съезд партии вы, вероятно, слыхали. И закрытый доклад Хрущева наверняка прочли. Я знаю, у вас его буржуазные газеты печатали, а коммунисты французские от него открещивались, как могли… Так вот, Петя, сегодня это другая страна, не та, что была при Сталине. И органы госбезопасности во многом другие. И люди там поменялись, и установки другие…

В коридоре звонит телефон. Зинаида Пална выходит.

– …Может быть, главное, что удалось Никите Сергеичу, – вернуть контроль партии над органами…

В дверь заглядывает взволнованная Зинаида Пална:

– Беляев!!!

– Извините!

Чухновский поспешно откладывает салфетку и выходит.

Пьер остается один за столом. Из других дверей бесшумно появляется Люба и садится за стол. Некоторое время они молчат, доносится громкий голос Чухновского. Возвращается Зинаида Пална, садится, прислушиваясь к разговору в коридоре.

– Все-таки откуда у вас такой хороший русский? – спрашивает Люба.

Пьер улыбается:

– Мама баюкала меня по-русски… А вы учитесь или работаете?

– Сейчас я временно не работаю. А вообще я закончила восточное отделение истфака…

– Арабский?

– Хинди.

Чухновский говорит по телефону в коридоре.

– …Я все высказал на последнем секретариате… Нет, я не мнительный, Пал Иваныч! Депутат, лауреат – оказывается, это все не имеет значения… А вы посчитайте! Статья в “Литературке”, абсолютно хамская и бездоказательная. Из делегации в Италию меня в последний момент убрали, и буквально через два дня я узнаю, что “Советский писатель” вынул книгу из плана под надуманным предлогом! Это все как? Случайности? Совпадения? Пожалуйста, я готов к серьезному разговору…

– А чем занимается ваша мама? – спрашивает Пьера Зинаида Пална.

– Это… очень интересно. У мамы… забыл, как по-русски… Она чувствует запахи, аромат…

– Обоняние…

– Да, да, обоняние… У нее такой талант от природы, особенная чувствительность к аромату. Перед войной она работала для Коко Шанель. Вы знаете Дом Шанель?

– Духи? – усмехается Люба. – Конечно…

– Да, парфюм… Она очень хорошо зарабатывала у Шанель. Когда арестовали отца, мама четыре месяца была в гестапо. Ей сломали ключицу, она неправильно срослась. И ее талант пропал, она перестала чувствовать аромат…

Входит Чухновский, садится за стол, разливает водку.

– Ну чего ты так заводишься? – вздыхает Зинаида Пална. – Чего ты нервничаешь?

Чухновский мрачен.

– Оказывается, я мнительный… А то я не знаю, кто под меня копает!

Он чокается с Пьером.

– Сколько же вам было лет, когда маму забрали в гестапо? – спрашивает Зинаида Пална.

– Одиннадцать.

– И вы остались без мамы, без папы? Как же вы справились?

– Пас коров в Оверни, в деревне у родственников отца…

– А мама?

– После войны мама работала два года в Нью-Йорке, в аппарате Объединенных Наций как переводчик. А сейчас работает у “Галлимар”, это большой издательский дом… Она, как это? *Agent comptable*… Кто деньги считает…

– Бухгалтер?

– Да, да, бухгалтер… Вот она…

Он достает бумажник, раскрывает и протягивает фотографию Зинаиде Палне. Она рассматривает фото, потом передает его Любе.

– Красивая женщина…

– Правда, мама была очень красивая…

– А сколько лет вашей маме?

– На этой фотографии – пятьдесят три.

– Как пятьдесят три? – Люба поднимает на Пьера растерянный взгляд. – Не может быть!

– Это я снимал в Ницце в прошлом году. Она очень трудно переживает свой возраст. Красота уходит…

Зинаида Пална встает и выходит. Люба возвращает фото Пьеру и тоже встает.

– Николай Кузьмич, я бы хотел попасть за кулисы Большого театра в Москве и Кировского в Ленинграде. Меня интересует судьба Мариуса Петипа, француза, который создал русскую школу балета. Мне нужно получить доступ в архивы. Не могли бы вы мне помочь?

Чухновский с досадой вертит рюмку в руке.

– Мой тебе дружеский совет: не болтай лишнего. И не доверяй никому…

Поздно вечером Пьер едет в метро. Вагон полупустой, в углу спит пьяный в пиджаке на голом теле, молодая парочка держится за руки, да в другом конце вагона громко разговаривает компания молодых парней.

На станции “Проспект Маркса” открываются двери, Пьер выходит.

Подойдя к гостинице, Пьер оборачивается.

Манежная площадь безлюдна, ползет одинокий грузовик. В тусклом свете фонарей вдоль Александровского сада тащится прохожий. Оживают куранты на Спасской башне, отбивая четверти. Наверху гостиницы “Москва” разом гаснет освещение в кафе “Огни Москвы”. В ночном небе горят рубиновые звезды на башнях Кремля.

В номере Пьер выдвигает ящик стола и цепенеет – ящик пуст. Он принимается лихорадочно шарить по ящикам, хватает куртку, ощупывает карманы.

В коридоре взволнованный Пьер объясняется с невозмутимой дежурной по этажу.

– Да вы не переживайте, это какое-то недоразумение… Все найдется, разъяснится. Это “Националь” – у нас не воруют. Вы поглядите как следует, чего-нибудь напутали, куда-нибудь не туда положили…

За столом в номере сержант милиции составляет протокол. Другой милиционер с погонами младшего лейтенанта

расхаживает по комнате, оглядывая беспорядочно разбросанные вещи. Пьер выдвигает ящик, показывает.

– Вот сюда я положил паспорт и деньги…

– Вы сядьте и успокойтесь, – советует младший лейтенант.

Сержант спрашивает:

– В котором часу вы покинули номер?

– Точно я не помню… Около шести часов.

– Около восемнадцати… А вернулись?

– В полночь. Я зашел в гостиницу, как раз куранты били…

– Ноль ноль пять… Где вы находились между восемнадцатью часами и нолем?

– Меня пригласил писатель Чухновский…

Младший лейтенант заинтересовался:

– Депутат Верховного Совета? Какой Чухновский?

– Да.

– Вы с ним знакомы, что ли? Откуда вы его знаете?

– Он приходил к нам в Париже. Он писал о моем отце…

– Он кто?

– Кто?

– Ваш отец? Чем он занимается?

– Он погиб в немецком лагере. Он участвовал в Сопротивлении.

– Паспорт французский? – строго спрашивает сержант.

– Да. Я гражданин Французской Республики.

– Денег сколько было?

– Три тысячи двести франков…

Младший лейтенант вздыхает:

– Ладно, разберемся…

Он смотрит в окно. И Пьер невольно поворачивает голову. Над Красной площадью занимается рассвет.

У знаменитого “Дома Игумнова” на Большой Якиманке, резиденции посла Франции, Пьер разглядывает экзотический фасад. Набравшись храбрости, он взбегает по ступенькам и нажимает на кнопку звонка.

Откинувшись в кресле за письменным столом, второй секретарь посольства Мартен с некоторым раздражением отчитывает стоящего перед ним Пьера:

– Почему я должен объяснять вам подобные вещи? Это не я, а вы изучаете русскую литературу. Достоевский – это, конечно, шикарно. Но разве он советует оставлять деньги в отеле? Ваши профессора не предупреждали вас, куда вы едете?

– Я думал, что… мне сказали, что это прекрасный отель…

Мартен достает бумажник.

– Сто рублей – этого достаточно, чтобы прожить три дня. К счастью, французское государство содержит своих стажеров щедро. В среду вы получите вашу стипендию и, надеюсь, вернете мне эту сумму. И я бы просил вас не оставлять деньги в номере. Я бы не советовал делать это ни в Париже, ни Лондоне, а уж в Москве…

– Спасибо, месье. Разумеется, я верну вам деньги… Я понял, что надо быть осторожным.

– Боюсь, месье Дюран, это вам только кажется. Вот проживете в Москве месяца три, тогда начнете понимать… Эта страна – не такая, как другие. Иностранных банков нет, деньги из Парижа можно перевести только через посольство, и то – ограниченную сумму. За иностранцами следят, любой выход в город контролируется… Мы работаем в этой стране не первый год, но понять, как здесь живут люди, нам очень сложно. Западные дипломаты живут, как в гетто…

В кабинет заходит сотрудник посольства и кладет на стол перед Мартеном бумаги:

– Я исправил, как вы сказали. На два месяца…

Мартен проглядывает документы и протягивает Пьеру:

– Эта справка – временное удостоверение личности. Паспорт ваш, скорей всего, найдется. Я думаю, вас ограбили не воры…

– Спасибо, месье, я все понял…

– Привыкайте, Дюран. Здесь приходится быть мудрым…

В дымке дождя возникает автобус. Из дверей с руганью и прибаутками вываливается, окутываясь паром, разгоряченная толпа пассажиров. Пьер выдергивает сумку из толкучки, опускает чемодан. Люди раскрывают зонты, разбегаются, трогается автобус. Пьер остался один.

За стеной проливного дождя призрачно проступает высотный фасад университета. Огромная площадь пустынна.

Пьер идет, оглядывая памятник Ломоносову.

В вестибюле сектора “Г” университетского общежития дежурный в милицейской форме проверяет бумаги Пьера, сверяется со списком.

– Так… Дюран – шестой этаж, ключи на этаже у дежурной…

Он пропускает его через турникет. Двери лифта открываются, из кабины высыпает стайка девушек. Они с любопытством оглядывают насквозь промокшего Пьера и проходят, смеясь и громко разговаривая.

В полутемном просторном холле стоят будки телефонов-автоматов, кожаные диваны и кресла, кадки с фикусами и

пальмами. Дежурная, немолодая полная тетка, ведет Пьера по коридору. Она останавливается у номера 636 и, услышав голоса, толкает дверь. За дверью – блок из двух комнат и прихожая с душевой и туалетом. В одной из комнат за распахнутой дверью плавают клубы дыма, трое парней примостились за столом с бутылкой и закуской.

– Начинается… Криворучко, обратно шалман развел? А накурили! Окно откройте, охламоны!

Микола Криворучко, широкоплечий, плотный парень, выходит в прихожую. Дежурная отпирает дверь в соседнюю комнату, протягивает ключи Пьеру:

– Ну, вот, все прибрато, белье чистая… Устраивайтеся.

– Андревна, ты шо така злыдня? Земляк с Полтавы приехав на химфак…

– Ты мне пожар устрой! Соседа тебе привела. Француз, между прочим…

Она уходит. Микола с улыбкой протягивает руку Пьеру:

– Первый раз живого француза бачу… Микола.

– Пьер. Очень приятно.

– Давай к нам. Со знакомством по махонькой…

– Я… я сейчас не могу.

– Гляди, опоздаешь…

Пьер заходит в комнату, прикрывает дверь. Из динамика на стене льется бодрая песня. Он распахивает окно, за которым видны корпуса университета, все в зелени, начинающей желтеть. Он окидывает взглядом свое жилище – стол, два стула, металлическая койка, шкаф.

Дверь распахивается. С порога Микола с ухмылкой протягивает налитый стакан, краюху черного хлеба с салом и соленый огурец.

В аудитории негде яблоку упасть – сидят на ступеньках, стоят, преобладают девушки. Пьер что-то записывает в тетрадке, поднимает голову. Внизу на кафедре профессор расхаживает вдоль доски.

– Работа текстолога часто представляется каким-то сухим педантизмом, крохоборством, но, по существу, эта работа далека от крохоборства и сухости – в ней исследователь пытается проникнуть в мастерскую гения, подсмотреть его творческую работу. И, глядя на черновик Пушкина, мы не столько понимаем, сколько смутно чувствуем в нем, как в неподвижной, застывшей лаве, следы бурного творческого извержения. Идя последовательно по следам работы поэта, мы невольно заражаемся его волнением. Это особого рода наслаждение –

“следовать за мыслями великого человека”. Поздравляю вас с началом учебного года…

Аудитория зашумела и потянулась к выходу.

В коридоре посреди толкучки Пьер разговаривает с соотечественниками – Луи и Марселем.

– Ни одной хорошенькой!..

– Не знаю, надо мной такая блондиночка сидела!..

– Я говорю: “я хочу заниматься Достоевским”, – рассказывает Луи. – “К сожалению, у нас нет семинара по Достоевскому…” Где же заниматься Достоевским, как не в Москве?

– А я записался в семинарий профессора Гудзия по Толстому. Помнишь, Осоргина нам давала его хрестоматию по древнерусской литературе? Симпатичный старикан… А ты?

– Семинар по Маяковскому. Профессор Дувакин…

Разговор прерывают две запыхавшиеся девушки.

– Товарищи французы! Меня зовут Тамара… Вы ведь французы?

– А меня Аня! Мы французскую литературу изучаем, нам же интересно поговорить с живыми носителями языка…

– *Bonjour, mesdemoiselles!* – отчеканивает Луи.

Девушки дружно прыскают и покрываются пятнами.

– Нет, серьезно! Надо же познакомиться!..

– Вы в секторе “Г” живете? На шестом? Вас сколько французов?

– Анька, подожди… В общем, мы предлагаем…

– Нас пятеро. Дюран живет на шестом, мы на седьмом.

Подходит молодая женщина, секретарь деканата, и вмешивается в разговор:

– Дюран, зайдите в деканат. Звонили из гостиницы. Кажется, ваш паспорт нашли…

У себя в комнате Пьер натягивает брюки. В дверь заглядывает полуголый сосед Микола:

– Будь другом, одолжи свитерок на понос.

Пьер озадаченно смотрит на него.

– Красенький такой, я у тебя видал… Я ж не съем, отдам утром. По-соседски!

Пьер нерешительно достает из шкафа свитер, протягивает Миколе. Тот мгновенно натягивает его и выскакивает в прихожую к зеркалу над умывальником. Свитер едва не лопается на бугае Миколе, рукава ему коротки, он их засучивает и оборачивается к Пьеру:

– Шерше ля фам!

В фойе хрипит патефон, под фокстрот “Истамбул” танцуют Марсель с Аней. Микола в красном свитере в компании парней пьет и закусывает. У пианино группа девушек окружила французов. Луи разливает вино “Лидия” и со смехом рассказывает:

– Приносят кофе с лимоном. Кофе ужасный. “А можно кофе без лимона?” Официант пузатый, гордый, как испанец. Ресторан пустой, никого, я один, “Якорь” на улице Горького… “Пожалуйста, это же так просто – налейте кофе и не кладите лимон”. Он говорит: “Вы, наверно, иностранец, у нас такой порядок – кофе только с лимоном”.

Девушки смеются. Пьер ловит на себе угрюмый взгляд девушки в очках, одиноко сидящей на диване.

– Зачем же заострять на недостатках, Луи? – говорит Тамара. – Можно подумать, у вас во Франции все в ажуре… При желании, конечно, можно найти какие-то недоработки. Ведь у нас много хорошего, у нас замечательные люди!

Луи несколько ошарашен. Подходят Аня с Марселем.

– А вы танцуете рок-энд-ролл? Научите нас?

В углу Микола поднимает стакан и кричит:

– “Три мушкетера” – любимая книга советской молодежи! Ура!

– …Конечно, мы с уважением относимся к французскому народу, – говорит Тамара, нервно оглядываясь на Миколу. – А как французский народ относится к СССР? Нам это неизвестно…

– Мне тоже… – роняет Пьер.

– То есть как? Вы же представляете Францию!

– Я никого не представляю. Я сам по себе.

– Ой, я четыре раза смотрела “Фанфан-Тюльпан”! – сообщает Аня. – Жерар Филип такой обаятельный!..

Микола кричит:

– “Фанфан-Тюльпан” – любимый фильм советских девушек!

– Криворучко, кончай паясничать!.. – шипит Тамара.

Патефон играет танго “Брызги шампанского”. Аня с Марселем идут танцевать. Девушка в очках встает с дивана и подходит к пианино.

– Можно вас пригласить на белый танец?

– Что такое “белый танец”? – спрашивает Пьер.

– Дамы приглашают кавалеров… Меня зовут Марина.

Пьер встает. Они танцуют. Марина смотрит в пол.

У пианино Луи чокается с Тамарой.

– …Вы какие-то серьезные, как пенсионеры. Есть вещи поважнее, чем классовая борьба. Например, любовь…

Девушки смеются. Тамара как будто обрадовалась:

– То есть, по-вашему, личная судьба важнее, чем народ? Ну, нет, нас воспитал комсомол, и мы думаем, что общественное важней личного, и для блага народа можно пожертвовать личным счастьем…

– Почему у вас люди – отдельно, а народ – отдельно? – недоумевает Луи. – Из кого состоит народ? Чем больше людей живут счастливо, тем лучше народу?

Пьер танцует. Дождавшись, когда Аня и Марсель в танце отходят подальше, Марина, не поднимая глаз, быстро говорит:

– Я хочу вас попросить на мне жениться… Пожалуйста, не делайте такое лицо. И не говорите никому, иначе меня посадят.

Пьер оторопело смотрит на нее.

– Мне от вас ничего не нужно, только печать в паспорте и виза. Меня не надо ни кормить, ни любить.

Марсель случайно задевает Марину и извиняется. Она любезно улыбается.

– Вы хотите уехать во Францию? – тихо спрашивает Пьер.

– Мне все равно куда. Только бы удрать отсюда…

В переулке на Таганке Пьер стоит у обшарпанного старого дома. Вечереет. Сверившись с бумажкой, он заходит в арку двора. За двором – еще двор, за ним – еще один. Мужчина в шароварах и шлепанцах на босу ногу гуляет с овчаркой. Пьер обращается к нему. Мужчина объясняет, как пройти.

Пьер поднимается по темной лестнице на четвертый этаж. Останавливается у двери, на которой висит с десяток разных звонков с фамилиями жильцов. Из дерматиновой обивки торчат клочья ваты. Отыскав нужную фамилию, Пьер жмет на кнопку. Наконец дверь распахивается. Женщина в халате держит в руках таз с мокрым бельем.

– Кого надо?

– Здравствуйте. Можно видеть Ольгу Кирилловну?

– О господи! Да не слышат они ни хрена! По коридору до конца и налево, третья дверь…

В коридоре шумно. Озираясь, Пьер идет мимо кухни, где готовят и галдят несколько баб, одна из них, молоденькая, сидя на табуретке, кормит ребенка грудью, мимо открытой двери, у которой курят двое мужчин, за ними виден накрытый стол, гости за столом нестройно поют “По Дону гуляет…”. Навстречу Пьеру из уборной выходит инвалид на костылях, Пьер пропускает его, сворачивает, стучит в дверь.

В узкой как пенал комнате высокая чопорная старуха в темном платье, с прямой спиной и узлом седых волос на затылке, с папиросой в зубах, вопросительно смотрит на Пьера.

– Ольга Кирилловна? Пьер Дюран, это я вам звонил…

– Я не совсем поняла, что вам угодно…

Другая старуха, маленькая, сгорбленная, сидя в инвалидном кресле, откладывает книгу, снимает очки.

– Я не стал говорить по телефону… У меня для вас письмо от Натальи Федоровны Осоргиной.

Ольга Кирилловна мгновенно прикладывает палец к губам и указывает на дощатую перегородку, которая тянется через всю комнату и делит окно пополам. Она понижает голос:

– Присаживайтесь, ради Христа! Что же вы сразу не сказали? Из Парижа? Знакомьтесь, это моя сестра Мария Кирилловна…

Берет протянутый конверт, вскрывает.

– Ну, как там наша Натали поживает?

– Она сейчас отдыхает в Испании.

– Неплохо… Маня, читай, я приготовлю чаю…

Она кладет письмо перед сестрой и выходит. Комната выглядит темной и тесной, аккуратно застелена больничная железная койка, потертый диван, иконки на тумбочке.

Мария Кирилловна читает письмо и улыбается.

– А вы, оказывается, учились у Натали…

– Да. Она преподает в Сорбонне.

– Мы двадцать лет ничего друг о друге не знали. Она нас нашла каким-то чудом. Прислала прекрасного козьего сыру, *chèvre*… Журналист к нам приходил, француз, очень милый…

Входит Ольга Кирилловна, ставит на стол чайники – пыхтящий медный и, обернутый полотенцем, фарфоровый заварочный.

– Оля, представь себе, всё дошло, и письмо, и хлеб Бородинский!

Ольга Кирилловна достает из буфета чашки, накрывает на стол.

– Ну, слава богу! Дело в том, Пьер, что Натали Осоргина и Маня – смолянки, вместе заканчивали Смольный институт, уже в Новочеркасске, под обстрелом…

Мария улыбается:

> – *Regardez, ma chère* сестрица,
> *Quel joli* идет *garçon*!
> *C’est assez* богу молиться,
> Нам пора *à la maison*…[3]

– Прошу к столу! Чай с сухариками. Уходим в загул…

Под абажуром плавает облако дыма. Ольга Кирилловна гасит

в пепельнице папиросу и зажигает другую.

– …Меня взяли в кировском потоке, в тридцать пятом, прямо в сочельник. Но я в сорок седьмом уже вышла. А вот Маничке досталось. Восемнадцать лет. Ее только в прошлом году выпустили… И потом я почти весь срок отсидела в Потьме, а она объехала всю страну – и Красноярск, и Казахстан, и Саратов…

– Оля, оставь… Пьер, возьмите вот этот сухарик, он на вас смотрит…

– Благодарю вас, очень вкусно, чай чудесный…

– Так ваша мама из каких Обресковых?

– Я не знаю… Она москвичка, родилась и выросла в Москве.

– Обресковых много, после Манифеста крепостных часто записывали по фамилии барина. А дворяне Обресковы есть московские, есть симбирские, новгородские… Вот мы выросли в Петербурге, но мы из симбирских. Как зовут вашу маму?

– Лилия Львовна…

– Погодите, она – не дочь Леона Обрескова? – встревожилась Мария Кирилловна. – Который умер от тифа, в поезде, в Гражданскую. Оля, помнишь Лёвушку?

– Да, дедушка умер в девятнадцатом году, маме было шестнадцать…

Ольга сокрушенно качает головой:

– Силы небесные! Да ведь Лёвушка нам – кузен! Его отец Сергей Алексеевич – старший брат нашей мамы Полины Алексеевны. А семью их мы потеряли, когда они уехали в имение, в деревню, весной восемнадцатого года… Нашлись! Мама ваша нам – троюродная племянница, а вы – наш четвероюродный внучатный племянник. Мы и в самом деле родственники, Пьер…

– Мама очень обрадуется… А скажите, не знали ли вы Алексея Татищева?

– Которого? Татищевы – большая семья, и петербургские, и тверские, костромские… У них и графы были. Один даже был военным министром у Николай Палыча… Мы близко знали Валериана Татищева, камергера, он был женат на Элен Обресковой, нашей родне, но их обоих расстреляли в Алапаевске еще в восемнадцатом…

– Алексей Аполлонович Татищев. Офицер, мамин сводный брат…

– Аполлонович? Что-то знакомое…

– Да это Алекс-артиллерист! – машет рукой Мария.

– Алекс? Он учился в Михайловском юнкерском училище?

– Я знаю только, что после Гражданской войны он сидел в лагере на Соловках, потом освободился, а в тридцатых годах его опять арестовали, и больше мы о нем ничего не знаем…

– Оля, ты помнишь, он рассказывал про страшную лестницу на Секирной горе? Это же на Соловках…

Она берет из пачки “Севера” папиросу, закуривает, кашляет.

– Маня, что ты себе позволяешь…

– Отстань… Он тогда приезжал из Твери какой-то потерянный…

– Да, он нам показался странным… Он работал бухгалтером в какой-то артели. Это тридцатый или тридцать первый год, мы еще на свободе…

– Вы разрешите, я тоже закурю? – спрашивает Пьер и достает пачку “Житан”.

– Вспомнила! – Смутная улыбка пробегает по лицу Марии. – Я же видела их на Московском вокзале, он встречал отца, Аполлон Николаича, он одно время был тверским предводителем. Оля, ты должна помнить! Это еще до войны, тринадцатый год! Это Алекс!

– Ну, это был блестящий юноша…

– В каком смысле?

– Он был первым по математике в Михайловском училище. Ему сулили какое-то необыкновенное будущее… Он бывал с товарищами у нас на Каменноостровском на журфиксах. Барышни были от него без ума… Остроумный, манеры превосходные…

– Как на нем сидел мундир! Я с ним венский вальс танцевала, помнишь?

– Когда началась Гражданская, он ушел на Дон к Корнилову. Прошел весь Ледяной поход с добровольцами. Очень достойно… Судьба, конечно, не баловала… Маня, я не помню, почему он не ушел с Врангелем?

Мария морщится недовольно:

– Там была какая-то романическая история… Его же ранило, под Орлом, по-моему. И когда Деникин отступал, его спасла какая-то сестра милосердия…

– Да, да, кажется, из-за нее он остался в Новороссийске… А потом, конечно, Соловки…

– Ну, тогда сроки были детские – три года, пять…

– Когда мы его видели в последний раз? Пожалуй, вот тогда в тридцатом…

– Его загребли в тридцать втором или в конце тридцать первого. Помнишь, Анна Васильевна нам написала? А потом он вышел в ссылку, я получила от него очень милое письмо из какой-то уральской дыры… Ты уже в лагере была.

– И все. Больше – ни слуху ни духу… – вздыхает Ольга.

Лицо Марии становится суровым.

– Погоди… Я тебе рассказывала про Оболенскую, стукачку. На саратовской пересылке… Она сказала, что Алекс сидел в

Казахстане, Джезказган, что ли… Это самое начало войны, июль. Значит, в сорок первом он был еще жив…

В репетиционном зале Большого театра идет утренний класс балетной труппы. Ведет занятие репетитор, немолодая женщина с сухим скуластым лицом, она показывает фигуры и дает команду. Концертмейстер за роялем начинает играть.

То балерина, то танцовщик садится на пол в шпагате, отдыхает, пропуская упражнение, потом присоединяется к группе. Зал озаряет фотовспышка. Фотограф из “Московского комсомольца” Валера Успенский, с двумя камерами, шныряет по залу, выискивая точку съемки, то ложится на пол, то забирается на подоконник.

В углу с режиссером Брагиным, пожилым, располневшим бывшим танцовщиком, сидит Пьер. Они негромко разговаривают.

– А солисты? – спрашивает Пьер.

– Так тут и солистки – Корнеева, Алчевская. Вон Тамара Малинина вчера “Пламя Парижа” танцевала, а с утра в классе. Хотя после спектакля имеет право пропустить…

Фотограф садится рядом на пол, копается в сумке, перезаряжает “лейку”.

– Поаккуратней, Валера, со вспышкой, – замечает Брагин. – Нинке Лунёвой прямо в морду… Ослепил.

– Дядь Вась, кадр будет – закачаешься…

Он вставляет длинный объектив, отходит к роялю, целится. Сверкает вспышка.

– А вот эта? Чем-то напоминает Лиан Дайде…

– Ничего… Галкина Кира…

Репетитор командует, девушки отходят в сторону, садятся на пол. Мужчины тренируют прыжок.

В актерском буфете несколько человек с подносами стоят в очереди к стойке раздачи. За столиком Брагин пьет чай и разговаривает с фотографом, уплетающим бутерброд.

– Как там отец?

– Сидит у приемника или ворчит. С соседями воюет… Дядь Вась, его, кроме меня, никто вынести не может…

– Я на той неделе, может, заеду…

Успенский даже жевать перестал.

– Бутылка за мной – только приезжайте!

Подходит балерина Кира Галкина, кладет на стол сумку, проводит рукой по лбу.

– Привет! Мне бежать надо, я чего-то замоталась…

За соседним столиком оборачивается Вероника, бывшая

балерина, служащая в канцелярии балетной труппы.

– Справку принесла?

– Ой, Вероника! Валер, возьми мне кофе… Ты меня на среду поставила на одиннадцать сорок к Полонскому, а у меня зарез, я же тебе говорила! У матери пенсия, это полдня на почте в очереди стоять, а мне надо девочку из школы забрать…

– А я что могу? Махарадзе в больнице, Нонка в Подольск на шефский концерт едет… Кого ставить?

– Ну, придумай что-нибудь, ну пожалуйста!

Кира лихорадочно вываливает на стол содержимое своей сумки. Успенский приносит чашку кофе. Вероника подходит, ждет.

– Кира, знакомься, это наш французский гость Пьер, – говорит Брагин. – Он интересуется историей нашего балета, в частности, Мариусом Петипа… Ты на него произвела большое впечатление.

Пьер встает, с поклоном протягивает руку:

– Очень рад познакомиться…

Но Кире не до него. У нее слезы на глазах.

– Здрасте… Вероника, ну, не знаю, я ее утром вот сюда положила! Куда она делась, эта проклятая справка… Бред какой-то! Ну, завтра принесу…

Вероника с иронической усмешкой отходит. Кира садится и, утерев слезы, пьет кофе.

– Так, расслабились! – командует Успенский. – Ты можешь остановиться? Ты помнишь, что в субботу мы идем на Раушскую?

– А чего там?

– Володя Терлецкий играет и Лёшка Зубов на саксе…

– Обожаю Зубова! Это же просто Джерри Маллиган! Погоди, у меня же “Лебединое”… – Она нервно роется в сумке, листает репертуар. – Слава богу, “Лебединое” в пятницу… Идем на Зубова!

– В Москве есть джаз? – заинтересовался Пьер.

Успенский усмехается:

– В Москве есть все. Если знать, где искать…

Кира встает, хватает сумку, улыбается Пьеру:

– Мне надо бежать… Всего доброго!

Они с Успенским уходят.

Брагин с Пьером спускаются по лестнице к выходу.

– …Девка талантливая, могла стать солисткой. Родила в девятнадцать, выскочила замуж, потом развелась… А большая балерина – это всегда стальной характер, все подчинено одной цели – карьере. Каторга! Зато судьба…

Пьер кивает и говорит задумчиво:

– Я был в Лондоне во время ваших гастролей в прошлом году. Купить билет было абсолютно невозможно. Мне повезло, я все-таки попал на “Жизель”. Конечно, англичане называли Уланову гениальной. Но меня поразил кордебалет. Это – само совершенство…

– Потому что за каждой судьбой – драма… Большой берет каждый год одного, максимум – двоих. Это самые яркие, лидеры. Она в училище привыкла танцевать ведущие партии. А потом она попадает в Большой и застревает в корде. Только единицам суждено прорваться в солисты…

В вестибюле сектора “Г” перед турникетом французские студенты разговаривают с журналистом Франсуа Оливье. Пьер терпеливо объясняет дежурному в милицейской форме:

– Вот разрешение иностранного отдела, вот подпись заместителя декана. Это господин Франсуа Оливье, московский корреспондент “Радио Франс”. Он хочет сделать репортаж из общежития с французскими стажерами… Вот его паспорт.

Дежурный с недовольным видом изучает бумагу, куда-то звонит, говорит:

– Подождать надо…

Франсуа Оливье наставляет молодых соотечественников:

– “Арагви” – это очень неплохо, кавказская кухня, много мяса, недурные овощи. С рыбой неважно – осетрина, жирно и сомнительно… Что он говорит?

– Что надо подождать…

– Я вижу, у вас тут все серьезно… Я лично люблю “Узбекистан”. Очень похоже на турецкую кухню, превосходные супы…

По ту сторону турникета появляется человек в штатском, пролистывает паспорт, заглядывает в бумагу и, буркнув что-то дежурному, исчезает. Милиционер открывает турникет.

У лифта Оливье прячет паспорт.

– Монастырь государственной безопасности…

Ребята смеются.

– К счастью, женщины в ограде… – говорит Луи.

На кухне шестого этажа Пьер караулит кофе на конфорке. Наконец поднимается пена, Пьер снимает турку с огня и несет в комнату.

Шесть человек в небольшой комнате Пьера создали невообразимую тесноту. Оливье поставил магнитофон на стол и, надев наушники и отхлебывая кофе, проверяет микрофон. Пьер захлопывает окно.

– Все садимся на кровать, я буду подзывать к столу или подходить с микрофоном, – распоряжается Оливье. – Только выключи радио.

– Оно не выключается… Вот минимальная громкость.

Оливье пытается сам уменьшить громкость, потом надевает наушники.

– Идиотизм! Мы не сможем работать… Должен же быть какой-то секрет у этого дьявольского динамика!

Ребята столпились у динамика, со смехом щупают провода, крутят ручку.

– Или перейти в другую комнату…

– Бесполезно! – говорит Марсель. – Мы все просыпаемся в шесть утра под гимн…

Раздается треск, сыплется штукатурка – Луи выдернул динамик из стены.

Кусок стены обвалился, за ним открылась ниша, заполненная связкой кабелей и проводов разной толщины и какой-то аппаратурой. Динамик замолчал.

– Кажется, у меня будут проблемы… – меланхолически замечает Пьер.

– Да тут целый радар! – изумляется Луи.

Оливье прерывает его:

– Так, не теряем время! Все сели на кровать! Тишина! Работаем… Добрый вечер, дорогие слушатели! Говорит “Радио Франс”…

Дверь открывается, на пороге дежурный в милицейской форме. Из-за его плеча выглядывает сосед Микола.

– Это что за безобразие? Кто вам разрешил портить казенное оборудование? Такое развязное поведение вам так просто не обойдется. Придется оплатить ремонт и написать объяснительную записку…

В комнате поднимается гам. Пьер подходит к дежурному и что-то тихо говорит ему.

В коридоре Пьер тщательно закрывает дверь в блок, выпихивая Миколу, и сует дежурному пятьдесят рублей.

– Я все оплачу. Можно подождать полчаса? Мы только закончим интервью…

В комнате студенты сидят на кровати. Оливье с микрофоном расхаживает по комнате.

– Мы находимся в секторе “Г” общежития Московского университета. За окном – голые деревья, землю покрыл ковер из желтых листьев. Осень приходит в Москву на полтора месяца раньше Парижа…

В Елисеевском гастрономе Пьер стоит в очереди в бакалейный отдел. Конец рабочего дня, народ усталый и возбужденный. У продавщицы конфликт с покупательницей, очередь шумит. Пьера трогает за плечо хмурый парень в телогрейке.

– Восемь рэ, – говорит он деловито.

Пьер, озадаченный, кидает взгляд по сторонам – никто не обращает внимания. Парень ждет, уставясь на него. Пьер достает бумажник, протягивает деньги парню. Тот берет и исчезает.

Подходит очередь Пьера.

– Пожалуйста, пачку натурального кофе…

Пьер выходит из магазина и шагает вниз по улице Горького. Его догоняет парень в телогрейке.

– Мужик, ты чо? Совсем, чо ли?

Махнув рукой, парень быстро идет в противоположную сторону. Пьер покорно идет за ним.

Первым в подъезд заходит человек в майке и зимней шапке с болтающимися ушами. Следом идут Пьер и парень в телогрейке. Они поднимаются на один пролет.

Мужик в майке ставит на подоконник бутылку водки и граненый стакан, достает из кармана завернутый в газету черный хлеб, уже разрезанный на три части, раскрывает финский нож и режет натрое плавленый сырок. Большими натруженными пальцами с плоскими ногтями он крошит сургуч на пробке, вскрывает ее, ловко, не пролив ни капли, наливает стакан и протягивает парню. Тот молча вытягивает водку, нюхает горбушку, закусывает сырком. Взгляд его светлеет. Пьер с изумлением смотрит на него. Тем временем мужик протягивает полный стакан Пьеру. Он берет его с трепетом, медлит и неуверенно говорит:

– Ваше здоровье…

Мужик и парень мгновенно подозрительно переглядываются. Пьер пьет с трудом, чувствуя, что сказал не то. Мужик выливает остатки водки в стакан, который оказывается на удивление таким же полным, и молча, с наслаждением пьет.

Они выходят из подъезда, Пьер останавливается проститься, но собутыльники молча расходятся в разные стороны, как незнакомые. Пьер направляется вниз по улице, его заносит. Он стоит, пытаясь собраться, понимая, что пьян. Выпрямив спину, он идет осторожно, как будто проглотил аршин.

На сцене Большого – танец маленьких лебедей. Кира Галкина – одна из четырех.

Зал полон. В амфитеатре Пьер спит в кресле. Он всхрапывает

и просыпается. Соседи недовольно косятся на него. С неприступным видом он оглядывается по сторонам, делая вид, что храпел кто-то другой. Маленькие лебеди скрываются в кулисе под овацию.

У служебного входа толпа поклонников встречает балерин. Солистки выходят с охапками цветов в руках. Пьер проталкивается к Кире, бормочет слова восхищения:

– Изумительно!.. Я пытался купить цветы, но оказалось, что в Москве это непросто…

– Извините, я тороплюсь домой…

– Я могу вас проводить?

Кира пожимает плечами:

– Я живу в Сокольниках. Это довольно далеко.

– Тем лучше…

Они подходят к метро “Проспект Маркса”. Пьер оглядывается:

– Может быть, зайдем куда-нибудь поужинать? Или хотя бы выпить по стакану вина…

– Куда? Двенадцатый час, все закрыто… Есть, конечно, ресторан ВТО, театральный… Но мне домой надо.

Они едут в метро. В вагоне пусто – трое парней, усталая женщина со спящим на ее руках ребенком и пара пожилых дачников в лыжных костюмах с кучей корзин и сумкой, из которой торчат саженцы.

Пьер говорит, одушевляясь:

– Бессмертие Мариуса Петипа – в его женских ансамблях, в женском соло. Он прекрасно знал, что с мужчинами у него получается хуже, и не стеснялся просить Иванова поставить мужской танец в его балете…

У Киры глаза закрываются, она слушает со смутной улыбкой на губах.

– Четвертая картина в “Лебедином” – когда двадцать четыре девушки на полу одновременно поднимают руку и встают – это изумительно! Русский кордебалет – это сама женственность. Такого кордебалета нет нигде – ни в Париже, ни в Англии… Вам понравилось в Лондоне?

– Совершенно не понравилось, – говорит Кира, не в силах сдержать зевоту…

Они идут по темной пустынной улице в Сокольниках.

– Вкусно, конечно, офигительно, – вздыхает Кира.

Пьер смеется:

– Во всей Европе хуже англичан едят только голландцы! Я люблю Лондон, но найти там приличный ресторан…

– Ну, не знаю… Фиш энд чипс в любом пабе – такая прелесть! Код – это, кажется, треска? А пюре на сливках… Вот мы и пришли.

Она останавливается у подъезда.

– Так вы в восторге?

Она задумчиво качает головой:

– Я не люблю чувствовать себя бедной родственницей.

– Да ведь вас там на руках носили!

– Все было шикарно – цветы, овации, магазины… Все равно они считают нас какими-то плебеями. Они этого не говорят. Но чувствуют свое превосходство… А в чем? Я не считаю себя хуже. В конце концов, на сцене – я, а они – в зале…

Пьер слушает с изумлением, потом тихо смеется:

– Можно вас поцеловать?

Кира усмехается:

– Вы всегда торопитесь?

И, сделав ручкой, исчезает в подъезде.

На Кузнецком мосту Пьер останавливается и читает надпись на мраморной доске у входа: “Комитет государственной безопасности СССР. Приемная”. Он нажимает на звонок.

В кабинете со светлой казенной мебелью – два стола, стулья, шкаф со справочниками, зеленые казенные занавески – сотрудник в штатском записывает за Пьером.

– …В сорок первом году он был еще жив и сидел в лагере в Дже… Джезкана…

– В Джезказгане? Это Казахстан… Номер лагеря знаете?

– Нет…

– Откуда сведения?

– От… дальних родственников.

– От кого конкретно? Родственники здесь или за границей?

Пьер мнется:

– Я точно не знаю… Мне сказала мама, она очень просила его найти…

– Ну, хорошо, разберемся. – Сотрудник откладывает ручку и внимательно смотрит на Пьера. – Николай Кузьмич Чухновский просил вам помочь… А как вообще ваше настроение?

– Хорошее настроение.

– Как вам живется в Москве? Проблемы есть? Помощь не нужна?

– Все хорошо. Интересно…

– А ваши товарищи? Мы знаем, что вы – коммунист, но у вас там есть стажеры из буржуазной среды. Как они чувствуют себя в СССР?

– Пока что – все замечательно…

Сотрудник усмехается, пишет на бумажке, протягивает Пьеру:

– Вот мой телефон.

– Анатолий Александрович?

– В случае нужды – обращайтесь…

Ранние сумерки в конце октября. Ветер срывает последние листья с голых лип. Кира, Пьер и Успенский идут по переулку. Кира держит под руки обоих кавалеров.

– Сейчас-то полегче, – рассказывает фотограф, – отпустили вожжи после фестиваля. И в райкоме комсомола нашлись чуваки, помешанные на джазе. Надыбали подвал у “Мосэнерго”, пацаны из архитектурного его отмыли, картинки пришлепали. Всё, теперь – джаз-клуб.

– В “Комсомольской правде” было написано, что джаз – это орудие американской пропаганды, – пожимает плечами Пьер. – Я сам читал…

– Как французу объяснить? У нас джаз уже не запрещен, но еще не разрешен.

– Как это понять?

– А никак. Страна Лимония…

Кира и Пьер смеются.

– А что они играют?

– Эти лабают только фирму – бибоп, фанки…

– Это все сейчас в моде в Америке, – замечает Пьер.

– А есть чуваки – и штатникам дадут прикурить. Один Лешка Зубов чего стоит…

– Обожаю Лешку! – мечтательно говорит Кира. – Просто Джерри Маллиган…

Пьер рассказывает:

– Я полгода в баре играл на Монпарнасе. С нами черный парень работал, на контрабасе, классный… Он сейчас в Америке, играет в Бронксе.

– А вы что играли?

– В основном бибоп… скромно. У нас было трио – ударник, контрабас и фортепиано….

– А ты играл на фоно? – интересуется Кира.

– А что? Заметно?

Она смеется.

– Кирка, журнал опять забыла?

– А вот, представь себе, нет! Почему ты так плохо обо мне думаешь?

Она роется в сумке и достает тетрадку машинописных листов, согнутых пополам.

– Ну, клёвая чувиха! Молодец, отдай французу…

– Ахмадулиной чудные стихи…

Пьер берет тетрадку, разглядывает:

– “Грамотей”… Что это?

– Независимый журнал “Грамотей”, номер второй… “Мороз сегодня крепкий! – поёживаясь зябко, один – который в кепке – сказал другому в шапке. А тот в ответ на это: а ты что ж думал, лето?”

Кира смеется:

– Это Сапгир?

– Это Холин, лианозовский. Это из первого номера…

– Что значит – независимый? – спрашивает Пьер.

– То и значит – к государству не имеет отношения, – охотно объясняет Успенский. – Ты погляди, там на последней странице – фамилия издателя и адрес. Это мой кореш Алик, в нашей редакции, в “Московском комсомольце” работает. Собрал стихи по московским поэтам и без всякой цензуры наклепал не то двести, не то триста экземпляров. Народ ловит кайф…

– Я не знал, что у вас это возможно…

– У нас – все возможно!.. Вот мы все помешаны на Штатах. А разве не идиотизм, когда в такой стране президент должен посылать войска, чтобы банду негритят отвести в школу?

– Ты про Литтл-Рок? Не знаю, я в Арканзасе не был…

– Ты был в Америке? – оживился фотограф.

– В пятьдесят втором году. Мама работала в ООН, я к ней ездил.

– Ну и как?

Они сворачивают в большой обшарпанный двор.

– Нью-Йорк – это большой сумасшедший дом. Мне жутко понравилось. Я нашел джаз-клуб “Бёрдланд”, там Чарли Паркер играл…

– Ты слышал Паркера? Живьем? А Армстронга?

– Армстронга не слышал. Армстронг держится особняком. Его обвиняют в том, что он развлекает белых… Вообще эти новые ребята – Теллониус Монк, Хорас Силвер – смотрят на джаз по-другому, не так, как до войны. В клубе табличка *No dance!* – никаких танцев, садись и слушай музыку. Джаз – это культура черных, это их оружие. Естественно, они его используют в борьбе за свои права…

Они спускаются по лестнице, ведущей в подвал. Оттуда доносится джазовая мелодия.

– А как же Маллиган? – размышляет Кира. – Он же вроде белый?..

У входа двое парней с красными повязками на рукаве

здороваются с Успенским. Он знаками показывает – “эти двое со мной” – и ведет Киру и Пьера к свободной скамейке.

В глубине подвала под низким сводчатым потолком виднеется подобие сцены, увешанной бумажными гирляндами. На сцене играет джазовый квинтет, контрабасист ведет сольную импровизацию. Слушатели – молодые, в основном студенты – сидят на деревянных скамьях или валяются на полу, скинув пальто и куртки. По стенам развешаны черно-белые фотографии джазовых музыкантов.

Контрабасист заканчивает импровизацию, слушатели аплодируют. Вступает сакс-баритон. Кира тычет пальцем и шепчет Пьеру:

– Вот он – Лешка Зубов!

Пьер с нарастающим удивлением вслушивается в импровизацию саксофониста. Успенский, скинув куртку, с двумя камерами на шее, подходит к сцене, жестом приветствует музыкантов. Он бродит по залу, сверкает вспышка. Мелодию покрывают аплодисменты. Кира с задорной ухмылкой кивает Пьеру – ну как?

Он шепчет:

– Это *Bernie’s tune,* хит пятьдеся третьего года. Его исполняют лучшие джазмены Штатов…

– И как тебе Лешка?

– Он бы мог спокойно играть в Нью-Йорке… Я только не могу понять – где он так научился?

Номер заканчивается, гремят аплодисменты. Пьер и Кира с энтузиазмом аплодируют. Музыканты на сцене негромко переговариваются. Подходит Успенский, подмигивает Пьеру:

– Ну, ты понял?

– Я понял, что американская пропаганда пустила у вас глубокие корни…

Кира и Успенский смеются.

– Это тебе не Париж…

Он меняет кассету в камере.

– У меня есть две кассеты цветного “Кодака”, могу их тебе подарить, – говорит Пьер. – Кстати, в Париже можно найти очень приличный джаз…

Успенский в восторге:

– В нашем бараке цветной “Кодак” – это все равно что джинсы “Левис” у фарцовщиков или духи французские… С меня бутылка!

Он возвращается к сцене. Музыканты начинают новый номер. Пьер настороженно вслушивается, потом шепчет Кире:

– *Walking shoes* Джерри Маллигана! Откуда они все это знают?

– Радио “Голос Америки”, *Music USA*, Уиллис Коновер…

– А разве не глушат?

– На коротких волнах слышно…

Саксофон и труба ведут тему, саксофон начинает импровизацию. Зал заходится в восторге. Какая-то девушка, поднявшись со скамьи, самозабвенно топчется в танце около сцены.

– У тебя очень красивые руки… – тихо говорит Пьер.

Кира усмехается:

– А остальное?

Он растерялся:

– Ты меня неправильно поняла… Ты вообще красавица!

– А то я засомневалась – вдруг я недостаточно хороша…

– Ты мне очень нравишься!

– Я заметила… – Она показывает на танцующую девушку: – Между прочим, очень пластично двигается…

Пьер выходит из здания университета. Идет снег. Группа девушек ест мороженое и что-то с жаром обсуждает. На скамейке курят студенты. Марсель окликает Пьера и тычет пальцем в газетный листок многотиражки, который читает Луи:

– Пьерро, ты прочел эту прелесть?

– Какую?

Марсель выхватывает газету у Луи:

– Слушай и наслаждайся! “Войдите в комнаты французов, и вы увидите прошлогоднюю пыль на столе и подоконнике, разбросанные на полу бумаги и книги, остатки пищи, грязное белье на постели и даже грязные носки на столе…”

– Что случилось?

– “…Советской молодежи чужды такие замашки. Ей чужды и американские привычки держать ноги на столе. Однако французские студенты позволяют себе это в холле общежития. Нужно было видеть, каково было их возмущение, когда студентки Федорова и Братухина предложили одному из них снять ноги со стола…” Газета “Московский университет”.

Марсель протягивает газету Пьеру. Луи ухмыляется:

– Живем как свиньи…

– Так и написано – “как свиньи”?

– Нет, конечно, нежнее… Все ясно. Это расплата за сломанную подслушку.

– Да ее давно починили…

Марсель кипятится:

– Нам надо что-то предпринять, это нельзя оставлять без ответа…

– Мне нравится заголовок статьи, – меланхолически замечает

Луи. – “Уважаемые гости, давайте не будем!” Красиво…

Пьер поднимает голову от газеты.

– Тут три подписи. Кто такие Иорданская и Федорова, я не знаю, а Криворучко – это мой сосед…

Луи хохочет:

– Чем же ты ему так насолил?..

Вечером в комнате общежития Пьер жует бутерброд с сыром и читает машинописные страницы журнала “Грамотей”. На столе лежит лист университетской многотиражки. Раздается стук в дверь, в комнату заходит Микола с сигаретой.

– Спички есть?

Протянув зажигалку, Пьер продолжает читать. Микола прикуривает и остается стоять у стола.

– Ты считаешь меня свиньей?

Пьер поднимает на него внимательный взгляд, пожимает плечами. Микола указывает на динамик на стене и машет рукой, зовет Пьера в коридор. Он пускает воду в раковине, откручивает кран душа до предела. Под шум воды он шепчет:

– Я тут ни при чем. Меня вызвали в комитет комсомола и велели подписать…

– Зачем?

– А я почем знаю! У них спроси… Не бери в голову. Пойдем лучше выпьем, у меня маленькая есть…

Пьер качает головой.

– Это ты зря…

Дверь закрылась за Миколой. Пьер стоит у окна, глядя в темноту. Он проводит пальцем по подоконнику. Берет с батареи тряпку, вытирает пыль.

На Чистых прудах Успенский с Пьером вылезают из переполненного трамвая и идут по бульвару к Харитоньевскому переулку.

– …В ней какая-то гордость непонятная, – говорит Пьер. – Но обаятельная. Она из какой-то известной семьи?

Успенский смеется:

– Кирка? Ага, герцогиня! Мать в детском саду корячилась, музработник, за воробьиную зарплату. Отец на фронте сгинул…

– Она так уверенно держится…

– Мы тут все – большие аристократы. Голода такого нет, как в войну, вот мы и обнаглели… Я, к примеру, дворовая шпана. А все-таки приняли во ВГИК, кончил операторский. Еще и стипендию платили… У вас же это невозможно.

– Почему? – удивляется Пьер.

Они сворачивают в Харитоньевский.

– …Мама заработала денег в Америке, – рассказывает Пьер. – Я почти год готовился, прошел конкурс и поступил в Эколь Нормаль. У нас это очень важный университет…

– Бесплатно?

– Конечно. С очень приличной зарплатой…

Они заходят в подъезд, поднимаются по лестнице.

– С зарплатой? – в свою очередь удивляется Успенский.

– Мы подписывали обязательство после окончания работать на государственной службе. Поэтому – зарплата, а не стипендия…

На площадке Валера ключом отпирает дверь и пропускает Пьера в квартиру. Они идут мимо кухни. Женщина стирает белье в корыте, девочка, сидя на полу, играет с тряпочками, старик в тельняшке хлопочет у плиты.

В комнате отец Успенского, пожилой обрюзгший мужчина, сидит у подоконника, прижимаясь ухом к приемнику. Он оборачивается и, увидев незнакомого человека, мгновенно выключает радио.

– Все свои, это Петя, мой приятель, – говорит фотограф. – Мы на минуту…

Поколебавшись, отец хмуро кивает Пьеру и включает приемник. Сквозь рокот и треск глушилок доносится бархатный голос, говорящий по-русски.

Шторы задернуты, в комнате полумрак. Пьер оглядывает холостяцкий беспорядок – незастеленную постель, матрац на полу, книги на столе и подоконнике. На буфете стоит пишущая машинка “Эрика” с вправленным в нее листом. Валера выковыривает из кипы бумаг тетрадку машинописных листов, согнутых пополам, и молча протягивает Пьеру – “Грамотей”, номер первый.

Успенский ныряет в закуток, отгороженный досками и занавеской, там стоит фотоувеличитель, на веревке сохнут снимки. Он вытаскивает сумку и аппараты, заряжает кассету. Отец выключает радио и встает:

– Ты будешь свет в уборной гасить? Они меня чуть не убили! Панька орала, что в следующий раз милицию вызовет…

Успенский, сидя на полу, укладывает объективы. Он поднимает голову и внимательно смотрит на отца:

– Ты пенсию получил?

Тот безнадежно машет рукой:

– Ладно… У меня щи. Могу и вас накормить…

– Не, у нас цейтнот, мы опаздываем… Знакомься – Пьер Дюран, наш французский друг.

Отец бросает растерянный взгляд на Пьера, протягивает ему

руку:

– Владимир Евтихианович… Валерка, ты в своем уме? Иностранцев водить в наш зверинец…

– А чо? Широкие массы империалистов знакомятся с трудовыми буднями советского народа…

Отец и Пьер смеются.

– Не хотите щей? Ну, хоть посидите со мной, парни, чего ж я все один как сыч…

Он выходит в коридор. Валера застегивает сумку, отодвигает стул, садится.

– Он чего-то не в форме. Извини, придется посидеть…

Пьер в изумлении разглядывает фотографию на стене – сияющий Уинстон Черчилль в смокинге и бабочке, с сигарой во рту, протягивает к публике растопыренные пальцы в знак победы.

– Вот кого не ожидал тут встретить…

– Ты что? Старик на Черчилле помешан. У него два авторитета – сэр Уинстон и Анатолий Максимович Гольдберг.

– Кто это?

– Обозреватель Би-би-си… Батя, конечно, со странностями, но он и хлебнул прилично… Под Сталинградом тяжелое ранение и контузия. На этом его война кончилась. А в сорок шестом загремел на десять лет, восемь отсидел…

– За что?

– “За то, что вы живете на земле…” Это вопрос риторический. Мать не дождалась, умерла от рака.

Они помолчали.

– А кто он по профессии, твой папа?

– Преподаватель марксизма. Сейчас-то на пенсии…

– Как его отчество? Евтихан…

– Евтихианович… Мы вообще-то – поповского роду. И дед, и прадед были священники в Воронежской губернии.

– Сын попа преподает марксизм?! – поразился Пьер.

– Так оно примерно одно и то же… Пастыри, едрена вошь! Только у деда приход был в селе Малая Верейка, а у бати – Плехановский институт…

Книги со стола сдвинуты, отец Успенского ест щи. Перед ним кастрюля, чекушка водки и рюмка, кильки в консервной банке, нарезанный черный хлеб.

Пьер, сидя за столом, рассказывает:

– В сорок седьмом году у нас коммунисты получили на выборах двадцать восемь процентов. Потом, конечно, стало поменьше, но все равно после войны партия была на подъеме… Первый удар был доклад Хрущева Двадцатому съезду. Потом –

Венгрия. Расправа с венгерской революцией вызвала массовый выход из партии. А теперь еще – война в Алжире…

– К сожалению, кризис марксизма сегодня – общемировой… – Отец Успенского выпивает рюмку, с аппетитом закусывает килькой. – Не могло пройти даром, что Сталин хозяйничал в лавке столько лет. На самом деле он никогда не был марксистом, марксистская диалектика ему никак не давалась. Это же не банк в Тифлисе грабить. “Вопросы ленинизма” – набор банальностей. А “Экономические проблемы социализма” к реальности имеют такое же отношение, как оперетта… Бухарин позволял себе шуточки по поводу марксизма Кобы, вот за это и поплатился…

Пьер листает раскрытую на столе английскую книгу – Уинстон Черчилль, том четвертый, *The Hinge of Fate*[4].

– Вы Черчилля читаете? Вам нравится, как он пишет?

– Головастый дяденька. Лауреат Нобелевской премии по литературе, между прочим…

– Эти козлы предпочли его Хемингуэю…

– Твой Хемингуэй получил Нобелевскую через год, в пятьдесят четвертом…

– Можно вас спросить, Владимир Евтихианович… – мнется Пьер. – Вам, случайно, не встречался в лагерях Татищев Алексей Аполлонович? Это мой родственник…

– Где он сидел?

– Кажется, в начале войны он был в Джезказгане…

– Я в Казахстане не был. Меня больше по Северу мотало – Котлас, Инта… В Джезказгане Ванька Утюг сидел, ты его знаешь… – Он кивает Валере.

– Так позвони Утюгу.

– Не буду я этому хаму звонить…

– Как бы мне его найти… – говорит Пьер.

Отец встает, собирает посуду и вдруг оборачивается к Валере:

– Представляешь, я на почте с Давлетшиным столкнулся… Когда я был на фронте, он сидел по пятьдесят восьмой как отъявленный троцкист. А пенсия у нас теперь одинаковая! Как тебе это нравится?..

За окном мчащейся электрички мелькают заснеженные московские пригороды. В тамбуре полно курящего народу. В толпе Успенский рассказывает Кире и Пьеру:

– Их тут целая шарага, левых чайников. У Оскара взяли картинку на фестиваль, ему даже какой-то диплом достался. А теперь он так осмелел, у него каждое воскресенье толчется народ, смотрит живопись и даже покупает.

– Почему они левые? – спрашивает Пьер. – Это какое-то

политическое движение?

Успенский и Кира смеются:

– Было бы политическое – давно б сидели за решеткой! Слыхал про социалистический реализм?

– Видел в Третьяковской галерее. По-моему, тоска ужасная. Как будто не было ни импрессионистов, ни Пикассо…

– Да вам, гагарам, недоступно… А все те хулиганы и стиляги, которые не желают рисовать, как положено, у нас называются “левые” – кубисты, абстракционисты…

– Какие есть потрясающие ребята! – говорит Кира печально. – Володя Вейсберг, Краснопевцев… Не эта их надутая фигня, а чудесная живопись.

– А Толя Зверев, а Целков? На выставки их не берут, в Союз художников не принимают, а советский человек должен быть куда-то приписан. Если у тебя нет справки с места работы, ты – тунеядец, любой мент может взять тебя за жопу. Поэтому Оскар работает десятником на железной дороге и живет с женой и детьми в бараке…

– Оскар – это прелесть, ты увидишь… Валерка, дай сигарету.

Успенский протягивает ей пачку, подносит зажигалку.

– А балерины курят? – интересуется Пьер.

Кира с наслаждением выпускает струю дыма:

– Никогда!..

Пьер смеется.

– Ты чего с французом кокетничаешь?

– Тебя не спросили…

Успенский напевает:

О Сан-Луи! Город стильных дам,
Кому хочу, тому и дам…

Кира вдруг взбесилась:

– Ты что себе позволяешь? Ты мне кто? Никто! Воспитатель нашелся, дурак…

И швырнула сигарету.

Успенский растерялся. Растерялся и Пьер.

– Чего ты? Ну, не злись… Я же так, шутя. Извини…

Поезд останавливается, двери разъезжаются. Люди выходят. Успенский широким жестом указывает на надпись на платформе:

– Добро пожаловать в Лианозово – наш советский Барбизон!

На холсте изображена селедка, лежащая на газете. Успенский, Кира, Пьер и еще двое, мужчина и женщина, рассматривают картину.

В тесном бараке многолюдно и шумно. На кухне гости толпятся вокруг стола, слышен смех и звон стаканов. Один из гостей подкладывает поленья в печку. Хозяйка, сидя на корточках, снаряжает мальчика на улицу, застегивает пальтишко.

В комнате мольберт поставлен напротив окна в узком пространстве между железной кроватью, раскладушкой и детской кроваткой, зрителям приходится топтаться на пятачке, заглядывая через плечо соседа.

– Мрачновато, Оскар. – Женщина качает головой.

Кира улыбается:

– А по-моему, прелесть…

Оскар, длинный худой парень в очках, снимает картину с мольберта и ставит другую – натюрморт с букетом полевых цветов. Холсты, один за другим, стоят на полу, отвернутые к стене. В углу девочка лет десяти, примостившись на полу у табуретки, рисует цветными карандашами.

Картины на мольберте меняются – барак, освещенный солнцем, натюрморт с чашкой и свечой, бутылка водки и разрезанная селедка. Успенский смеется:

– Ну, ты верен себе…

Оскар пожимает плечами.

– Можно еще раз вот тот, где свечка и чашка? – просит Кира.

– А по какому поводу праздник?

Оскар перебирает холсты и стеснительно улыбается:

– Меня взяли в штат на комбинат…

– Как? Расстаться с железной дорогой?

Смеясь, Оскар ставит на мольберт натюрморт со свечкой.

– Это же настоящая живопись, – нервно говорит Пьер. – Напоминает немецких экспрессионистов…

– Кого?

– Ну, Шмит-Ротлуф, Кирхнер… Знаете?

– Я их никогда не видел. Знаю только Шиле, у Володи есть альбом его репродукций…

– У вас и колорит близкий к экспрессионистам.

– Я пишу ту жизнь, которой мы живем. Я могу писать только то, что вижу вокруг…

На кухне, теснясь вокруг стола и перебивая друг друга,

разливают водку и расхватывают закуску – селедку, картошку и черный хлеб. Оскар с блуждающей счастливой улыбкой обнимает за плечи жену. Успенский протягивает налитый стакан Кире, потом Пьеру.

– Где же тост, Володька? – кричит Лида.

– Да вы же не даете сказать!

– Тихо, граждане! Володя говорит тост!

– Ребята, я хочу выпить за удачу. За удачу комбината декоративно-оформительского искусства, который по своей серости даже не подозревает, какое крупное дарование он приобрел в лице нашего друга Оскара!.. Ты уже получил первый заказ?

– Два! Плакаты для ВСХВ: “Советская молодежь шагает в светлое будущее” и “Колхозное птицеводство – на промышленную основу!”

Взрыв смеха встречает его слова.

– Как справедливо заметил незабвенный Сергей Васильич Герасимов, принимая Оскара в Суриковское, рисунку можно научиться, живописи – никогда… Страшно подумать, что это будут за сногсшибательные плакаты, когда Оскар вложит в них свой убойный живописный дар!

Ему отвечает гогот и улюлюканье.

– Особенно птицеводство!

– За удачу Оскара! Ему больше не нужно искать работу. Ни десятником, ни дворником, ни сторожем. У него теперь есть законное место под солнцем. Он – штатный работник комбината. Он – художник! И никакая милиция ему не страшна! Гип-гип-ура!

Все кричат “ура” и чокаются.

– В первый раз в жизни я зарабатываю на хлеб карандашом и кистью… – с растерянной улыбкой говорит Оскар.

Входная дверь хлопает, на пороге кухни возникают двое милиционеров.

– Граждане, прошу предъявить документы…

В ГУМе Пьер стоит в очереди за ушанками. Наконец он оказывается у прилавка. Толстая продавщица громко спрашивает:

– Размер?

– Я не знаю…

– Что за народ, своего размера не знает…

На шее у нее болтается сантиметр. Она измеряет голову Пьеру:

– Пятьдесят восемь!.. Пятьдесят восьмого нету, есть шестидесятый…

Она протягивает ему серую суконную шапку с темным

коричневым мехом, поворачивает к нему зеркало на прилавке. Пьер надевает шапку, она съезжает ему на глаза. Из очереди дают советы.

– Дак она сядет, под снег, под дождь попал – и все, она села…

– Велика… – бормочет Пьер.

– Нету меньше, говорю же! Пятьдесят седьмого четыре штуки осталось…

– Давайте…

Она забирает шапку и достает с полки другую. Пьер меряет, ушанка с трудом налезает на голову.

– Давай скорей! – кричат из очереди. – Мужик, ты чо, заснул?

– Бери, чего дают, – сварливо советует продавщица. – И этой не будет…

Взгляд его в зеркале полон отчаяния.

– Давайте большую…

Пьер выходит из ГУМА на улицу 25 Октября. Большая серая шапка с поднятыми ушами съезжает ему на брови. Он поправляет ее и настороженно оглядывается по сторонам. Метет снег. Вокруг течет озабоченная толпа. Никто не обращает на него внимания. Он вздыхает и направляется к метро.

В общежитии в прихожей Пьер придирчиво разглядывает себя в новой шапке в зеркале над умывальником – то поднимет уши, то опустит. Дверь из коридора распахивается, появляется Микола, весь в снегу.

– Здорово… С обновой?

Он отпирает свою комнату, косясь на Пьера. Тот, застеснявшись, снимает ушанку.

– Так она тебе маленько велика… Дай напялить!

Он стаскивает свою, надевает шапку Пьера и становится к зеркалу. Новая шапка отлично сидит на его большой голове.

– А ну, пытай мою! Кожаная…

Потная ушанка Миколы потерта, но пошита из кожи и крыта темной овчиной. Преодолевая брезгливость, Пьер натягивает ее, она ему приходится как раз.

– Шик! Махнем не глядя?!

– Не понимаю…

– Поменялись? Моя тебе идет потрясно! Давай пять…

Они обмениваются рукопожатием.

– Будь другом, займи двадцатку до стипендии…

Успенский и Пьер заходят на двор автобазы. МАЗ с прицепом въезжает в ворота. Здесь и там стоят грузовики.

– Он мужик злой, учти, – рассказывает фотограф. –

Ненавидит весь мир. Отец его терпеть не может… Устюгова где искать?

Чумазый слесарь, которого он остановил, машет рукой в глубину двора:

– На яме вроде был…

Успенский заглядывает под полуторку, стоящую на яме:

– Дядь Вань, здрасте, это мы…

Из-под грузовика показывается мужик с разводным ключом, окидывает их недоверчивым взглядом:

– Не выходит…

– Вы сказали – в час. У вас обед будет?

– Мало чо сказал. Вон энту сунули…

– Да ладно, мы подождем…

Они курят возле диспетчерской.

– У него вся семья погибла в ссылке – дети, старики. Их раскулачили и сослали куда-то на Енисей. Он один выжил. Его посадили. Из лагеря – на фронт, в штрафную роту. Попал в плен, вернулся. И опять в лагерь…

– За что? – спрашивает Пьер.

– Сказал же, вопрос риторический… Из тех, кто прошел плен, много народу получали десятку за измену родине…

– Ты говоришь, он злой?

– Алик, кореш мой, тот самый, что издает “Грамотей”, хотел сделать интервью для нашей газеты. На втором вопросе Утюг его обматерил и пытался дать в морду. Так что – будь осторожен…

В уголке диспетчерской у окна пристроились на скамейке Успенский, Пьер и Устюгов – широкоплечий мужик с редкими стальными зубами, с большими руками и черными плоскими ногтями. Перед ним на белой тряпице черный хлеб, вареная картошка, крутое яйцо, нарезанная луковица. Он неторопливо, с усилием жует, запивая обед бутылкой “Жигулевского”.

– …Аполоныч?

– Алексей Аполлонович Татищев, бывший офицер.

– Граф, что ли?

– Он вообще-то из дворян, но никакой не граф.

– Энто кликуха лагерная… Какой из себе-то?

Пьер лезет за бумажником, достает пожелтевшую черно-белую фотографию. На ялтинском пляже мужчина в длинных плавках держит на руках девушку в полосатом купальнике.

– Это тридцать первый год, он тут еще молодой…

Устюгов, едва глянув на фото, отворачивается и молча жует. Наконец роняет:

– Он и есть, гад… Самый граф.

Пьер растерянно смотрит на Успенского. Тот, помедлив,

осторожно спрашивает:

– Почему “гад”?

– Они в побег ушли.

Его крестьянская физиономия с рязанским курносым носом и оттопыренными ушами не выражает ничего, кроме крайней усталости и равнодушия, кажется, он сейчас заснет.

– Они ушли, а мы-то остались. Хлебать по полной… Псарня озверела…

– Псарня?

– Конвой… Только пайку прибавили. Сорок второй год, война кругом, мы теперя не враги, а надёжа родины. А тута серпом – тринадцать зэков к зеленому прокурору ушли…

Он замолкает, жует, уставясь в пол. Успенский не выдерживает:

– И чего?

Устюгов поднимает колючий ненавидящий взгляд:

– Режимом душить стали, падлы… Три дня не кормили, а после пайку еще убавили – трехсотка, совсем сосаловка…

– И Татищев участвовал в побеге? – спрашивает Пьер.

– Дак он у их был главный считала, Граф… Этот твой насчет математики как?

– У него военное образование, артиллерийское. Конечно, с математикой.

– Они подкоп копали с седьмого барака. Долго копали, месяц, полтора. Вроде Граф им все обсчитал – куды копать и сколько. И все точно – они за зону вышли, студебекер с поселка угнали и – привет куму…

Доев свой обед, Устюгов стряхнул крошки, сложил тряпочку и сунул в карман, пустую бутылку – в другой. И с наслаждением закурил папиросу “Прибой”.

– И их не поймали?

– Да тама степь, пустыня, речки сухие, воды хрен найдешь. У казахов не спрячешься, им за беглых премию давали – чаю, селедок… Троих застрелили, этих пиздили по-страшному, привезут и возле вахты бросют в кровищи, штоб мы, значит, любовалися… А двое ушли с концами – татарин Тургай и Граф. Не достали… Он тебе кто?

– Брат мамы.

– Дядька, выходит… Он с Тамбова?

– Семья из Твери.

– Должно, не тот. Тот вроде тамбовский…

Успенский с усмешкой спрашивает:

– Почему же “гад”?

– Я ж к ему подкатился, как к человеку, так, мол, и так, хочу с

вами. За проволоку. Возьмите, пригожуся… Слушок-то был, что копают. А он меня послал. “Брехня энто все, ты больше стукачей слушай…” Гад и есть…

– Выходит, он вам жизнь спас… – задумчиво говорит Пьер.

Устюгов смерил его взглядом, встал и пошел к двери. На пороге обернулся:

– Сопляк! Пошел ты, знаешь куда…

В темноте “москвич” с зажженными фарами сигналит перед воротами дачи. Жора, крепкий угрюмый парень, открывает створки. Машина въезжает на участок. Из “москвича” вылезает доктор Додик и с ним двое французов – Пьер и Луи.

– Где спирт? – интересуется Жора. – Срываешь мероприятие, одиннадцатый час уже…

– Во-первых, без паники, все учтено могучим ураганом. И кроме того, с наступающим… – Додик достает из багажника объемистую медицинскую бутыль.

Горит костер, светятся окна веранды обшарпанной деревянной дачи. У крыльца к наряженной елке приставлена стремянка, на верхушке кто-то возится с проводами. Додик оглядывает торчащие в снегу бутылки шампанского:

– Витька, ты когда-нибудь пробовал “Вдову Клико”?

Стоящий на стремянке Витя в телогрейке мычит в ответ, потом вытаскивает изо рта провод.

– Здорово… А чего это?

– Классическая марка французского шампанского…

– Тройной одеколон на картошке пробовал, а “Вдову” не случалось…

– Это наш хозяин Виктор, в будущем – всемирно знаменитый кинорежиссер, в настоящее время безработный… Валерка просил, чтоб я привез французов, вот они, невредимые, – Пьер, Луи и бутылка “Клико”.

Луи достает из пакета бутылку шампанского и сует в снег.

– Шикарно… А Валерку где носит?

– Он балетных забирает, Кирку со Светкой. А у них “Щелкунчик”, опоздают, как всегда…

Французы и Додик скидывают пальто в передней, топают ногами, стряхивая снег. На просторной веранде раздвинут стол, почти накрытый.

– Как я понимаю, торжество будет происходить именно здесь…

Впархивает блондинка с распущенными волосами, с блюдом селедки в руках.

– Здрасте, мальчики… – Поставив блюдо, она спешит на

кухню.

У Луи загораются глаза.

– Хорошенькая!

– Это Козлик, известная московская красавица, жена композитора Самошкина, вот не скажу точно – четвертая или пятая… Он знаменит не только музыкой к кинофильмам, но и тем, что в среднем раз в три года женится на хорошеньких блондинках, похожих одна на другую, как однояйцевые близнецы…

На кухне кипит работа. Композитор Самошкин, в рубахе с засученными рукавами, весь в поту, режет баранину и насаживает куски на шампур. Жора, отмерив мензуркой стакан спирта, наливает его в графин с водой. Маруся заправляет салат “оливье”, Жанна раскладывает семгу на блюде. Из огромной кастрюли с картошкой валит пар. Алина высыпает в нее мелко нарубленный укроп с чесноком и, накрыв крышкой, крутит в руках:

– Картошка практически готова…

На пороге появляется Додик с французами.

– С наступающим, любезные барышни! А вот я вам привел двух французов на растерзание… Прошу любить и жаловать – это Луи, а это Пьер.

Французы здороваются.

– Живые французы? – оживляется Козлик.

– Натуральные. “В своих штанах и башмаках”…

– Заболоцкий! – Самошкин смеется. – До чего же ты, Дод, культурный…

– Этот человек, плотоядно терзающий мясо и пытающийся меня унизить, и есть пресловутый композитор. Вообще здесь преобладает консерватория – Жанна у нас играет на альте, а Жорж, работающий со спиртом, на самом деле не химик и не самогонщик, а скрипач. А вот зачем лимон, я не понимаю…

Жора выжимает сок лимона в графин со смесью.

– Два лимона на литр смеси практически убирают сивушные масла…

Додик целуется с Алиной.

– И только Алинка у нас человек нешуточный, государственный, она экономист, из тех, на ком стоит держава…

– Будет трепаться…

– Я понесла “оливье”, – объявляет Маруся.

– А этого кадра я вижу впервые. Давид, в просторечии Додик…

Он протягивает руку Марусе, у нее руки заняты миской с салатом. Она стеснительно улыбается.

– Меня зовут Маруся… – И выходит.

– Откуда человек? Почему не знаю?

– Ты отстал от жизни. Это новая Витькина пассия, артистка из Щуки…

На кухню влетает взмыленный Витя в костюме и криво повязанном галстуке.

– Вы хоть иногда на часы смотрите, пидарасы? Без двадцати! Все на двор! Надо же старый год проводить!..

У крыльца гомон и суета вокруг елки, девушки в шубках, парни в пальто. Хлопают пробки, разливают шампанское. Алина ставит на стул поднос с солеными огурцами, хлебом и салом. Из открытого окна веранды орет приемник, около которого хлопочет Витя. Пьер протягивает бокал к бутылке шампанского, его останавливает Жора с графином в руках:

– Шампанское – исключительно дамам. Мужики пьют спирт… – и наливает ему мутной смеси.

– Витька, сделай тише! – кричит Жанна. – Невозможно разговаривать!

Витя приглушает приемник и слетает с крыльца. Он в костюме.

– Накинь что-нибудь, простудишься!

– Спокойно! В огне не тонем, в воде не горим… Наливай!

Он протягивает стакан Жоре.

– А почему не горит елочка? – спрашивает Козлик.

– Елочку надо попросить. Ну-ка, хором – “Елочка, зажгись!”. Три-четыре!

Девушки кричат хором:

– Е-лоч-ка, за-жгись!

Витя втыкает вилку в удлинитель, и елка вспыхивает разноцветными огоньками. Девушки разражаются радостным воплем.

– Все, тихо! Доктор, тост!

Голоса стихают, Додик поднимает стакан со спиртом.

– Ну, что, друзья мои… Год был как год, не хуже других, а может, и получше. Провели прекрасный фестиваль молодежи, запустили первый в мире спутник. В Африке вновь открылся Суэцкий канал, а британский Золотой Берег стал независимой республикой Гана… Между прочим, по поводу открытия Суэцкого канала мой сосед дядь Миша, сантехник мирового класса, так напился, что мы его с трудом вернули с того света. Казалось бы, что ему Гекуба? Вот она, всемирная отзывчивость русского человека, о которой говорил Достоевский в пушкинской речи! Так выпьем за минувший год, за то, что мы все живы, за то, что Пизанская падающая башня в этом году так и не упала! Ура!

Все кричат “ура” и чокаются. Луи, глотнув из стакана, отдувается:

– Слишком крепко…

– Нормально, – покровительственно замечает Жора. – Шестьдесят градусов примерно. Зато чистый продукт!

Из приемника доносятся куранты, отбивающие четверти. Жора и Самошкин торопятся наполнить стаканы. Стукает калитка, из машины выскакивают и с визгом бегут к елке Кира и ее подруга Света, за ними несется Успенский, подняв руку с растопыренными пальцами.

– Йес! Успели!

Бьют куранты, опоздавшим суют бокалы, все кричат “С Новым годом!”, пары целуются.

– “Если бы знать, если бы знать…” – меланхолически декламирует Витя.

– Алинка, слышишь? Витька, как Ольга в “Трех сестрах”, хочет знать, что год грядущий нам готовит…

– Вас всех перепишут и наконец приструнят…

– В Красную книгу?

– Нас – это парней, что ли?

Алина деловито сообщает:

– Перепись грядет в нынешнем году или в следующем. Я была на всесоюзном совещании статистиков. У нас переписи не было с тридцать девятого года…

– А нам-то что?

– Вот сразу видно, что ты – легкомысленный лабух и понятия не имеешь, в какой стране живешь. Могу сообщить, что, по предварительным данным, у нас женщин больше миллионов на пятнадцать. Урон войны не восполнен…

– Пятнадцать миллионов баб! – мечтательно говорит Самошкин. – А где они – эти бабы? Я лично их не вижу…

– Больше баб – шире выбор, – замечает Витя.

Жанна возмущена:

– А бабам каково?

– Мужик на вес золота? Пьяница, подонок, тупица – все равно, лишь бы мой, а не соседки…

Додик пожимает плечами:

– Значит, долг каждого настоящего патриота – обслужить хотя бы трех девушек…

– Дождешься… – Алина бьет его локтем в бок.

Все смеются. Самошкин вздыхает:

– Тут с одной бы управиться…

Кира спрашивает Пьера:

– Ты ездил в Ленинград?

– Нашел могилу Петипа в Александро-Невской лавре! Попал в Мариинку на “Дон Кихота”, был в Вагановском училище…

Он протягивает Кире сверток:

– С Новым годом!

– Спасибо… – Она снимает обертку и расплывается в счастливой улыбке: – “Мадам Роша”! Французские духи! Какая прелесть! А у меня новость, Петя… В июне мы едем на гастроли в Париж!

– Хватит трепаться! – кричит Витя. – Пошли за стол! Я замерз…

– Стой! Быстро, еще по одной… Чуть не забыл!

Успенский мельком косится на Киру, достает из сумки и раздает тетрадки машинописных листов.

– Третий номер журнала “Грамотей” со стихами ленинградцев! Прямо с машинки! Держите… Там есть шикарные вещи. “Пилигримы” Бродского… Алик говорит, что пацан абсолютно гениальный… Вот! Послушайте…

Он читает:

О, голоса моих знакомых!
Спасибо вам, спасибо вам
За то, что вы бывали дома
По непробудным вечерам.
За то, что в трудном переплете
Любви и горя своего
Вы забывали, как живете,
Вы говорили: ничего.
И за обычными словами
Была такая доброта,
Как будто Бог стоял за вами
И вам подсказывал тогда…

– Ну?!

– Чудесно… – улыбается Маруся.

Алина серьезна.

– Трогательно… А кто это?

– Какой-то Кушнер… Обмыть немедленно!

– За что пьем? – спрашивает Витя и оглядывается на Додика. – За голоса знакомых?

Додик, как всегда, готов.

– Как говорит Николай Семеныч Лесков, “все хорошее на свете вообще редко встречается, зато и никогда не переводится вовсе”… Вот за это и выпьем!

Все кричат и чокаются.

– У Алика четвертый номер практически готов, – рассказывает фотограф, – а там не только стихи, философская проза, статьи…

Захмелевший Пьер воркует с Кирой:

– …Каштаны уже отцветут, но июнь в Париже все равно прекрасный. Погуляем в Булонском лесу, съездим в Мальмезон, в Версаль…

– А где взять время? – смеется Кира. – Репетиция, спектакль… Мы же будем как загнанные лошади!

– Я люблю тебя…

Успенский бьет его в челюсть, Пьер летит в снег, сшибая Витю. Девушки поднимают крик.

– Мудак! – вспыхивает Кира. – Совсем рехнулся? Ненавижу!

Пьер вскакивает и бросается на Успенского, их разнимают. Алина пытается их унять:

– Ребята, вы чего, офонарели?

– Мне кажется, самое время немного закусить, – хладнокровно замечает Додик.

Гости, понемногу утихомириваясь, идут к крыльцу. Витя, встав из сугроба, задумчиво разглядывает этикетку пустой бутылки:

– Так и не попробовал это самое “Клико”. Придется обойтись спиртом…

В приемной КГБ сотрудник в штатском разговаривает с Пьером.

– Какие-то проблемы наверняка возникают, обращайтесь, зря стесняетесь. Мы всегда можем помочь…

– Не было повода.

– Нет проблем?

– Нет. Все неплохо…

Сотрудник усмехается:

– Говорят, вы не посещаете занятия…

– Кто это говорит? – насупился Пьер.

– Есть такое мнение в учебной части.

– Это неправда. Я хожу к профессору Дувакину на семинар по Маяковскому и на пушкинский семинар к профессору Бонди. Я занимаюсь тем, что мне интересно.

– А ваши товарищи? Нам известно, что кое-кто из французских стажеров занимает вполне антисоветскую позицию.

– Не знаю, я ничего подобного не слышал… В нашей группе люди разные, но все заняты делом.

– А статья в университетской газете? Как ее восприняли?

– Как чью-то глупость. Посольство встревожилось, нас

вызвали к послу. Но господин Мартен поговорил с ректором университета, и ректор сказал, что он нами доволен…

– Словом, все хорошо?

– Да, все отлично.

Сотрудник хмурится, открывает папку, лежащую перед ним, листает и сухо говорит:

– Вы с нами неискренни, господин Дюран. Напрасно… Мы выполнили вашу просьбу. Ваш родственник Татищев Алексей Аполлонович был освобожден из Омсукчанского исправительно-трудового лагеря в декабре тысяча девятьсот пятьдесят пятого года…

Пьер замирает:

– Он жив?!!

– По имеющимся сведениям, он проживает в городе Переславле-Залесском Ярославской области и работает на втором хлебозаводе. Запрета на посещение этого района иностранными гражданами нет, вы можете туда съездить. Это недалеко, километров сто пятьдесят от Москвы, туда ходит автобус…

Пьер растерянно благодарит:

– Спасибо, Анатолий Александрович! Я просто не знаю, как вас благодарить…

– Лучшая благодарность – это откровенная и достоверная информация о том, что происходит у вас в группе.

– Уверяю вас, ничего особенного не происходит…

Сотрудник внимательно смотрит на Пьера:

– Ну, как хотите…

Одинокий фонарь горит перед автовокзалом. Два стареньких автобуса замерли на стоянке. Поземка метет по площади.

Вдалеке мелькают огоньки, слышится рокот мотора. К автовокзалу подъезжает рейсовый автобус, толпа сонных пассажиров с мешками, ящиками и разнообразной кладью выползает из дверей и безмолвно расходится по сторонам. Автобус встает на стоянку. Пьер с сумкой на плече в одиночестве стоит посереди площади.

Он идет по пустынной улице мимо дощатых заборов и бревенчатых изб. Занимается хмурый рассвет, с неба сыплется мелкий снежок.

У крыльца стоит с папиросой мужик в майке. Пьер обращается к нему с вопросом. Мужик поворачивается к нему и неожиданно падает в сугроб. Перепуганный Пьер бросается его поднимать.

Он идет дальше. Перед двухэтажным административным зданием две бабы разгребают снег. Пьер спрашивает у них дорогу.

Бабы охотно объясняют ему, как пройти.

В утренних сумерках Пьер стоит у ворот хлебозавода. За оградой старик в потертом ватнике и треухе скребет лопатой, чистит снег.

Баба в белом халате бежит через двор. С улицы к воротам сворачивает фургон. Старик в ватнике открывает ворота, машина уезжает вглубь двора. Пьер ныряет в ворота, старик преграждает ему путь:

– Куда? Через проходную…

– Завод сейчас работает? – спрашивает Пьер.

– Через проходную.

Старик закрывает ворота и берется за лопату.

В проходной пожилой охранник лениво объясняет Пьеру:

– Без пропуска кто ж тебя пустит? Тута режим, понимать надо…Тебе в кадры? Туда и звони. Только кадры, они в восемь приходют, а щас шесть. Это мы по ночам ишачим, а они себе дрыхнут…

– По какому номеру звонить?

– Вон на стенке, ищи отдел кадров…

Пьер идет по улице. Город ожил, идут прохожие, едут машины. На двухэтажном каменном доме вывеска “Гостиница “Переславль”. Пьер заходит в вестибюль.

Уборщица со шваброй моет полы, в кресле дремлет мужик с чемоданчиком. За стойкой регистрации девушка перебирает лежащие перед ней документы и поднимает на Пьера потерянный взгляд.

– Это вид на жительство, вот справка из деканата, вот разрешение иностранного отдела… – объясняет Пьер. – Что вас смущает?

Девушка косится на Пьера и говорит упавшим голосом:

– Паспорт…

Он лезет в карман, достает паспорт.

– Вообще-то вид на жительство и есть документ, заменяющий мне паспорт в СССР… Вот мой французский паспорт, вот советская виза…

При виде паспорта девушка вскакивает и исчезает за дверью. Мужик в кресле спит и посапывает. Девушка возвращается с теткой в очках, в кудрях шестимесячной завивки. Она бросает строгий взгляд на Пьера, на справки, берет в руки паспорт.

– Иностранец? – И, махнув девушке рукой, уходит.

Девушка бежит за ней. Пьер говорит им вслед:

– У меня стажировка в Московском университете…

Уборщица, подхватив ведро, переходит в коридор, оттуда выходят трое молчаливых постояльцев с портфелями.

Тетка с девушкой приводят с собой плотного мужчину в гимнастерке без погон. Он проглядывает справки, листает паспорт:

– Какая цель вашего приезда в Переславль?..

Пьер идет по коридору. У номера 11 останавливается, нажимает на ручку двери. Дверь не заперта. Он заходит в комнату.

Это большой номер на восемь коек. За столом у стены двое мужиков завтракают.

– Добрый день…

На одной из коек лежит парень в строительном комбинезоне, курит и смотрит в потолок. На другой кто-то спит, накрывшись с головой одеялом. Мужик за столом бурчит:

– Стучать надо…

– Извините. Мне сказали в номер одиннадцать…

Мужики чокаются, пьют и едят. На газете банка рыбных консервов, крутые яйца, черный хлеб, бутылка. Пьер мнется на пороге.

– Вон тама свободно, у окошка… – говорит мужик и тычет пальцем в единственную застеленную койку.

В проходной хлебозавода большая суровая женщина в расстегнутом темном пальто читает документы Пьера.

– Вот вид на жительство, это справка из деканата, разрешение иностранного отдела…

За загородкой молодой охранник, сидя на табуретке и привалясь к стене, со скукой смотрит на Пьера.

– Пропуск я вам заказать не могу, не вижу оснований. Если родичей наших сотрудников пускать на территорию, завод не сможет работать, город останется без хлеба…

Она отдает Пьеру бумаги.

– Могу только сообщить, что ваш родственник действительно работает у нас ночным сторожем. Но он, конечно, уже ушел, ночная смена давно закончилась…

– У вас, наверное, есть его адрес? Где он живет?

– И адрес его я вам дать не могу. Не имею права без его разрешения… Мало ли что!

– Что же мне делать?

– В любом случае он придет на работу в двадцать два часа. Приходите сюда и ждите.

– Как я его узнаю? Я его никогда не видел…

– Ничем не могу помочь… Мне надо работать.

Она уходит. Пьер в растерянности смотрит на охранника. Тот зевает. Дверь хлопает, женщина возвращается:

– Идите сюда… Пусти его…

Она кивает охраннику. Приоткрыв внутреннюю дверь, она показывает Пьеру:

– Вон он стоит у печного, ваш Татищев. Почему-то задержался…

Пьер видит, как баба в белом халате сует буханку черного хлеба старику в ватнике и треухе – тому самому, что не пускал его в ворота. Старик заворачивает хлеб в газету и прячет в сидор.

Старик с мешком за плечами ковыляет по улице. Пьер с ошарашенным видом бредет за ним шагах в двадцати. Редкие прохожие попадаются навстречу. Старик сворачивает в переулок. У крыльца тетка, замотанная в платок, трясет детскую коляску. Миновав ее, Пьер решается и громко окликает:

– Граф!

Старик не сразу оглядывается на ходу. Пьер догоняет его и идет рядом.

– Алексей Аполлонович, извините… Я вас давно ищу.

Старик искоса смотрит на него пустым взглядом:

– Чего надо?

– Меня зовут Петр. Я стажер Московского университета…

– Ты американский шпион?

Пьер пугается и тут же смеется:

– Нет, нет, Алексей Аполлонович! У меня французский паспорт, но я русский.

– Ты кто?

– Мы с вами, кажется, родственники…

Они подошли к двухэтажному бараку. На дворе носятся и кричат мальчишки. Взявшись за ручку двери, Татищев спрашивает:

– Чекист?

Пьер хмурится:

– Алексей Аполлонович, выслушайте меня…

Татищев и Пьер идут по длинному коридору барака. Мужик в майке, стоя на табуретке, возится с пробками на щитке, баба в халате подает ему инструменты. На кухне в облаках пара готовит и стирает с десяток баб. Вдоль стены малыш гоняет на трехколесном велосипеде. В конце коридора Татищев заходит в распахнутую дверь.

В каморке стоят две койки – одна разворошенная, другая аккуратно застеленная. Захлопнув дверь, старик молча скидывает

валенки с галошами, стаскивает ватник, сует под подушку сидор и в шапке ложится на заправленную постель.

Отворачивается к стенке, накрывается ватником, и через мгновение слышится его ровное похрапывание.

Пьер в растерянности застыл на пороге. Он оглядывает беспорядок в комнате, низкий дощатый потолок, немытые тарелки на столе. Окно выходит на двор гаража со стоящими грузовиками. Двое работяг гремят железом, вскрывают крышу. Пьер берет единственный стул, снимает куртку и со вздохом усаживается.

– Откуда вы знаете мою кличку? – Старик поворачивается на спину и смотрит на Пьера ясным бессонным взглядом.

Пьер нашаривает бумажник в куртке и протягивает Татищеву пожелтевшую черно-белую фотографию – на ялтинском пляже мужчина в длинных плавках держит на руках девушку в купальнике.

– А еще я знаю, когда вы учились в Михайловском училище, вас звали Алекс-артиллерист…

Старик разглядывает фото. Тень улыбки проскальзывает по его губам.

– Лиля? Она жива?

– Жива. Это моя мама… А это – вы.

Старик садится, снимает шапку, достает из кармана ватника очки с перевязанной ниткой дужкой. И смотрит не отрываясь на карточку.

– Забавно…

Он отдает фото Пьеру, усмехается:

– Как опера. Из какой-то давней, никогда не бывшей жизни…

– Это июль тридцать первого года. А в ноябре она уезжала беременная. Вы знали об этом?

– Она уезжала вроде в Германию…

– Она приехала в Берлин в советское торгпредство, через два дня села в поезд и сбежала в Париж. А в тридцать втором родился я.

– Как, вы сказали, вас зовут?

– По паспорту я – Пьер Дюран. Это фамилия моего отчима. Он погиб в Равенсбрюке…

Старик слушает равнодушно, глядя себе под ноги. Неторопливо достает папиросы “Прибой”, закуривает. Пьер встает и, сдерживая раздражение, подходит к окну. Из коридора доносятся крики, там закипает скандал.

– Когда мама на меня сердилась, она говорила: “Ты не можешь поступать дурно, ты – русский дворянин, ты – Татищев…”

Татищев морщится, как от изжоги, и все так же, не поднимая

головы, спрашивает отчужденно:

– Что вы хотите сказать? Что вы – мой сын, что ли?

Пьер оборачивается и молча смотрит на него.

Дверь распахивается, в каморку влетает сосед Татищева, малый уголовного вида с красным лицом, с какой-то железкой вроде монтировки в руках. Чуть не плача, он швыряет железку в угол и с воплем кидается на койку:

– Ну, блядь буду, все тут щас разнесу!..

В открытую дверь просовываются мужик в майке и баба в халате.

– Еще сунешься, я тя урою…

– Пятнадцатью сутками не отделаешься, паскудник…

Старик подхватывает ватник, вытаскивает сидор из-под подушки и идет к двери, по обе стороны которой продолжается ругань. Он сует ноги в валенки, кивает остолбеневшему Пьеру:

– Пошли отсюда…

Старик с Пьером идут по улице.

– Куда мы идем? – спрашивает Пьер.

– Есть одно место…

– Может быть, в ресторан? У меня есть деньги. Я вас приглашаю…

Старик останавливается в раздумье, оглядывается:

– Ну, что ж… Только это в обратную сторону.

Они поворачиваются и идут обратно. Пьер сразу повеселел:

– Я так рад… Вам же поспать надо после ночи…

Они переходят улицу к дому с вывеской “Ресторан “Петровский”. На дверях табличка: “Закрыто на спецобслуживание”.

– Не судьба. – Старик машет рукой. – Хрен с ними, идемте…

Они опять разворачиваются и идут в прежнем направлении.

– Что такое “спецобслуживание”? – интересуется Пьер.

– Туристы, иностранцы вроде вас. На самом деле – начальство гуляет…

– Наверно, есть и другой ресторан?

– Не надо. Все путем…

Он останавливается у входа в магазин в подвале, вынимает деньги.

– Сейчас возьмем выпить… У меня есть сало и хлеб свежий…

– Тогда позвольте я… – торопится Пьер и бросается вниз по лестнице. Вслед ему старик говорит:

– “Старку” берите. И огурчиков соленых, там есть овощной…

У Дома культуры с широкой лестницей, с афишами на входе,

старик сворачивает за угол и толкает дверь с надписью “Служебный вход”.

За столом сидит вахтерша. Завхоз Анна Федоровна, маленькая пожилая женщина в плюшевом жакете, виновато объясняет Татищеву:

– …Дядь Леш, ей-богу, не могу пустить! Комиссия из области, как на грех… Приперлись два мордоворота с Ярославля, весь дом ходуном ходит, кабинеты открытые стоят…

Татищев, глянув на Пьера, сокрушенно разводит руками:

– Ну, не судьба…

И направляется к выходу. Анна Федоровна его останавливает.

– Погоди, дядь Леш, чего ты сразу обижаешься? Сейчас чего-нибудь придумаем… Хочешь, я вам зал открою? Мероприятий сегодня нету, сидите там хоть до утра…

За столом у боковой стены зрительного зала Татищев, скинув ватник, складным ножом режет сало на газете.

Пьер оглядывает полутемный зал, пыльное пианино на сцене, простыню экрана, порыжевший лозунг “Привет передовикам сельского хозяйства района!”.

Анна Федоровна принесла тарелки и граненые стаканы.

– Ну, вот и сидите на здоровье, кушайте, никто вас не тронет… С богом, дядь Леш! Побегла…

Она прикрывает дверь за собой.

– Она ваша родственница? Она вас называет “дядя Леша”…

– У нее сын погиб на Колыме… Ну, будем здоровы!

Они чокаются. Пьер искоса наблюдает за тем, как старик устраивает ломтики сала на черной горбушке и осторожно откусывает беззубым ртом. Он осторожно, с опаской жует и спрашивает:

– Чем вы занимаетесь?

– Русский язык и литература… Я собирался стать инженером, как мой отчим. Занимался математикой. Но мне стало скучно…

– Далёко ушли в математике?

– Дифференциалы и интегралы одолел. А на функциональном анализе не выдержал, ушел в филологи…

– Штабс-капитан Мечников, который вел математику у нас в Михайловском юнкерском, говорил, что мозги начинаются с математики, хотя, к счастью, не обязательно ею кончаются… Вы в Париже живете?

– Да.

– Знаете такую церковь – Сент-Этьен дю Мон?

– Конечно. Она недалеко от Пантеона, в двух шагах от Эколь Нормаль, где я учился…

– Там, кажется, Паскаль похоронен…

– Там не только Паскаль, там и Расин лежит, и Шарль Перро…

– Который? “Кот в сапогах”?

– Он самый…

Усмехнувшись, Татищев наливает водку:

– За маркиза Карабаса!

Пьер, смеясь, чокается с ним. Но старик становится еще угрюмей.

– Мы все равно чужие люди. Я ничего не могу тебе дать.

– Мне ничего не нужно.

– Зачем я тебе?

Пьер с удивлением смотрит на Татищева, растерянно пожимает плечами:

– Не знаю… Во время войны я пас коров на ферме. Мне было одиннадцать лет. Я хорошо помню… Жара. Коровы на лугу позванивают колокольцами. А я сижу на берегу, строгаю палку и воображаю, как я вас найду в России и мы будем говорить, говорить…

– Ты сказал, что вы живете в Париже…

– Отчима арестовали за участие в маки. И отправили в Равенсбрюк. Он был еще жив, когда в гестапо забрали маму. Я остался один. И ушел в Овернь, там жила сестра отчима.

– Что такое маки?

– По-русски как сказать… Подполье, вроде партизан. Прятали евреев, коммунистов. Помогали семьям арестованных… Диверсии устраивали. Конечно, связь с Лондоном, с генералом де Голлем, сведения передавали.

– Какие сведения?

– Отчим работал на химических заводах, которые исполняли заказы вермахта. Сообщали координаты заводов, англичане их бомбили.

– И как ты жил без матери?

– Голодал. Милостыню просил. Работал на ферме. А потом вернулась мама…

– Что за человек был отчим?

– Дюран? Очень добрый человек, жутко нервный. Он меня никогда не наказывал. Если я нашалил, разбил что-нибудь или ключи потерял, только посмотрит так печально, покачает головой. И ни слова… Мама вышла за него, когда мне было пять лет. Он меня усыновил, дал свою фамилию. Конечно, это облегчило мне жизнь в лицее… Но мама все равно твердила: “Помни, ты – русский дворянин!”

– Кто же ты в результате?

– Здесь, в России, я чувствую себя французом…

– Никакой России давно нет на свете. Это – эсэсэр, прости господи…

Плеснув водки в стакан, Пьер задумчиво цедит ее маленькими глотками. Татищев усмехается:

– Водку ты пьешь как француз…

– Я думал, вы обрадуетесь, когда узнаете, что у вас есть сын…

Старик сидит нахохлившись, уставясь в пространство.

– Я из этой жизни давно выпал. И обратно уже не хочу…

Он достает папиросы, закуривает.

– Здесь можно курить? – обрадовался Пьер, достал сигареты.

Старик словно не слышит.

– Ничего не хочу знать… – говорит он отчужденно, почти враждебно. – У меня было два инсульта. Один еще на зоне, другой – сразу после освобождения. Левую сторону парализовало. Речь отнялась. Ходить пришлось заново учиться. Странным образом все забыл, кроме математики…

Гримаса боли пробегает по его лицу, он вскакивает и делает несколько поспешных шагов.

– Вам нехорошо?

– Ерунда, сейчас пройдет… – Постояв, он усаживается, растирает ногу. – Я жил одной ненавистью. Выжить, выйти и отомстить этим сукам, генералам от параши… Не важно как – только отомстить. Когда корейская война началась, мы мечтали, чтобы Трумэн атомную бомбу сбросил на нас.

А теперь мы сидим на Лубянке
И лелеем надежду одну,
Чтобы наши спасители янки
Развязали скорее войну…

Вся Колыма эту песенку знала. Мы были готовы в этом грибе сгореть – лишь бы псарню прихватить с собой…

– Ужасно…

– Да ведь это сколько трудов надо положить, чтобы довести человека до такого…

Он проводит рукой по лицу, морщится. Берется за бутылку, наливает.

– А после второго инсульта понял – мне не суждено, моя песенка спета. Вразумил господь…

– Вы их простили?

Холодная усмешка проступает в морщинах старика, он опускает голову:

– Никогда… Они свое еще получат. А может, и нет, кто его

знает… Но меня это больше не касается.

– Вы же еще не старый, вам шестидесяти нет… Я бы увез вас во Францию, мы бы вас подлечили…

– Бог с тобой, кто же меня выпустит? Занавес-то и впрямь железный. Мне дорога одна…

Пьер размышляет:

– Я понимаю, вы… Как это по-русски? Хлебнули лиха. Но… есть у вас сын или нет – вам все равно?

– В моей жизни это ничего изменить не может.

Помедлив, Пьер встает, подхватывает куртку и идет к двери. На лице старика не отражается ничего.

– Уйдешь – с концами…

Пьер застывает на пороге.

– Извини, тут до Парижа далёко…

Пьер мрачнеет и, поколебавшись, возвращается к столу. Старик поднимает стакан:

– Со знакомством, Петр Алексеич!

Пьер расплывается в улыбке. Они чокаются.

– Ваше здоровье, Граф!

Поглядывая друг на друга, они молча едят.

– А пожалуй, ты в нашу породу пошел, – говорит Татищев. – Ты похож на моего отца. Челюсть, разрез глаз – точно папенька. По мне не суди, я – развалина, и потом, я в маму. А те яркие были люди, Татищевы…

– Бабушка, дедушка – что-то теплое, детское… Я же никого из них не видел! От маминой родни хоть фотокарточки остались. А от вас – только мамины рассказы и фото на пляже…

Старик усмехается и, подняв взгляд к потолку, декламирует:

В красивое время,
Когда опасались
Грешить слишком много,
И черта боялись,
И верили в Бога —
Слова были твёрды,
Друзья были честны,
Все рыцари горды,
Все дамы прелестны…

– Но ведь так не бывает… – говорит Пьер.

– Не бывает. И не все рыцари, и не все дамы… Это офицерские стихи. Я их в первый раз услышал в лагере на Вишере. Какой-нибудь бывший юнкер сочинил или кадет. Он так чувствовал… А хотел бы я поглядеть, кто напишет в таком роде

про нынешние времена…

– Но были же в России бедные и голодные?

– Я вижу, ты левый… Конечно, были и бедные, и голодные. Как везде. А что, во Франции их нет? Только это была приличная страна, богатая, ни на кого не похожая… не нынешний колхоз нищих за колючей проволокой…

В дверь просовывает голову Анна Федоровна:

– Батюшки, вы здесь курите? Меня ж уволят!

– Проветришь. Иди выпей с нами.

– Да какой там! Эти ярославские никак не уедут, холеры, обедали три часа… Дядь Леш, ты чего?

– Не трогай нас, Нюра. У нас серьезный разговор.

С сокрушенным видом она прикрывает за собой дверь.

– Ты в церковь ходишь?

– Я член французской компартии.

Старик застывает с бутылкой в руке.

– Мой сын – коммунист… Бесподобное чувство юмора у Господа! Абсолютно безжалостное… – Он ухмыляется. – Не беда, ты молодой. Голова на плечах – разберешься…

Пьер задумчиво смотрит на него:

– Какое чудо, что вы живы…

– Как ни странно, математика помогла. На Колыме люди давали дубаря через пару месяцев. Шахта, мороз в пятьдесят градусов и вечный голод превращают тебя в быдло, мозги отмирают… Я уже доходил на общих, но мне удалось устроиться санитаром в больницу. Там умирал один человек… Беленький Марк Исакович, физик-теоретик. И недурной математик, хотя и своеобразный. Мы разговаривали ночами, и беседа с ним была весьма поучительна. Он умер от пеллагры. Благодаря ему одно дело я все-таки довел до ума…

Старик кладет на колени сидор и копается в нем. Он что-то бурчит себе под нос, на лице его тревога. Наконец он достает газетный сверток, взгляд его проясняется. Он разворачивает газету, развязывает шнурок и вынимает из презерватива пачку бумажных листков величиной с игральную карту, перевязанных аптечной резинкой. У него заметно дрожат руки.

– Помру – вот все мое наследство…

– Можно посмотреть?

Поколебавшись, старик снимает резинку и протягивает ему листки:

– Только аккуратно, там определенная последовательность…

Пьер бережно раскладывает разномастные листки – оберточный пергамент, тетрадь в клетку, кусок картона. Все они исписаны до краев то карандашом, то чернилами мелким

твердым почерком.

Пьер показывает старику медицинский рецепт, на обороте которого виден тот же почерк.

– Речь идет о теореме Гёделя?

– Верно…

Татищев забирает листки, ловко их складывает и прячет.

– Дело в том, что все существующие доказательства бытия Божия суть не доказательства, а общие рассуждения. Даже у Паскаля. Нужны строго математические доказательства. И я таковое получил…

– То есть вы с помощью математики доказываете, что Бог есть?

– Только мое доказательство основано на математике современной. На анализе объективно существующих парадоксов теории множеств – таких как парадокс Бертрана Рассела об экстраординарных множествах, а также на феномене существования алгоритмически неразрешимых проблем, скажем, в чистой алгебре… И частично, как ты верно заметил, на известной теореме Гёделя о неполноте…

Пьер с озадаченным видом слушает его и вдруг тихо смеется.

– А вы говорите – России давно нет… – Плеснув водки старику, Пьер восторженно говорит: – За вас, папенька!

Татищев пьет и с любопытством наблюдает за ним.

– Представить себе – кто-то на каторге, в холоде и голоде, по ночам вычисляет, есть Бог или нет… Нормальный человек бы рехнулся! Я сразу слышу мамин капризный голос: “Ты – русский дворянин! Ты – Татищев!”

Пьер лезет в бумажник, протягивает цветную фотографию – женский портрет.

– Это я ее в Ницце снимал в прошлом году…

Татищев нацепляет очки, разглядывает карточку.

– Не зря уезжала… Мы случайно познакомились – она купалась в Крыму, а я приехал в командировку. Курортный роман, что называется… Она мечтала окрутить иностранца и уехать. Говорила: “Вы как хотите, а я в вашей казарме не останусь ни за какие коврижки”… Кто-то устроил ее в Наркомат иностранных дел, она записалась на курсы стенографии… Отчаянная была девка. А лишнего не болтала, понимала, на каком свете…

– А все-таки… Вы знали?

– Она приезжала ко мне в Тверь проститься. Похорошела, пополнела… Я спросил: “Уж не беременна ли?” Она улыбнулась и сказала: “У меня будет мальчик. Но тебя это больше не касается…”

Старик хмурится, закуривает.

– Что было давным-давно – помню совершенно ясно. А как вчера спать лег – хоть убей…

– То есть вы знали, что у вас родится сын?

– Она уехала когда? В ноябре? А под Новый год меня взяли. Пять лет, Вишерлаг. Я вышел в январе тридцать седьмого…

– Но ведь в тридцать шестом вернулся из эмиграции Сосновский. Вы его знали? Он обещал маме найти вас…

– Он написал мне… Сосновскому дали комнату в Москве, а я был в ссылке на Урале, отмечаться в комендатуру ходил. Москва для меня была закрыта… И потом, все знали, что Сосновский связан с Чека, они и помогли ему вернуться. Был слух, что он причастен к похищению генерала Кутепова, моего командира. Порядочные люди обходили Сосновского за версту…

– Все-таки вы знали, что я живу на свете?

– Не пойму – ты меня в чем-то обвиняешь? В тридцать девятом я был еще в ссылке, меня загребли с концами. Сунули десятку по пятьдесят восьмой. Лесоповал в Вятлаге, потом медный рудник в Казахстане…

– А побег из Джезказгана?

Старик усмехается:

– И откуда ты все знаешь? Из тебя бы следователь вышел – мечта чекиста… Ну, год четыре месяца можно вычесть. В конце сорок второго мы ушли на волю. А в сорок четвертом на Алтае не повезло, опер в отпуск приехал, в бане за одну шайку схватились… Новая десятка и – Колыма… Хватит об этом. Надоело… Ты на фортепиано не играешь?

– Музыкальную школу закончил.

– Сыграй мне…

Пьер поднимается на сцену, откидывает крышку пианино, берет несколько аккордов. Татищев пересаживается в кресло последнего ряда. Пьер смотрит на него, лицо его становится серьезным. И начинает играть.

В дверь просовывается голова Анны Федоровны. Некоторое время она стоит, прислушиваясь и глядя на сцену. Потом тихонько прикрывает дверь за собой.

Звучит начало “Лунной сонаты”.

Стемнело, метет мартовская поземка. На пустынной улице у проходной хлебозавода они прощаются.

– Из-за меня вы не поспали днем…

– Я привычный. Часок прихватить обычно удается.

– А нельзя мне с вами туда?

– Не дай бог, ты украдешь секрет сушки сухарей. Это же

государственная тайна. Иди спать.

– Когда вы освободитесь?

– В семь.

– Я приду к семи.

– Приходи… Ну! Дай я тебя обниму…

Они обнимаются.

– Будь здоров, француз!

– Спокойной ночи, Граф!

Старик ныряет в проходную. Пьер приникает к решетке ворот и видит, как с мешком за плечами он ковыляет по двору сквозь метель, оборачивается у входа в цех и, помахав Пьеру, скрывается за дверью. Как зачарованный, Пьер смотрит на поземку, заметающую двор. Опускает голову и быстрым шагом идет прочь.

Странный навязчивый звук будит Пьера в гостинице. Открыв глаза, он обнаружил, что рядом с его койкой ходит курица-пеструшка, что-то клюет с полу и кудахчет. Большой пузатый мужик в длинных трусах подхватил курочку и смущенно улыбнулся Пьеру:

– Извиняй, друг… Не углядел.

Пьер садится на кровати, пытаясь стряхнуть сон. Мужик засовывает курицу в корзинку, в которой сидит другая курица. Он пьет чай за столом и, все так же улыбаясь, объясняет:

– У тещи именины, гостинец приволок…

Кроме них двоих, в номере никого нет, стоят разворошенные койки. Взгляд Пьера падает на часы – без двадцати девять. Он вскакивает и принимается лихорадочно одеваться.

То бегом, то быстрым шагом Пьер, взмыленный, спешит к бараку.

На кухне высокими голосами разговаривают бабы. Пьер проносится мимо и толкает дверь каморки. Она заперта. Он стучится раз, другой – никто не открывает. В коридор выглядывает баба:

– Нету их… Кого надо?

– Татищева.

– Вроде не было… Михална, деда не видала?

– Аполлоныча? Его со вчера нету, не приходил.

– А сосед?

– Толян на работе. Он на четвертой автобазе… Вам кто нужен?..

У ворот хлебозавода Пьер заходит в проходную.

– Ну, вызвали скорую, увезли… – пожилой охранник рассказывает Пьеру. – Все как положено…

– Куда увезли?

– Кто его знает… Я только заступил, сменщик был. Должно, в горбольницу. Куда скорая возит…

– Когда это случилось? В котором часу?

– То ли в три, то ли в пять, кто его знает… Его в котельной нашли. Видать, худо ему стало, он и упал…

За столом в ординаторской больницы женщина-врач со стетоскопом на шее заканчивает писать и поднимает хмурый взгляд на стоящего перед ней Пьера:

– Вы ему кто?

– Сын.

– Чего ж привезли так поздно? Обширное кровоизлияние, организм изношенный… Мы делали все, что могли.

– Инсульт?

– Инсульт…

В морге Пьер пробирается за служителем в фартуке и резиновых перчатках между столами, на которых лежат прикрытые простынями покойники. Служитель сверяется с биркой и откидывает простыню:

– Этот?

Пьер стоит, вглядываясь в лицо – безмятежное, умиротворенное, с резкими, словно вырезанными из камня морщинами. Служитель подает Пьеру заплечный холщовый мешок.

На кладбище тает снег, священник кадит, хор из двух бабок тянет “Со святыми упокой”.

Гроб опускают в могилу, засыпают землей. Проводить покойника пришли две женщины – Анна Федоровна из Дома культуры и старуха-соседка из барака.

На холмик кладут цветы. Пьер расплачивается с землекопами.

Май в Москве. Деревья покрылись нежным пухом, цветет сирень. На двор университета на Моховой вываливается толпа студентов с профессором. Слышен смех, оживленный разговор. Пьера трогает за локоть Аня:

– Ты на трамвайчике едешь?

– На каком трамвайчике?

– Договорились же – в четверг в четыре прогулка по Москва-реке, потом прощальная вечеринка…

– У меня самолет в одиннадцать…

– Тебя не будет?

Увидев стоящую в воротах Киру Галкину, Пьер кивает Ане и бросается к Кире.

Вид у нее хмурый и злой, кажется, она вот-вот заплачет. Он обнимает и целует Киру:

– Что случилось?

– Ничего. Давай куда-нибудь закатимся… Пошли в ВТО.

Они выходят из ворот и идут вверх по Охотному Ряду к улице Горького.

– Что такое ВТО?

– Мы же там были. Актерский ресторан на Пушке. Ты там знаменитую поджарку ел…

– Что с тобой?

– А, ерунда… Неприятности в театре.

– Какие?

– Не хочу. Давай о чем-нибудь другом…

В полупустом ресторане Кира с жадностью ест мясо с картошкой. Пьер пьет шампанское, берет ее руку, целует:

– Ну, чем ты огорчена?

– Мы расстаемся, это главное…

– Это же не надолго. Через месяц я тебя буду встречать в Орли. Ты будешь в Париже как дома. Июнь у нас чудесный…

– Не трави душу…

– Почему? – удивляется Пьер. – Ты только представь себе – люди влюблены, они хотят укрыться, сбежать… Это же не как у вас. Все вокруг – к их услугам: уютная гостиница, вкусная еда, хорошее вино…

– Вон Валерка Успенский кого-то ищет…

Успенский угрюмо оглядывает зал и, заметив Киру и Пьера, подходит к столу:

– К вам можно?

– Садись, – кивает Кира. – Только мы уже уходим.

Официант приносит кофе и счет, Пьер расплачивается.

– Что-то тебя давно не было видно…

Дождавшись, когда уйдет официант, Успенский негромко говорит:

– Плохие новости. Алика арестовали…

– Какого Алика? Издателя журнала? “Грамотея”?

– Вывезли весь тираж четвертого номера, целый грузовик стихов… В редакции – сумасшедший дом. Гэбэ старается, обыски, допросы… А сегодня Верку забрали, машинистку…

– Погоди… – хмурится Кира. – Там же ничего антисоветского нет, в журнале. Ну, стихи и стихи… В чем они его обвиняют?

– Я разговаривал с мамой Алика. Похоже, они ему шьют какое-то постороннее дело. За кого-то он экзамен сдал в институт… А журнал вроде бы ни при чем…

– Как я их ненавижу, дармоедов! – Она хватает сумку и вскакивает. – Мне надо срочно позвонить…

Она исчезает. Успенский и Пьер закуривают и некоторое время молчат.

– Ты уезжаешь? – спрашивает фотограф.

– Послезавтра.

– Можешь выручить?

– Что нужно?

Успенский оглядывается по сторонам, достает из кармана какую-то бумажку.

– У меня остался экземпляр четвертого номера журнала. Я его пересниму и привезу тебе кассету. Алик хочет доставить ее в Париж вот по этим адресам. Или в магазин “Имка-Пресс”, это на улице Монтань-Сент-Женевьев, или в редакцию “Русской мысли”…

В вестибюле Кира, взвинченная, говорит по автомату:

– Все будет как в лучших домах, можешь быть спокойна, ты меня знаешь… На Смоленской через полчаса! Светка, ты настоящая подруга!

Она вешает трубку и лихорадочно роется в сумке в поисках монеты.

Находит, набирает номер.

– Теть Дусь, это Кира. Маму позовите… Мам, я не приду, разберитесь сами… А котлеты? Ну свари макарон! Да потому!.. – вдруг рявкает она.

У стола, за которым сидят Пьер с Успенским, стремительно появляется Кира.

– Пошли… Быстро! Мы опаздываем!

– Куда?

– Куда надо!

Успенский вопросительно смотрит на Пьера.

– Договорились… – кивает Пьер.

Они с Кирой уходят.

– О чем это вы договорились? – подозрительно спрашивает она.

В вечерней толкучке у метро “Смоленская” подруга Света вручает Кире связку ключей:

– Уходя, запрешь на оба, вот этот нижний. Белье в правом ящике комода. Там даже какая-то бормотуха на кухне, можете гулять. Предки только в пятницу приедут…

– Все поняла…

– А француз-то где? – интересуется Света.

– Да вон он…

Кира тычет пальцем в Пьера, который листает журнал “Огонек” у киоска “Союзпечати”.

– Ну, ты даешь!

Они смеются, и Света убегает…

Кира с Пьером лежат в постели.

– А вдруг ты меня не любишь?

– Почему это?

– Кто тебя знает? – вздыхает Кира. – Может, ты прикинулся…

Пьер тихо смеется:

– Какая ты прелесть…

– Смотри…

Она садится, закуривает сигарету.

За большими пыльными окнами мастерской стемнело. Кира сует ноги в туфли и пробирается между полотном на мольберте и ободранным вольтеровским креслом, мимо наваленных грудами холстов и подрамников. Грязные стены увешаны гравюрами, иконами, фотографиями. На столе старинный граммофон и вятские глиняные игрушки, на шкафу – коллекция самоваров.

– Светкин папаша – бабник знаменитый, – ухмыляется Кира. – Он сюда девок водит. Вообще-то он – специалист по итальянскому маньеризму, работает в Пушкинском музее. Мужик, надо сказать, очаровательный…

В кухонном углу, где стоит плита на две конфорки и видавшая виды раковина, Кира нашаривает на полке открытую бутылку портвейна “Три семерки”, наливает два стакана, несет в постель.

– Это что?

– Портвейн.

Пьер нюхает и морщится:

– Гадость…

– Уж извини, французского шампанского не запасли. Как говорится, постой-ка, брат мусью…

Они смеются.

– За что пьем? – спрашивает Кира.

– Как за что? За встречу в Париже!

Она опускает глаза:

– Когда оно еще будет… А за что-нибудь попроще?

– Например?

– За любовь.

Пьер внимательно смотрит на нее:

– За любовь!

Они чокаются, пьют и начинают целоваться…

Девушка в форме “Аэрофлота” привязывает бирку к ручке, и грузчик перетаскивает чемодан Пьера на транспортер. Получив посадочный талон, Пьер с сумкой на плече подходит к Кире, хмурясь, оглядывает зал.

– Ну, где же он? Мне пора на паспортный контроль… Давай еще раз проверим. Телефон у тебя есть, адрес есть. Жду звонка. Как только станет известно число, звонишь. Дата, номер рейса… Если проблемы с телефоном, посылаешь телеграмму… Телефон посольства не потеряла?

– Вон он несется… – говорит Кира.

В толпе пробирается взмыленный Успенский. Пьер машет ему рукой. Валера кидается к ним.

– Думал – кранты… Еле поймал машину! Извини…

– Ну? – Пьеру не терпится.

Успенский вытирает пот, косится по сторонам.

– Погоди, не все так просто… Кирк, мы сейчас. Пошли…

– Куда?

– В сортир…

Успенский и Пьер идут по залу и скрываются за дверью мужского туалета.

В туалете полно народу – одни топчутся у умывальников, другие ждут, пока освободится кабинка. Успенский занимает очередь. Хлопает дверь, кабина освободилась. Валера подталкивает Пьера, тот послушно заходит в кабину. Запирается, стоит в ожидании.

Еще кабина освободилась. Успенский кивком пропускает мальчишку, который стоит за ним. Когда освобождается кабина рядом с Пьером, он ныряет туда. Запирается, тихо стучит в стенку, разделяющую кабины.

Пьер видит, как внизу под перегородкой просовывается ладонь, в которой две кассеты и записка с адресом.

У стойки паспортного контроля небольшая очередь. Пьер обнимает и целует Киру:

– До встречи в Орли!

Кира плачет.

– Мы же никогда не увидимся! – захлебываясь и глотая слезы, она судорожно объясняет: – Я не хотела… не хотела тебе говорить… Меня вызвали в первый отдел и сказали… что Париж обойдется… обойдется без меня…

Люди оглядываются на рыдающую Киру.

– Что такое первый отдел?

– Гэбэ… Посоветовали аккуратней… выбирать знакомства…

Пьер прижимает ее к себе. Успенский отчужденно смотрит на них.

– Из-за меня? Будь они прокляты! Я вернусь. Я обязательно вернусь!

– Они тебя не пустят!

– Я что-нибудь придумаю…

По радио объявляют о начале посадки на парижский рейс. Пьер застывает в поцелуе с Кирой. Жмет руку Успенскому и идет к стойке пограничника.

Дождавшись штампа в паспорте, Пьер оборачивается с трагическим лицом, поднимает руку. И исчезает за загородкой.

Кира с Успенским идут по залу. Кира вытирает слезы. Валера достает из кармана фляжку с коньяком, молча протягивает Кире. Кира останавливается и пьет из горлышка.

– Спасибо… На такси?

– Надо дождаться сообщения о вылете. Мало ли что…

В толпе пассажиров Пьер проходит в салон самолета, кладет сумку на багажную полку и садится на свое место у окна. Он устраивается в кресле, пристегивает ремень, закрывает глаза.

Наконец все расселись, стюардессы захлопывают багажники, слышно, как задраивают двери.

Однако у экипажа возникает какая-то заминка. Две стюардессы что-то горячо обсуждают с пилотом. Старшая стюардесса идет по проходу с человеком в штатском, внимательно оглядывая пассажиров.

По радио объявляют о задержке вылета по техническим причинам.

Пьер старается смотреть в окно.

Успенский стоит в очереди к окошку информации. Получив справку, он отходит с мрачным видом. Кира ждет в тревоге.

– Ну, что там?

– Задержка вылета по техническим причинам…

Валера вынимает фляжку и прикладывается к ней.

– И мне давай… – просит Кира.

Пьер смотрит в окно, как самолет неторопливо выруливает на взлетную полосу и замирает. Наступает томительная тишина. Внезапно взревывает мотор, самолет вибрирует, набирая обороты. Машина срывается с места, разгоняясь все быстрее. И наконец отрывается от земли.

Пьер в изнеможении откидывается в кресле и закрывает глаза.

В репетиционном зале Большого идет утренний класс

балетной труппы. Кира работает вместе со всеми. Репетитор лет сорока дает команду, концертмейстер начинает играть. По окончании пируэта девушки идут к выходу, мужчины отрабатывают прыжок.

За столиком в буфете пьет кофе Вероника, служащая канцелярии балетной труппы. Махнув ей рукой, Кира подходит к стойке:

– Шура, ты меня осчастливить обещала…

Буфетчица достает сверток из-под прилавка.

– Сосиски только свиные. Молочные, может, на той неделе…

– Давай хоть свиные… Сколько я тебе должна?

– Галкина, ты про пятницу в курсе? – оборачивается Вероника.

Расплатившись и спрятав в сумку сверток, Кира с чашкой кофе подходит к Веронике, но не садится.

– Опять шефский? Сколько можно?

– А я что могу сделать? У Нонки бюллетень, Мартынова со вторника в декрете… Сама, что ли, в Калугу поеду?

Кира выходит из театра с подругой Светой. Они целуются и расходятся в разные стороны. Киру окликает Франсуа Оливье, корреспондент “Радио Франс”.

– Мадемуазель Галкина! Не спешите, пожалуйста…

Услышав французский акцент, Кира застывает. Оливье подходит к ней.

– Меня зовут Франсуа Оливье. Я корреспондент французского радио. Вы разрешите вас проводить?

– Извините, я… Я иду на метро. Мне домой надо…

– Прекрасно, идемте…

Он берет под руку растерянную Киру. Пройдя несколько шагов с ней, он говорит негромко:

– У меня для вас новости из Парижа…

Кира, возбужденная, идет, торопится по Чистопрудному бульвару и сворачивает в Харитоньевский переулок.

У дома Успенского стоит “победа”, человек грузит картонные ящики в багажник.

Кира замедляет шаг. Двое в штатском выводят из подъезда Успенского с растерянной ухмылкой на губах. При виде Киры ухмылка сползает с его лица. Он невольно останавливается, но его подталкивают к машине. Валеру усаживают на заднее сиденье, двое в штатском – по бокам. Водитель захлопывает багажник, садится за руль. “Победа” трогается.

Кира поднимает руку с двумя растопыренными пальцами в победном жесте Черчилля. Машина разворачивается и уезжает. Кира стоит с поднятой рукой, пока она не скрывается из виду.

2014

Завтра живет на кухне

А я вам скажу, соотечественники, никакое, даже самое лучшее, правительство нам не поможет. Пока мы такие, как есть, не помогут нам ни демократия, ни православие, ни доллары заморские. Не потому нам плохо, что власть у нас советская, а потому у нас советская власть, что сами-то мы не больно хороши. И начинать бы надо с этого конца, с собственного оскаленного злобой мурла, со своей койки в общежитии, с трех глинистых соток огорода и дощатого нужника над ним. Пока обыватель российский не вознамерится из дикаря и печенега стать человеком, не дойдет до простой мысли, что на кухне у него нет никакого правительства, кроме него, забубенного, сам Господь Бог не станет нам помогать, да еще и плюнет в нашу сторону.

Давно замечено, что времена общественного возбуждения для размышлений малопригодны. Казалось бы, тут-то и разобраться, прежде чем вцепляться в бороду соседу. Да так уж мы скроены. Не истины ищет российский человек, а рецепта попроще да ясней – кто виноват и что делать? А по-нашему – кому будем морду бить? Но, как показала отечественная историческая практика, на простых и ясных основаниях ничего, кроме вечного мордобоя, воздвигнуть не удалось. И опять же давно и не нами замечено – кому легок ответ на простой вопрос, тот либо жулик, либо дурак, либо Жириновский, либо Макашов. Ни теми, ни другими земля наша обильная никогда не скудела.

Оговорюсь для ясности: в коммунистах не состоял, в митингах демократов участвовал, голосую за Ельцина и Попова. И при всем том и опять скажу – не поможет нам и Ельцин.

Ну, предположим, наступил вожделенный момент – закрылся последний райком, забыты ухмылка Павлова и слезы Рыжкова, правят нами свободно избранная Дума и правительство народного доверия. А как изменились мы сами – свободные граждане свободной России?

Пьяного мата не слышно. Не хамит в сельпо продавщица. Соседи доносов не пишут. В подъезде мочой не пахнет. Начальство не берет взяток. Депутаты не путаются в падежах. И главное – все кругом работают не покладая рук, и главное – никто не ворует.

Смешно? А ведь безобразие, среди которого мы возросли и старимся, обличает не столько политический режим, сколько дикие наши нравы.

Конечно, у большевиков не отнять исторической заслуги в том, что они сильно способствовали нашему одичанию.

Натравливание одного класса на другой, расстрелы заложников, насаждение доносительства, попытка создать национального героя из несчастного ребенка, предавшего собственного отца, – политика, начатая призывом грабить награбленное, сознательно и последовательно будила самое низменное, что есть в обывателе и в обществе. Зависть и обделенность – двигатели революции.

Все это правда, все это так, но… Здание Нюрнбергских процессов возведено было на постулате: преступный режим может учитываться как смягчающее обстоятельство, но не оправдывает преступления подданных. Человек – не винтик, у него всегда есть выбор, даже у зэка – пойти в стукачи или избегнуть.

Насколько же богаче этот выбор в том единственном укрывище, где ты ежедневно возвращаешься в человека – в мужа, сына, отца, куда режим, как ни запускает свои щупальца, не может влезть, по крайней мере целиком, – у семейного очага, пусть и ублюдочного, как у большинства из нас. Здесь никто не в силах заставить тебя быть вором, негодяем, лгуном, здесь последний выбор – всегда твой. Согретый любовью близких, ты сможешь выдержать гнет толпы и не опоганить душу. Обделенный семьей, ты прибавляешь толпе свою злобу.

Это здесь, в твоих четырех стенах, – корни режима, это здесь он набирается соков, вырастая в людоедство, в коллективизацию, в ГУЛАГ. Для того чтобы террор победил на шестой части суши, никакой Чека не хватит, тут не обойдешься латышскими стрелками и австрийскими пленными, ни даже “оккупационной армией, насильно навербованной из самого оккупированного населения”, как пишет один из наших историков. Потребовались миллионы пособников, добровольных и невольных, сексотов, доносчиков, охранников и расстрельщиков, пыточных мастеров, соседей, тащивших домой последнюю утирку раскулаченных. И весь этот человеческий материал среди нас нашелся готовый. Глубоко, в самую толщу семьи должен был проникнуть посев злобы и зависти, чтобы проросла революция. Достоевский и тут встревожился первым, первым заговорил о “случайных семействах”, о распадении нравственных начал русской семьи. И недаром среди единиц, выживших в мясорубке лагерей, так часто попадаются люди из семей, сохранивших традиции, несмотря ни на что.

Недели две назад моя беременная жена с заметным уже брюхом стояла за мясом у нас на Суворовском бульваре. Стоять – не меньше часу, мясо – сами знаете какое. Подошла пожилая женщина, пенсионерка, попросилась взять кусочек без очереди. Публика заворчала, вон, говорят, беременная стоит, и ничего. Женщина вдруг разразилась бранью. “Сволочи! – кричала она. –

Тут жрать и так нечего, а они нарочно рожают, чтобы три года на шее у государства сидеть! И собак заводят!" Очередь реагировала с мрачным спокойствием, один дядя заметил: "Ты, бабка, раз такая сознательная, показала бы пример, обошлась бы без мяса…"

Да, страшна участь стариков в этой стране. Но не одним старикам кажется, что грубость и негодяйство нам простительны по причине незаслуженно тяжелого житья. "Чего это я буду стесняться, когда сосед хапает, и уже в валюте! Вы нам устройте изобилие, как в Америке, тут мы себя полными херувимами покажем! А пока в правительстве одни жулики, пить буду без просыпу, пока все не пропью!"

А ведь это – не вчера родилось, а исконное наше, российское. Вот семьдесят лет назад, в конце Гражданской войны, Иван Бунин плывет из Одессы в Константинополь на переполненной беженцами старой посудине:

> …Человек весьма охотно, даже с радостью освобождается от всяческих человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикому образу существования, – только позволь обстоятельства, только будь оправдание. И на "Патрасе" все чувствовали, что теперь это позволено, что теперь это можно – не стыдиться ни грязных рук, ни потных под шапками волос, ни жадной еды не вовремя, ни неумеренного куренья…

"Бытие определяет сознание" – унылая премудрость эта, усвоенная нами в большевицкой школе гегельянства, переносимая на обыденную жизнь в поисках оправдания, – и лжива, и пагубна. Это у кошки или свиньи поведение зависит от кормежки, а человек – подобие Божие, он способен подниматься над своим бытием и творить его по своему разумению. Примеров тому множество – от первых христиан до тысяч попов наших, сгноенных в лагерях, но так и не пустивших сталинское озлобляющее бытие на порог своего православного сознания.

В моей обывательской жизни нет у меня другого выхода, как только жить человеком сегодня, сию минуту, в нынешних нелегких обстоятельствах, не ожидая, покуда ангелы сядут у кормила власти. Пока дождусь, чтобы власть очеловечилась, непотребство мое перейдет детям и внукам. Завтра живет у меня на кухне.

Сто с лишним лет назад сказал Константин Леонтьев, что христианство на Руси еще не проповедано. Не проповедано и по сю пору.

1991

Последняя книга

Старик

Книга эта родилась из руин, из пепла.

> …В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально – печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел – большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом…

В рассказе, написанном до войны, он вызывает призрак Ельца своей юности и мысленно проходит его провинциальными пыльными улицами, жадно перебирая оживающие подробности – древний мост через Сосну, запах яблок на августовском базаре, зеленую звезду над кладбищенской рощей.

Если бы вот так же, по его примеру, пройти мощеной улочкой другого спящего провинциального городка, в ином времени и ином пространстве, забыв на минуту об оккупации, о комендантском часе, подняться по Наполеоновой дороге, круто забирающей вверх в гору, скользнуть в калитку, прячущуюся в тени серого каменного склона, постоять, всматриваясь во мрак, можно было бы различить темный силуэт дома на фоне неба, одинокий свет настольной лампы в окне первого этажа. За столом сидит старик, уставясь в пространство. Перед ним раскрытая тетрадь и пепельница, полная окурков. О чем он думает, что записывает в тетради русской кириллицей с ятями и твердыми знаками?

> Час ночи. Встал из-за стола – осталось дописать несколько строк “Чистого понедельника”. Погасил свет, открыл окно проветрить комнату – ни малейшего движения воздуха; полнолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев. Господи, продли мои силы для моей одинокой бедной

жизни в этой красоте и в работе!..

Всю эту дивную картину он замечает, лишь когда поднимается размять ноги. В душе его пейзаж совсем иной, жуткий. Пол-Европы лежит в развалинах, войне не видно конца. Ему уже доводилось переживать обвальное крушение – революцию, Гражданскую войну, бегство. Тогда ему было пятьдесят. Теперь – за семьдесят.

> Прежней Франции, которую я знал 20 лет свободной, богатой, с Палатой, с Президентом Р[еспублики], уже нет… И немцы – хозяева в Париже!

Мир погибает в безумии окончательно и безвозвратно.

На востоке земля содрогается под танками Гудериана. Вслед за прежней Россией, “погибшей… в такой волшебно краткий срок”, погибает и другая, ненавистная, совдеповская, но – Россия. Нападение приводит его в замешательство, оживают вдруг потерянные было надежды на крах большевиков, на возвращение домой. Но над своими чувствами он не властен.

> Взят Киев… Взято то, взято другое… Что дальше? Россия будет завоевана? Это довольно трудно себе представить!

Газеты и радио рвут сердце.

> Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, и наша мать!

Все, что составляло его жизнь, что было ее прелестью и смыслом – красота, любовь, Россия, литература, – ничего этого больше нет, все ушло, исчезло, погибает. И природа, малейшие оттенки и движения которой он так по-звериному чувствует, тем острее ранит его, напоминая о предстоящем последнем расставании.

> Прекрасный день и прекрасные облака над горами за Ниццей – вечные, а наши жизни… Скоро, скоро и меня не будет, а они все будут…

Книга рождается из тьмы, из катастрофы.

Удар застал его на вершине литературной и жизненной судьбы, на самом взлете. В декабре 1933 года в Стокгольме шведский король вручил ему Нобелевскую премию, а через несколько месяцев женщина, которую он любил, оставила его.

Его первые фотографии в эмиграции поражают происшедшей с ним переменой. Куда девалась почти женственная мягкость его черт? Выступил костяк, лицо словно потемнело, взгляд колючий, болезненный. Революция оказалась никудышным зодчим, но непревзойденным ваятелем.

В первый же день по приезде в Париж он уже сидел в ресторане в привычном окружении – за столом были Тэффи, Алексей Толстой, Ларионов с Гончаровой. После страшной Одессы военного коммунизма можно было вымыться горячей водой, выпить хорошего вина, прогуляться по бульварам. И писать, как когда-то – не оглядываясь на дверь, забыв о чрезвычайке. Уже на следующий год у него выходят две книги в Париже, одна в Берлине, еще одна в Праге. На свободе, после нескольких лет немоты, он обретает новое дыхание. Так он еще не писал. В 1924 году он пишет “Митину любовь”, которая принесет ему европейскую известность.

А через два года он знакомится с Галиной Кузнецовой, одним из молодых дарований эмигрантской литературной среды. Ей шел двадцать шестой год, ему – пятьдесят шестой. Несмотря на разницу в возрасте, довольно существенную, бурный роман вскоре зашел так далеко, что в 27-м году Кузнецова поселяется в доме Буниных в Грассе. Что он сказал жене, как удалось убедить ее в необходимости такой крутой перемены в жизни, что пережила Вера Николаевна – один Бог ведает. С той поры они живут втроем, окруженные горячим туманом сплетен. Так втроем они появятся на нобелевской церемонии – “это госпожа Бунина, супруга лауреата, а это госпожа Кузнецова, писательница”. А летом в Грассе у Буниных гостит приятельница Кузнецовой – Марга Степун, певица, сестра философа. Атмосфера в доме быстро накаляется. Марга любила девочек, предпочитая их мужчинам. Кузнецова рвет с Буниным и уезжает в Германию с Маргой. На том кончается роман, длившийся семь лет. Она еще не раз появится в этом доме, проживет под его крышей три военных года, но – вместе с Маргой.

Зачем, скажите, Наталья Николаевна танцует с этим фатом в мундире кавалергарда, с пустым французишкой? И отчего при одном взгляде на Льва Николаевича ясно, что такому человеку нужна ничем не стесненная свобода, и только умная Софья

Андреевна не в состоянии это уразуметь? Но тем, кого классики любили, жить приходилось не на страницах учебника литературы, а живьем, с листа. Они не знают, с каким счетом закончилась игра.

Галина Николаевна Кузнецова была не только хороша собой, но и талантлива. Она писала недурные стихи, заметные в волне эмигрантской поэзии второго поколения. Она напечатала несколько книг прозы, а ее “Грасский дневник” содержит прямые свидетельства о личности Бунина и его взглядах на писательское ремесло. Без этой книги не может обойтись ни один исследователь. Судя по тому, как Кузнецова распорядилась своим архивом, она трезво отдавала себе отчет в том, какое место в истории русской литературы ей предстоит занимать. По-видимому, это была неглупая и достойная женщина с довольно сильным характером.

Остается добавить, что Кузнецова и Степун прожили вместе до конца своих дней и умерли в своей мюнхенской квартире, ненадолго пережив одна другую.

Не будь Анна Петровна Керн несколько ветрена, не видать бы нам такой жемчужины, как “Я помню чудное мгновенье…”.

Если бы Галина Кузнецова распорядилась своей жизнью иначе, мы бы лишились лучшей русской книги о любви.

Ева

Ушла, бросила, променяла – и на кого! На другую бабу! Все естество в нем бунтует – обманутое самолюбие самца и оскорбленное эстетическое чувство. Время идет, а он все не может смириться, поверить, все ждет, что рассеется это наваждение.

> Шел по набережной, вдруг остановился: “да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука! Все равно ничему не поможешь! К черту, распрямись, забудь и не думай!” А как не думать?.. Все боль, нежность.

Он с трудом засаживает себя за письменный стол. К дневнику ему боязно прикасаться.

> До чего я пал!.. И все время полное безделие, безволие… Опомниться, опомниться!

Он держит корректуру собрания сочинений, ездит по Европе с выступлениями. Одолевая постигшую его немоту, пишет книгу о

Толстом. Но сочинять, как прежде, он не в состоянии. Чудесная способность выдумывать, которой он сам наслаждался и гордился, покинула его.

Когда-то попалась ему “Смерть в Венеции”, шедевр Томаса Манна, история о том, как стареющего писателя сводит в могилу влечение к мальчику, в котором воплотилась вся красота мира. Бунин прочел – и брезгливо отстранился. Для него, все воспринимавшего через плоть, декадентская утонченная метафора отдавала однополой любовью. И в искусстве, и в жизни ему была свойственна остро выраженная гетеросексуальность, тяга к полу противоположному. Он был женолюб, бабник. Он не сомневался, что идея красоты внятно выражена Создателем в облике Евы.

И что за женщин написал он! Уж на что могучие были предшественники, а не встретишь подобного полнокровия женских типов ни у Толстого с его неукротимым стремлением указать женщине дозволенные ей пределы, ни в непримиримой борьбе идеала Мадонны с идеалом Содомским у Достоевского, ни у Чехова с его жестким, слишком трезвым взглядом на женщин. Бунин первым стал решительно избавляться от моральных схем в построении сюжета. Чувственность в его изображении не связана ни с социальным разоблачением, как у левых, ни с доморощенным демонизмом, как у декадентов. Жизнь пола занимает его сама по себе, как природная стихия, владеющая человеком, которой одинаково подвержены его крестьянки, дворянки, мещанки. Откровенностью в ту пору трудно было удивить – после цензурных послаблений пятого года порнография захлестнула прилавки, Арцыбашев потеснил Толстого. Российская критика с ее унылым разделением космоса на свет и тьму, на прогрессивное и реакционное, терялась, не могла понять, куда гнет автор. Молодая в “Деревне”, Оля Мещерская в “Легком дыхании”, Парашка в “При дороге”, Любка в “Игнате”, Катя в “Митиной любви”, героиня “Солнечного удара” – от этих женщин исходит зов плоти, но их манящее очарование, живая женская прелесть хотя и связана с физиологией, но сама – какой-то иной природы, словно жизнь пола в них – лишь отражение высшей таинственной жизни, высшего замысла, который нам не дано понять, но дано почувствовать. С Буниным в русскую литературу входит эротика как высокое искусство.

В мире, им созданном, красота, любовь и поэзия слиты в триединство, в троицу, в центре которой – женщина. Она сама – воплощение красоты Божьего мира, свидетельство высшего начала в природе человека. В любви дается возможность соприкоснуться с этим началом. Страсть расширяет личность,

выводит ее в иное измерение, за пределы обыденности, и тому, кто любит, открывается все богатство и поэзия жизни. Женщина есть великая тайна, как сама жизнь. Так смотрели на мир романтики за столетие до него. Так, совсем по-бунински, выразит это с чеканной простотой Пастернак:

И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен…

Из тьмы

> …Слушал радио – провансальская музыка и пение – девушки – и опять: как скоро пройдет их молодость, начнется увядание, болезни, потом старость, смерть… До чего несчастны люди! И никто еще до сих пор не написало этого как следует!

Он пытается написать – как следует. В октябре 38-го мелькнул проблеск, он написал четыре рассказа. В них есть некое обещание, музыкальное единство. Зазвучала тема, родилось название, но тут в мире запахло порохом. Вскоре катастрофа разразилась.

Франция оккупирована. Польшу поделили. Исчезли три балтийских государства. Советы напали на Финляндию. Когда отчаяние дошло до дна, в марте 40-го он открыл тетрадь. Через месяц отметил в дневнике: “стал присаживаться к письменному столу”. Осенью его словно прорывает – 12 рассказов за полтора месяца, вся будущая вторая часть, кроме “Натали”. Дар вернулся, у него выросли крылья. Шедевры случаются один за другим – 22 октября закончена “Таня”, 23-го дома скромно празднуется его семидесятилетие, бутылку хорошего вина подарила Марга. Утром 24-го он уже пишет “В Париже”.

Временами он сидит до глубокой ночи, запершись в кабинете, пока голод не заставит выйти похлебать “тошнотворного супу из белой репы”, то бишь из турнепса. Работая, он по-прежнему много курит и позволяет себе выпить коньяку или “самодельной водки”, то есть попросту самогону, который сам же и гонит, а выпив, клянет себя в дневнике за то, что не удержался.

Потом наступает провал на месяцы, на годы. Война приходит в Россию, он молчит больше двух лет. Весной 44-го следует новый взлет – 11 рассказов в два месяца, один за другим. Третьего мая закончена “Холодная осень”, двенадцатого – “Чистый понедельник”, шестнадцатого – “Пароход “Саратов”,

восемнадцатого – “Ворон”. Это третья, последняя часть книги, прибавятся к ней три послевоенных рассказа.

Силы тают. Все мучительнее становится одолеть крутой подъем к дому. Такси исчезли, в автобусе толкучка, приходится стоять всю дорогу или присаживаться на железную ступеньку. “Так холодно в комнате, что лежа читал в меховых перчатках”. Угнетает неотвязная мысль о еде, он худеет и с детской жалостью к себе отмечает в дневнике потерю в весе.

Хворает жена, он замечает бессильно:

> Как горько трогательна, тиха, одинока, слаба Вера!

Ему кажется, что жизнь посмеялась над ним. От нобелевских денег остались крохи, а он даже квартиры не удосужился купить, приходится нанимать, и теперь уже ясно, что до конца дней. Он содержит шестерых, пятерых, троих, у него живут годами, а когда объявляют о депортации евреев, он прячет у себя знакомых. В доме полно народу, а ему кажется, что никогда не был он так одинок, один – наедине со смертью.

> Как-то ночью, уже в постели, с книгой, в мертвой тишине дома вдруг точно очнулся с ужасом: какое одиночество! И это последние дни и ночи жизни!

В такой обстановке пишутся “Темные аллеи”. Старость, одиночество, безысходность.

Но ничего этого нет в книге.

“Любовь, что движет солнце и светила”

Где и когда происходит действие?

В России до революции.

Оба понятия канули в небытие, все равно как Египет фараонов, и, чтобы вызвать у читателя живое конкретное ощущение того и другого – страны и эпохи, Бунин прибегает к пространственному и временному построению, единственному в своем роде. Место действия, как правило, русская провинция – деревня, уездный город, дача, но и Москва, Петербург, Одесса, Кавказ. Ни в одной из его книг не было такого количества топонимических названий – упоминаются 28 городов, 20 губерний, Задонщина, Кубань, Сибирь, Волга и волжские пристани, Владивосток, – прямо учебник российской географии. И тут же рядом – Париж, Вена, Венеция, Индийский океан, Иудея, Испания. В сознании читателя восстанавливается связь России с

остальным миром, нарушенная революцией, и тем сильнее чувствуется ее, России, неповторимое своеобразие.

Предреволюционная эпоха показывается с разных временных точек – то изнутри нее, то с эмигрантского отдаления. Начавшись девяностыми годами XIX века, повествование держится большей частью у рубежа семнадцатого года, то вдруг погружается в екатерининское царствование, то во времена Николая Павловича, то резко приближается Парижем тридцатых, воссоздавая единство и непрерывность российского исторического пространства. Возникает объемный стереоскопический образ “серебряного” века, прошитый множеством культурных, религиозных и исторических ассоциаций и упоминаний.

По “Чистому понедельнику” можно с успехом изучать церковную топографию и литературно-художественную жизнь Москвы накануне революции. Относясь к православию скорее равнодушно, в эмиграции Бунин остро чувствовал его материнскую связь с русской культурой. На небольшом пространстве рассказа упоминаются храм Христа Спасителя, Иверская часовня, Василий Блаженный, Спас-на-Бору, Новодевичий монастырь, Рогожское раскольничье кладбище, Марфо-Мариинская обитель, Чудов монастырь, Архангельский собор, с ними соседствуют “Лунная соната”, Толстой, Пьер Безухов, Платон Каратаев, Гофмансталь, Шницлер, Тетмайер, Пшибышевский, Художественный кружок, Андрей Белый, “Огненный ангел” Брюсова, Шаляпин, марш из “Аиды”, Лаврентьевская летопись, “Сказание о Петре и Февронии”, молитва Ефрема Сирина, Пересвет и Ослябя, Эртель, Чехов, Грибоедов, Художественный театр, Станиславский, Москвин, Качалов, Сулержицкий.

Тридцать восемь рассказов – в каждом женщина, иногда две, три. Бесконечное разнообразие женских лиц, социальных типов, характера любовных отношений, пейзажа, ритмики подчеркивает единство замысла. Любовь – по преимуществу мужская любовь к женщине – разворачивается как всеобъемлющая тема книги и жизни, как единственная существенность в человеческой судьбе. Как-то даже не по себе от мысли, что “Чистый понедельник” написан в семьдесят четыре года. А “Натали” – с обморочным эротическим напряжением юного героя, разрывающегося между ласками одной и небесной страстью к другой, с тем единственным ощущением восторга и роковой безысходности, которую приносит первая в жизни любовь, – написана в семьдесят. Что-то дьявольское, колдовское в этой неубывающей силе и свежести любовного чувства, запечатленного необыкновенным по скрытой в нем энергии, по музыкальности

русским языком.

Драматизм любви пронизывает книгу. Критики много писали о ее мрачности, о демонической связи любви и смерти. На ее страницах – четыре смерти, три убийства из ревности, четыре самоубийства и на каждом шагу измены, обманы, разрывы. Однако любовь, несущая смерть, – это образ декадентской поэзии, Бунину чуждой.

“Разве бывает несчастная любовь?” – говорит Натали. – “Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?”

Ей вторит доктор в “Речном трактире”:

> Не все ли равно, чем и как счастлив человек! Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют: ведь ото всего остаются в душе жестокие следы.

Катастрофична сама жизнь, а не любовь, не любовь приносит смерть, а ее обрыв. Жизнь есть любовь – и ничего более, живешь, пока любишь, конец любви – конец жизни.

Вся книга – вызов. Вызов судьбе, истории, русской литературной традиции, в которой торжествовала гоголевская “натуральная школа”. Наперекор вкусам публики и критики, наперекор социальным реалистам и декадентам последняя книга Бунина упрямо возвращает литературу к пушкинскому истоку, утверждая красоту, любовь и поэзию как высшие самодовлеющие ценности искусства и жизни.

Назло революциям, как град Китеж со дна Светлояра, встает с его страниц Россия – не похабная тюрьма народов, какой ее видели большевики, не благостное царство православия, какой она мерещится монархистам и патриотам, а неповторимое, причудливое соединение азиатской дикости с изощренной европейской культурой, мощи пространства и хрупкости человеческой судьбы, богатства, роскоши и неутолимой тяги к Божьей правде – живая Россия, которую он вызвал из небытия волшебной силой творческого духа.

На что он рассчитывал? Для кого писал?

Но оказался прав.

1995

Жила-была одна баба

Предисловие

Читатели газет – глотатели пустот… Это мы знаем от Марины Ивановны.

А читатели сценариев? Существует ли в природе такая диковинная порода читателей? Можно ли представить себе читателя в трезвом уме, который предпочтет сценарий прозе? Так называемая киноповесть – все равно сырье, полуфабрикат, промежуточный продукт. И возникает резонный вопрос: зачем публиковать сценарий, если есть готовое кино, по нему снятое?

Западная, по примеру американцев, сценарная запись, постепенно утвердившаяся и у нас, на наш чувствительный русский взгляд кажется сухой и голой: слева – действие, справа – диалог, протокол будущей съемки и ничего более, никаких эмоций, никаких прозаических красот. Такой текст интересен разве будущему режиссеру или продюсеру, нормальному человеку читать его скучно. Зато он куда практичней – считать деньги, которые понадобятся для постановки, по протоколу и проще, и естественней.

Стоит заметить, что жанр киноповести – чисто советский вклад в мировую культуру. Нигде в мире неизвестен этот странный симбиоз идеологической драматургии с лирикой. Наша сценарная школа традиционно косила под прозу. Она складывалась в тридцатые годы прошлого века с появлением звука в кино, точнее – речи, и со временем дала таких превосходных мастеров, как Евгений Габрилович, Екатерина Виноградская, Юлий Дунский и Валерий Фрид, Юрий Клепиков, Наталья Рязанцева, Александр Миндадзе.

Как и отчего возникло это устойчивое тяготение к прозаической оркестровке сценарного замысла? Навряд ли на заре отечественного кино драмоделы Дранкова и Ханжонкова писали под Толстого и Достоевского.

А кто заведовал кинематографом в эти самые тридцатые годы, когда созрела и заработала на полную мощь машина сталинского террора и тотального идеологического контроля? Кто был тот чиновник, который говорил последнее “да” или “нет”, решал, какому сценарию дадут зеленую улицу государственного финансирования, а какой отправится в корзину? Люди эти были или старые партийцы, вроде Шумяцкого и Малиновской, или кадровые чекисты, вроде Дукельского, в

идеологии бдительные, но в специфике нового искусства разбиравшиеся слабовато. А сценаристу, грешному, жизненно необходимо было этих партийных дубов заворожить, увлечь перспективой художественно яркой и идеологически девственной победы, сулившей награды и расположение пахана. Вот так и пришли в наше сценарное письмо и укоренились в нем лирические отступления и даже пейзажные зарисовки.

Руководителям, правда, бдительность не помогла – Шумяцкого расстреляли, Дукельский куда-то исчез, Малиновская, по слухам, сгинула в ГУЛАГе.

А сегодня… Я восхищаюсь высоким профессионализмом своих молодых коллег Андрея Звягинцева или Тимура Бекмамбетова, но мне за ними уже не угнаться. Снимаясь у Звягинцева, я с увлечением следил за тем, как он работает на площадке с секундомером в руках – длинный кадр со сложным движением камеры и сменой мизансцены уложен в голове у режиссера не только в пластический, но и в четкий ритмический рисунок. И это правильно, потому что позволяет сэкономить деньги и труд съемочной группы.

Сам я так работать не научился. Ирина Третьякова, замечательный второй режиссер, просчитав с секундомером наш режиссерский сценарий, сказала мне в ужасе: “Да тут не на два с половиной часа, а на все пять!” Мне пришлось признать, что она права. “Но ведь это означает, что мы кучу денег и усилий потратим зря, эти сцены не войдут в картину!” И тут она была права. Я объяснил, что после многолетнего сидения над сценарием выжат как лимон и не вижу, как сократить его до нужного объема, а добросовестные попытки других людей проделать эту работу за меня вызывают у меня приступы бешенства. Ирина поглядела на меня как на больного, вздохнула и сказала: “Ну, что же, будем работать по этому сценарию”[5].

В советском кино режиссер поневоле становился профессиональным лгуном. Если ты хотел снять что-нибудь, хоть немного отличное от обычной жвачки, ты должен был прятать свои намерения – писать одно, снимать другое, монтировать третье. Не показывать худсовету и парткому самые эффектные кадры, вставлять сцены, которые временно усыпят бдительность начальства, а потом будут выброшены. К несчастью, все равно приходил момент расплаты – сдача готовой картины, тут и начиналась катастрофа, борьба за каждый кадр, за каждую реплику…

Слава богу, сегодня эти уловки не нужны, цензура в российском кино приказала долго жить, и хотелось бы думать – навсегда[6].

Но путь от сценария к фильму по-прежнему долог, труден, извилист.

Я всегда с завистью и подозрением вспоминал классическое высказывание Рене Клера: “Мой фильм готов, осталось его снять”. Думаю, все же лукавил мастер с присущей его соотечественникам тягой к блестящей фразе. Потому что, как бы тщательно ты ни рассчитал метраж кадра, как бы здорово ни играли актеры и ни снимал оператор, в тот момент, когда ты соберешь снятый материал за монтажным столом, ты увидишь – все пропало, мелодия, которая была отчетливо слышна в сценарии, потерялась, она то пробуксовывает, то бормочет скороговоркой. Тебе предстоит пережить отчаяние от собственной бездарности, каждый день задаваться сакраментальным вопросом – где были мои глаза и уши на съемке этой сцены? Потом придется шаг за шагом избавиться ото всего, что не получилось и чего нельзя исправить монтажом или озвучанием, и, наконец, забыть сценарий. Забыть его, чтобы построить фильм.

Потому что у фильма своя мелодия, и ее нужно расслышать. Когда наконец сложатся несколько эпизодов и она вдруг зазвучит, все начинает меняться – концы и начала сцен, важное и второстепенное, линии, которые казались необходимыми, исчезают, а другие неожиданным образом переплетаются. Самый счастливый момент в этом мучительном процессе – когда ты перестаешь принимать решения, складывающийся материал ведет тебя, он сам меняет ритм и способ рассказа. Говоря современным языком, фильм рождается по мере того, как возникает принципиально иной способ подачи информации.

Перед вами первый законченный вариант сценария, записанный старым способом. Кому он может быть интересен? Киноведу, который любит сравнить фильм со сценарием, чтобы уличить режиссера в вопиющих проколах? Студенту ВГИКа или режиссерских курсов? Или просто любопытствующему чайнику?

Автор будет рад каждому читателю.

4.10.2011

Часть первая
Старый режим

За темными стволами сосен поблескивает вода. Над лесным озером курится туман.

В кустах на берегу показывается волк. Он бесшумно спускается к воде и жадно пьет. Раздается глухой удар колокола. Волк кидается в чащу.

Над водой разносится колокольный звон.

Там, на дне озера, стоят избы, крытые соломой, давно сгнившей. Водоросли колышутся в провалах окон. Течение слегка покачивает плетеную зыбку. Пятясь, выползает из прорехи рак.

Колокол на заросшей колокольне ходит из стороны в сторону.

В иконостасе храма плывет стая рыбок. Удар колокола вспугивает их.

Луч света сквозь толщу воды падает на черную, заросшую плесенью икону.

Плесень тает, проступает лик Богородицы с младенцем.

– …Боже пречистый и всея твари содетелю… – слышен голос священника.

Иван и Варвара стоят у налоя. Огоньки свечей выхватывают из полумрака лица шушукающихся баб, бороду мужика, осеняющего себя крестом. Хлопает дверь, шелестят на ветру бумажные цветы на голове у невесты.

– …Подаждь рабом твоим сим Иоанну и Варваре живот мирен, долгоденствие, целомудрие и сподоби я видеть чада чадов…

Священник надевает медный венец на голову Варваре. Булькает вода, капающая с потолка в переполненную бадью.

На клиросе переступают босыми ногами мальчишки-певчие. Один из ребятишек подставил другому рожки. Регент ухватывает его за ухо.

Глядя на них, Варвара смеется. Негодующе смотрит на нее отец Еремей. И в толпе замерли. Где-то хнычет ребенок.

– Устинья, унеси ты его, Христа ради! – рявкает священник. – Всю службу нарушаешь! Тихо там, Иродово семя!

Он соединяет руки Ивана и Варвары.

– Исайя, ликуй! Дева име во чреве и роди сына…

В сарае бабы готовят постель. На доски укладывают ржаные снопы, застилают их рядном, несут перину.

Тетка Чуманиха, всклокоченная, уже пьяная, обходит кровать кругом, сыплет по углам маковое семя. Стелют простынь.

– Обожди, не гони…

Чуманиха роется в торбе, находит яйцо и, мелко закрестив его, засовывает под перину. Из кучи подушек выбирает одну, задирает простыню.

– Жопу горушкой. А то ишо промахнеть…

Бабы, смеясь, укладывают подушку, приносят лохань и утирку.

– Готово, матка.

Все смотрят на Чуманиху. Феклуша, сестра хозяина, сухая старая дева, наливает водки, подносит с куском пирога.

Чуманиха обходит постель, осеняя ее веткой рябины:

– Ангеле и все святые чудотворцы, Нифонт и Мароф, Киприян, Устинья, Конон Исаврийскай, Димитрей Ростовскай, Илья Пророк, Микола Чудотворец, Егорий Победоносец и царь Давыд, Иван и Власий и Никита Великомученик, и моя слова

страшно и заговор силен, от Исусова Кряста, от Хрястовой печати, от святых помощи, отыди бес нечистай, дух проклятай на сухия древа, на мхи и болоты, от врага супостата…

Бабы в страхе крестятся.

В сумерках работник Гришка открывает ворота. Девки у крыльца поднимают крик:

– Привязли! Привязли!

Иван спрыгивает на землю, поднимая фонтан брызг. Он берет Варвару в охапку, несет к крыльцу.

Появляется Баранчик с иконой в руках, Феклуша в вывороченной шубе держит блюдо с зерном. Из-за ее спины с робкой улыбкой выглядывает Евсевна, мать Варвары.

Клашка, одна из девок, громко затягивает, остальные подхватывают:

Золото с золотом свивалося,
Жемчуг со жемчугом сокаталися,
Да Иван и Варвара сходилися,
За единый стол становилися.
Наша-то золото поярче да полутче…

Иван бросает на ступени овчину, ставит Варвару. Оба опускаются на колени. Баранчик делает в воздухе крест иконой.

– Благослови Боже!

Молодых осыпают зерном и хмелем. Евсевна плачет.

На улице мокнут лошади, телеги. На одной волчком вертится, ругаясь, инвалид без обеих ног. Подбегают двое мужиков, подхватывают его на руки.

– А ливенку-то!

Они забирают гармонь и бегом тащат безногого в дом.

Девки, тесно сбившиеся на дальнем конце стола, ведут нестройным хором:

Мине батюшкин хлеб
Есть не хочется,
Его хлеб полынь пахнет,
Темной горькою горчицей
Отзывается…

В избе стоит туман, розовый от заката. Окна облепили снаружи ребятишки и бабы. Мужик теребит парнишку-

балалаечника:

– Матаню давай, матаню!

Феклуша снует у столов, за ней хвостом ходят две бабы, Матрена и Крячиха.

– Стюдень с потрохов тута, поросеночек… Матренка, башка дурья, а курник? Курник самый и позабыли!

Бабы со стоном кидаются за курником.

С Баранчиком сидят солидные мужики, отец Еремей, дьякон Левонтий.

– …На кой он нужон, депутат? Сидять, гутарють на казенном жалованье. А моя покамест обратно двух девок принясла…

– Зямли от ей все одно не дождешься, от думы энтой…

– Гнать их, дармоедов.

– Прежних-то разогнали, а толку? Нешто новые лучше?

– Нонешний год грех жаловаться. Уродила, дай бог…

– А цана? Один убыток.

– На хлебушко Господь цены строить… – строго замечает старик Лыков, осеняя себя крестом, и все вздыхают, крестятся за ним.

Бабы разглядывают Варвару.

– Да ты поплачь, девка, не стыдися, – советуют ей. – Слезами умоесся – сердечку-то и веселей…

Варвара застыла как истукан, сложив на коленях руки, не поднимая глаз. У Евсевны интересуются:

– Волос у табе, матка, темнай, а дочкя белявая, ровно чухонка. Отчегой-то?

– Уж так Господь дал… – вздыхает она.

У крыльца сгрудилась толпа баб и ребятишек. Поют двое нищих, им подтягивает местный дурачок Мартынка в бабьем салопе:

Сохрани и помилуй,
При путе при дороге,
При темной при ночи,
От бегучего от зверя,
От ползучего от змея,
Всех от скорби, от болезни,
Мать пречистая царица,
Святый Петр и Павел,
И Кузьма со Демьяном…

Слепой приземистый оборванец держится за локоть костлявого мужика с длинными, как у попа, волосами.

– Чего развылися, как по покойнику? – Феклуша сует им пирогов и селедок. – Свадьба тута, гуляють…

– А по такому прякрасному случаю! – наглой скороговоркой подхватывает длинноволосый. – Прикажи, хозяюшка, водочки православным божиим людям…

Слепой берет стопку, кланяется, бормочет тусклым голосом:

– Телесам на здравие, душам вечное спасение, грехам на прощение…

– С законным браком! – орет длинноволосый. – Дай Бог хер поширше, целку потесней, штоб играла да пела, только б не скрыпела…

В горнице безногий растянул свою ливенку с лихим перебором.

– Матаню давай! – кричат ему.

Старший сын Баранчика Егор, уже порядком пьяный, втискивается на лавку к девкам:

– И-эх, красны дявицы, пирожныя мастерицы! Раздайсь, голожопыя!

Они визжат, пихаются, сваливают его на пол.

– Ступай свою тискай, чорт плешивый!

В сенях толкучка, одни выходят, другие заходят. В толпе парней выделяется Аниска, смуглая, сильно нарумяненная бабенка в яркой шали.

Иван встает с места, пробирается к двери. Всё покрывают переборы матани. Девкам не стоится, они притопывают на месте.

Краем глаза Варвара видит, как в сенях Иван разговаривает с Аниской. Смеясь, блестя зубами, она отсыпает ему жменю семечек. Молодой мужик с бутылкой в руках пляшет и орет:

Нонче праздник, водку пьем,
Завтре по миру пойдем,
Вы подайтя, Христа ради,
А то лошадь уведем!

Аниска поворачивается к парням и что-то говорит с ухмылкой, они гогочут. Иван бьет ее наотмашь. Слышен звон разбитого стекла, гремит упавшее ведро. Истошно визжит Аниска:

– Убивают, православныя!..

В горнице стоит невообразимый шум – топот каблуков, переборы ливенки и пронзительный голос Клашки:

…Приезжали к мине сваты
На хромой кобыле,

Усю приданую забрали,
Мине позабыли…

В сенях поднимают плачущую, с разбитым в кровь лицом Аниску.

– И-эх, нажаривай!

Безногий, приклонив к мехам отрешенное, потное лицо, лихо переходит с матани на кадриль.

Мой сад-виноград,
Зеленая роща.
Дак кто ж виноват,
Жена али теща?

Иван садится на место. Его окликают бабы.

– Пироги, говорю, горечь одна!

– Ай с полынью? Дюже горько!

Покрывая все голоса, вступает басом дьякон Левонтий:

– Го-о-орька-а-а!

Варвара встает, подставляет лицо. Иван легонько целует ее.

– Пора молодых весть отдыхать-почивать, – говорит Чуманиха.

Бабы обступают молодых. Феклуша приносит лампу.

– Бослови, батюшка. Бослови, Трофимыч…

Баранчик послушно говорит:

– Бог бословит.

– Не пойду… пуститя… – упавшим голосом бормочет Варвара и заливается слезами: – Боюся, мамка-а..

Под общий хохот бабы уводят рыдающую Варвару и Ивана.

– Небось, он табе не покалечить…

– У храме ее смех береть, в постелю иттить плачеть…

Бабы закрывают скрипучую дверь сарая, лязгает замок, голоса и смех затихают.

На подушках виднеется голова Варвары с пробором и заплетенной косой. Она дрожит, одеяло натянуто до самого носа.

Иван лузгает семечки, глядя на улицу в щель между досками. Жалобно взвыла собака, слышится топот босых ног. Он снимает пиджак, стаскивает сапоги.

Вздыхает корова в хлеву. Приглушенно доносится гармошка.

Глаза Варвары зажмурены, руки, сжатые в кулаки, прикрывают грудь. Он пытается сдвинуть их, она не дается. Иван недоуменно смотрит, ухмыляется:

– Али в карты сыграть?

Она убирает руки. Он задирает подол ее рубахи, ложится на нее. Она покорно лежит, отвернув лицо, вздрагивая от его прикосновений. Скрипит кровать.

Она чувствует, что он застыл. Варвара косится на него и зажмуривается, наткнувшись на недобрый подозрительный взгляд.

Подхватив портки, он соскакивает на землю. Она слышит, как он сворачивает цигарку и вдруг негромко свистит.

– Тута я… – шепчет кто-то.

С повети прямо над Варварой торчит из сена чумазая физиономия Тимохи, Егорова сына. Охнув, Варвара прячется под одеяло.

– Тащи водки, – говорит Иван.

Он курит, на Варвару не глядя. Со двора доносится ругань, визжат бабы, там закипает драка. Доска сдвигается, в дыре появляется штоф, за ним миска.

– На кой энто?

– Стюдень.

– Вали отседа, а то поймаю.

Он запрокидывает бутылку, пьет.

Когда Варвара решается высунуться из-под одеяла, он стоит у кровати, угрюмо уставясь на нее. Он сдергивает одеяло и, взявшись за вырез, разрывает на ней рубаху. Он грубо, с остервенением ласкает ее. Вдруг она чувствует легкость.

Сидя в ногах кровати, он с яростью бьет кулаком по деревянной спинке.

Кровать с треском разваливается, оба оказываются на земле. Откуда-то сверху с клекотом срывается петух.

Иван берет бутыль, бормочет:

– А блядовать будешь – зарежу…

В щели сарая пробивается холодный рассвет. Вода в лохани покрылась коркой ледка.

Завернувшись в одеяло, стуча зубами, Варвара забирается в дальний угол, садится на корточки, мочится. Иван храпит на сене, раскинув ноги под овчиной.

Рыжий кот жрет студень, забравшись передними лапами в миску. Он замирает, облизываясь, готовый удрать.

Варвара присаживается рядом и жадно ест студень из горсти.

Под утро приснился Варваре сон.

Как будто стоит колодец не то на дворе, не то в поле, и потекла из него вода. Побежали по срубу струйки, вдруг

выплеснулась волна, сорвала дощатую крышку и хлещет, заливая все вокруг…

И Варвара проснулась.

– Ох, грех, грех… чуяла моя серца. И куры, окаянные, всю ночь шабаршили, спать не дали…

Посреди сарая стоит Феклуша, хмуро оглядывая поломанную кровать, снопы, перины и подушки на земле.

Иван просыпается, садится. Притулясь к его боку, лежит в сене Варвара.

Феклуша принесла куренка, нагнулась к бревну, тюкнула топором. Подождала, пока он трепыхался, и стала кропить простынь цыплячьей кровью.

– Купил дуду на свою бяду… – проворчала она. – Чего космы-то распустила? Вставай, княгиня молодая. Бери ухват – да к печке. Погуляли, будя…

Девка гонит козу по улице и застывает, открыв рот, уставясь за ограду.

На дворе Феклуша развешивает на веревке наволочки, перину, простыню с багровым пятном.

Варвара моет полы в избе. Она выпрямляется, смотрит в окно на простынь, хлопающую на ветру.

В сумерках мужики молотят просо на току. Феклуша собирает в мешок провеянное зерно. Клочья дыма тянутся из раскрытых ворот овина. Налетает ветер, мужики отворачивают лица.

– А Чукановым-то делиться вышло, – говорит Егор, ни к кому не обращаясь.

Работник Гришка оживляется, опускает цеп:

– То-то Степка, старшой, вчерась в трахтере шумел, мадеры спрашивал…

Под взглядом Баранчика он принимается за работу. Угрюмый Иван стучит как заведенный.

Панька, старшая сноха, сбрасывает на землю снопы, кричит, дуя на пальцы:

– Люди давно шти хлебають, шабашить пора!

Никто не откликается. Мерно ударяют цепы.

На крыльце громко топают, ухнула дверь, слышится затрещина.

– Куды прешь, бесененок, пралик тя расшиби!

Варвара выскочила в сени:

– Сестрица, не шумитя, погодитя, Христа ради!

– Ай спить кто? – удивилась Панька.

– Хлебы спужаются…

С багровым лицом, крестясь и бормоча себе под нос, Варвара вынимает горячий хлеб из печи.

– Нешто слово знаешь? – подозрительно спрашивает Панька.

– Я вам опосля скажу… – бормочет Варвара.

Тимоха уже за столом, стучит ложкой. Баранчик дает ему легкий подзатыльник, тот послушно вскакивает, крестится.

– Очи всех на тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении…

Варвара принесла хлеб, положила перед Баранчиком, стала ни жива ни мертва.

Перекрестив ножом каравай, он отрезает краюху, нюхает пар. Поднялся, протянул деду на печь:

– Кушайте на здоровье, папаша.

Баранчик потянулся к чашке с кулешом, за ним остальные. Распробовал горячее хлебово, покосился на Варвару:

– А сама?

– Напробовалася… – бормочет она.

Чашка быстро пустеет. Варвара тащит самовар.

Панька говорит:

– Ярка белая чегой-то захромала… поглядите, батюшка.

– Чего ты там давеча про Чукановых болтал? – спрашивает Баранчик.

– Да энто я так… – ухмыляется Егор. – Крячиха сказывала, Степку вроде отец отделяеть вчистую…

Баранчик, со смаком хлюпая, тянет горячий чай. Феклуша разливает.

– А не сказывала Крячиха, почто они в мясоед одну репу трескають?

– Да будеть вам…

– Пока старик их дяржал, им в пояс кланялися. Первые богачи были. А помер старик, бабы передралися. Таперя заместо одного двора справного – два, один худей другого… Всё бабы, от их вся зло, от баб…

Панька смеется. Иван уставился в пол.

– Думки твои мне известные… Ступай-кось, Чалому овса засыпь. Завтре картошек на базар повезешь. Панькя с тобой пойдеть.

– А стряпать? – спрашивает Панька.

– Вчерась я стряпала, завтре ейный черед, – подтверждает Феклуша.

– Череду не надо. На стряпню Варькя станеть. И боле никто.

У Феклуши темнеет лицо.

– Энто как же, Яков Трофимыч? Неладно выходить…

В сенях оборачивается Егор:

– Для чего, папаша, других баб обижать?

– Делай чего велено… – Баранчик косится на Варвару: – Подь сюды.

Он стирает пот, не торопясь, достает кошелек, выкладывает медяки.

– Одиннадцать копеек… Завтре в лавку сходишь. Сома соленого возьмешь да цыбик чаю. Копейку он мине должон…

Под взглядами баб Варваре хочется провалиться сквозь землю.

Вздрагивает красный огонек лампады в кивоте, хлопает дверь. Баранчик принес ярку, опустил ее на пол возле печки.

Феклуша на коленях бьет поклоны. Храпит Егор, во сне вскрикивает Тимоха.

Лежа на полатях, Варвара смотрит в темноту. Рядом ворочается Иван.

Скрипит кровать под тяжестью Баранчика.

Перегнувшись через Варвару, Иван спрыгивает на пол. В сенях он сует ноги в валенки.

Феклуша, вскочив, прилипает к окну. Баранчик приподнимает голову с подушки.

На дворе Иван заводит лошадь в оглобли. Подходит Баранчик:

– А ну, вертай коня на место.

Иван молча делает свое дело, проверяет гужи, затягивает седелку. Кончив возиться с упряжью, открывает ворота и говорит:

– После погутарим. А то так уйду.

Баранчик качает головой, бормочет угрюмо:

– Ирод турецкай, булгак, весь в матерю покойницу…

На Михайлов день Баранчик на дворе подрезает кабанчика.

В фартуке, весь в поту, с голыми волосатыми руками, он работает с удовольствием, неторопливо и ловко. На завалинке дед щурится на тусклое солнце. Увидев Варвару с миской каши, он замычал, заволновался.

– А я табе кашки запарила слатенькой… Да не бежи, дедунь, никто не отыметь…

Псы ворчат, вздрагивая от возбуждения, не сводя глаз с Баранчика. Он ухмыляется, поглядывая на старика.

– Энто он теперя тихой, как голубь, Трофим Яковлич. А был – чистый зверь. Как напьется, мы по суседям ховались с сестрой. Из прясла кол вынеть – и пошел махать. А именья своего – вша в

кармане да блоха на аркане, всю жисть в батраках…

Феклуша наливает свиной крови в стакан, в другой – водки. Обтерев руки, Баранчик крестится, пьет водку, запивает кровью. Феклуша протягивает стакан Тимохе, тот с отвращением кривится.

– Какой ты мужик в таком разе? Варьке поднеси…

Варвара с удовольствием вытягивает стакан до дна, облизывает губы, кланяется:

– Благодарствуйте, батюшка.

У ворот останавливается телега с лошадью. Баранчик поднимает голову:

– А кучер иде же?

Варвара выскакивает на улицу, оглядывается по сторонам, заводит лошадь на двор.

Баранчик качает головой:

– Иде ж он его мотал? Энтому коню сколь ума вложено – Ваньке бы малость призанять. Не поскупился Господь, ума дал как енаралу. Выводи его да напои…

Пошарив в телеге, Баранчик вытащил из-под дерюги овчину и два мешка. Он пощупал овчину, развязал мешок, обнаружил в нем овес.

Тут появился Иван. На негнущихся ногах он зашел в калитку. Лицо у него было разбито, напухший глаз сочился кровью.

– А вот и кучер пожаловал…

Иван, не говоря ни слова, шагнул в сарай и завалился в сено. Баранчик пришел следом:

– Полежи, полежи, охолонися. Може, в башке твоей провеется маненько…

Варвара, с лошадью на поводу, сунулась в сарай:

– Батюшки, рубаху-то скидай, все пельки оторвали! А глаз-то, глаз!

– Проморгается, – сказал Баранчик.

– Вина дай, – велел Иван.

Дождавшись, пока она отошла, Баранчик тихо, со злобой заговорил:

– Пошто же ты девку страмишь, дурень? Привел жану, а сам к Аниске? Али силом на табе хомут надели? А свадьба энта? Сколь добра первели, коня на энту цену купить… А овес откуль?

– В трахтире, хохлы в Усмань торговать ехали… А пущай зевло не разевают.

Варвара принесла водку.

– Воровать-то грех, ай не слыхал? – Баранчик подмигнул Варваре. – Чего ж мало взял? Овес добрый…

Егор дремлет на лавке. Феклуша читает, бабы и Баранчик слушают, лузгая семечки.

– …Мнози бо зверие в той пустыни тогда обретахуся. От них же един зверь, рекомый аркуда, еже сказается медведь, иже повсегда обыче приходити к преподобному…

Соседка Крячиха переспрашивает:

– Ведмедь, что ль? Страсти какия…

– …Иногда же блаженный сам алчен бываше, аще и един кус хлеба обреташе у него и то перед зверем оным пометаше…

– Чаво?

– Ведмедю давал, а сам голодный сидел, – сердито объясняет Феклуша.

Крячиха вздыхает, накидывает платок на голову:

– Вот оно, святые-то люди как жили… Будя, побегла к свому ведмедю…

– Давай-ка, бабы, по углам, – кивает Баранчик. – По сено ехать с ранья…

Убрав со стола, Варвара постелила овчину на сундук и улеглась. Феклуша стала на молитву. Баранчик собрался задуть лампу, но, поглядев на Варвару, насупился.

– Энто дело неподходящая, – сказал он. – Вставай.

Она поспешно села.

– Он, конешно, дуролом. Брага в ём молодая ишо киснеть. А ты на свою сторону гни. Ты – баба, твоя места тама, где твой мужик, тверезый он али пьяный…

В сарае было темно и тихо. Варвара помолчала, потом пролепетала:

– Мине папаша велели сюды итить…

Спичка на мгновение осветила лицо Ивана. Варвара подождала, пока он закуривал, и полезла на сено. Набравшись храбрости, она сказала:

– Иван Яковлич, ежели ты со мной жить не хочешь, лучше я до мамани ворочуся.

Он приподнялся на локте, схватил ее за лицо, больно сдавил. Варвара сжалась, ожидая удара, но он не ударил, только смотрел на нее угрюмо. И вдруг выпустил.

Иван заворочался, зашуршало сено. Рука его легла на грудь Варвары.

Она осторожно подвинулась поближе. Потом она услышала храп.

На Николу Зимнего бабы собираются в церковь. Панька летит от печки к зеркалу и натыкается на Тимоху.

– Куды, чорт окаянный, своротил мине усе!

Баранчик недовольно косится поверх очков:

– Ты бы хуч в праздник-то без чорта…

Тимоха, схватив зипун, налетает в дверях на Егора.

– Стой, дьявол!

– Тьфу, нехристи, черти вас забирають! – не выдерживает Баранчик.

Тимоха, уже с улицы, кричит:

– Сёдни ж Микола кузнец в колокола играть будеть!

Феклуша рассказывает Варваре:

– С городу приезжають его слушать, кузнеца. У нас колоколов один большой, четыре младших и два трезвончатых. Дак он с переливами, такой затейник…

– Запрягаю, што ль? – говорит Егор.

– Карьку не трожь, пущай отдыхнеть.

– Дай снарядиться-то! Не на пожар, чай! – кричит Панька.

Варвара ревниво следит за ней исподтишка – Панька куда ее нарядней.

– Яички-то позабыла! – всплескивает руками Феклуша. – Варькя, ступай собери яичков, отцу Еремею снесть. Чевой-то он дюже неласковай…

Егор вытянул из сарая сани, пошел в конюшню.

Жеребец лежал на боку в соломе. Над ним на корточках сидел Иван.

– Вишь, вода гнилая идеть с храпу, – сказал он, поднимая голову. – Я недоглядел. Вчерась, как с лесу приехал… Застудился Карькя.

– Варькя поила?

– Уж ты смолчи, – попросил Иван.

Подобрав подол, Варвара зашла в курятник и попала в объятия к работнику Гришке.

– А я табе давно стерегу, касатка ты моя белоглазая, потолковать хочу с такой бабой… – шептал он, целуя ее в шею.

Варвара отшвырнула его, он врезался в стену и упал. Куры подняли переполох.

– Ах ты, поганец! – Она гадливо отерлась. – Ивану скажу, он табе живо ребра переломаеть…

– Для кого бережешься, невеста без места…

– Вань! – позвала Варвара.

Гришку как ветром сдуло. Она принялась собирать яйца.

Кто-то затопал на крыльце, послышались голоса, закричала Панька. Варвара выглянула наружу и увидела Баранчика,

бежавшего по двору. Она поспешила в конюшню.

Баранчик, стоя на коленях, держал морду жеребца. Бока лошади поднимались и опадали с хрипом. Желтоватая пена сочилась с губ.

– Может, за Матюхой слетаю? Мигом! – дернулся Егор.

Баранчик встал и вышел на двор, ни на кого не глядя.

– Кто его вчерась поил? – спросил он хрипло.

– Бейтя, – сказал Иван.

Все услышали, как Баранчик скрипнул зубами.

– Ну, Ванькя…

Феклуша обернулась к Варваре:

– Она его поила и вываживала. Чего молчишь-то?

– Варькя самая и есть, – подтвердила Панька. – Я от Крячихи прибегла, как раз она его поила, Карькю…

Баранчик шагнул к Варваре и ударил кнутом.

Она вскрикнула, выронив решето, и кинулась бежать. Он догнал ее и бил без остановки, входя в раж. Она упала. Наконец он выдохся и, отшвырнув кнутовище, пошел в избу.

– Гля-кось… – Панька наклонилась над Варварой. – Они ей всю лицо расквасили…

Феклуша качала головой:

– Такую лошадь загубила!..

– Сама виноватая, – вздохнула Панька. – Наказывали табе батюшка: выводи хорошенько…

Подождав, пока они ушли, Иван взял Варвару за плечо. Она отбросила его руку и глянула с такой ненавистью, что Иван опешил.

Баранчик полез в буфет, достал стакан, бутылку, налил. Выпил и стоял, глядя в пол.

За окном слышался колокольный перезвон. Панька шепнула:

– В церкву-то пойдем, али как?

Феклуша отмахнулась: погоди, мол, сама видишь. Иван достал кисет, вышел в сени.

На крыльце он свернул цигарку, собрался закурить. Тут он заметил, что Варвары на прежнем месте нет.

– Варюха…

Никто не откликался. Он сошел с крыльца, заглянул в конюшню, в курятник. Ему почудился шорох, он прислушался. Взгляд его скользнул вверх к слуховому окошку сарая. Он кинулся в сарай.

Варвара, взобравшись на бочку, ладила петлю на веревке, захлестнутой за стропила. Услышав шаги, она заторопилась, сунула голову в петлю и прыгнула, но Иван успел поймать ее за ноги.

– Егорша! – закричал он.

Варвара кричала, билась в его руках, пыталась достать его кулаками.

– Не хочу, не хочу! – кричала она.

Прибежал Егор и, мигом взобравшись на балку, обрубил веревку.

Иван поставил Варвару на землю, она продолжала рваться, дралась. Он толкнул ее, она полетела в сено.

– Ай, грех какой, страмотища! – ахала Феклуша. – Ну, поучил тебе батюшка, дак уж и давиться! В праздник ишо!

Варвара сидела с веревкой на шее, обхватив колени, отвернув к стене разбитое лицо.

На пороге появился Баранчик.

Панька сообщила:

– Удавиться хотела… Вишь, какая гордёна.

– В церкву ступайте, – сказал Баранчик.

Он подождал, пока ушли все, кроме Ивана.

– Ступай, давися, – сказал он Варваре. – Встрявать не стану. И ему не дам.

Варвара угрюмо глядела в угол.

– Табе откель взяли? Ежли весь ваш двор продать с матерей в придачу… Ведь бедность голимая! А коню энтому двести рублев цана, не мене… Я тута хозяин, тута все в моей воле ходють. И ты ходить будешь.

Он повернулся и ушел. Трезвонили колокола.

В облаке пыли ползет по проселку телега. Баранчик, весь черный от пыли и пота, сидит в передке. За поворотом открывается река, желтеющее поле в низине.

Косцы обедают. Трещат кузнечики, да лук хрустит на зубах.

Подходит Баранчик, берет литовку, точит.

– Али вы тут ночявать собралися?

– Живоглот вы, папаша, – говорит Егор, налегая на картошки. – Полнивы какую с ночи размахали…

Баранчик мерно взмахивает косой. Встает Иван, поднимаются бабы.

Варвара вяжет сноп.

Скрытые по грудь во ржи, ровно, уступом идут косцы. Солнце вспыхивает на лезвиях кос.

Мошка тучей стоит у морды лошади, она отфыркивается. Варвара дремлет в телеге.

В ограде хутора топчутся, взбивая пыль, бесчисленные овцы. За колодцем виднеется крыша огромного шалаша. Отпихивая

овец, Иван идет через двор.

Иван стукнулся головой о бревенчатый накат потолка. Низкая горница теряется в полутьме. По всей стене тянулись нары человек на двадцать.

– Тута, што ль, уваровского купца зарезали?

– Когда то было, при царе Косаре…

На лавке сидит Дёма Цыган, перед ним бутылка и миска с огурцами. Разговаривает он лениво и нагло.

– Гляди, Трофимыч, ему щяс деньги позарез. Он в Танбове магазины купил, мы таперя ссыпкой будем заниматься. Ему это все с рук сбыть скорей. Гляди, перебьють, вон барин с Кирсанова другой раз ездиить…

– Капитал не дозволяеть, – бормочет Баранчик.

Дёма ухмыляется язвительно:

– Энто табе-то не дозволяеть? Куды ты их бережешь? Чертей на том свете поить?

– Сказал – цана несходственная. – Баранчик сердится. – Куды эвто? Одни облоги…

– Да они золотые, облоги-то! Ай сам не знаешь? Сюды назёму натолчёно – обоз немереный. Облоги энти взодрать да овсы пустить али ячменю – какие тыщи взять можно!

– Сам-то когда будеть? – спрашивает Баранчик.

– Сам-то? Вот гурта отгоним в Борисоглебск, после на ярмонку нам иттить. К Медовому Спасу должон быть, беспременно…

Дёма провожает Баранчика через двор, забитый блеющими овцами.

– …Они его в колодец бросили, купца, а он, не будь дурак, оттеля вылез. Они его в ножи. Вон тама в риге и откопали…

Варвара сладко потянулась в телеге.

– Энто чия такая будя, кобылица молодая? – спрашивает Дёма. – Твоя, Иван?

– Моя…

Варвара хмурится, дергает платок пониже на лоб. Они садятся в телегу.

– Хозяину-то чего сказать? – спрашивает Дёма, не сводя глаз с Варвары.

– Думать надоть… Пущай ишо сбавляеть.

Дёма ухмыляется, скаля белые зубы, кричит вслед:

– Дак я с табе много не возьму, не пужайся! Две красиньких да ведро вина поставишь, а?

Смеркается. Телега спускается с холма. Иван косится по сторонам:

– Вишь, ловок Цыган… Да тута холку сотрешь яруги энти пахать.

– Эх, Ванькя… – хмуро вздыхает Баранчик. – Он дело говорить…

На мостках стирка, бабы стучат вальками. На берегу сидит старуха Бзыря, мусолит черный сухарь в беззубых деснах. Баба по прозвищу Трынка спускается к мосткам.

– Здорово ночевали, деушки. А я, вишь, как припозднилася со скотиной…

Они расступились, давая ей место. Домашка Слизниха при виде Трынки насупилась. Та опустилась на колени и стала вытаскивать белье из чугуна, в упор разглядывая Вар– вару.

– Чтой-то ты тихая нонче, – сказала Крячиха. – Али с похмелья?

– Мужик, леший, косой порезался, а пока я с им валандалася, козел все бураки помял…

Трынка все смотрела на Варвару:

– А на погляд ничего не видать. Девка и девка. Правду, што ль, гутарють, Ванькя с тобой не живеть?

Она спрашивала с беззлобным любопытством, и Варвара, не зная, что сказать, опустив голову, стучала вальком. Клашка засмеялась:

– Мужик не гораздый, так свекор-батюшка приголубить…

– Трофимыч-то? Энтот шустрый, только отвернися…

Варваре стало обидно за Баранчика.

– Папаша… – выдавила она, – они справедливыя…

Бабы заржали.

– Уж наведался! – заливалась Клашка. – Баба Бзыря, скажи, а снохачи прежде были?

– А то!

– Али плохо? – ухмыльнулась Трынка. – Сперва свекор побалуеть, опосля мужик придеть, полировку дасть…

Домашка сердито плюнула:

– Тьфу, нечисть! Да я б ему всю рожу раскорябала, только б сунулся!

– Ты, Домашка, дюже гордая, – с невинным видом сказала Трынка. – А то бы приманула, уж отвалил бы Баранчик пятак за твои стропилы…

Бабы захохотали.

– Видал татарин во сне кисель, да ложки не было! – заливалась Трынка.

Домашка вскочила и спихнула ее в воду. Трынка вылезла, вцепилась в волосы Домашке. Началась драка. Бабы разнимали

их, смеясь.

– Лягушка безхвостая! Доска неструганая! Утоплю, как кутенка!

Порядком помятая, Домашка, давясь слезами, схватила белье и ушла. Трынка отжала рубаху и, принявшись за стирку, опять пристала к Варваре:

– Неужли так целкой и ходишь? Ты ба к Чуманихе сходила…

– Ванькя-то с виду жеребец, – заметила Клашка.

– Он к Аниске ходил, она его не корила. Значить, справный, можеть по кобелиному делу займаться…

– А чего ж своих курей не топчеть?

Бзыря задумчиво сказала:

– А кто их, дьяволов, разбереть, какого им рожна надоть…

Варвара смеялась со всеми, радуясь, что от нее отстали.

Крячиха спросила:

– А ты слухала, как он ссыть? Неужли матеря не сказывала? Да у нас энто кажная девка знаеть! Мужик должон ссать, как конь, штоб кипела, горох с кусту сшибать должон. Тады он и табе нажарить не хуже жерябца. Ты послухай.

Вальки опять застучали.

– Ссыть он крепко, – робко сказала Варвара.

Бабы дружно покатились со смеху.

На дворе стояла лошадь, запряженная в телегу, тыквы навалены горой. Варвара с мытым бельем в пехтере зашла в калитку.

Ей послышались голоса в амбаре. Она хотела заглянуть туда, подошла, но, прислушавшись, застыла.

Оттуда доносился горячий шепот, возня и сдавленные стоны.

От летней кухни тянуло дымом, пыхтел котел, роняя пену. Варвара сняла его с огня и убежала в избу.

Стукнула дверь. Из сеней влетела Панька, разгоряченная и растрепанная:

– Ты пошто к печке совалася? Чего ты тама позабыла?

Варвара сделала вид, что роется в белье.

– Дак я…

– А энто што? Сам он туды прыгнул?

В руке у Паньки была дохлая мышь. Она схватила Варвару за волосы и стала таскать туда-сюда.

– Ты пошто мине мыша в котел поклала? Ах ты, подколодница, анчутка белоглазая!

И сунула мышь ей за вырез рубахи. Варвара взвыла как ужаленная, вырвалась и вытрясла мышь на пол.

– А я-то, дура, все не смекну! У мине молоко давеча вся скисла, заутре доенная! Принесла, поставила на одною минуточку…

Баранчик зашел в сени, черпнул воды и стал жадно пить. В его присутствии Варвара совсем потерялась, она боялась взглянуть в его сторону.

– За что же вы на мине напраслину говорите… – лепетала она.

Панька только рассвирепела:

– Вишь, тихоня! Люди-то недаром гутарють, что глаз у ей урочный…

– Закрой мельницу, – сказал Баранчик, переводя дух, и покосился на Варвару: – А ты чего терпишь, овца безхвостая? Отбрехаться не умеешь?

В сарае для скотины Варвара убирала навоз.

– Чего там ишо? Обратно не поделили?

Иван пришел с поля.

– Подь сюды…

Она покорно подошла, стала перед ним. Он разжал кулак – на ладони у него лежали маленькие сережки.

Уронив вилы, она подняла на него растерянный взгляд. Обтерла руки, осторожно взяла сережку. Камешек блеснул розовым огнем.

В горнице умывался Егор. Заглядывая в зеркало из-за его спины, Варвара никак не могла попасть в дырку в мочке уха. Наконец попала, повела головой и, счастливая, повернулась к Ивану:

– Ой, Вань…

Феклуша с Панькой замолчали и тоже смотрели на Варвару.

– Небось, полтину отдал, не мене, – сказала Феклуша.

Баранчик, с сапогом и шилом в руке, глянул поверх очков:

– Ай с твово карману?

Варвара стала собирать на стол. Про сережки она не забывала, двигалась неторопливо, плавно.

У ворот кто-то кричал. Феклуша глянула в окно:

– Странница, што ль? Варькя, поди, вынеси хлебушка…

Варвара с краюхой хлеба в руках открыла калитку.

Евсевна с палочкой беспокойно оглядывалась на собак. Увидев Варвару, она вся расплылась счастливой улыбкой и шагнула на двор:

– Доча, дите моя… Эвон какая ты стала! А я, вишь, в Киев ходила, дай, думаю, кровиночку наведаю… Чего ты?

Варвара всхлипнула, и слезы ручьем полились по ее щекам.

– Маманечка родная…

Евсевна хотела обнять Варвару, но та рухнула на колени, обхватила юбку и ее босые ноги.

– Золотая вы моя! Заберите меня отседова! Христом Богом молю, нету моих силов!

На крик все семейство вышло на крыльцо, и Евсевна перепугалась еще больше.

– Да окстися, страм какой, люди глядять! Господь с тобой, Варюха!

– Зачем вы мине взамуж отдали! – вопила Варвара. – Али я вам постылая? Ножки ваши цаловать буду, христарадничать пойду, только заберитя!

С крыльца хмуро смотрели на них мужики.

У церкви топчется народ. Из толпы нарядных девок и баб доносятся взрывы смеха. Дёма Цыган развлекает их байками, скаля белые зубы, и то и дело косится на Варвару.

Она чувствует его взгляд и старается в ту сторону не смотреть.

Мужики потянулись к кабаку.

– А сам-то что ж? – спрашивает Феклушу Крячиха. – В городу застрял?

– Не поспел. Видать, не управился…

– В городу-то в соборе нонче сам преосвященный служить…

Подходит Панька, спускает Васятку, дает подзатыльник Тимохе, отряхивает его:

– В дерюге табе ходить! Домой ступайте…

Она спрашивает Феклушу:

– Вы на кладбище-то пойдете?

– Ишо вон святить не начинали, а дома-то делов…

– Без вас управим. Мы вона с Варькей…

Она подмигивает Варваре. Та с удивлением косится на Паньку.

– Ступайте вон лучше с Крячихой, поплакайте да яблочков на могилки положьте…

Когда Крячиха отворачивается, Панька говорит Феклуше:

– Слыхали, чего бабы брешуть? Папаша вроде Сухалёв хутор купили… Энто где уваровского купца зарезали?

Феклуша в страхе крестится:

– Спаси Христос! Место клятое, кабы чего не вышло…

На углу Панька сворачивает в сторону от дома.

– Куды?

Она тянет Варвару за собой, смеется:

– Ах ты тихоня белоглазая… Дёмка Цыган на угощенье звал.

– Да Иван узнаеть – убьеть!

– Невелик грех – в гости зашли, стакан вина выпили. Праздник же.

Панька, оглянувшись, зашептала со смехом:

– Влюбился в тебя Дёма, пристал как смола, полтора рубля обещался дать… Мужики в трактире, все одно пьяные придуть. Он не обманеть, Дёма, он до баб лютый! Дурой-то не будь, сразу не ложися, сперва денежки.

– Пустите мене…

Панька разозлилась:

– Ишь, богачка какая! Авось не лужа, хватить и мужу! Поди их заработай, полтора-то цалковых!

Варвара вырвалась и побежала. Панька закричала ей вслед на всю улицу:

– Боисся, что люди порчу твою увидють?

Посереди двора в пыли на солнце храпел Баранчик в пиджаке и сапогах. Рядом с ним стояла нераспряженная лошадь с телегой.

Варвара стала тормошить Баранчика:

– Вставайте, батюшка, Яков Трофимыч, страмота! Люди скажуть, хозяин разлегся на дороге, как бродяга какой…

Он открыл глаза, приподнялся, он был пьян и мрачен.

– Пойдемте, батюшка, я вас на постелю отведу…

На кровати он тут же захрапел. Она стащила с него сапоги. Вдруг он сел, рванул ворот рубахи.

– А не хошь волку на холку? – Он показал кукиш. – Баранчик-то ишо сам кому хошь рога сломить…

– Да ляжьте вы, чего вам млеется! Где же вы так нахлестались?

Мутный взгляд его немного прояснился. Он поглядел по сторонам и стал вставать.

– Вина дай.

– Може, вам закуски какой раскинуть, с дороги-то? У меня уха доспемши…

– Можно, раскинь…

Варвара принесла огурцов, хлеба, достала бутылку из буфета. Он налил водки, выпил. Съел ложку ухи и отодвинул миску.

– Своди меня на сенник, дух тута тяжелый. – Он глянул на Варвару и мрачно засмеялся: – Я нонче такой кус откусил, дай боже проглотить…

В сарае он повалился в сено. Варвара принесла квасу, Баранчик жадно вытянул целый ковш. За распахнутой створкой был виден дед, сидевший на телеге.

– Иде все?

– Тетенька на кладбище собралися, мужики в трахтере, а Панькя…

– Ну, поцалуй меня ради праздника и ступай.

Варвара замялась.

– Ну?

Она опустилась на колени и чмокнула его в щеку.

– Кто ж так цалует? Ты как полагается, по-нашему, по-русски. – Он ухмыльнулся: – Не чужия мы.

– Да будеть вам…

Варвара робко потянулась к его щеке.

Он с силой дернул ее за плечи, она потеряла равновесие и упала на него. Он стал целовать ее в губы. Варвара рвалась, но Баранчик ловко перевернул ее на спину и навалился сверху.

– Папаша, окститеся, пуститя! Дедушка глядять!

Она закричала, чувствуя, что он задирает ей ноги, он накрыл ей рот огромной ладонью, а другой стаскивал свои портки. На мгновенье он приподнялся, рука его ослабла, и Варвара ударила его ногой в грудь. Он повалился на спину, стукнулся о камень и стал оседать.

Варвара вскочила, одергивая юбку:

– Батюшка, вы чего? Яков Трофимыч?

Она боязливо дотронулась до его плеча, встряхнула. Шея его дернулась, как у куклы. Варвара приподняла ему голову. Темная струйка вытекла из уха. Небольшая вмятина пониже затылка сочилась розовой кровью.

Дед на телеге сопел, пытаясь ухватить грушу деснами.

– Дедуня, ты же видал, видал?

Она рванула рубаху на груди и зашлась в крике.

По улице, обгоняя друг друга, бегут Иван с Егором. Крячиха, беспрерывно говоря, старается не отставать.

Толпа у ворот расступается, пропуская их в ограду.

Баранчик лежал на том же месте под навесом сарая, прикрытый попоной.

Панька, простоволосая, стояла над ним на коленях, царапала себе лицо, и слезы ручьем текли у нее из глаз.

– И-и-и, на кого же ты сыночков своих бросил, детушек горемычных! – взвыла она, увидав Ивана. – Закрыл свои ясны глазыньки, батюшка наш родный!

Иван приподнял попону, Панька, продолжая рыдать, схватила его за руку:

– Не трожь…

Под попоной Баранчик так и лежал со спущенными портками.

Посреди двора валялась, рыдая, Варвара. Феклуша била ее черенком метлы. Двор был полон народу.

– Кормилец ты наш! – кричала Панька.

В руках у Егора появились вожжи, он стал ими охаживать Варвару.

Иван поднялся, подошел к Егору:

– Не трожь.

Егор обернул разгоряченное, красное лицо:

– Змею в дом привел! Убивица!

И поддал ногой Варваре.

Получив удар в зубы, он упал. Над ним стоял Иван с топором. Егор испугался.

– Свою учи, – сказал Иван. – Энто моя баба.

На дворе стало тихо. Он подошел к Варваре. Она заслонилась локтем, пряча лицо.

– Ступай в дом, – сказал Иван.

Она стала подниматься.

Так он и шел за ней с топором в руке.

Кладбище на взгорке. Отец Еремей кончает молитву, кропит усопшего.

Феклушу подводят прощаться. Она валится на гроб, раскинув руки:

– И-и-и! Крови-и-инушка, братец наш родны-ый!

Подходит Егор. Вид у него растерянный, заметно, что он выпимши. Он боязливо целует покойника в лоб, мнется и говорит:

– Дуб рухнул, дуб…

Панька, опередив Ивана, вырывается из рук баб и кидается к гробу. Она покрывает поцелуями руки Баранчика, лоб, губы.

– Соколик ты наш! Свет ты мой яснай! Али мы табе не холили, не привечали!

Иван с каменным лицом стоит над бьющейся Панькой. Ее оттаскивают.

Иван склоняется над лицом покойника, смотрит. И вдруг, стиснув зубы, прячет лицо у него на груди.

Подходит Варвара. Платок закрывает ей лицо. Она нагибается, целует руку покойника, не поднимая глаз.

Гроб заколачивают, берут на полотенца, опускают. Поют “Со святыми упокой”. Комья земли стучат о крышку.

Домашка с презрением говорит Варваре:

– Хоть бы повыла для прилику. Сноха ты али кто?

Варвара поворачивает голову. Домашка невольно отпрянула – такая ненависть на Варварином черном лице с разбитыми губами.

В избе сумеречно, света не зажигают. Дьякон Левонтий, перегибаясь через стол, тянет рюмку к Егору.

– Ты-то, Егор Яковлич, супротив покойника пожижей будешь, – говорит один из стариков. – Как ершик против щуки…

Егор ухмыляется:

– Конешно, воли-то не давали, все сами. Чуть не по-ихнему, сейчас в рожу заехать… А коли бы я захотел, давно бы на своей усадьбе сидел. Уважь, говорит, старый я, сынок, имей жалость… Как не уважить?

– Ты слухай, Ванькя, слухай, чего старшой гутарить. Он табе таперя в отца место, и ты должон ему виноватиться…

Иван смотрит в окно. Полощутся тополя на ветру.

Феклуша сидит со стариками.

– Кваску бы, хозяюшка…

– Здеся таперя хозяйка молодая, моя места таперя за печкей…

Панька, раскрасневшаяся, снует у столов.

– И, тетенька, грех вам гутарить, кому же кусок послаже да угол потеплей!

Феклуша довольна, но, не утерпев, указывает:

– А Мартынке кутьи не досталося…

– …Врагу не сдаетца наш гордый “Варях”… – затягивает мужик.

Ему напоминают:

– Не на свадьбе гуляешь.

Он соглашается:

– И впрямь…

Двор опустел. Феклуша закрывает ставни.

Иван сидит на камне под навесом сарая. Подходит Егор, закуривает.

– Вот она как, жисть-то повернулася, – вздыхает он. – Сироты мы с тобой, братка…

– Делиться будем, Егорша, – угрюмо говорит Иван.

– Энто ты из башки выбрось. Ни полушки не дам.

– Не дашь – силком заставют. Мир поделить.

– Насупротив братана иттить? Забыл, чего тятя наказывали? Ишо могилку-то только зарыли…

Феклуша у крыльца прислушивается к разговору мужиков, но подойти не решается.

– Как привел свою анчутку, всё наперекосяк завалилася, – бормочет Егор. – Кабы не она, и папаня живые были…

Иван молчит. Егор вдруг всхлипывает, хватает его за рубаху:

– На кого бросить хошь, Ванькя? Они же мине заедять!

Иван стряхивает его руки:

– Завтре к сотскому. И конец разговору.

К воротам хутора подъезжает телега, груженная всяким скарбом – соха, борона, сундуки, табуретки. Иван ведет лошадь в поводу. Впереди бежит пес, следом бредет корова, привязанная к задку телеги.

Варвара отворяет покосившиеся створки ворот. Они заходят на двор.

Рига с током заросла крапивой. Позади колодца виднеется соломенная крыша огромного шалаша. За оградой тянется до самого горизонта бурое поле.

– Одни облоги, – хмурится Иван. – И впрямь холку порвешь буераки энти пахать…

По стертым ступенькам они спускаются в землянку.

Иван стукнулся головой о бревенчатый накат низкого потолка. Длинная горница теряется в полутьме, свет падает из узкого оконца под крышей.

Варвара косится на грязный земляной пол, трогает трещины рассевшейся, давно не беленной печи. По стене тянутся нары человек на двадцать. Там и сям валяется тряпье, чугуны, поломанные ульи.

– У его тута шашнадцать душ зимовало, у Сухалёва, – говорит Иван, принюхиваясь. – А дух стылый, нежилой…

– Зато сами себе хозяева, – бормочет Варвара.

Иван идет за сохой по целине.

Моросит дождик, листва берез на краю поля золотится. Тлеет костер, ворохом навалены корчеванные кусты, ветер гоняет клочья дыма.

Иван останавливает лошадь, садится на корточки, подкапывает камень.

Подходит Варвара. Вдвоем они тащат камень на край поля, где высится горка из сложенных камней.

Стукает дверь, Варвара, схватив лампу, спешит в сени.

– Иде ты запропамши? Ой, мамыньки, как есть – водяной!

Иван, насквозь промокший, стягивает рубаху. Под ним лужа.

– Как раз горяченького похлебать да на печку. – Она торопится, тащит утирку и сухую одёжу. – Скидавай всё, глянь, текеть, как с утопленника…

Она хлопочет у стола, достает с загнетки дымящийся горшок, отрезает краюху хлеба.

– Хлебы маненько подгоремши. Печка с норовом, ишо не приловчилася. А тяпло держить, не зазябнем…

Горница прибрана – печь блестит свежей побелкой, огонек лампадки мерцает под иконой в красном углу. Иван садится за стол:

– Вина нету?

Варвара виновато разводит руками:

– Откуль ему взяться?

Она стоит, смотрит, как он ест.

– Тута полку ишо б одну али пару, приколотишь? А то чугунчики на земле, неладно… Глянь, чего нашла…

Она принесла и положила перед ним ходики с потемневшим циферблатом.

– Карасином помыла, кажись, они целые. Поглядишь? Гирьки в сарае валялися. Вот тута и повесить. Мы сидим, а они себе стук-стук, то-то важно будеть…

Иван молча хлебает щи.

Под утро приснился Варваре сон.

Как будто догорают дрова в печи, пробежит пламя и спадет, угли мерцают. А сама печка вроде как не в избе стоит – не то в поле, не то на опушке.

И вдруг хлынула вода из печи и хлещет потоком, заливая все вокруг…

С перепугу Варвара проснулась и села на полатях.

В окошко под крышей пробивается рассвет. Ходики тикают на стене. Никого нет.

Варвара тащит в сарай котел с горячим варевом. Свиньи, толкаясь, спешат к корыту.

Она садится к корове, оглаживает вымя. На дворе стукает калитка. Слышны неверные шаги, громко хлопает дверь землянки. Варвара доит.

Иван, босой, стоит у стола, пьет квас. Лезет на полати, лежит, уставясь в закопченные бревна потолка.

– А другие-то бабы ничаво, дюже довольные, – бормочет он. – Порча-то, видать, в табе сидить.

Не поднимая головы, Варвара разливает молоко по горшкам.

Варвара идет через просторный господский сад.

В аллее работают мужики, забивают ящики, грузят на телеги. Ползет воз с горой антоновских яблок. Девки, перекликаясь звонкими голосами, сгребают и жгут листву.

Тропинка выводит Варвару на лесную дорогу.

Из-за темных елей виднеется покосившаяся замшелая банька.

Свет едва сочится в маленькое оконце. Не найдя иконы, Варвара перекрестилась на угол.

– Чего кстишься? Тута не церква… – сказал кто-то рядом.

Тряпье на полке зашевелилось, показалась косматая голова Чуманихи.

– На лавку положь, чего принясла…

Варвара послушно выложила яйца, хлеб, курицу, бутылку. Чуманиха слезла с полка, добыла уголек из печи, зажгла глиняную трубку.

– Ты ишо со двора не ступила, я уж чуяла. Давно тебе дожидаюся…

Порывшись в торбе, Чуманиха достает пучок сухой травы.

– Заваришь в горшок, да двенадцать дён мужика поить. В похлебку али в квас, он не почуеть…

Кряхтя, Чуманиха вытянула из-под лавки склянку, налила в нее воды.

– Одёжу прихватила мужикову?

Она взяла протянутую рубаху, осыпала золой, щепоть белого порошка бросила в склянку. Приложилась к бутылке, покурила, напустила дыму, стала раскачиваться и негромко бормотать.

Над склянкой закурился пар.

– Стану не благословяся, пойду не перекрестяся, с избы не дверями, со двора не воротами, во чистом поле стоить бес Сава, бес Колдун, бес Асаул, послужите мине, беси, как вы Ироду-царю служили, летите на окиян-море, на пуповине морской лежить Латырь-камень, на тем Латыре-камени стоить дуб булатной, и ветвие, и корень булатной…

Она раскачивалась все сильней, корчилась, как от судороги, взмахивала руками.

– Плюй, плюй! – вскрикнула Чуманиха.

Варвара послушно плевала.

– …И как тот дуб булатной, столь бы крепко и яро ставали у раба божия Ивана семьдесят семь жил и семьдесят семь суставов, и одна жила становая и любовная кость, и стоял бы на женску похоть, на полую место, на молоду молодицу, на красну дявицу, и стоял бы не погнулси, не ворохнулси, не пошаталси…

Цепенея от страха, Варвара увидела, что вода в склянке закипает…

Сад опустел, утонул в тумане.

У костра работники ели кулеш, да нажаривала гармошка.

Мужик у телеги окликнул Варвару:

– Ты, што ль, Варькя? – Он засмеялся, и Варвара узнала Гришку. – Ай к Чуманихе собралася?

Варвара смутилась.

– Прогнал табе Егор?

– Да провались он… такой скучный, тридцать копеек зажилил. Все ему не по нутре, в кажную кормушку сунется…

От костра поднялся и подошел рыжий парень с ямочками на румяных щеках.

– Бабочка какая из себе славная! Зови, Гриша, до нашего салашу. Меня Митряем кличуть…

– Мне домой надоть…

– Ей на Сухалёв хутор, – пояснил Гришка. – С нашей деревни…

– А мы вас довезем, – ласково улыбался рыжий. – На конной тяге-то способней, чем ножки труждать. Захар, а Захар, доставим бабочку?

– Баловство одна, – отозвались от костра. – Небось, не твоя лошадь.

– Доставим, не сумлевайтеся, энто он заробемши, для грубости только. Увидал бабенку пригожую…

Варвара засмеялась.

– Поехали с нами, – поддержал Гришка. – Закусим маненько да тронем…

У костра мужик с гармошкой самозабвенно заливался:

…Уж вы слуги мои, слуги,
Слуги верныя мои,
Вы найдитя, привядитя
Ванькю-ключника ко мне…

Грубо накрашенная девка рядом с ним проснулась и потягивалась. Митряй разлил водку, протянул Варваре. Она отказалась.

– Беспременно выпить полагается, – прерывая музыку, сказал гармонист. – А то путя не будя. Захарка имянинник, андела его.

Именинник с ленивой ухмылкой разглядывал Варвару.

– Мине в отделку гулять положено, а я тута с вами, мошенниками, колупаюся…

– Сёдни пророка Захарии и праведной Елисаветы… – подхватил Митряй. – Уважить надоть, чарочку во здравие, не то он дюже обидится, Захар…

– Так и быть… – Она засмеялась и взяла стакан. – Проздравляем.

– Оказала! – обрадовался рыжий Митряй. – А вона закусить рыбки али жамочки мятной…

Все выпили, выпила и девка. Гришка закурил, глаза у него сразу стали пьяными.

– Эх, мы с Варькей… Варюха у нас баба, не то што… она себе в аккурат соблюдаеть. Другая в рванье по двору гуляеть, помои под крыльцо сольеть, а Варюха ни-ни…

– Оно и видать по полету, – согласился Митряй, вздыхая. – Я на здешний народ прямо удивляюся. Оченно публика ломовая. У нас в Ельце, к примеру, ежли баба надлежащая, ей завсегда обхождение будеть…

– Надлежащая… Ой, не могу! – Девка покатилась со смеху.

– У, сычужники! – крикнул гармонист и, кривляясь, передразнил: – У нас в Яльце, на Сосне-реце курица утенка высидела!

Гришка подмигнул Варваре:

– Бедовыя – страсть!

Она засмеялась, но смолкла под тяжелым взглядом Захара.

– Ишь, смеется-то как, зубья блескучие, – сказал он. – Не хуже щуки…

Она поднялась, подхватила корзинку:

– Пойду я.

– А я тебе не пустю. – Захар ухмыльнулся.

Митряй схватил ее за руку:

– Куды загорелася? Сейчас поедем.

– Ну и не балуй, коли пьянай… – Она вырвалась и пошла.

Захар бегом догнал Варвару, схватил за плечи. Она ударила его и бросилась бежать, но, споткнувшись о подставленную ногу Митряя, упала. Оба навалились на нее.

– Тихо, ягодка, не щекотайся…

Они ловко задрали ей юбку на голову, скрутили руки. Загудела брошенная гармошка. Девка кричала:

– Ты-то куда, чорт лохматый? Ах, обормоты, страмники, пропасти на вас нету!

Варвара брыкалась, кричала, укусила чью-то руку, потом перестала биться, выла, пока ей не затолкали в рот юбку.

Она слышала пьяный крик Гришки:

– А я, што ли, не человек в таком разе?..

Ее бросили. Она слышала, как они торопливо покидали что-то на телегу, нахлестывали лошадь.

Стоя на четвереньках, перебирая пальцами, Варвара сумела стащить юбку через голову.

Вокруг никого не было. Туман стал еще гуще, дымился наспех разбросанный костер.

Зубами она ослабила узел на ремешке, которым были стянуты ее запястья. Вытащила руку, отшвырнула ремень. Ее вырвало. Она вытерлась листьями, пугливо оглядываясь, натянула юбку, нашарила свой узелок.

Высыпала на землю траву, которую дала Чуманиха.

В бане Варвара хлещется веником.

Взяла ковш, поддала. Раскаленные камни шипят, пар белыми клубами поднимается к черному от сажи потолку. Она берет веник, без устали охаживает себя по бокам, по ногам.

Дверь распахивается, на пороге стоит Иван, взмыленный, в потеках грязи.

Они смотрят друг на друга, оба тяжело дышат.

Он зажмуривается, мотает головой. И, вскрикнув, бьет ее в лицо. Варвара падает. Он бьет ее ногами. Она прячет лицо.

Он стоит над ней. Вдруг опускается, лихорадочно рвет с себя портки. Набрасывается на нее, целует, сжимает.

Варвара лежит как колода, тупо глядя в стену.

1914

На краю поля Варвара горбушей окашивает холмик в тени. Девочка играет с тряпичной куклой. Издалека доносится нестройное пение.

Девочка поднимает голову, прислушивается, ищет взглядом Варвару. Та прячется в траву.

– Мамка! Иде ты?

Девочка идет, встревоженно оглядываясь, собираясь заплакать. Варвара хватает ее, подбрасывает, делает вид, что хочет ее съесть.

– Спужалась, Палашка? Кровиночка, красавица мамкина! Золотце мое ненаглядное!..

Девочка тычет пальцем:

– Тама… поють…

– Молются, – объясняет Варвара. – Вишь, сухмень какая. Боженьку просють, чтоб дождичка послал…

Пятеро мужиков, обливаясь потом, несут огромную икону Казанской. За ними тащится толпа баб и старух с хоругвями, с иконами, с малыми детьми на руках.

Варвара опускается на колени, припадает лбом к земле. Делает знак Палашке, та послушно крестится.

Дьякон Левонтий выводит:

– Прозябай траву скотам и злак на службу человеком, спаси человека со скоты, тебе молящаяся…

Бабы впереди оглядываются на Варвару. Она берет на руки дочку, дергает платок на лоб. Крячиха с иконой отходит в

сторону. Дождавшись, когда Варвара поравнялась с ней, она пошла рядом.

– Слышь, касатка, – негромко говорит она, – шла бы ты от греха, бабы серчают. Я-то ничаво, а они гутарють, чтоб уходила…

Оборачивается идущая впереди Трынка:

– Ступай добром, не то как бы хужей не повернулося!

Поднимается гвалт, бабы окружают Варвару, кричат:

– У ей глаз сглазной, весь молебен, може, псу под хвост…

– Иди, анчутка, и выблядку свою забери!

– Дите не трожь! – вскрикивает Варвара.

– Варвары, язычники, Иродово семя! – плачущим голосом кричит священник. – Грех на грехе! Да рази можно с вами Господу молиться!

Все крестятся, успокаивают отца Еремея.

– Бабы, известное дело… Давай дале, отец.

– Не серчай, батюшка. Уж ты давай с Богом, а с нечистым-то мы сами… В чужой огород не лезь.

– Ну, будя, ишо иттить и иттить… – недовольно говорит дьякон Левонтий. И, откашлявшись, запускает басом: – Ныне же и нас, яко в пещи огненной горящих сушею, дождем прохлади, владычице…

Шествие движется дальше.

Варвара приводит в порядок растрепанные волосы, перевязывает платок. Девочка плачет.

– А чего дома припасёно для Палашки… – говорит Варвара.

Девочка поднимает глаза, слезы высыхают.

– Кисилькю? – хитро спрашивает она.

Рядом с землянкой белеет ошкуренными бревнами новая изба без крыши. Иван сидит верхом на бревне, тюкает топором. Подбегает девочка:

– Тятькя! Батюшка приехали!

Варвара, кланяясь, встречает попа у ворот. Пес лает, рвется с цепи.

– Ишь, злющий какой! Лошадку покорми, набегался за день…

– Може, сами закусите сперва?

– Сперва дело…

Он разворачивает на лавке узел, достает крест, требник, облачается. Девочка позванивает цепочкой кадила.

– Не трожь, не трожь, грех это… – с раздражением останавливает он Палашку. – Ишь, девку-то набаловали. Угольку принеси-ка…

Увидев избу, священник озадаченно говорит:

– Она же не покрытая. Куды ж ее святить? Крышу-то постелишь – тогда уж…

– Хотел к Петровкам покончить, – хмуро объясняет Иван. – А лето вишь какая бестолковая. Из долгу обратно не вылезти. Покамест ей так и стоять без головы… Посвятил бы ты лучше. Мало что, случай какой…

Взгляд отца Еремея проясняется.

– Понял тебя. Верная твоя думка. Без молитвы-то и кусок мимо уст пронесешь… Сперва, значить, на основание дому, а уж как покроешь – полный чин, как положено…

Они поднимаются на крыльцо избы. Священник кадит на все стороны, осеняет крестом.

– Станем добре, станем со страхом божьим…

Хозяева крестятся, кланяются.

– …Призри на раба твоего Ивана, изволившего в державе крепости твоея воздвигнути дом в жилище, утверди его на твердом камени, его же ни ветр, ни вода, ни ино что повредити возможет…

В сумерках они пьют за дощатым столом под яблоней. Варвара тащит скворчащую сковородку картошки с салом.

– Хочешь послушать совет добрый? – говорит священник. – Ступай к братцу, мирись, падай в ножки. А то бросай все и уезжай.

– Куды энто?

– Подавайся в Кирсанов али в Рассказово. Продай хутор. Все продай. Тута не ждать тебе добра. Уж я их до корешков знаю… А особливо бабы. Энти жалости не ведают…

Варвара стоит поодаль, слушает.

– И чем ты им не угодила? Почто они тебя анчуткой кличут? – Отец Еремей сокрушенно качает головой, глядя на нее. – Сходить тебе надо в Задонск али в Дивеево. Свечку угоднику поставить, об умягчении злых сердец помолиться… Да о своих грехах поплакать…

– Убираться на носу, а она по угодникам пойдеть…

– Пущай после сходит, не в том дело.

Они чокаются.

– Выходить, мало что с деревни ушел, сижу тута, как медведь на берлоге. Совсем хотять выжить, вчистую…

– Егор-то, вишь, все думали, лапоть и есть лапоть. А он-то поумней нашего вышел. Хозяин ишо покрутей покойного Яков Трофимыча. Вся деревня у его вот где. Я и то ему должен… Одна тебе дорога.

– Не бывать энтому никак.

Они молчат. Стемнело. Девочка задремала в траве.

– А хорошо тута… С такой землей и маешься? Отец бы тута таких делов наворочал…

Иван угрюмо усмехается:

– Не дается в руки-то… По первому году ячмени посеял, уродила. А цана до самого низу дошла и до самого Рождества стояла… Прошлый год, сам знаешь, градом все повыбила, а нонче…

Он только рукой махнул.

– Да, брат, судьбу-то не переломишь…

Варвара подкладывает в кормушку лошади свежего сена. Запирает конюшню на замок, спускает пса, он уносится в темноту.

На самом верху избы фонарь освещает бревно и руки Ивана с топором.

– Долго полуночничать собрался? Уж светать скоро…

Собравшись с духом, Варвара говорит:

– Може, впрямь уехать?

– А вот энто видала? – Иван делает грубый жест. – Сколь сюды поту влито, вколочено, а теперя все энто куму? Ишо поглянем, на чию сторону пересилить…

После воскресной обедни из церкви выходит народ. Феклуша подает нищим. К Егору подходят здороваться солидные мужики. Несмотря на жару, на нем суконная поддевка, сапоги с галошами. Нарядная Панька держит грудного малыша.

Из дверей появляются Иван и Варвара с Палашкой на руках. Разговор смолкает, люди расступаются.

– Дюже ты загордился, Иван Яковлич, – громко, с вызовом говорит Феклуша. – Братца бы старшого с праздником проздравил, не чужия…

Варвара невольно спотыкается, но, поймав настороженный взгляд Ивана, торопится дальше. Он отвязывает лошадь, Варвара с девочкой садятся.

Мужики видят, как Иван, пошарив в сене, вынимает двустволку. Он переламывает стволы, неторопливо осматривает и, взведя курки, прячет ружье на место. Телега катит через площадь.

По степной дороге Варвара идет в толпе богомольцев. Палашка дремлет в пехтере у нее за спиной.

На обочине девка плачет над лежащим стариком, кричит, трясет его немилосердно, брызгает на него водой. Прохожие

останавливаются, кладут копеечки подле лежащего.

– В холодок его надо, в холодок!

Странник с голой как шар головой рассуждает:

– Пострадать-то первейшая дело, пользительно. Брюхо-то, она к земле тянеть, а боль душу легчить…

– Вона в переду бабоньку облегчили уж, – лениво замечает приземистый мужик Арсюшка. – Бусы агатовые прям с шеи сняли…

Рядом шагает его спутник Александр, безбородый, с женственным нежным лицом, длинноволосый, как поп.

Раздается рев. Старик в дерюге на голом черном теле, весь обмотанный цепями, плюется, грозит палкой:

– Хвостатые, хвосты-то мельтешать! Восплачете, да поздно! Не угрызешь, не отмоешь… У, двоеверы, сучья порода! Поволокуть крючья железныя! В смоле кипеть, а зябко!

Бабы охают, крестятся.

– И каких только страстей на нашу головушку…

– Энто Андрюша сенгилеевский, – объясняют в толпе. – Ужасть какой святой жисти человек. Вериги тридцать лет таскает чугунные на голой шкуре, гноем умывается…

Парамоновна, огромная толстая тетка, идет с молоденькой бабой Нюркой.

– Была девка как девка, а теперя кликать стала, – кивая на молодуху, рассказывает она Варваре. – В храме ореть как ошпаренная, пеной брыжжеть. Мужиков покусала, пятеро удержать не могли…

Нюрка, услышав, что говорят о ней, улыбается робкой дурацкой улыбкой.

– Дочкя, что ль? – спрашивает странник.

– Крестница.

– По грехам, стал быть, дается. Грешать – не думають, а опосля вон…

– Брехать – не пахать, – сердится Парамоновна. – Нашел грешницу. Мужик у ей такой душегуб. Как нарежется – и давай ее утюжить чем ни попадя. Трясовица ее бьеть, огнеястра называется.

– Господь терпить долго, да бьеть больно.

– Господь у тебя какой-то жидовский, – с улыбкой говорит безбородый Александр.

– Сам жид, – не раздумывая, отвечает странник.

– Прям не Господь, а Иван Грознай. Застращал бабенку, осудил ни за что.

– А вот как батюшка родный: крепче сечеть – крепче любишь. Баба, она и есть сосуд гряха.

– Пущай сосуд, а все к Богу ближей тебе.

– Энто каким же местом, прости господи?

– А хоть и брюхом. Жизню Господь даеть, а носить ее кто? Баба.

Странник плюет и отходит в сторону, крестясь, пропускает идущих.

– Энто и свинья нечистая поросятов носить. Суесловы треклятые, спаси Христос…

Бабы заспорили.

– Человек-то, видать, строгий, ретивой. Обиделся, вишь…

– Со свиньей-то тоже ровнять негоже.

Александр угрюмо улыбается.

– Вера-то не одним страхом стоить, – говорит он упрямо. – Христос без света – рази Христос?

Парамоновна неодобрительно косится на него.

– Тебя как величають, матка?

– Я дявица, а не матка табе. Звать Анна Парамоновна.

– Поем-то как, Парамоновна? – говорит Александр. – Свет твой присносущий, Светодавче… А на Фавор-горе как он им показался, апостолам?

Парамоновна растерянно оглядывается. Все слушают Александра. Варвара уставилась на него – он вдруг подмигнул ей.

– Лице его просияло, аки солнце, одежды же убелилися, аки свет… Вот он, Исус. Я есмь пастырь добрый… Ай вру?

Бабы вздыхают:

– А звать тебя как, касатик?

– Лександрой крестили.

Парамоновна шепчет Варваре:

– Должно, батюшка, а скрылся, чтоб не донимали…

Дорога вползает в березовый лесок. Все пыхтят, утирают пот, радуются тени.

– Смерть как пить хотца…

– Ужо завтре опосля обедни вдосталь напьемся.

– У Алпатова в трактире блинцы с яичком разговенные – язык проглотишь…

– Да белужины под хреном, – мечтательно вздыхает Парамоновна. – Да чайкю…

– Да мужичкю… – лениво добавляет Арсюшка.

– Вот дурак-то, прости господи! Сказала ж – дявица я.

– Эвто поправим – мигнуть не успеешь, вона в холодок…

Парамоновна пошла пятнами.

– Кабацкие ваши рожи! Кобели бесстыжия! Вот Бог-то наказал – и борода не растеть, морда голая, как у бабы. Глядеть тошно!

– Твоя правда, не взошла у его борода. Зато огурец уродил!

Иди, подержися…

Старухи хохочут. Александр ухмыляется:

– Загадку отгадай, Парамоновна. Сверху дыра, снизу дыра, посередке огонь да вода.

– Пьяницы проклятые! Пакостник, паскудник, глаза твои накройся!

– Да энто не ты, толстомясая, энто самовар…

Лесок обрывается, открывая даль. Дорога уходит под изволок к реке.

На горизонте поблескивают золотые купола. Сколько хватает глазу, по обоим берегам, по буеракам спешат к монастырю люди.

В наступившей тишине неожиданно раздается тонкий голос Александра:

– Да испра-а-авится мо-о-литва моя…

Другие подхватывают:

– Я-а-ко кадило пред тобо-о-ю…

Снизу, с берега, отвечают еще голоса. Молитва плывет над долиной.

Парамоновна качает головой, кивая на Александра:

– И попустил же Господь… Бродяга голохвостый, а поеть – чистый херувим!

По берегу дымят костры богомольцев, расположившихся на ночлег.

Парамоновна ужинает хлебом и луком и рассказывает:

– …Таперя повезла ее в Содомиху, к батюшке, за тридцать верст. Отец Силуян, дюже хорошо отчитываеть… Семь Евангелиев по семь раз он над ей читал. Стихла вроде. Дак мужик ейный, Пётра, такой озорник, чурбак с крыши ей на башку сбросил, она брюхатая была. И пошла-поехала, мальчонку мертвенького принесла…

Нюрка безучастно жует краюху хлеба, глядя за реку. Солнце садится в облака.

– Поучить-то некому, что ль? – зевая, говорит Арсюшка. – Ему бы оглоблей-то по зубам, небось, притих бы.

– Завтре у плащаницы помолимся, авось прошибеть ее, обратно в образ придеть…

Александр угрюмо смотрит на Варвару:

– А ты чо молчишь, голубица? Дома-то, небось, тоже не мед? Ай мужик не дерется?

Варвара презрительно дернула плечом, укрыла Палашку.

– И отродясь пальцем не тронул. У нас дом большой, справный. У нас энтого не заведено.

– Молоканы, что ль?

– Православныя. Цветов пропасть, и лазоревые, и мальвы. Тута этак качели… Мы с Панькей, энто сноха старшая, сидим, арбузы трескаем. А то подсолнухи.

– На качелях? – удивляется Парамоновна.

– А свекор сам, Яков Трофимыч, батюшка, все лаской, все добром, гостинец завсегда привезеть…

– Ишь, забаловали тебя, – вздыхает Парамоновна. – Слышь, Нюрка, как люди-то живуть!

Варвара скромно опускает глаза:

– Чего ж и не пожить-то всласть, коли можно…

– Ой, брешешь! – говорит Александр. – Побожись!

У ближнего костра все затихли – поет горбун нищий:

Ой да обложили окаянные татарове
Да своей поганой силищей,
Обложили они славен Китеж-град
Да во светлый час, во заутренний…

Подходят еще слушатели, складывают копеечки в шапку. Горбун разливается, вскрикивает:

И сказал Господь Саваоф
Свет архангеле Михайле:
А поди-ка ты, Михайло,
Сотряхни землю под Китежом,
Погрузи Китеж во озеро.
Ин пущай там люди молются,
Без отдыха да без устали
От заутрени до всенощной…

Привстав на костыле, горбун зазывно кричит:

– Драгоценныя братия и сестры! Вы подайтя не нам на прошения, а своей души во спасения! Подайтя ни другу, ни брату, подайтя самому Господу Святу!

У костра течет разговор:

– Сама-то не видала, брехать не стану, а слыхать сподобилась. К земле ухом ляжешь – колокола так и гудуть…

– В Макарьевском уезду, на Люнде-реке, во озере во Светлояре. Три дни ходу отсель…

– А ежели мырнуть, к примеру?

– Ишь, ловок! Мыряли табе поумней. А только ни един не всплымши…

– А почто же не видать его по сю пору, Китеж?

– По грехам по нашим. Вера наша самая правильная. Да нешто мы ее блюдем?

– Куды! Испоганили веру православную. Христа продали…

– Кто Расеей владает? Немцы да жиды…

– Ванькя-то русский больно прост. Сосуть нашу кровушку, известно…

– Царь-то будеть наш, православный вроде…

– А кругом царя кто? Аблакаты-депутаты, жиды да татаре…

– А царица? Обратно немка…

Александр вскакивает:

– Да немцы-то откуль взялися? В книге-то про наши грехи сказано, про расейские. “Токмо о нас печалуют день и нощь, о отступлении нашем, всего Государьства Московского, яко Антихрист царьствует в нем и вся заповеди его скверная и нечистыя…” А не знаешь, не бреши.

Баба колотит мальчишку, тот истошно ревет.

– Да провались ты, бесененок, послухать не даеть…

– Нешто можно дитю родную так лупцевать? – сердито говорит Александр. – Все татаре виноватые. Я вон у татарина на ссыпке служил – нация самая смирная, чистая, даром что нехристи. Али то немцы до полусмерти пьють, до смерти бьють?

– Табе и жиды, може, любы? – насупясь, спрашивает старик.

– Уж энти-то, по крайности, друг за дружку держатся. Да детишков своих не мордуют вот этак по-нашему… Окаянней нас нету народа…

– Да что же это, братцы? – вскрикивает молодой мужик. – Не дам православных поганить!

Бабы осаживают его:

– Верно говорить-то… проспися ступай!

Александр только покосился на кричавшего.

– Такой лютости, как у нашего брата, ни в какой земле не видать. И Китеж тот невидимый будя, покуда от зверьства своего не отступим, и даже тропы к ему не сыскать. О том в летопости сказано, а зашита та летопость в книгу Голубиную, а книга та весом в полтора пуда, запирается винтами. А лежить та книга промеж Нижнего и Козмодемьянска в горе зарытая…

Гаснут огоньки на берегу. Варвара лежит, обняв сопящую во сне дочку, глядя в небо.

Подходит Александр, валится на траву, встряхивает мокрой головой.

– Лихоманка его крутить… – ворчит Парамоновна. – Чего телепаешься туды-сюды, спать не даешь…

– Ужасно как выпить хочу. Хужей лихоманки…

– Возьми вон в корзинке, наливочка у меня с собой, разговенная… Охальник, а поешь больно пронимательно.

– Дотерплю… – вздыхает он. – Причаститься хочу завтре… А уж после, видно, запью.

Парамоновна укоризненно качает головой:

– Жидов-то зачем хвалил? Срам какой… Они же Христа нашего распяли.

– Дак он сам-то кто был, Исус? – сердито отвечает Александр. – А апостолы все двянадцать? А Богородица?

С перепугу Парамоновна садится, оглядываясь по сторонам, крестится:

– Да ты очумел! Ай он не русскай?

– Где оно все было-то? В какой такой стороне?

– У святом граде Ерусалиму, – с готовностью отвечает она.

– Тама жиды живуть, и царство у их жидовская.

– Богородица, что ли, жидовка? Энтого никак быть не можеть…

Не дождавшись ответа, она ложится, охает, переворачивается на другой бок.

– Ах ты Господи! – вздыхает она. – Я-то, дура, чаяла, что они его за нашу веру православную… А выходить, свои своего, да гвоздями! Ну, энто мы видали, энто по-нашему…

В полутьме храма слышен голос псаломщика, читающего часы. Время от времени его заглушает пение:

– Преподобный отче Серафиме, моли Бога о на-а-ас…

Толпа течет к возвышению, на котором стоит иеромонах возле серебряной раки с мощами угодника.

Палашка задыхается, плачет. Александр берет Палашку у Варвары, сажает на плечи.

По ступенькам поднимаются Парамоновна с Нюркой, встают на колени, прикладываются к раке. Иеромонах читает молитву:

– Угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач рабы твоея Анны, воздвигни ея от одра болезненна…

Он накрывает Нюрку воздухом, крестит.

Несут молодого парня с гноящимся лицом, с тяжелыми, неподвижными ногами, поднимают его по ступенькам. Старуха мать колотится головой об раку:

– Помози, батюшка преподобный, надёжа наша!

Парня переворачивают, подносят лицом к раке, он прикладывается.

Варвара взбирается по ступенькам. Александр протягивает ей Палашку.

– Звать как?

– Палагией, отец…

Варвара, в слезах, припадает к раке.

В огромном переполненном соборе стоит туман от свечей и ладана, от человеческих испарений. Все пространство залито золотистым светом. Хор начинает “Херувимскую”, по толпе пробегает вздох.

Варвара шепчет слова псалма, утирая слезы, – никогда еще ей не приходилось видеть такое столпотворение народа, таких важных попов, такую красивую службу.

Выносят Святые Дары. Потир с вином несет древний белобородый архиерей.

– Великого господина нашего государя императора Николая Александровича Всея России да помянет Господь во царствии своем…

Сзади в толпе раздается судорожный крик. Варвара оборачивается.

Нюрка, крестница Парамоновны, отбивается от мужиков, которые пытаются ее утихомирить. С перекошенным лицом она колотится в конвульсиях, кричит, лает. Рядом суетится Парамоновна.

Все покрывает бас дьякона:

– Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы…

В тени под липами Варвара с дочкой сидят на траве. На платке разложена нехитрая снедь. Вокруг неторопливо движется толпа.

– Господи, благодать-то какая! – вздыхает Варвара. – Сейчас кваску напьемся – и до дому, к тятьке. Кушай, ягодка, кушай на дорожку…

У трапезной послушник в белом подряснике торгует квасом.

– Налей, батюшка, на копеечку, – просит Варвара.

– Архиерейский квасок, на меду, – ласково говорит послушник. – Такого, как у нас, нигде не сыщете.

Варвара видит, как люди с разных концов устремились на площадь к собору. Странников как ветром сдуло с лужайки. Безногий нищий на тележке мчится, петляя между бегущими.

Из дверей собора выходят священники. Несут большую икону.

– Вишь, Палашка, – говорит Варвара. – Батюшка старшой вышел. Должно, крестный ход будя, поглядим…

– Война открылася, – объясняет послушник. – Государев манифест читают.

– Матерь Божия, спаси и сохрани! – крестится Варвара. – С туркой, что ли, война?

– С германцем.

Вся площадь запружена людьми. Толпа слушает в напряженном молчании. Всхлипывают бабы, крестятся старики.

На ступенях собора белобородый архиерей в очках читает манифест:

– …В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага. С глубокою верою в правоту нашего дела и смиренным упованием на всемогущий промысел, мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска наши Божие благословение. Дан в Санкт-Петербурге в двадцатый день июля, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое, царствования же нашего двадцатое. Николай…

Архиерей дрожащей рукой снимает очки, лицо его залито слезами. Дьякон поднимает орарь, громовой голос летит над площадью:

– Спаси, Господи, люди твоя…

Толпа валится на колени.

– …Победы над супротивныя даруя…

Появляется трехцветный флаг. Немолодой господин в пенсне взбегает по ступенькам, размахивая флагом перед толпой.

Как только смолкает молитва, раздаются крики:

– Бей немца!

– Да здравствует Россия!

– С нами Бог! За Русь святую!

– Государю императору ура!

“Ура!” подхватывает вся площадь. Где-то запели гимн. Низкий голос дьякона вплетается в хор:

Царствуй на страх врагам,
Царь православный…

По дороге идет сильно поредевшая толпа богомольцев. Варвару обгоняет телега с мужиками. Один из них лежит, подпирая голову рукой. Варвара узнала Александра.

– Вишь, бабенка знакомая! – засмеялся Александр. – Все грехи отмолила? А я, вишь, пострадать хотел, святости набраться, ан не вышло, загулял я с ими, злодеями…

Варвара молча шагает за телегой.

– А пойду-ка я лучше на войну, – рассуждает Александр, ни к кому не обращаясь. – Може, и я на чего-нибудь сгожуся. Авось завалю германца, какой пожиже.

– Он тебе живо обротаеть…

– И на колбасу!

Мужики хохочут. Александр улыбается Варваре:

– Тоже не худо. Обратно сказать – кому я нужон? Невелик убыток… А тама я еще кренделей-то наваляю, пущай ружье дадуть.

Дорога раздваивается, телега сворачивает в одну сторону, Варвара – в другую. Александр спрыгивает на землю, подхватив котомку.

– Ну вас, ребяты, надоели! Чай-сахар!

И бегом догоняет Варвару.

– Ай не признала? А я вот он – человек Сашка, на ём сермяжка, на пузе мочало, не сказать сначала? С тобой пойду.

– Пьянай, что ль?

– Обязательно пьяный! В самый раз успел! Вина теперя не велено давать через энту войну, в кабаке свечами торговать будуть.

– Брешешь! – удивилась Варвара.

– Царь-то дюже хитрый. Немец-то пивом нальется, а мы насухую воевать будем. Тверезые мы куды свирепей…

Начинается дождь. Варвара вытаскивает девочку из пехтеря, берет на руки.

– Сейчас как вдарить! – озабоченно говорит Александр. – Дунем-ка прямоходом, версты на три ближе выйдеть…

Дождь льет как из ведра. Посадив на плечи Палашку, Александр бежит через поле и орет:

– Кому девчурку-снегурку, налетай – подешевела! Бежим до рынку, просим полтинку, кто дасть пятак, отдам за так!

В заброшенной риге Варвара с Палашкой сидят, зарывшись в солому, в уголке, куда не достает вода. Воротина валяется на земле, в зияющий проем далеко видно поле, буераки, ракиты у ручья, дрожащие под дождем.

Александр стоит на глиняном току под навесом, строгает палку.

Он заходит в ригу. На земле рядом с его котомкой стоит початая бутылка, разложены хлеб, груши, пучок луку.

С удивлением Варвара замечает, что по лицу его текут слезы.

– Ты чего? – с опаской спрашивает она.

Он отрывается от палки, застывает, глядя на дождь.

– …Вспомню, как она тама стоить у креста. А сыночка родимого стучать-приколачивають, железо ему в белые ножки загоняють… Ну, как же ей на энто глядеть! Она ж баба, хоть и Богородица…

Мерно шумит дождь, поле подернулось дымкой.

– В монастыре у нас, в Лебедяни, как зачнуть акафист “Всех скорбящих Радосте”, так слезми-то и обольюся. Слова-то какие жалостныя! “Странники и пришельцы все есмы на земли сей по глаголу апостолову: беды от врагов, беды от сродник, беды от лжебратии терпяще в лишениях многих и скорбех”…

Он улыбается виновато, утирая слезы.

– Чего ж ты так сокрушаешься? – растерянно говорит Варвара.

– Помру скоро. Знаменье была… чухонец мертвый приходил…

– Отчего это?

– Дак зарезал я его… – Он вздыхает: – Да ты не пужайся! Со слободскими подралися из-за девок. Как он зачал меня валять, чухонец энтот, бутылку мне об темечку всю изломал… Гляди, говорить, кончать тебе буду. А я лежу, склянку подобрал от бутылки. Как он размахнул, я ее и высунул… Посадили мене в острог натурально. Жилу спальную я ему нарушил, он скрозь и истек… Расстреляйте мене, говорю, самой страшной казнью, пострадать хочу на каторгу за грех свой. А судья тамошный как рявкнеть! Голос у его жестокий, в пот бросаеть. Куды, говорить, юрода такого на каторгу? И в монастырь на покаянию определил…

Варвара осторожно укладывает задремавшую Палашку, прикрывает ее платком. Александр пьет, протягивает Варваре грушу:

– Гляди, дуля какая налитая… А монастырское житие мне дюже по сердцу пришлася. Прижился я тама, как кот за печкей. Ночью колокол зыкнеть, сейчас сигай с лавки поклоны бить. Собрался послужить царю небесному, хотел посхимиться… А не взошел.

– Почто?

– Тоска заела, беда! Сижу в келейке-то, не удавиться ли, думаю. Гляжу – в окошке девка идеть, наша, воронежская, к отцу Нифонту, к старцу нашему. Идеть она, значить, ножкими толстыми загребаеть, как гуска… Вспомнил я, как отец игумен изъяснял: баба, мол, покоище змеино, дьяволов увет. А в груди – чисто мед потек. Врешь, думаю, того быть не можеть, чтоб сласть такую и на погибель Господь наслал…

Варвара тихо смеется.

– Хоть на тебе поглядеть – проста, как курица, а глаз все одно лисий, с секретом, потому – порода ваша такая…

Он подался к ней и поцеловал в губы. Варвара ударила его кулаком, вскочила:

– Как щелкану-то по морде по голой, мазурик!

Глядя на нее с простодушным удивлением, он протянул ей нож и палку:

– На, вдарь, – тоскливо сказал он, – полюбилася ты мне, девка.

Слышно было, как вода бурлит в ручье.

– Я ж те куры строю! – Он скорчил гримасу и развязно, как приказчик, сказал: – Ежели не изволите отвечать на мою пламень по всей форме, ужо мне известно, как скончать эвту постылую существованья!

Они смеялись, глядя друг на друга.

– Дай укусить.

Помедлив, она протянула ему грушу.

– Не так… – Он усмехнулся.

Она откусила кусок и высунула его в зубах. Они стали целоваться. Он шептал, смеясь:

– Зубы-то зачем счепила? Раствори вороты да язычок не прячь… Вишь, ловкая! Скоро смекнула…

Варвара тихо прыскала, отворачивала лицо, когда он щекотал ей ухо, потом стала забываться.

В глазах ее отразилось изумление, сменившееся испугом, она страстно закричала так, что девочка проснулась и заплакала. Александр отлетел, она кинулась к Палашке:

– Здеся мамка, здеся, не пужайся! Золотце мое, красавица мамкина…

Они бродят по ярмарке среди толпы. Оглушительно тарахтит музыка, со звоном несется карусель. Палашка поднимает крик, тыча пальцем в лошадок.

– Почем? – спрашивает Александр у карусельщика, достает медяки. – Эхма, была не была! На пару чаю хватить, да мне на косушку… Гуляй, Палашка!

Он сажает девочку на коня, наказывает крепко держаться. Под гром музыки Палашка, вся сжавшись от страха, пролетает мимо. Варвара не сводит с него влюбленных глаз.

– Батюшка у нас был на деревне, – рассказывает она. – Отец Илья, дюже ласковый. Мы с маманей к ему на поденку ходили. Со скотиной уберемся, полы помоем, а уж в палисадничку самовар… Сидим с маманькой, чаю пьем, сколько хочим, и никто нас не забижаеть… Благодать! – Она опускает глаза. – Соскучился ты со мной…

Александр ухмыляется:

– Погоди, дай опохмелиться…

Они идут дальше. Здесь стоят хохлацкие возы, запряженные волами, груженные арбузами, дынями, кукурузой, баклажанами.

В рядах жарится, шипит мясо, горами навалены огурцы, капуста, пшеничные хлебы.

– Опохмелюся и на сборную частю пойду, – говорит Александр. – Уж так надо…

Она шагает молча, глядя под ноги.

– Мало мине, мало… Ишо бы надо покрепче вдарить.

– Ай бредишь?

– По греху и расправа.

– Какой грех-то, где грех? – Он останавливается.

– Дак венчанная я… – горько улыбается Варвара.

– Что ж, что венчанная? Сама пречистая Иосифу обручёна была, а принесла от Духа Свята…

Она испуганно крестится:

– Чего брешешь? Бог накажеть…

– Накажеть – на то его святая воля…

Увидев вывеску трактира, Александр оживился:

– А я чаю – нету никакой вины. Все одного отца дети. Али господу веселей, ежели ты с тоски вянешь?

Слышится крик и улюлюканье. Толпа гонится за девчонкой-нищенкой. Зажав в ладони рыбину, она мчится вдоль рядов, ловко уворачиваясь от преследователей.

– Держи воровку!

Краснорожий мастеровой, колдовавший над телегой, выпрямился, привлеченный шумом. Девчонка оглянулась на бегу и врезалась ему в брюхо. Он упал, она полетела на него, послышался звон разбитого стекла.

Из трактира вывалилась компания мужиков поглазеть на происшествие. Истошно вопит нищенка. Александр морщится, беспомощно оглядывается на Варвару.

– Затопчуть, окаянные… – бормочет он. – Чисто собаки…

Он бросился в толпу. Варвара услышала его крик:

– Православныя!

На мгновение Варвара увидела окровавленное лицо нищенки, выпученные глаза. В рот ей запихивали кусок мыла, она судорожно икала.

– Хватай их, ребята, одна шайка!

Александру удалось вырвать девчонку, он загораживал ее, отталкивая чьи-то руки.

Варвара видела, как сзади него вырос краснорожий мастеровой. Мутный недоумевающий взгляд его шарил по толпе, он взмахнул рукой, в которой блеснул железный шкворень.

Варвара вскрикнула.

– Варькя, ты, што ль? – окликнули ее. – А мы с Крячихой приехали… Наших-то никого не видала?

Перед ней стояла Домашка, рядом с ней сгибался под тяжестью мешков ее муж Игнаха Слизень. Варвара тупо посмотрела на Домашку и отвернулась.

Толпа растаяла, появился городовой. Вокруг него стояло несколько зевак, сиделец в кожаном фартуке что-то объяснял ему, встряхивая рыбиной. Нищенки нигде не было видно, пропал и мастеровой.

Темное пятно расплылось на дорожной пыли вокруг головы Александра.

На рассвете Варвара идет по пустынной дороге.

Поля тонут в тумане. Она прислушивается – где-то журчит ручей.

Она спускается к берегу, укладывает на землю пехтерь со спящей Палашкой. Скидывает рубаху и юбку, забирается в воду. Она трет подмышки, грудь, спину, погружает лицо в воду. Выходит на берег, отжимает волосы.

За поворотом дороги открывается хутор. Туман редеет, клочья его поднимаются к небу. Варвара останавливается, увидев, что лошадь бродит по усадьбе. Она вытаскивает Палашку из пехтеря и пускается бежать.

Дым – а не туман – стелется по двору. Курится крыша шалаша над землянкой. На месте новой избы торчит закопченная труба печи. Бледным пламенем догорает на земле крыша сарая, искры вспыхивают в головнях.

На почерневшей траве посереди пепелища, раскинув руки, храпит Иван. Лицо его в саже, волосы и брови опалены, на лбу сочится ссадина. Варвара трясет его, кричит. Палашка плачет.

Иван открывает глаза, налитые кровью, бессмысленно смотрит на Варвару и, пробормотав ругательство, валится как подкошенный.

Землянка залита непривычно ярким светом – низкое закатное солнце светит в провалы крыши. В горнице беспорядок, следы пожара. Под лаптями Ивана хрустит битое стекло.

Варвара с Палашкой на руках стоит у печки, глядя, как Иван засовывает в мешок рубанок и стамески. Он берет каравай хлеба, режет пополам. Втискивает топор за подпояску, вешает на плечо связанные сапоги.

Варвара с Палашкой смотрят вслед Ивану, уходящему по дороге. У поворота он оборачивается. Варвара едва различает вдали темный силуэт на светлой дороге.

И Ивану видны только смутные очертания бабы с ребенком у

ограды, белое пятнышко платка на Варваре и синее на Палашке.

А потом на дороге никого нет.

На путях пыхтит эшелон под парами. Маршевая рота грузится в вагоны. Офицеры курят на перроне. Топчется в ожидании толпа новобранцев. Гремит гармонь, пляшут двое пьяных. Купеческое многолюдное семейство стоит, окружив двух румяных парней-близнецов. На снегу дымит самовар. Нищенка с ребенком останавливается рядом, низко кланяется:

– Православныя, подайтя Христа ради погорельцам, будьте такие милосливыя…

– Второй батальон – стройсь! – разносится команда.

Все приходит в движение. Пронзительно гудит паровоз, кричат унтера. Рекруты торопливо хватают мешки и скатки, их целуют, крестят, они бегут в строй. Городовой подносит руку к козырьку.

Из церкви выходят люди после службы. Нищенка с ребенком кланяется:

– Подайтя Христа ради, православныя…

Это Варвара с Палашкой на руках.

Часть вторая
Власть народа

В снежном мареве ползет поезд.

Тянется мимо голая степь, холмы и овраги, тощие лозины над замерзшим ручьем.

В теплушке полумрак, сизый рассвет сочится в узкое окошко под крышей.

Мужик вздрогнул от толчка, нащупал мешок под собой, повел мутным взглядом и провалился в сон.

Все пространство вагона забито, сидят друг на друге, стоят в проходе, ноги в валенках торчат из-под лавки. Все спят. На повороте, как по команде, переваливаются от стенки к стенке, никто не просыпается.

Пронзительно свистит паровоз. Лязгают тормоза.

Поезд остановился. Путь завален бревнами.

Из белой мглы налетают всадники.

Варвара сидит в проходе на мешке. Прижавшись к ней, спит семилетняя Палашка.

Снаружи доносятся возбужденные голоса, чей-то отчаянный крик.

– Чего тама? – спрашивают мужика, прилипшего к окошку.

– Ездиют какие-то на конях, – тоскливо говорит мужик. – А кто их разбереть? Командуеть вроде в кожанке…

– Должно, комиссары…

С грохотом отваливают дверь, в теплушку один за другим влезают пятеро с винтовками и принимаются потрошить багаж.

– Полный спокой, граждане! Чего везем?

Поднимается гвалт.

Человек в кожанке спрашивает:

– Доктора есть?

Бородатый господин в шубе невольно дергает головой и отворачивается.

– Доктор? Спирт имеется?

– Безобразие, совести нету!..

Доктор получает по зубам, узлы его обшаривают, достают бутыль.

– Меня в расход пустють! – кричит мужик, повисая на парне в тулупе. – Хлеб казенный, вон она бумага!

– Колечко быстренько, мадам!

Проснулся матрос, схватился за маузер, на него навалились, скрутили.

– А ну, Серый, раздеть да на снежок его, пущай голышом

прогуляется…

– Погоди, братва…

Он достает из штанов тряпичный узелок. На свет появляется серебряный портсигар, кулон с камешком на золотой цепочке.

Трогаются по дороге нагруженные сани. Всадники исчезают в метели. Машинист идет вдоль поезда, кричит:

– Путя нету, которые ехать желающие, ступайте завал разбирать!

Люди выбираются из вагонов.

Баррикаду на полотне занесло метелью. Выковыривают из-под снега и скатывают верхние бревна.

В сумерках приближается разъезд. На путях стоят несколько составов, горят костры, греются у огня люди с мешками. Из вагона кричат:

– Давно сидите, православные?

– Пять дён…

В теплушке ропот возмущения:

– Чтоб им повылазило, паразитам!

Лязг, толчок – поезд остановился.

– Ну, где ты, староста? – вздыхает кто-то в тишине. – Давай, чего тянуть…

Поднимается немолодой скуластый мужик в бараньем полушубке, обходит, собирает деньги.

– Мало, – сурово говорит он бабе. – Сказано: по триста.

– На чужом-то горбу много вас, охотников, – ворчит другая баба. – Нету – и ступай пешая…

Варвара, косясь по сторонам, копается в чулке.

С улицы колотят в дверь и кричат:

– Седьмой вагон, иттить собираетесь, ай заснули?

Староста обстоятельно заворачивает деньги в платок, крестится.

– С Богом!

И вываливается в темноту.

– …Пятьдесят седьмой смешанный? Нахальство какое, вы же только пришли! Да у меня тут неделями торчат!

Начальник разъезда, в тулупе поверх формы, сопливый, с распухшим носом, с красными слезящимися глазами, отмахивается от наседающих мужиков. Снежная крупа летит в выбитые окна, ветер гоняет бумаги по углам.

– Договаривайтесь сами. Договоритесь – пропущу сразу, мне зачем… – Деньги начальник сгребает в ящик стола. – Вон они, продпоезд на втором пути. Ступайте к командиру отряда.

Старосты стонут:

– Обратно отряд? Да нас уж почистили, с утра ишо… Такой отряд, еле ноги унесли!

– Это где же? У Снегиревки? То бандиты, шайка Кольки Бербешкина озорует, – объясняет начальник, хватая взлетающие справки. – А эти губкомовские, с мандатом, по всей форме. Заградительный отряд имени товарища Бебеля. Они тут хозяева…

Старосты бредут вдоль эшелона. Где-то в вагоне бренчит балалайка. Из дверей смотрит наружу дуло пулемета, рядом боец пристроил швейную машину и строчит при свете коптилки.

– Потерял кого, борода? – спрашивает портняжка.

– Командера бы нам, самого товарища Бебеля, кажись…

Бойцы смеются:

– Ух, деревня! Да энто у нас звания такая, кличка геройская. А командир у нас вовсе товарищ Масяськин. Только они на деревню до зазнобе утекли…

Выглядывает еще боец, на ходу он проворно тасует колоду.

– Чего надо, отцы?

– Да вишь, какая незадача, потолковать хотели с командером…

– Ты скажи: чего надо? Авось и без его сладим…

Староста влезает в вагон.

– Бабоньки, девоньки, до вас! – сокрушенно говорит он. – Велели девок да баб, которые покраше, посылать к им в отряд…

Воцаряется тишина.

– Побалуемся маленько, говорит, а завтре пропущать обещалися… Отряд имени товарища, не упомню, как по батюшке, дюже мудреный… Которые нас утром парили – оказывается, бандюки. А энти вроде правильные, заградители. Дак чего делать-то, девоньки?

Мужчины молча рассматривают женщин. Все вздыхают.

– Нужно бабам иттить, – решительно говорит мужик. – Чего поделаешь, хлеб везем…

– Пошли, Манюш, чего сидеть… – встает бабенка, кивая другой.

Та нехотя поднимается, оборачивается к Варваре:

– Ай ты у нас барыня?

Женщины вылезают из вагона, собираются кучкой.

– Все собрались? – Староста морщится, вздыхает. – Энто… которые девки целые – вы уж не ходите, што ли…

Навстречу женщинам высыпают бойцы, подсаживают их в теплушку:

– Кинареечки, давай сюды!

– Да их тута целая стада, столько не требуется, – смеется парнишка с фонарем. – Ишь, разохотилися…

В теплушке заградителей багровым огнем светится раскаленная буржуйка, на крышке, стреляя искрами, жарится сало. Приобняв Варвару за плечи, парень в распоясанной гимнастерке рассказывает:

– …Паек – хлеба хунт, да каша, да суп с воблы. А я энту воблу не кушаю. Приварок у нас, котловая довольствия, да спекулянта прижмешь…

Парочка появляется из темноты и идет к печке греться.

– …Сапоги дали, вещевая тоже довольствия. А то намаялся без сапог… Показал бы, да тута темень такая. Личность твою не разберешь. Семенов, дай, братец, свечку, бабу поглядеть…

Он встает, подносит огарок к лицу Варвары. Держа в руке стакан, она покорно смотрит на него.

– Отпущал бы ты меня, касатик. Дитё тама осталося.

– Зазябла, что ль? Дак самогонки выпей. Сейчас косточки-то разогреем… Куды ж ты собралася?

– С усадьбы мы. В прислугах служила.

– У буржуев?

– Зачем? Дворяны оне.

– Один хрен, сплотаторы.

– Поубивали их мужики, господ. Мальчонку и то не пожалели. Пришли пьяные, усадьбу спалили…

В темной глубине вагона вспыхивает драка, кто-то падает, визжат бабы.

– Того гляди, мешок сопруть, – бормочет Варвара. – Взял бы ты какую послаже, сынок…

– Маманя нашлася… А ну, катися! Одну тоску напущаешь…

Спрыгнув на снег, она дергает на лоб платок и пускается бежать по путям мимо костров.

В теплушке стоит храп на разные голоса. Огонек свечи вздрагивает в фонаре.

– …А на грудях орден серебряный. Ружье такая – не подымешь. Ужасный сильный. Он у их самый главный командер…

– Ты с им целовалася? – уплетая сало, интересуется Палашка.

– И не тронул, вот те крест! Добрый – страсть…

– Чего ж денег не дал? Небось богатый…

– Самому, говорит, нужно. – Варвара вздыхает. – Солдаты жруть, поди прокорми…

– А звать его как?

– Звать? Альфред.

– Жид, што ль? – удивилась Палашка.

– Бог его знаеть…

За окошком занимается рассвет.

Гремит дверь, появляются женщины, втискиваются на места. Варварина соседка не держится на ногах, ее тащит подруга. Староста приходит мрачный.

– Маненько дожидать придется, – бормочет он. – Начальника куды-то арестовали, новый теперя другой сидить…

– Плакали наши денежки…

– Вот завсегда так, – с трудом ворочая языком, говорит на весь вагон одна из девок. – Завсегда женщина омманутая. За что ж мы обиду терпели?

Подруга, не выдержав, прыскает, смеются и мужики.

В вагон влезают два китайца с винтовками в шинелях и папахах, за ними – курчавый юноша в кожанке с изможденным лицом, с темными кругами под глазами.

– Проверка документов! – объявляет он, картавя. – Комендантский патруль!

Люди вскакивают с мест, кричат и топают ногами. Вмешивается староста:

– Дак проверенные мы, господин комиссар, до исподнего проверенные! Мы сей минут трогаемся, нас пропущають…

– Граждане, сохраняйте порядок. Без нас не отправят, мы – чрезвычайка. Товарищ Чжан, приступай.

В теплушке закипает скандал.

– У тебя тут четыре пуда, не меньше…

– У мине девять душ на дворе! Справку видал? – в бешенстве вопит мужик.

– Есть нормы Совнаркома, у нас идет беспощадная борьба со спекуляцией…

Перед Варварой стоит китаец с непроницаемым лицом. Она объясняет:

– Пущал бы ты нас, дяденька. Усадьбу сожгли, господ убили. На деревню мы, тама и документ справим.

– Слазь, – кротко говорит китаец. – Не полозено.

Поезд уходит, проносится мимо последний вагон.

Варвара с Палашкой, навьюченные мешками, подходят к костру.

– Народу-то как на ярмонке, – сварливо замечает Палашка. – Небось по избам полно, ночевать не пустють…

– Чего ворчишь? Все ты на худое поворачиваешь…Не пропали же, Палань? Добрых-то людей завсегда больше…

Слышится протяжный гудок, рев его нарастает, Палашка

затыкает уши. Из морозного тумана выползает паровоз, мелькают вагоны, гремя на стыках.

– Тридцатый на Ртищево, – говорит кто-то.

– Вон он стоит, загорает, тридцатый, – возражают ему. – А этого с ночи ждут, спецэшелон военный, перегон закрыли…

Варвара взваливает мешки на спину.

– Кто ж табе туды пустить, трясогузка? – смеется мужик. – Тама щяс одне армейские да чека…

Отойдя подальше, Варвара с Палашкой припускают бегом к станции.

Они бредут степным проселком. Солнце слепит, среди островков бурого снега бегут ручьи.

– Гляди – грач! – радуется Варвара. – Нам бы ишо самую малость, до травки до зеленой протянуть, а уж тама разживемся, не помрем…

Вот он, последний поворот. Вдали открывается хутор – соломенная крыша землянки, завалившаяся изгородь, голая труба печи.

Варвара всхлипывает, порывисто прижимает к себе Палашку.

– Кровиночка моя, доченька! Привел Господь, думала – уж не увижу… Вот он, хутор-то самый! Здеся ты на белый свет произошла, дитё моя ненаглядная!

– Тама печку топють, – бормочет Палашка.

Над крышей землянки вьется прозрачная струйка дыма.

У Варвары подкашиваются ноги:

– Иван!

– Тятькя-я! – вопит Палашка и со всех ног мчится к хутору.

Споткнувшись обо что-то, Варвара полетела кубарем через порог и растянулась на земляном полу.

– Хлебало откроешь – пришью, как жучку!

Незнакомый мужик в шинели уткнул ей под горло ствол винтовки, в другой руке у него бьется Палашка. Он отшвыривает девчонку и, вжавшись в стену, с винтовкой наизготове замирает у двери.

– Чтоб ни звуку!

Варвара, поднявшись, схватила перепуганную Палашку и забилась в угол. Мужик подскакивает и осторожно выглядывает в прореху крыши. Наступив на Варвару, он подтягивается, вытаскивает за собой винтовку и исчезает в кустах на дворе.

– Боюся, мамка… – хнычет Палашка.

Варвара запихивает ее под лавку, сама заползает следом.

– Пулять зачнуть – ляжи, не трепыхайся!

Однако на улице тихо, тенькает синичка.

Мужик появляется в дыму.

– Патрон жалко стратить… – бормочет он свирепо. – Какие были-то? Слышь, баба? Армейские али мужики?

– Дак не видали мы ни единого…

Переждав, Варвара высовывается. Он сидит на краю стола и торопливо ест. Сам он тщедушный, на нем длинная кавалерийская шинель.

Вдруг он закашлялся и стал колотить по столу, опрокинув бутылку.

– Пущай я жук навозный, а ты против мине сильно грамотный, паразит? – орал он неизвестно кому. – Всю гастрономию достиг, откуль у моржа яйца растуть? Командеры, мать вашу, мало вас драли…

Он покосился на них через плечо:

– А ну, брысь отседова! Расселася, гусыня…

Подхватив мешки, они кидаются к двери. У порога их останавливает окрик:

– Назад! – Он лязгает затвором. – Стоять! Не отпущаю! Крою беглым, бью на месте!

Они застывают, ни живы ни мертвы, под наведенной винтовкой.

– Слушай мою команду! Я тя арестовал. Теперя ты пленная баба. Допрос чинить буду, очную ставку табе ставить.

У Варвары брызжут слезы.

– Что ж ты над нами куражишься, пьяные твои бельма! – кричит она, заслоняя рыдающую Палашку. – Ружье убери! Дитё застращал, ирод!

– Отвечай по всей форме, даю важный вопрос. – Винтовку он все же поднимает кверху дулом. – Деньги есть?

– Вот дурень-то…

– Брешешь, у баб завсегда деньги есть. С ходу тебе застукал, суть твою поганую выставил… Фамилие какое?

– Табе зачем?

– Давлению окажу, набью хлебальник! Последний вопрос становлю, не ответишь – табе кранты…

Отхлебнув из бутылки, он пристально смотрит на нее. Палашка заскучала, взяла со стола жменю капусты.

– Не мелькай! – Мужик отпихнул ее, она упала.

С воплем Варвара налетела на него, скинула на пол вместе с табуреткой, поддала ногой.

– Сморчок сопливый, ишо девку тронешь – я те башку оборву!

– Положь оружию! Заряженная!

Она отшвырнула винтовку, раздался выстрел. Пуля чиркнула

по бревну, взметнув облачко пыли.

– Сказал – заряженная! – закричал он, поднимаясь, потирая ушибленное плечо. – Теперя набегуть…

– Кто набежить? Тута окромя волков отродясь никого не водится… Я тута хозяйка, энто наша усадьба!

Она разбросала поленья, откопала в куче хлама полусгнивший голик, принялась мести. Мужик сел к столу, уронил на локоть голову и всхрапнул. Она смахнула на пол объедки.

– Соли надо? – буркнул он, приоткрыв глаз.

– Почем?

– Подай баул, тама под лавкой. А то – денег у ей нету…

Она принесла сундучок с замком, он стал в нем рыться.

– Небось слыхала, почем соль ноне? Недорого возьму. Осьмушка – бутылка… А энто видала?

Он развернул нижнюю юбку из белого батиста с кружевной оборкой. И Палашка прибежала смотреть. Варвара вертела юбку и так и сяк, прикладывала то к себе, то к дочке, не могла расстаться.

– Цана – муки два пуда. За пуд уступлю, по знакомству…

Вдруг он вскочил и, вырвав юбку, бросился к прорехе в крыше.

– Навела, паскуда! – прошипел он и метнулся за винтовкой. – Сейчас ступай к им, бреши чего хошь, живо!

Губастый парнишка в поддевке шагнул через поваленную изгородь, но, увидев идущую по двору Варвару, что-то сказал сидевшему в телеге матросу.

– Ишо новости… – недовольно проворчал матрос. – Откуль такая чудо-юдо?

Варвара, не ожидавшая такого приема, насупилась:

– А сами кто будете?

– Мандат тебе, что ли, показать? – Матрос усмехнулся.

У него было задубевшее, смуглое лицо, смотрел он угрюмо, но по усмешке Варвара узнала Гришку, Баранчикова работника.

– Али как звать позабыла?

Она вспыхнула:

– Энто ты, може, позабыл, да я-то век помнить буду…

– Кажись, я с тобой не крестимши… – начал он и осекся, глаза его сузились. – Баранчикова, что ль? Варькя? Ступай, откудова пришла. Нам кулаков не надобе.

– Энто я – кулачкя? – Она опешила.

– А то! Семья самая кулацкая, мироеды натуральные. Мало вас жгли… Лошадей однех сколько держали!

– В глотку тебе мою богачеству… – пробормотала она,

опустив голову. – Я с дитём за подаянием по дворам ходила, и мешки шила, и белье мыла, только б не околеть…

– Ты отседа ушла? Для чего верталася? Никто не звал.

– Куды ж мне деваться? Голод кругом. А тута земля…

– Земля энта не ваша, земля теперя народная. Не пустить тебе сельсовет – и амба, гуляй на все четыре…

Она вскипела:

– Ты-то чего лезешь? Боле всех надо?

– Я и есть председатель сельсовета, – просто сказал Гришка. – Я тута советская властя…

Варвара с Палашкой бредут по улице.

– А Егор богатый? – мечтательно спрашивает Палашка.

– Первый был хозяин на деревне, – сухо говорит Варвара. – Помереть-то не дадуть, кровь родную на улицу не погонють…

Ворота распахнуты, ветер гуляет по усадьбе. Пусто в конюшне, от сенного сарая одни столбы торчат. Над крыльцом Баранчика полощется порыжевший за зиму красный флаг.

Что-то заскрипело на дворе, донеслось хриплое ворчание. Из собачьей конуры показались ноги в опорках, потом костлявый зад, и на свет вылез дурачок Мартынка. Увидев застывших в воротах Варвару с Палашкой, он задрал к небу заспанную физиономию с сивой бороденкой и забормотал:

– Дай табачкю, дай табачкю…

– …Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся…

Служба шла в боковом притворе. Священник в очках с синими стеклами оглянулся, две бабы с готовностью подхватили его под руки, помогли спуститься.

Спины склонились над купелью, раздался негодующий плач младенца, и Варвара увидела, как баба ловко приняла на распахнутую пеленку красную мокрую девочку.

Крячиха вложила кисточку в пальцы священнику и, водя его рукой, крестом помазала лоб ребенка.

Бабы подняли отца Еремея на солею, поставили лицом к иконостасу.

– Миром Господу помолимся…

Тусклое пламя сальных плошек вздрагивало на сквозняке, по алтарю метались тени. Крячиха обернулась и беспокойно вгляделась в сумрак ниши, где стояла Варвара.

В избе у Трынки гуляют на крестинах, дребезжит гармошка в руках тетки Федихи.

– В Кирсанове-то, слыхали, чего деется? – цепляя огурчик,

говорит Клашка Лобаниха. – Пономариха чорта родила от куманиста…

Бабы испуганно крестятся.

– Известно, кирсановские, от их только и жди греха…

– Какой из себе-то? С хвостом?

Хозяин Лебеда, угрюмый мужик, сидевший с попом в красном углу, кивает на деда Тучу:

– В точь как крёстный. Сам махонький, а елда с оглоблю…

Бабы смеются. Старшая дочь Машка несет к столу скворчащую сковороду.

– А картошечки с огню! Налетай, бабы! – приплясывая, зазывает Трынка. Губы у нее разбиты, фонарь под глазом. Федиха откладывает гармонь в сторону:

– Ну ё к бесу, какая без мужуков гулянка…

Крячиха тихо рассказывает Варваре:

– …Егоршу убили – ишо царь сидел. Да как били-то! Вся деревня у его в долгу, у Егорши… Сивухи ведро на двор принесли, выпьють для передыху – и обратно бить, покуль не кончился…

Лебеда всовывает налитую стопку в пальцы священнику, чокается.

– Яишня, что ль? – встревожился тот, распробовав закуску. – Ах, азияты, пост же!

– Невелик грех, – машет рукой Трынка. – По нонешнему времю спасибо ишо куры-то несутся.

В сенях стучат сапогами пришедшие – Гришка и с ним краснолицый мужчина в красноармейской шинели. Две девчонки-погодки возятся со щенками на конике.

– Постоялец мой, командер, которые дизентиров ловють, – шепчет Крячиха, ухмыляясь. – Такой кобель…

– Как назвали-то? Акулькой?

– Ядреная девка, – басит военный. – Вылитый батя…

Поднимается такой хохот, что звенят стаканы на столе, бабы валятся с лавки.

– Девка-то нагульная, – объясняет Гришка. – Лебеда, он только с плену с Австрии пришедши, его четыре года не было…

– Виноват, промашку давал! – гулко смеется командир, поднимая стакан. – Бывай здоров, хозяин!

Среди общего веселья Лебеда невозмутимо разливает самогон.

– Видать, уж так у ей молотилка устроена, – замечает он. – Кто ни заряжай – беспременно девка вылазить…

– Сколько ж у тебя невестов?

– Четвертая покамест…

Варвара слушает Крячиху:

– …А в церкве чего творили-то! Сапоги с мужуков в храме сымали, до дому ступай босый. Левонтия, дьякона, в алтаре застрелили. Батюшку ружьем по башке съездили, теперя, вишь, слепой, как кутенок…

За столом разгорается скандал. Трынка, вскочив, кричит на командира:

– Ты чего пришел? Кто тебе звал? Он вона наземь падаеть, весь порватый, ночь на дворе бродить, как анчутка!

– Гляди-ка, особенный он какой? – удивляется командир. – У меня-то у самого ранения наскрозь и контузия, германскую, небось, тоже нахлебамши… Грудя есть, руки есть, винтовку держать можешь – значить, годен!

Трынка готова вцепиться ему в глаза.

– Отпущённый он вчистую, и бумага имеется! Али пока всех мужуков не перведуть, не будеть вам останову?

Ребенок плачет. Трынка берет его из зыбки, дает грудь.

– Ты ишо сопливый за мамкой бегал, а я уж в окопе от микады гостинца дожидал, – говорит Лебеда с презрительной усмешкой. – Вон оне – две в ногу, одна в бок, под Мукденом… Будя, таперя ты повоюй…

– Царь им все не годимши. Нешто Гришка лучше, обормот? – сердито шепчет Крячиха. – Самогонки дам да гуся, поднесешь ему, он те какую хошь бумажку разрисуеть и печать пристукнеть… Земля-то стоить непаханая, глянешь – заплачешь. Мужуков сколь поубивали, а кто живой – в армию забратые. Погоди, уж Егорий на носу, пахать пора – тута оне, как тараканы, с армии прибегуть. И Гришка враз стихнеть, энто не бабами вертеть…

– Батюшка чегой-то пригорюнимши. – Командир добродушно улыбается. – Давай, отец, выпьем!

– Ты кто? – спрашивает священник.

– Армейские оне, командер с уезду, хочуть с вами тяпнуть…

– Партейный?

– Знамо, партейный.

– Чудеса, – замечает священник. – Все бывало, а с куманистами вино пить не случалось…

Чокаясь, командир вдруг запускает густым басом:

– Новокрещеной рабе Божией Акулине… многая лета-а-а!

Красное лицо его становится багровым. Все смеются, поп доволен.

– Вот энто по-нашему! Шел бы ты ко мне в дьяконы…

– А по-нашему-то вон как… – Он ревет на всю избу: – Пр-р-ролетар-рии всех стр-р-ран, соединяйся-а-а!..

– Тише вы, дьяволы, – ворчит Трынка. – Девку родимчик хватить…

– Растолкуй ты мне, старой дуре, – вмешивается бабка Бзыря. – Почто их прилетать-то зовуть? И цыган, и татарин – и все до нас?

– Про цыган не скажу, не слыхал, – озадаченно говорит командир. – А татаре-то самые боевые. Да латыши…

– Без коней останемся, цыганы покрадуть… С кем соединяться-то? С ворьем?

– Натурально, с мужиком, – бурчит Лебеда. – Ты смекай, Бзыря… В Расее мужик ноне ослабши. В одиночку ему не взойтить. А тута со всех сторон набегуть, с заморских, да всем миром табе засодють. Небось крякнешь…

Священник хохочет вместе со всеми, вытирает слезу:

– Ах, срамники, шалопуты…

Утром Варвара латала крышу, утюгом прибивала доску.

Мужик появился с огорода. Мокрый, весь в ржавой глине, с винтовкой и мешком на плече, он ковылял по двору и кашлял.

Палашка глядела с полатей, как он стаскивает сапоги, дрожа от холода. Под ним тотчас натекла лужа.

– Не в кабак пришел, – сварливо сказала Варвара. – Не вишь, прибрато в избе…

Печь в землянке блестит свежей побелкой, в красном углу иконка, чистой тряпицей застелен стол.

Стянув гимнастерку, он добыл бутылку из кармана шинели, откусил затычку и стал пить из горлышка. Посидел, переводя дух, стуча зубами, и стащил с себя портки вместе с подштанниками.

– Срам какой! – вспыхнула Варвара. – Дитю бы хуч постыдился!

– Брысь отседа… – пробормотал он.

– Никуды мы не пойдем, энто наша фатера. – Она уселась на табуретку, сложила руки на животе. – Ты ишо за постой платить должон.

И Палашка прибежала, стала рядом.

– Набежали, паразиты! – заревел он и, схватив винтовку, запрыгал к ним со спущенными штанами. – Сполняй приказ, кладу на месте!

Варвара с Палашкой кинулись на двор.

За дверью слышалась ругань и возня, потом все стихло.

– Вишь, чорт, озорник какой…

Палашка побежала к окошку.

– Штаны надел… – доложила она. – Чегой-то на печке ковыряется… кажись, жрёть!

Варвара охнула, заколотилась в дверь, но она не поддавалась.

– Энто наши шти! Не трожь, зараза!

Она вскочила на крышу и, отодрав прибитую доску, свалилась в горницу.

– Дитё кормить нечем!

Отставив зад в подштанниках, он ловко отпихивал ее от печки, а другой рукой зачерпывал варево.

– Отдай! – кричала Палашка. – Мы тоже исть хочим!

Варвара схватила винтовку:

– Стрельну! Ей-богу, не погляжу!

– Незаряженная, положь. – Обжигаясь, он перекатывал во рту горячую жижу. – Кулацкая твоя морда, человека убивать за пойлу поросячью… На, подавися!

– Иди, доча, покушай, покуда он все не сожрал. Нахлебник ишо… – проворчала Варвара.

Палашка накинулась на еду.

Забравшись на полати, мужик завернулся в шинель, что-то под ней отщипывал и отправлял в рот. Его била дрожь.

– Дай хлебца, дяденька, – попросила Палашка, углядев, что он жует.

– Не могу, самому мало… – Он сунул за щеку остаток краюшки. – Рази энто шти? Тама один бурак, энто борч называется, а шти положено с капусты.

– Ты мине не указ, – проворчала Варвара. – Тута я хозяйка. А куролесить будешь – мужуков с деревни покличу.

– Я те покличу, головы недосчитаешься, – пообещал он. – Помой рубаху, худо мине…

– Прислугу нашел… – Она подняла с полу его гимнастерку. – Иде же ты так выгвоздался? Давай соли осьмушку – одёжу вымою.

– Я те лучше дам… Тама в подсумке.

Варвара подобрала подсумок, открыла – он был набит винтовочными патронами.

– Куды энто? В похлебку ложить?

– Ну, квашня… Да за патроны мужики табе цельного барана приволокуть.

Варвара с сомнением потрогала патроны в смазке:

– Не омманешь?

– Настоящий товар даю. Патрон самый свежий, прямо с заводу, с сорок третьего, танбовский…

Она припрятала патроны и, собрав его одёжу, пошла на двор.

У колодца она услышала его отчаянный надсадный крик. Из дома с воем вылетела Палашка в слезах:

– Напужалася, мамка!

– Ложись, гады, нарублю в окрошку! – хрипел он, скорчась на

полатях, и трясущимися руками дергал затвор.

– Когда ж угомон табе будеть? Нету никого, чего табе млеется…

Варвара отобрала у него винтовку. Он обмяк, покорно дал себя уложить, свернулся калачиком под шинелью.

– Машину увидишь – сейчас до меня беги… – прошептал он.

– Откуль тута машина? – удивилась Варвара. – У нас и рельса нету, до чугунки семьдесят верст…

– Самая лютая та машина, от ей не скроешься… – бормотал он, скрипя зубами, шаря по бревнам воспаленным взглядом. – С семью головами рогатыми, и шесть крыл у ей железных, серу огненную пущаеть и кричить нестерпимым голосом…

– Страсть какая! – Она перекрестилась. – Ероплан, что ль?

Пот лил с него градом, он часто и шумно дышал.

– Непутевый какой… – с досадой сказала Варвара. – Звать-то тебе как?

Накрывшись с головой, он отвернулся к стене. Она пошла к двери, но услышала его хриплый шепот:

– Коли помру – Пензенской губернии Чембарского уезду деревня Ключи… а звания наша Малафей.

– Соловей? – удивилась Варвара. – Татарин, что ль?

– Малафей, не Соловей… Самая ни на есть православная. Андела на самые на святки, третьего числа…

Лошадь с санями торчала в распахнутых воротах сельсовета. Мужик скидывал остатки снега с крыши. На крыльце курил и щурился на солнце паренек в красноармейской шинели.

Набравшись духу, Варвара оглянулась на Палашку и толкнула дверь.

Посереди горницы в луже плавают лиловые документы.

Гришка в черном бушлате ходит у стола по проложенным доскам, чертыхаясь, роется в папках. С потолка, булькая, струйка стекает в таз.

– Нашел! – Губастый Спирька, секретарь сельсовета, сидя на корточках, машет выловленной бумагой. – И ведомостя тута, и межевые. Подсушить маленько…

– Портокол ячейки давай, салага!

– Я д-до твоей милости, Григорий Иваныч, – поперхнувшись, встряла Варвара.

Вошла старуха в тулупе, охая, перекрестилась на пустой угол, выпростала пакет из-за пазухи:

– Распишися, батюшка.

Пробежав документ, Гришка ухмыльнулся:

– Очумели они тама в волкоме? Да мы по разверстке когда

ишо отчиталися, я тот раз все отдал энтой стриженой… – Он оглядел старуху. – Как же ты не утопла, Михевна?

– И то, – охотно отвечала она. – Лошадь застрямши, в Троицком вплывь по кочкам перелезла. Пойду с Богом, сыночки, скотина у мене непоенная…

Как только дверь за старухой закрылась, Варвара ринулась к столу:

– Прими, не побрезгуй, по бедности нашей! А коли не помрем, за нами не станеть, отблагодарим по-людски…

Прищурясь, Гришка смотрел, как она выуживает из мешка мерзлого гуся и четверть самогонки.

– Спиридон, табань! – Он бросил бумаги, откинулся на стуле.

Губастый принес стаканы и миску с огурцами и капустой.

Гусь лежал на папках, свесив узловатую шею. Варвара с трудом узнавала горницу. Только дубовый буфет Баранчика стоял на прежнем месте у стены, на крышке его блестел на солнце раскрытый сейф.

Выпив, Спирька весь сморщился.

– А, не любишь! Крячихин, он у ей на табаке… – Гришка подхватил капусту, поглядывая исподлобья на Варвару. – Иде ж ты хлеба возьмешь? В землю-то чего бросать? Из фонда самообложения не дам ни зернушка, и не надейся…

– Уж как-нибудь… Людям поклонюся…

– Дураков-то нету. Он тебе дасть, а завтре отряд придеть, его первого потрошить… Не дасть никто.

В дверь просунулась белобрысая физиономия красноармейца:

– Ждать-то долго ишо?

– Позабыл я про тебе, – засмеялся Гришка. – Спиридон, справку по хуторам куды девал? Подыми корму-то!

– Насчет дезертиров? Тута.

Гришка вытер руки об штаны и, обмакнув перо в чернильницу, поднял взгляд на Варвару:

– У тебе тама дезертиров не видать?

– Кажись, никого…

– Гляди, коли брешешь…

Губастый понес справку в сени. Варвара шагнула к столу, рухнула на колени в лужу, обрызгав Гришку.

– Не погуби, Гриша! Помрем ведь с девкой, некуды нам деваться, горемыкам… Дыхнуть только дай, уж я в долгу-то не остануся, только дай подняться! Век буду Матерь Божью за тебе молить…

– Ты энти ухватки холопские бросай… – Гришка, оторопев, оттолкнул ее руки, отъехал на стуле. – Налог заплатишь чрезвычайный – потолкуем на сельсовете. Пять тыщ со двора… Ты

без мужика, так и быть, давай четыре.

– Пять тыщ? – ахнула она. – Дак у нас чем срам прикрыть нету…

– Энто дело хозяйская…

Варвара брела по улице, уставясь под ноги. Рядом, как собачонка, семенила Палашка, заглядывая ей в лицо:

– Чо ты, мамань?

– Отвязни, холера! – прошипела Варвара, оттолкнув ее.

Палашка, скривив рот, горько заплакала. Варвара стояла, тупо глядя на нее. Притянула к себе, прижалась.

За соседним забором раздался грохот.

Священник, оступившись на крыльце, уронил охапку дров и растянулся сам. Скорчившись на ступеньках, он беспомощно шарил рукой по перилам.

Варвара зашла в калитку, помогла ему встать, нацепить очки на нос. Палашка подобрала раскиданные поленья.

На кладбище за церковью Варвара вела священника по тающему снегу между вросшими в землю могильными плитами. Он нагнулся, ощупал подножие простого, сбитого из досок креста. На вздувшейся от сырости фанере расплылись корявые чернильные буквы:

Архипов Леонтий
сконч. в 1918

Он постоял у могилы неподвижно, утер слезу из-под темных очков:

– От зависти плачу…

Нащупал лавку и, стряхнув ладонью воду, уселся на край.

– Для чего Господь так устроил? Меня покарал, а ты с ангелами блаженство вечное вкушаешь…

– Его, што ли, в рай взяли? – заинтересовалась Палашка.

– А куды же? Кончину мученическую от безбожников принял, яко первомученик Стефан. Ноне в раю нашего брата прибыло…

Ветер шумел в голых липах. Палашка разглядывала мраморного ангела с отбитым носом.

– Петух соседский закричит, а мне досадно – зачем я ишо живой? Для чего небо копчу, последний хлебушко доедаю? А уж нового не пахать мне, не молотить…

– Дедушка, дай нам хлебца, ты все равно старенький, – быстро сказала Палашка. – А то никто не даеть…

– В долг не дают? – спросил священник.

– Боятся, батюшка.

Бабье лицо его посуровело, жесткие складки залегли у рта.

– Как началася свистопляска, революция энта самая, прямо взвыл я, возненавидел их, особливо баб… Энто ж не люди – зверьё! А долбанули по загривку – и в разум пришел. Бабы отходили. Храм закрыть хотели – опять бабы не дали. Сказано в Писании: Господь умудряет слепцы… – Он пожевал старческими губами и с неохотой сказал: – Проса у меня маленько осталося, много не дам, а пуда три-четыре найду.

Варвара поцеловала ему руку:

– Спаси те Христос! А мы тебе патронтов принесем, нам один дяденька дал… Патронт самый свежий, новенький.

– Рехнулася ты? Куды же мне, слепому?

Солнце низко стоит над полем. Длинные тени ложатся на пашню от лошади, от Лебеды, идущего за сохой. Варвара разбрасывает навоз.

– Простынеть, батюшка, ступай похлебай горячего, ушица только с печи…

Наконец он останавливает лошадь. Варвара, бросив вилы, бежит на межу, достает укутанный в тряпье чугунок. Она ждет, пока он возится с кобылой, обтирает ее ветошью.

Ест он неторопливо, не глядя на Варвару.

– Сеяться погодить малость, нога ишо в борозде стынеть… – говорит он, насупясь. – Чем сеяться-то? Ржицей?

– Просой.

– Откудова?

– Люди добрые дали, на бедность…

– Иде оне, добрые ноне? Подыхать будешь – никто корки не подасть, ишо и в яму подпихнуть…

– А сам-то? Дай Бог здоровья и деткам твоим, и скотинке! Пожалел нас, отец ты наш, пропали бы без тебе…

Лебеда что-то задумчиво рассматривает на ложке.

– Скородить надо бесперечь, – бурчит он. – Земля-то родовитая, добрая, должна родить.

– Уха небось простыла, покуль ты с кобылой миловался, – не выдерживает Варвара. – Ты с ей прямо как с бабой…

Лебеда отвернулся с презрительной усмешкой:

– Сровняла хер с пальцем… Да она мне – и мать, и жана, и зазноба, Чубарка энта. Вся Пресвятая Троица единосущная и нераздельная. Баба против ей – обыкновенный аппендикокс… Эх, кваску бы!

– Не серчай, батюшка, хлебушка нету, где квасу взяться…

– А у чехов, к примеру, квасу вовсе нету, а все пиво дують – и бабы, и ребятишки…

Закурив, Лебеда подобрел и стал разговорчивей.

– Земля у их неказистая, тощей нашей, а родить в аккурат. Потому оченно они за ей ходють и навозють…

– Где энто?

– В Богемии, место такая, Збраслав называется.

– Воевали-то вроде с германцем, – с сомнением сказала Варвара.

– Чехи – они под Австрией. Император ихний австрияк.

– А энти ишо откудова?

– Которые?

– Обстреляки, как их тама…

– Австрияки – те заодно с немцем. У их и разговор один у обеих, хальт да шнель…

– Нешто они не по-нашему гутарють?

– Ну, чухлома! – Лебеда с досады плюнул. – Да у кажной нации слова другие. Ты послухай, как цыган али татарин по-своему брешеть – ни хрена не разберешь… У чехов, к примеру, мужик по-ихнему будеть “седлак”, чуешь? У нас картошка, а у их вовсе “брамбора”…

– А баба как по-ихнему?

– Да вроде как по-нашему. – Лебеда сладко потянулся, встал. – Тама тоже люди живуть… На фольварке у хозяйки работал. Богато живуть. Однех коров двенадцать голов. А сама бестолковая. Баба – чего с ей взять…

Он свистнул, лошадь пошла. Варвара взялась за вилы.

– Все баб-то позоришь, а у самого полна изба, одна бабья сословия.

– Хуч бы парочку сатана прибрал… Дак живучие, стервы.

– Грех говорить-то, Бог накажеть!

– Ноне Бог отмененный, – проворчал он, ухмыляясь. – Царя скинули – значить, и Богу конец. В Расее теперя чорт хозяин…

Варвара отнесла навильник, сбросила в борозду.

– А грех-то? Грех-то вон он, никуды не делся, – сказала она в раздумье. – Стал быть, и Бог на месте…

Ночью ее разбудил неясный шум. Она поднялась, прильнула к окну под крышей.

Где-то совсем близко блеснул огонек и пропал. У риги ходили тени.

В сумраке смутно белел круп лошади на току. Фонарь горел под навесом. Какие-то люди сгружали тюки с телеги. Мужик, стоя по пояс в яме, выбрасывал землю лопатой. Варвара узнала Малафея.

– Ты почто командоваешь на чужом двору? – закричала она. –

По ночам колобродить, озорник какой, спасу нету…

Мужики мгновенно обернулись на голос, один из них, бросив мешок, спрыгнул с телеги и подошел к ней.

– Энто моя усадьба, – сердито сказала ему Варвара.

Он дернулся, у Варвары подломились ноги, она рухнула на колени. Голова ее, крепко схваченная за волосы, оказалась запрокинута назад.

– Удавлю дешевку… – пробормотал сиплый голос.

– Да энто баба здешняя, – услышала она Малафея. – Брось, Катька…

Она видела над собой пухлый, криво улыбающийся рот и серьгу в ухе. Рядом кто-то сдавленно стонал.

– Вали отседа. Хайло разинешь – пойдешь на шкварки…

Перепуганная, она стояла посереди горницы, прислушиваясь к голосам на дворе.

– Эй, ты где, баба? Тащи воды!

– Никуды не пойду. – Варвара заплакала. – Спать хочу, ночь на дворе…

Малафей шагнул к ней, она отпрянула. Из ладони у него торчал финский нож.

– Пришью, как жучку!

На траве лежал мужик с посеревшим, заросшим щетиной лицом и прерывисто, с присвистом дышал. Варвара попыталась задрать намокшую кровью рубаху, но он со стоном ударил ее по руке.

– Чего же ты дерешься, дурень? Стерпи маненько…

– Не довезу я его! – с надрывом закричал малый с серьгой в ухе, тот, которого Малафей назвал Катькой. – Ты глянь, Сопатый, он пузырями пошел…

Краснорожий детина с железным бочонком в огромных лапах покосился на лежащего:

– Доходишь, Лёвчик?

– Ишо у Катьки на поминках спляшу, – пробормотал тот.

Варвара разорвала рубаху, промыла рану под ключицей.

– Ну, огрызок, – проворчал детина. – Баба заложить – тебе не жить…

Пока Варвара перевязывала, они сновали от телеги к риге, таскали какие-то ящики, рулоны ткани, овчины. У Катьки в руках развалилась коробка, на голову Варваре посыпались связанные парами новенькие галоши.

– Дождетесь легавых… – торопил Сопатый. – Карасин под низ…

Заложив яму досками, они взялись за лопаты.

Лежа рядом с Палашкой, Варвара слышала, как Малафей возится у стола. Вспыхивал огонек цигарки, да бутылка поблескивала на лунном свету. Вдруг он запел тонким слезливым голосом:

В последний час разлуки
С тобой, мой дорогой,
Не вижу, кроме скуки,
Утехи никакой…

Варвара села на полатях:

– Табе угомон будеть, ай нет? Уж подыматься скоро…

Он встрепенулся:

– Песню играть можешь? Ступай сюды, живо!

Она подошла, увидела на столе шмат сала в тряпице, хлеб, банку консервов. Он протянул ей стакан.

– Лутче хлебца дай.

– Забирай всю добро! Знай пензенских!

Варвара выпила, ей обожгло горло. Малафей смеялся:

– Энто ж Спиртяга Иваныч, отец родный! Эх, зяблики танбовские, кошкодёры! Нагляделся я на вашу дурь, будя…

– Батюшки, вино какая пьяная! – Сало она сунула в юбку, взяла ломоть хлеба и нюхала. – Плыветь все кругом…

– Мине ежели накатить – нипочем не удержишь, – распалялся он, наливая. – Уж такой я мужик! Не гляди, что я росту курячьего, кого хошь обломаю и рядами положу…

Она засмеялась:

– Разбойник ты, Соловей Панкратич…

– Малафей, не соловей!

– Я с тобою вино пью, а ты меня после зарежешь…

– А ну, спевай мне песню на дорожку!

– Далеко собрался?

– На кудыкину гору! Мы военных тайнов не выпущаем…Эх, душа наружу толкается!

Он чиркнул спичкой, нагнулся и достал из мешка бронзовый канделябр. Варвара с восторгом смотрела, как он поджигает одну за другой толстые свечи и втыкает в рожки.

– Щяс праздновать будем, балы баловать, как у господ ахвицеров в Красном Селе…

Огонь заиграл на потемневшей позолоте, по бревнам побежали тени.

– А один… слышь? Штабс-капитан фон Бреверн. Вперлися мы к ему. Так что, вашскородь, ступай под арест. А он ухом не ведеть, с хрусталю выпиваеть. Вы кого напужать хочете, скоты?

Энто мы, значить, комитет ротный… Я есть русский ахвицер! Цапнул у Гараськи штык австрийский и пырь себе в брюхо! С его кровища текеть, а он, сволочь, сидить и красную вино кушаеть…

– Пропадай моя головушка! – Варвара махнула рукой. – Ишо наливай!

Со стаканом в руке, привалясь к плечу Малафея, она завела глаза к потолку и запела:

В воскрёсный день рано,
Да в воскрёсный день рано,
Сине море играла…

Малафей жмурился и мычал, подпевая. Рука его лежала на Варвариной груди.

Посередь синя моря
Случилася горе,
Да и случилася горе,
Тама Марья тонула…

По щекам ее текли пьяные слезы. Он завалил ее на лавку, она неуклюже отбивалась:

– Отвязни, сатана…

– Тебе как звать-то, ясноглазая?

– А вота не скажу…

Свечи в канделябре оплыли, последняя зашипела и погасла. Небо за окошком начинало светлеть.

Варвара открыла глаза. Спихнув к стенке храпящего Малафея, сползла на пол, с трудом поднялась на ноги, шатаясь, пошла на двор.

Она копает, тяжело дыша, стараясь не промахиваться лопатой. Наконец показались доски.

Просунув черенок в дыру, налегла всем телом, вынула одну. Достала верхнюю коробку. Под ней открылся прикрытый рогожей рулон ситца в мелкий цветочек. Выцарапала всю штуку и стояла, покачиваясь, поводя по двору мутным взглядом. Прибрела к землянке, пошарила под стрехой, затолкала рогожу в щель.

У колодца вытащила бадью, опустила лицо в воду, напилась и поплелась обратно. Споткнулась, упала и захрапела, раскинув тело посереди двора.

– Убью паскуду! Придушу, как жучку!

Малафей остервенело бил ее босыми ногами, отшвыривая

виснущую на нем, орущую Палашку.

– Девку щяс покалечу! Говори, чего сперла?

– Пусти, чорт, дай дыхнуть! Мужуки энто, мужуки…

– Каки таки мужуки? Что ночью были?

– Другие, кажись… – Она судорожно глотнула. – Я те шумнула, а ты ровно покойник… На двор пошла, гляжу, мужуки чужие. Они мене как стукнуть…

– Все брешешь, ведьма!

Он ударил ее, выдернул нож и раскрыл. Варвара оцепенела, острие уперлось ей под челюсть.

– Ой, мамыньки! – завизжала Палашка.

– А ну, брось бабу! Не балуй… – раздался голос.

По двору шел командир, Крячихин постоялец, в сопровождении двух бойцов. Люди в красноармейской форме, пешие и конные, тянулись по дороге.

Малафей вскочил и исчез за домом.

– В прятки играть будем али как? Скажи свому мужику, чтоб сам вылазил, не то хужей будет…

– Мужик-то не мой.

– А мордовал как свою… – заметил командир. – Выходи, братец, не тяни волынку!

Малафей вылетел из своего укрытия и сломя голову понесся на огород.

– Стой, стрелять буду!

Навстречу ему из малинника встал широкоскулый бурят с винтовкой, и Малафей, вильнув как заяц, помчался к ограде. Боец приложился и выстрелил.

– Я те стрельну, холера косая, я те так щяс стрельну по темечке! – Малафей враз остановился. – Рази можно макаков энтих допущать до винта?

Командир спокойно ждал, пока он подойдет.

– Давно в бегах?

– В отпуску мы, – буркнул Малафей и кашлянул. – Грудя слабая…

– Документ имеется?

– В эшалоне сперли…

– Нету? И нечего трындеть… Оружие где? Сапоги на базар снес?

Подошел боец, что-то негромко сказал командиру, он обернулся. Красноармейцы столпились в риге над ямой.

– Чего там заховано?

– Невиноватая я! – завопила Варвара, заливаясь слезами. – Ой, горе мине! Провалиться мине, невиноватая!

– В Токарёвке потребиловку ограбили, милиционера убили…

– Энто не моя усадьба. – Малафей смотрел вдаль. – Я тута никого знать не знаю. По пьяному делу до бабе завернумши…

Солнце садилось, когда Малафея с Варварой вывели из землянки. Бородатый следователь с помощником что-то замеряли рулеткой, милиционер отгонял пришедших поглазеть баб и ребятишек.

Боец проложил дорогу через притихшую толпу. Арестованных усадили на телегу, конвоир шуганул Палашку, и Варвара с криком вцепилась в него. Стыд жег ее, она дралась и кусалась, и сразу стихла, как только Палашка оказалась у нее под боком.

Две бабы внесли в алтарь бачок с баландой, мордатая надзирательница стала на раздачу. Вокруг закипела толчея. Под сводами собора не замолкал гвалт бабьих голосов, усиленный гулким эхом.

Палашка вертелась около воровки Марфуши, кормившей грудью месячную дочку. На верхних нарах подрались девки, игравшие в карты, скатилась и упала бутылка. Старик в углу оторвался от книги, поднял белую голову с длинными редкими космами.

– Заделаю начисто! – истошно закричала Марфуша. – А ну, лярвы, стихли мигом!

В очереди за баландой соседка Стеша, немолодая крепкая баба, жаловалась Варваре:

– Корове телиться, теплынь такая, картоплю садить. Мужик ишо, не дай господи, запьёть… В середу судить обещалися, а все никак…

– А мы посеяться не поспели, земля порожняя стоить… Коли засудють – обратно нам зима голодная.

Варвара подставила кружку под черпак. В нос ударил запах воблы и гнилой капусты, она невольно отвернулась.

– Люди вона за добавкой стоять! – проворчала надзирательница. – Морду она воротить, тоже барыня на вате…

К белому старику подошли две немолодые монахини с мисками. Он благословил их баланду, они по очереди приложились к его руке.

– Ваньшина! Баранчикова! На допрос!

Боец ЧОН, парнишка с соломенным чубом, весь в веснушках, перешагивая через лежащих, пробирался по проходу между рядами нар.

– Хуч на белый свет поглядим, прогуляемся… – обрадовалась Варвара.

– Ваньшина, кому говорят? А ну, зараз!

Марфуша подняла от груди раскрасневшееся, мокрое от пота

лицо.

– Обождешь. Али крючок свой сунешь заместо титьки? Дак она ишо неприучённая…

Палашка скакала на одной ножке, обгоняя редких прохожих. Они свернули, и народу на улице сразу прибавилось.

– Обратно в чеку? – приостановилась Палашка. – Уж водили…

– Тебе не спросили…

Мужики и бабы, мрачные, возбужденно тараторившие, стайками и поодиночке текли к площади.

– Куды энто все? – спросила Варвара у конвоира. – На базар?

– Базар-то в Заречье, на другом конце…

На площади перед зданием бывшего окружного суда, занятым ЧК, было полно народу, а с прилегающих улиц все прибывали люди. Сзади нажали, поток закрутил их и понес. Они оказались затиснуты между бабами и огромным мужиком с рыжей бородой.

– О, ишо один вышел, в сбруе, ровно мерин… – язвительно говорил мужик.

На крыльце, бросая на толпу хмурые взгляды, разговаривал с мужиками человек в портупее, окруженный красноармейцами.

– Что он сказал? Что сказал? – спрашивала, таращась в лорнет, старуха из бывших, с напудренными щеками, одетая в солдатскую шинель.

Малый в кумачовой рубахе, подмигивая и скалясь, ловко работал локтями:

– Пироги стынуть, вино кыснеть! Драгоценныя, дозвольте пропихнуться…

Одной рукой он прижимал к груди штоф, другой тащил за собой лузгавшую подсолнухи девицу.

– Бесстыжая твоя рожа! – закричала баба с ребенком на руках. – Все идуть, а табе девок щупать?

Вокруг загалдели, набросились на парня:

– Ай ты татарин некрещеный? Матерь Божью заарестовали…

– Куманисты архирея увезли, живоносную забрали…

– Мы – как народ, – оробев, бормотал малый. – Как все, так и мы…

Впереди раздался негодующий рев, сухо щелкнул выстрел. На крыльце ломали двери.

– Несуть, несуть!

На лестнице показались мужики, тащившие на руках тяжелую икону.

Осеняя себя крестом, рыжебородый мужик запел:

– За-ступ-ни-це усердная, Мати Господа Вышнего…

Бабы с готовностью подхватили, хор полился над площадью:

– …За всех молиши Сына твоего…

У крыльца началась давка. Мужики расчищали путь, сыпя подзатыльники без разбору. Все рвались прикладываться, бабы с воплями протягивали детей:

– Матушка, спаси люди твоя! Покрый нас от всякого зла!..

С крыши, захлебываясь, застучал пулемет. Началась паника, народ бросился врассыпную, топча упавших. Отчаянно завыла Палашка – старуха повисла на ней, хватая воздух ртом. Водоворот швырнул их к забору, но Варвара сумела выдернуть Палашку.

Зажав на плече намокающую кровью рубаху, рыжебородый мужик, огромный, страшный, на коленях полз к крыльцу и хрипел:

– Владычица, Матушка, все за тебе ляжем!..

Конвоир исчез. В переулке Варвара с Палашкой замешались в бегущую толпу.

На рассвете Варвара поливала махорку на огороде, бегала к колодцу. Ее мутило, она пережидала, закрыв глаза, переводила дух и упрямо крутила скрипучий ворот.

Кто-то маячил на дороге. Она бросила ведро и пошла к воротам. У калитки с обротью на плече торчал взъерошенный Лебеда.

– Заходи, батюшка, – засуетилась Варвара. – Самовар как раз поспеет…

Он захромал к колодцу и, ухватив бадью, чуть не перевернул. Варвара увидела, что у него трясутся руки.

– Беда, Чубарка захромала, коновал божится – сглазили…

– Кормилица ты наша! А кто ж сглазил?

– Кто человеку первый враг? Мир да сосед…

Он достал из кармана бутылку и, запрокинув голову, вытянул ее до дна. Сел на траву, свернул цигарку.

– В плену не чаял, как домой утечь, на избу свою хуч глазком глянуть. А дома-то злей тоска… Эх, убил бы! – Он застонал, стиснув зубы. – Третий день пью, одна чернота разливается.

– Ты бы чего покушал… Шти на печке тепленькия.

– Я как с плену домой уходил, в Расею, хозяйка на всю деревню выла… – помолчав, заговорил он. – Сулила, уговаривала. Имению на тебе отпишу, богатый будешь…

– Вы с ей жили, что ли?

Он угрюмо усмехнулся:

– Она без мужика, я без бабы. Цельный день по хозяйству, однех коров двенадцать голов… А ночью-то… пузо зябнеть.

Опять ее одолевала слабость, испарина покрыла лоб. Варвара шагнула к колодцу, завертела ручку. Ворот пронзительно визжал.

– Я до тебе в гости пришел, а ты меня не привечаешь. Энто порядок али как? – проворчал он. – Посиди со мной. Погутарь… Баба ты приглядистая, ишо не прокисши. Не кривая, не конопатая.

Она пожала плечами и села:

– Об чем гутарить?

– Об чем люди гутарють? Пошто мужик до бабы ходить?

– Энто как же? – Она поджала губы. – Ночевать, что ль, до меня пришли?

Она засмеялась, дернулась встать, но Лебеда с неожиданным проворством схватил ее за плечо, опрокинул:

– Ай не люб?

Она завертелась ужом, отчаянно отбиваясь. Он больно заломил ей руку, но она вырвалась и вскочила на ноги:

– Ступай проспись, Давыд Лукич. Авось дурь выйдеть…

Из землянки вылезла румяная со сна Палашка.

Лебеда подобрал окурок, не спеша раскурил. Посмотрел на свет пустую бутылку. И так шваркнул ее о колодезный сруб, только брызги сверкнули. Палашка, сладко зевнувшая, застыла с открытым ртом.

Варвара вылила воду в ведро и пошла на огород.

По дороге, мелькая за кустами акаций, торопливо хромал Лебеда. Она села на землю и горько расплакалась.

Прибежала Палашка и, глядя на нее, тоже заревела.

– Сестренку принесу зимой, а то братца, – утерев слезы, сказала Варвара. – Оченно муторно, должно, парень… Хошь братишку?

– А кормить его чем? – Палашка задумалась. – Самим исть нечего…

1920

С мешком на спине, с дитём на руках Варвара идет по заснеженному большаку. На горке она останавливается передохнуть.

Внизу за голыми тополями лежит большое степное село, вьются дымы над избами.

Хозяин, седоватый, еще крепкий мужик, мнет в руках лоскут ситца в цветочек, отодвинув невесток, идет к окну.

– Сколь у тебе есть? – строго спрашивает он.

– Вам сколь нужно?

В избе тесно от народа, шныряют ребятишки, поросята, старуха сидит на конике. С лежанки свесила ноги больная девушка с одутловатым лицом.

– В точь как у Саньки Оглобли юбка, – мечтательно говорит

баба помоложе. – Только у ей тута лазоревое…

– И ничуточки, у ей вовсе огурцами, у Саньки…

– А посветлей нету?

– Ширшина какая?

– Аршин пять вершков, – сухо говорит Варвара.

– Аршин бы шашнадцать… – подняв глаза к потолку, прикидывает старшая невестка. – И бабам всем, и ребятишкам. Убогой я б рубаху справила…

– Да у ей столько нету, – бурчит хозяин. – Деньгами почем просишь?

– Какой ты, батюшка… – Она с досадой разматывает платок, перехватывает одеяло с ребенком. – Товар фабричный, не ндравится – к другим пойду…

Обе бабы с деланным безразличием смотрят на хозяина. Он хмурится.

– Вон Федька Сухоногий со Ржаксы приехал… За фунт масла аршин ситцу дають. А тута цельная скотина…

В сарае Варвара не могла налюбоваться на могучую холмогорку с пятном во лбу.

Старшая невестка отпихнула голенастого теленка и стала тормошить лежавшую на подстилке коровенку.

– Вставай, Пеструня, покажися… Пеструхой кличем. Пеструнюшка, ну куды собралася? Стой, сатана!

– Чегой-то она пужается?

– Дак обвыкнеть, не кошка…

– А энта? – Варвара показала на холмогорку.

– То Звездоня, красавица наша, надёжа…

Варвара похлопала коровенку по худой шее, та шумно вздохнула и отвернулась.

– И мосластая…

– Ай ты ее резать собралася? Молочко-то на, спробуй, энто ейное, Пеструхино утрешнее…

В горнице Варвара сказала:

– Хозяин пущай погуляють…

– Энто ишо зачем? – насторожился мужик.

Она переглянулась с бабами.

– Ступайте, батюшка, – засмеялась меньшая невестка. – Одёжу ей скинуть надоть. И Мишатку заберите.

– На мне товар, – подтвердила Варвара.

Хозяин, ворча, ушел с мальчишкой на двор.

Пока она разоблачалась, стаскивала с себя лысую овчину, до лоска вытертую плюшевую кофту, ребенок мяукнул и заворочался в одеяле. Старуха взяла его, потрясла, он раскричался.

– Горластый… Звать как?

– Кузьмой… – бормотала Варвара, кружась на месте волчком. – Его теперя нипочем не унять, исть хочеть.

Ситец разматывался, разноцветное сияние разлилось в горнице. Бабы ахали. Громыхнула дверь, Варвара в чем мать родила юркнула за печку, ворвался хозяин в панике, замахал руками:

– Заховать все! Накроють щяс! Мигом!

Тараторя все разом, бабы путались в ткани и натыкались друг на друга.

– Чортовы бабы! – шипел мужик свирепо. – Беспременно с вами вляпнешься…

В сенях топали, стряхивая снег, высокий военный и черный, как цыган, унылый мужик с портфелем.

– Малой-то откудова? – Мужик повертел головой, как будто принюхивался длинным крючковатым носом. – Ты, што ль, Михална, согряшила?

– Тьфу, дурак, – сказала старуха.

– Давно не видалися. – Молодая невестка повела плечами. – Соскучился, залётка?

Мужик прошелся по горнице, посматривая по сторонам недоверчиво, словно ждал подвоха, ткнулся за печку. На лавке, едва успев покрыться платком, Варвара совала грудь ребенку, а он выплевывал и ворчал.

– Кто такая? Чего тута позабыла?

– Ты ишо в чугуны к бабе нос свой поганый усунь, – рявкнул хозяин. – Крестница моя с Уварова, в гости проведать пришла…

Носатый постоял, не сводя с него проницательного унылого взгляда, и криво усмехнулся:

– Все брешеть. Чегой-то обтяпать собрался. Не сумлевайся, товарищ Калнынь, – обратился он к военному. – Тута их никто не обидить. Семья считаются середняцкая, а по правде – чистое кулачье. Коней в извоз держали…

– Обратно на постой? – Хозяин побагровел. – Нету такого закону, чтоб людям житья не давать! Куды я их дену? У меня своих цельная война!

И старуха подала голос:

– Обещалися, которые в Красной армии забратые, соли и карасину. А не дали нисколечки, омманули.

– У его меньшой в Красной армии, точно, – подтвердил носатый, обращаясь к военному. – Покуда не убег. А другой в лесу хоронится, с бандитами партизанить.

– Откуль ты знаешь, иде мой сын? – затрясся хозяин, вскакивая. – Отец родный не знаеть, с Петровок не видал! А ему леший докладаеть!

Пропустив военного, черный мужик задержался на пороге:

– Двух бойцов примешь…

Невестка заперла дверь на засов, другая полезла в сундук. Хозяин рухнул на лавку и мотал головой в бессильной ярости.

В тишине было слышно, как сосет и причмокивает малыш. Бабы пришли за печку, стали и смотрели, как Варвара кормит.

– Погодить надо маненько, – сказала она, улыбнувшись виновато. – Дыхнуть не дасть, покуда не нажрется. Такой бесстыжий…

Ночью старшая невестка провела Варвару огородом, указала тропку.

– До речки дойдешь и ступай берегом, за мельницей выходи на большак… Тута вас никто не увидить.

Она подержала ребенка, пока Варвара наматывала веревку на запястье.

– Далеко табе?

– Коли Бог дасть, завтре к ночи домой будем.

Увязая в сугробах, Варвара тянет по склону оврага санки с сеном. Внизу на дороге ветер вздувает поземку, ползут розвальни по направлению к селу. Мужик придержал лошадь и, задрав голову, наблюдал, как Варвара падает и поднимается, ловит санки.

Спустившись, она узнала Лебеду.

– Откуль ты в такую рань?

Он безнадежно махнул рукой, вылез и стал привязывать ее санки к задку своих.

– Ловко ты кувыркалася…

Лошадь тащилась шагом. Варвара сразу замерзла, стучала зубами.

– Кобылу даром заморил, – заговорил он с досадой. – В волость тягали к комиссару. Хочуть невалидов обратно в армию, мало им молодых робят… А с кем я биться должон, лопни ихние глаза? На фронте шумели: кидай штык в землю, пущай будеть мир. Вон он и вышел мир: седьмой год воюють без останову, и никакого замирения не видать… Жеребая Чубарка, ее соблюдать требуется…

– А ворчишь! – засмеялась Варвара. – С прибытком тебе, Давыд Лукич! Тьфу, чтоб не сглазить… И будешь ты у нас теперя о двух конях.

Он обернулся к ней, не мог сдержать неловкую счастливую улыбку:

– Корову, слыхал, привела?

– Погоди, и лошадь приведу.

– Энто с каких барышей? Али хлеба не забрали? Пожалели тебе?

– Куды там! Мальчонка ишо сиську сосеть, а с его уж три пуда разверстки положили да сены воз.

– В аккурат… – он злорадно усмехнулся. – Поманули, посулили, а прижали-то покрутей прежнего. Нет, энта новая начальство совсем никуды.

В землянке ребенок, узнав ее, замахал ручками и пускал пузыри. Она сунула ему соску из нажеванного хлеба.

– Ребятенок-то чей? – Лебеда спросил невзначай.

– Мамкин, – буркнула Варвара.

– Без мужика управилася?

– Угу. Слово знаю…

Серый пасмурный свет сочился в окошко под крышей. Она натолкала в печь соломы, схватилась за самовар. Лебеда взял шапку.

– Куды ишо? Снедать будешь?

– Какая ноне угощение… – Он с сомнением поскреб подбородок.

Ухмыльнувшись, она мигом вынула из печи котелок с вареной картошкой, из бочки в сенях добыла капусты и огурцов, толстыми ломтями нарезала соленого сома. Когда она брякнула на клеенку чугун с дымящейся похлебкой, Лебеда скинул тулуп.

– Под такие ба харчи, эхма!..

Она смерила его взглядом. И, нагнувшись к сундуку, со звоном припечатала к столу заткнутую тряпицей бутылку:

– Али я порядку не знаю?

– Истинно, анчутка… – он хрипло рассмеялся.

Варвара обиделась.

– Оченно досадно, Лукич, от тебе такие слова поганые слыхать. Брехня энто, наговоры! Живу как люди, одной надёжей живу…

– На кого? – Он усмехнулся недобро. – У тебе и нету никого, ни родни, ни мужика…

– Дюже ты злой, батюшка. – Она покачала головой. – Нехорошо…

Взяла луковицу и, содрав шелуху, принялась крошить ее в чашку с грибами.

– В Усмани на мыловаренном я работала. Жалованье не плотють, а заместо мыла дали, – заговорила Варвара сердито. – Пошла на базар торговать… и как раз облава. Мужчина с чеки, злющий как змей, в морду леворвером тычеть… Один дяденька сапоги тоже продавал. Энтот скаженный как ахнеть ему в грудя! Убил до смерти и как звать не спросился… – Она полила грибы

маслом и подошла к Лебеде. – Сейчас он мине стрелить, а на квартере Паланька в тифу помираеть. Он как глянеть! У самого бубон под носом, глаза желтые, как у кота, – страсть! И велит отпущать, только заругался… Все она, заступница, Матерь Божья…

Лебеда угрюмо смотрел на нее исподлобья:

– Дура ты али как, не пойму? Али блажная навроде Мартынки-дурачка?

Он крепко взял ее за плечи и стал целовать в губы. Она замычала, грибы полились на пол. Он толкнул ее к лежанке, опрокинул.

– Охолонись, Давыд Лукич, чего ты… – бормотала она.

И покорно обмякла в его руках.

Лучина догорела и погасла, роняя искры. На дворе послышались голоса. Затопали в сенях, кто-то выругался, стукнувшись о притолоку.

Лебеду как подбросило, подхватив портки, он ринулся за печку.

– Э, хозяева, есть кто живой? – сказал один из вошедших в белевшей в полутьме овчинной папахе.

– Кого надо? – оправляясь, откликнулась Варвара.

– Четвертый Кабань-Никольский продотряд. Фамилие мое будет товарищ Бодунок, уполномоченный…

– Куды упал? – не разобрала Варвара.

– Кто?

– Который намоченный…

– А за прибаутки веселые плетей под юбку получить оченно даже просто, – рассердилась папаха. – Ты, что ль, хозяйка?

Она зажгла новую лучину. Разгоревшись, огонь осветил уполномоченного в полушубке и папахе и двоих в шинелях продармии.

– Короче, согласно приказа упродкома, предлагается тебе добровольно сдать хлебные излишки.

– Обратно лишки? – ахнула Варвара. – Иде ж на вас напасешься? Разверстку забрали, с детей малых по три пуда, да сена, а после обратно отряд, вроде как вы, ишо два куля увели, да просы, да картошек…

Бородач в буденовке, как завороженный, заглядывал куда-то ей за спину. Отодвинув ее, он шагнул вперед, схватил картошку. Его товарищи очутились у стола и стали молча запихивать в рот все, что попадалось.

Варвара, остолбенев, смотрела, как пустеют миски.

Бородач понюхал самогонку, налил и поднес уполномоченному:

– Хлеба у их нету, а самогонка пожалста…

– С бураку она, не с жита, – заметил бородач. – Орёлик, подбрось огурца…

Третий был румяный парнишка с пушистыми девичьими ресницами.

– Давыд Лукич, чего ты робеешь? – не выдержала Варвара. – Ступай покушай, покуда они все не подмели.

Все трое, как по команде, перестав жевать, обернулись к Лебеде, застывшему у печки.

– Кто таков? Покажь документ…

– Гляди не подавися, – насмешливо сказала уполномоченному Варвара. – Сосед до меня пришедши. Али запрещёно?

Покосившись на Лебеду, он ловко подхватил ртом горсть капусты.

– Сдай чего положено, блядовать после будешь. Сосед он али кто, пущай котится до своей хаты… Короче, с твово двора пять пудов хлеба, картошки три пуда и полсотни яиц.

Лебеда помедлил у порога и, оглянувшись на Варвару, вышел.

– Яичек соберу сколь есть да куль картошек, – сказала она. – А хлебушка у самих давно нету…

– Попу в бороду плакайся… – Уполномоченный разливал самогонку. – Не сдашь добром – будет тебе обыск и конфискация скотины. Да за варку самогона штраф…

Бородач на корточках подбирал грибы с полу.

– Глянь, опёнки с маслом наземь кидають! Им бы наш паёк, гадам…

В сарае парнишка разворошил сено и разглядывал землю, искал следы лопаты.

– Разорять-то зачем? – не утерпела Варвара. – Ох вы, дармоеды…

Уполномоченный Бодунок стоял посереди двора, уставясь вверх – под стропилами риги лазил бородач. Он спрыгнул, покачал головой:

– Пусто…

– Она думает, обдурила нас, как лопоухих баранов… А я по роже кулацкой чую – хлеб у ей есть! Тащи корову…

Когда Пеструху вывели из сарая, Варвара не выдержала и с криком вцепилась в бородача. Он ударил ее, она полетела в снег.

На кладбище за церковью ревет реквизированная скотина. Бабы облепили ограду, ругаются и плачут.

– Кобыла вон поросеночкя зашибла! – кричит баба

продармейцу. – Тебе, обормота, глядеть за ими приставили, а ты ворон считаешь… Шугани кобылу-то!

– Куды ж ты их гоняешь, дурень! – говорит другая. – Сенца бы принес, ты накорми, а после гоняй…

Варвара не сводила глаз со своей коровы. Раскорячась и свесив голову книзу, оробевшая Пеструха косилась на оравших у нее под ногами гусей.

Пегий бычок-трехлеток носится среди могильных крестов, наводя страх на свиней и кур, то застывает как вкопанный, то бросается на ближайшую корову, лезет ей на спину.

– Матрена, уйми свово! – смеялись бабы.

– Вишь, приспичило ему, чорту, – улыбаясь, ворчала Матрена.

К калитке протиснулась запыхавшаяся баба в сопровождении бойца.

– Картошку сдала?

– Все как есть, истинный крест, кушайте на здоровье, сыночки…

Часовой слюнил карандаш, отмечал в бумажке:

– Которая твоя?

– У мине ишо кабанчик арестованный…

Ей выводят корову к воротам, ловят кабанчика. Бабы провожают ее завистливыми взглядами.

– А моя-то Рогулька… Не могу, серца обрывается! – всхлипывая, сморкается в юбку Крячиха.

Мимо прошел боец, она закричала ему:

– Хуч курей отдай, зараза!..

На площади стоят несколько саней, горят костры. Продармейцы греются у огня, кормят лошадей, грузят кули с хлебом. Бабы и старики, окружив продагента, говорят все разом, хватают его за грудки:

– Допреж вас ишо приходили и брали все, что плохо лежить и хорошо лежить, без разбору! – брызгая слюной, кричит ему в лицо старуха. – Только пили да проказничали, девок понапортили!

– Мы к вам за хлебом не ездиим, и вы к нам не лезьте, не то костей ваших не найдуть!

– Чего мелешь, ведьма? – осаживая лошадь, зычно говорит подъехавший командир. – Которые будут контру пущать – с собой до чеки прокатим…

– В губернии неурожай, это факт известный, – с горячностью вступает продагент. – Но в Нижнем – голод, в Петрограде рабочий стоит у станка не евши, голодают дети…

– А наши? Ай мы не люди?

– При Николае чего-чего не было, мужик на базар поедеть, всего накупить, и бабам ситцев, и ребятам кренделей, а ноне

сунься! Ни карасину, ни железного товару…

– Уходите с наших местов, вы – бандиты, – сиплым басом говорит дед Лыков, и бабы притихают. – От вас спокою нету, один разбой, шляетесь по нашей земле, на наше добро заритесь…

– Распоясался… – Усмехаясь, командир кивает на деда. – Не боится, старый хрен…

– Крестьяны – главные хозяева на земле, – упрямо хрипит старик. – Революцию исделали для крестьянства, а теперя вышла измена…

У весов вспыхнула драка, мужики набросились на учетчика.

– Чего там еще? – спрашивает командир.

Рябой, худой мужичонка с оспинами на лице отряхивает шапку от снега.

– Куражится, стервец… – бурчит он. – Не примаеть.

– Потому – не велено! Нешто энто картопля? Чистый горох!

На ладони учетчика – горсть мелкой, как орех, картошки. Командир холодно щурится.

– Вам русским языком сказано было – за картошку мельче куриного яйца чего положено? Орлов, к стенке его!

Все с азартом следят за Рябым, который ловко уворачивается от наседающих бойцов.

– Погодите, ребяты, вы чего?.. – бормочет он трясущимися губами, хватаясь за дуло винтовки.

Прогремел выстрел, за ним еще один. Рябой ойкнул и стал заваливаться на бок. Толпа невольно отпрянула.

– Вы кого обмануть хочете, косопузые? – Командир обращается к старикам. – Народную властю?

На усадьбе Лебеды, захлебываясь в лае, рвется с цепи тощий кобелек.

Под корявой яблоней на лавке белела заголенная спина, продармеец с цигаркой в зубах сидел на шее лежащего, другой на его валенках, и еще двое в лад, как на молотьбе, стегали его плетьми. Рыжий матрос ходил по снегу враскачку.

– Ну-ка, дай ему, братишки, десяток горячих, авось в память придет.

– Скройтеся, бесстыжие, нечего вам глядеть, как батьку парють, – велела Трынка погодкам. – Мамаша, ступайте в избу!

Девки поплелись в избу следом за старухой. И прилипли к окошку.

У забора матрос разговаривал с Игнахой Слизнем, соседом Лебеды. Он знаком остановил порку:

– Погоди, братва…

Двое с плетками выпрямились, отдуваясь, один полез за кисетом. Тот, что был спиной, обернулся, утирая мокрое лицо. Варвара узнала Малафея. И он, увидев ее, засмеялся:

– Здорово, баба! Позабыл, как тя звать… Ай не признала?

Игнаха с любопытством покосился на нее, но тут Трынка вцепилась ему в волосы.

– Июда, блядский корень, ишо попомнишь, шкура! – вопила она, молотя его кулаками. – Ишо поквитаемся!

Растерявшийся Игнаха с трудом отбился.

– Баре какия… У нас забрали, ай вы лутче?

Из-за дома матрос свистнул в два пальца. Боец, сидевший верхом на Лебеде, не спеша поднялся.

– Шабаш, дядя…

– Ты думала, иде я? – Улыбаясь, Малафей подошел к ограде. – А я вот он, обратно до дому не попамши. Такая, видать, судьба моя боевая…

Кряхтя, Лебеда подтягивал портки.

– Для того он кровь на войне проливал, – сказала Трынка. – Осрамили мужика, паразиты…

Из овина понесли хлеб. Боец шел, согнувшись, с кулем на спине, его сносило в сторону. Трынка бросилась на него, свалила в сугроб, упала сама.

– Ироды, последний кусок с рота рвете! – кричала она.

Продармейцы прибежали на помощь, с крыльца с визгом скатились девчонки, началась свалка. У ворот заволновались, кто-то заметил, что за церковью поднимаются клубы черного дыма.

– Спаси, Господи! Кажись, Лыковы горять…

– Лыковы-то подале, за попом… Лобан энто али Жунтяй.

– Достукалися, басурманы, всю село спалють!

В сумерках пламя казалось еще ярче. Снег таял по краям соломенной крыши и стекал вниз грязным ручейком.

Стрельнуло и посыпалось со звоном окно. Весь в копоти, в тлеющей шапке, Жунтяй метался у объятого пламенем крыльца, никого не подпуская.

– Нехай все пропадаеть! Пущай им одна зола достанётся! – бормотал он. – Жгите все, крушите, православныя!

– Взял, зажег, полоумный… – рассказывала Варваре Федиха. – Мало, хлеб забрали, дак теперя избы решилися…

На снегу сиротливо чернела груда спасенных пожитков – чугуны, половики, табуретки, горшки с геранью. Дед сидел на сундуке с иконой и самоваром. Сама Жунтяиха лежала ничком и стонала.

Крыша избы рухнула, взметнув столб искр в темное небо.

– Всем миром уходить, мужики! – потрясая топором, вскрикивал Жунтяй. – Пущай сами на землю сядуть! В Сибирь иттить, в тайгу! На Белыя воды!..

В землянке Варвара баюкала малыша:

Иде тут зыбочка висить,
Иде тут деточка ляжить?
Я пойду их укладать,
Глазки ихни закрывать…

Палашка лежала на печке, уставясь в полутьму.

– Мамань… Почто нас Боженька не любить?

– Грех какой! Энто кто ж табе научил?

– А то любить! – сказала Палашка с горькой усмешкой.

Варвара ходила вдоль печки, косилась неодобрительно на

нее:

– Как за подаянием стояли, позабыла? Вона вьюга какая, а ты небось в теплой избе картошек намяла и ляжишь себе, пузо греешь… Страм, Палаха!

Когда ребенок затих, она уложила его в зыбку и полезла к дочке. Глаза у Палашки были закрыты. Она провела рукой по ее волосам.

– Которые злые – не завидуй им, Палань… Боженька, он все-все видить. У кого отнял – тому подасть, сёдни подал – завтре отыметь. Дак рук-то у его, как у табе, две, а народищу… Другой раз и не поспееть.

В печи зашипели уголья. Палашка потерлась щекой об ее ладонь.

– Любить табе Боженька, обязательно любить! Он деток пуще всех любить… Спи, касатка…

Ей почудились голоса за окошком. Она выглянула на двор.

За круговертью метели она различила силуэт лошади с санями. Люди в шинелях бежали к землянке, пряча лица от ветра.

Поскользнувшись на ступеньке, сверху свалился Малафей.

– Хозяйка, примай гостей! – орал он. – Собирай на стол, угожай нам, мы до тебе на постой прибымши!

Следом за Малафеем, смеясь и возбужденно крякая с мороза, в горницу ввалились еще двое, загремели винтовками, затопали сапогами.

– Ты глянь, каких я табе рысаков привел! Энто же сам Василь, друг мой боевой, наш отделённый! Краса и надёжа второй роты! Мы с им как браты…

Приглядевшись, Варвара узнала уполномоченного Бодунка в овчинной папахе и с ним румяного парнишку.

– А энто наш Орёлик…

– Нету ничаво, ступайте, откуль пришли, – насупилась Варвара.

– А у нас и весь припас с собой…

Скинув на стол заплечный мешок, Малафей доставал узелки и горшки.

– Ишо табе накормим и стакан нальем. И салы, и рыбки, и бражки! Не первый день на продработе…

– Энтот бесстыжий, который намоченный, он тута у мине все углы обшнырял, по кадушкам лазил!

– Куды ты нас завез, Панкратич? – озираясь, пробурчал уполномоченный. – Тетка эта злая, ухватка у ей кулацкая…

– Скидай шинелю, ты в гости пришел! – Малафей только засмеялся. – Поколобродить ей надо для форсу. Баба она али кто?..

Запустив пятерню в корчажку, он отковырнул ком желтого засахаренного меду и поднес Палашке:

– На, почумкай…

Малафей поет и пляшет, дергает Варвару в круг, она, смеясь, отмахивается.

Едеть Ленин на свинье,
Троцкий на собаке.
Испугалися жиды,
Думали – казаки…

Палашка на печи смотрит с восторгом.

– Сволочь ты, Панкратич, – говорит уполномоченный, разливая брагу. – Тебя по правде к стенке ставить надо.

– Вот придурок-то! Дай я тебе поцалую!

Они обнимаются, малыш плачет.

– Усмири ты своево горлодёра! Должно, с дьяконом нагуляла…

– Уж молчал бы, страмник, – отзывается Варвара. – Натворил делов – и поминай как звали…

– Каких таких делов?

– Ступай полюбуйся.

Со стаканом в руке он подходит к лежанке. Кузька радостно пускает пузыри. Малафей ухмыляется:

– Девка? Веселая…

– Чего? – вспылила Варвара и содрала свивальник. – А энто видал? Али непохожий?

Малафей озадачен:

– Мой, что ль?

– Ты на его глянь, на губы да на нос! И шебутной в точь как его папанька, чуть чего – сразу орать…

Подумав, он залпом допивает самогон и говорит:

– Ты мине мозги не запорошишь. Откуль я знаю – у тебе тута, можеть, цельный эскадрон ночявал. А я свой хер не на помойке нашел.

Варвара смерила его взглядом, закутала сына и стала укачивать.

Уполномоченный втолковывал Орёлику:

– С виду – рвань, подай копеечку, а у самого деньги в кубышке, обрез за пазухой. Знаю я этих навозников… А в Питере тама разговор короткий, без нюней. Пришел с обыском и прямиком на кухню. Мясо есть в горшке – всё, в расход, враг народа…

– Мужики, а ну, гляньте строевым глазом! Дай сюды. – Малафей забирает у нее ребенка и несет к столу. – Ну? Какая ваша рассуждение?

Он оборачивается к Варваре:

– Звать как?

– Кузькой…

– Кузьма, сынок мой… Даю вопрос: кто евоный папаша?

Мужики рассматривают поочередно Кузьку и Малафея. Варвара пытается отнять малыша, но он не дает.

– Сопельник вроде твой, – нерешительно говорит Орёлик.

– Пензенский, – соглашается Малафей с сокрушенным видом. – Вся родня с такими…

– На кой ты нам сдался! – Она выхватывает Кузьку и уносит. – Жили, не померли, авось проживем без тятьки-обормота…

– А коли брешет? – спрашивает Бодунок.

– А кто ж их разбереть… Наливай! Все одно за дитю выпить обязательно! – Он сует Варваре брагу. – Пущай хуч он, сукин сын, поглядить на новую светлую жизню!

Звенят стаканы, все пьют.

– Капуска у вас, тетенька, прямо сахарная, – улыбаясь, говорит Орёлик.

– Пущай растеть натуральный боевой куманист. – Малафей, довольный, хлопает Варвару по спине. – Слышь, Варьк, я тута в куманьки записался. Где буза – как рявкну: пролетаи соединяйся али как? А чего нам товарищ Ленин указамши насчет классового врагу? – Он заливается смехом. – Народ, натурально, врассыпную! Боятся его пуще чорта…

– Кого?

– А Ленина энтого самого, товарища. В чеку-то неохота… Эх, дурять нашего брата! Он и Ленин-то не настоящий, подменили давно.

– А тот куды делся? – удивился Орёлик.

– Поймали его. Хотели убить, да ловок дюже, цепку сгрыз – и в Китай. На два мильона жемчугов с казны упёр. У его в Америке трахтир и два паровоза.

– Брехня, – угрюмо объявил Бодунок. – Тебя самого в чеку надо. Ты только на погляд наш, а порода твоя гнилая…

– Авось не гнилей твоей.

– Ты со мной не ровняйся, я – путиловский! – Уполномоченный долбанул кулаком по столу. – Ты – шантрапа, у тебе пролетарского – одни сопли!

Оглушительно зазвенело разбитое стекло, посыпались осколки. Кто-то отчаянно завопил снаружи:

– Бросай оружию! Руки в гору, гады!

На мгновение опешив, все повернулись к окошку под крышей – оттуда торчало, подергивалось дуло винтовки.

Бодунок, пригнувшись, бросился в сторону, грохнул выстрел, горницу заволокло дымом. Гулко заколотилась дверь, в землянку ворвалась целая толпа мужиков. Лучину смахнули, стало совсем темно.

Варвара выхватила малыша из зыбки и ощупью взобралась на печь, придавив орущую Палашку.

В отблесках лунного света мелькали спины, руки, слышались удары и стоны, звенел, захлебываясь, голос Малафея:

– Не убивайте, братцы! Силком заставили, неволей! В тюрьме сидел, за народ пострадамши, ей-богу! О-ох, только не до смерти!

Кто-то зажег керосиновый фонарь.

Вцепившись в сапог Евсея Лыкова, прижавшись к нему разбитым лицом, Малафей ползал за ним и не выпускал, как тот ни бил его обрезом двустволки. Уполномоченный лежал в луже крови, ему раскроили голову.

И меньшой Лычонок с топором суетился рядом, замахивался, но Евсей придержал:

– Погоди… А ну, вставай, не то хужей будеть!

Затравленно озираясь, Малафей поднимался на ноги, бормотал:

– Имейте жалость, мужики! Сам деревенский, с Пензенской губернии, у Варьки спроситесь! Ребятенок у ей мой кровный…

Евсей хлопнул по чьей-то согнутой спине, сгрудившиеся у дверей мужики не сразу расступились – на земляном полу, сжавшись в комок, корчился Орёлик. Малафею сунули обрез:

– Кончай его. Али мы табе кончим.

Утирая кровавые сопли, парнишка уставился на Малафея, моргал пушистыми ресницами. Того била дрожь, обрез ходуном ходил в его руке.

– Ну? – Евсей поднял топор.

Малафей скривился и выпалил из обоих стволов.

Оставив у ворот санки, Варвара зашла в ограду кладбища. Навстречу Клашка Лобаниха гнала своих индюшек. На истоптанном, потемневшем от навоза снегу горой высилась бурая коровья туша, а над ней колотилась Федиха, выла, как по покойнику, и рвалась из рук державших ее дочери и соседок.

– Да не убивайтеся вы так, мамаша…

Крячиха вела свою Рогулю. Варвара заметалась. Пеструхи нигде не было видно.

Мужики стаскивали трупы с саней, бабы раздевали, снимали с них шинели и сапоги. Варвара бежала мимо, отворачиваясь от

мертвецов.

У края свежевырытой братской могилы, раскинув босые ступни на влажной глине, лежал рыжий матрос, продагенту на кончик носа кто-то нацепил разбитое пенсне. На дне ямы Малафей с другими продармейцами кайлом долбит мерзлую землю.

Бабы помогают отцу Еремею натягивать рясу на полушубок.

– Зачем же в ограде-то? – говорит он с раздражением. – Тут одни иереи да склеп господский. А эти нехристи…

– Православные, батюшка, все как есть крещеные, – наперебой сообщают бабы. – У жида и то крест под исподним…

Мужик с винтовкой объясняет:

– До кладбища переть – саней не хватить, их вона цельная орда…

– Ограда все одно опоганена, – рассудительно говорит бабка. – Скотина весь двор засрала…

Где-то рядом звякнуло ботало. За голым сиреневым кустом, опустив морду, застыла Пеструха. Варвара припала к ее шее и стояла, не в силах двинуться.

На площади хмурые мужики хлопочут возле лошадей, грузятся в дорогу. Меньшой Лычонок принес охапку винтовок, сложил в розвальни, накрыл рогожей.

– Патронов дай маненько, – просит дед Туча.

– Бабку и кочергой достанешь… Понужать-то не пора?

– Харлама ждем и Чуканова Степку…

– Вон он скачеть, Харлам.

Гришка угрюмо косится на подъехавшие сани:

– Заварили кашу… Энтих поубивали – новые придуть, ишо лютей.

– Мертвых с погоста не носють, – хладнокровно замечает Евсей Лыков. – Гляди, Григорий, семью обидять – ты миру ответчик.

Мешки с реквизированным продовольствием свалены под стеной церкви, галдят бабы, разыскивая свое добро. Варвара нос к носу столкнулась с Лебедой. С кулем на спине он безучастно глянул исподлобья и прошел мимо.

– Крёсный… – Лычонок, ухмыляясь, схватил его за рукав. – Сказывали, кобыла твоя жерёбая…

Лебеда остановился, скинул куль:

– Мало, чо брешуть… Ай ты как баба?

– Мужики на табе серчають, дизентир, гутарють… – возбужденно шептал Лычонок. – Айда, крёсный, пошли до лесу, чо на печке сидеть?

– Телок ты ишо… Пострелять охота?

Лычонок засмеялся, смутился:

– Бослови, Лукич…

– Нашел попа… – Лебеда нахмурился, вытащил из-за подпояски шикарный нож в кожаных ножнах и сунул ему: – На, владай… Шведской закалки сталь.

Лычонок вытащил нож и зашелся в восторге:

– Ну, крёсный!

Лебеда потащился к дровням.

– Хлебушко-то, небось, до дому понес, – замечает ему в спину мужик. – А кто его табе добыл?

– Неладно получается, Лукич, – говорит Евсей Лыков. – Вон Ефим Дронов старей тебе годами, а идеть… Дизентир выходишь.

Лебеда, не торопясь, укладывает чувал на сани, бурчит:

– Сказано – отвоевался… С усадьбы никуды не пойду.

– Гляди, ишо табе аукнется…

С кладбища привели продармейцев. Перепачканные глиной, со следами побоев на лицах, они рассаживаются по саням с мужиками.

– А энтих ишо куды? – хрипит старик Лыков, тыча в Малафея кривым пальцем.

– С нами пойдуть, с куманьками воевать. – Евсей натягивает тулуп. – Постоять хочуть за трудовую крестьянство.

– А ты поверил, ворона… Поубивать всех, и шабаш.

– Ишо успеется, папаша…

На плече у мужика тихо воет молодая жена. Отодвинув ее, он бежит садиться. Евсей устраивается за пулеметом, оглядывается:

– Ну, понужай, что ли… С Богом!

Сани выстраиваются друг за другом и, набирая ход, скрываются на спуске.

Варвара везет мешок картошки на санках и разговаривает с коровой.

За оградой кладбища жидкий хор бабьих голосов тянет “Вечную память”, мужики засыпают братскую могилу.

– Поберегись!

Обернувшись, она поспешно потянула Пеструху на обочину. Лебеда, стоя в санях, пронесся мимо, обдал ее ветром.

– А чичяс мякинки-то просяной с сенцом да с солью… – говорит Варвара, вздыхая. – Уж Палаха-то обрадуется – Пеструня домой пришла! Подоимся да всех накормим. Все свои, все дома. И никто нам не нужон, сами с усами…

1921

Вдоль излучины, поросшей лозняком, над речкой раскинуты шалаши косарей, вьется дым от костров. Пестреют в поле платки ворошащих баб. Мужики докашивают остатки по буеракам.

– Дашь напиться? – просит Крячиха.

Жбан с квасом укрыт в тенечке под стогом. Она пьет и отдувается.

– Откосилася?

– Шабашу. – Варвара забрасывает навильник наверх, утирает пот. – Ночевать до избе пойдем.

Гам стоит в заводи, мальчишки поят лошадей, ходят с бреднем в камышах. С берега мужики подают советы.

– Матрена на уху звала. Уха, сказываеть, губернаторская.

– Энто как же?

– Должно, на меду, – ухмыляется Крячиха. – О, глянь, беси его забирають…

Тонконогий жеребенок носится по выкошенному лугу, то скрывается в тени под ракитами, где пасется чубарая кобыла, то выскакивает на палящее солнце.

– Ай трава у тебе слаже? – Лебеда с обротью на плече хромает мимо. – Чегой-то они к тебе повадилися…

Варвара хмурится, подхватывает на вилы целую копну.

– И добрый у тебе жеребчик! Носится как заполошный, – говорит Крячиха.

– Ограду на усадьбе изломал, дьявол. Ночью вскочишь, бежишь до конюшни, кабы он чего не учинил…

Пришла Палашка с Кузькой на руках, оба мокрые, с мокрыми волосами. Она забирается на стог и принимается прыгать, садясь на попку, уминать сено.

– Намедни ехал, за болотом твои овсы? – спрашивает Варвару Лебеда. – Ишь, как поднялися…

– Уродило, слава те господи, не как прошлый год, – подтверждает Крячиха. – Кажись, зиму-то протянем не хуже людей.

– До ее дожить бы, до зимы.

– Ай ты помирать собрался? – удивляется Крячиха. – Пошла я… К Матрене-то приходи.

У Лебеды на почерневшем лице желваки ходят под скулами. Он не сводит глаз с жеребенка, который летит галопом.

– Бабки видала у его? Как у девки… Чисто рысак. – Он угрюмо усмехается. – Он, Бог-то, все вроде исделал по уму, твердь, и злаки, и скоты. А человек у его неладно вышел, не взяла. Уморился на шестый-то день Господь…

– Другой бы жил да на коней своих веселился, – сухо говорит Варвара. – А все ты на худое поворачиваешь.

– Мамка, убег! – вопит сверху Палашка и тычет пальцем.

Мелькая босыми пятками в скошенной траве, Кузька что есть духу ползет к лошадям. Варвара бежит за ним, хватает в охапку,

он хнычет.

Лебеда стоит, не уходит.

– И на кой табе овес? Коня у тебе все одно нету… А пахал-то кто ж?

– Нашлися и без тебе люди…

Он шагнул к ней, схватил за руку:

– Ты почто со мной так гутаришь?

– Пусти, чорт, больно!

Палашка застыла, подняв голову, смотрела на них.

– Стерпишь. В гости до тебе приду. Жди.

– Больно ты мине нужон… – бормочет она.

Зачерпнув золы из чугуна, Варвара намазывает дочерна живот и бока, растирается лопухом. Выливает на себя шайку воды.

Она лезет на полок к окошку, пристраивается так, чтобы свет падал на нее. Нашаривает осколок зеркала и озабоченно разглядывает свою грудь.

Подставляет свету зад и, извернувшись, осматривает в зеркало ягодицы, проводит по ним ладонью. Хватает ковш, плещет на раскаленные камни. Она с остервенением охаживает себя веником по бедрам.

С порога Лебеда углядел охапку иван-чая в горшке, взбитые подушки на лежанке. В ситцевой кофте и косынке, сложив на коленях руки, Варвара сидела у печки.

– Чего стал как пень? Пришел – дак садися.

Она поднялась и достала с загнетки чугунок с варевом:

– Снедать-то будешь?

– Поснедамши. – Он присел на край лавки, положил картуз. – Хмарить дюже… Должно, дожжик соберется.

– Как раз бы. А то махорку поливать замаялася.

Помолчали. Лебеда задумчиво сопел, уставясь в угол.

– Вишь, как обернулося… – заговорил он. – Все думал: два коня будеть, земли принанять, хуч маненько подняться. Баб загоню, сам поднатужуся… А теперя хожу как очумелый. В окопе сидел, так не обмирал, а тута обмираю – то ли он ногу зашибеть, то ли волки задеруть…

– Как баба с ребятенком, – усмехнулась Варвара.

– В точь как баба, – кивнул он с досадой. – Судьбу-то не омманешь. Ни к чему душой не пристань. А коли пристал – пропал в отделку, сейчас у тебе отымуть…

– Бог дасть, обживется…

– Коли Бог дасть, да чорт не отыметь, – подхватил он со

значением. – Чему быть – того не миновать.

– Чего пришел? – разозлилась Варвара.

Лебеда покосился на стол:

– Наливай, что ли…

– За стол-то сядь, как люди! – обрадовалась она. – Щей похлебай, я курку не пожалела…

Она усадила его, с удовольствием налила ему самогонки.

– А сама?

– Не люблю. Нешто с тобой разгуляться…

Со двора донесся свист. Варвара взбеленилась:

– Сатана, кого там ишо?

Малый в кубанке, лениво развалясь в калитке, пронзительно свистел.

– Забирай своево мужика…

– Какого такого мужика? – встревожилась она.

– У нас любой масти… Бери, какой лучше ндравится.

За воротами на телеге, запряженной парой, сидели и валялись вповалку раненые.

– Твой? – Парень ткнул в ржавые бинты, торчавшие из гимнастерки.

Раненый зашевелился. Наклонившись к нему, Варвара с трудом признала Малафея – серое бескровное лицо в испарине, запекшиеся губы.

– Вот она, хозяйка моя, – выдохнул он еле слышно. – Ягодка, красавица… Помираю, Варюха.

На Варвару напал столбняк. Она тупо смотрела на него.

– Кровищи-то… – ворчал малый, просовывая голову Малафею под мышку. – Всю бричку замызгал. А ну, взяли!

Варвара подхватила его с другого боку.

– А винтаря куды дел? – прошептал Малафей.

– Табе к попу в самый раз, у его завсегда крест имеется для ближнего бою…

– Никуды не пойду, неси взад! – захрипел Малафей. – Отдай оружию!

Пришлось забрать винтовку.

– Энто он ишо в память пришедши, а то вконец прижмурился. Надысь на Карачане пулей в грудя заехала…

– Уж так карта легла, – бормотал Малафей. – Хватилася бы ты, да поздно – тю-тю, нету нашего Малафей Панкратича…

– Чего стал, дядя? – закричал малый, увидев Лебеду, выглянувшего на двор. – Подсоби-кось!

Лебеда подошел, хромая. Тот мигом скинул свою ношу ему на плечо и, сунув винтовку Варваре, побежал к воротам.

– Погоди… Несподручно.

Лебеда взвалил раненого на закорки и понес.

Уложенный на лежанку, раздетый до подштанников, Малафей скрипел зубами, ругался, пока Варвара отмачивала и отдирала задубевшие бинты. Лебеда держал его спину. Он нагнулся и, прищурясь, оглядел набухшую, сочившуюся темной кровью рану в боку.

– Ерунда, перемогётся, – заметил он важно. – Самогонкой промыть тута, иде входная. Заткни чистой тряпицей да замотай натуго. Заживеть как на собаке.

Варвара разодрала рубаху на полосы, намочила в самогоне.

– Воняеть дюже, – кривилась она. – Гнильем шибаеть…

– А как же, обязательно вонять должон, – охотно подтвердил Лебеда. – Потому – кишку зачепило. Огневица у его, вишь, гною – страсть. Ранения энта ничего не пулевая, а, наоборот даже, осколочная.

– Понимал бы ты… – простонал Малафей, приоткрыв один глаз.

– Ишо свечку поставь, что наскрозь ушла, навылет. Дурень, с пули-то дырка полагается аккуратная, ровно гвоздем ковырямши, а у тебе край порватый, потому – осколком…

Малафея бил озноб, он заикался.

– Ф-фершал какой, скажи… Чего он тута п-позабыл?

Лебеда опустил его на подушку. Она принесла овчину, укрыла. Малафей сладко поежился:

– Налей стакан.

– Только обмирал…

Она налила и всунула ему стакан в ладонь.

– А энтому, санитару-то? Пущай со мной выпьеть…

У дверей Лебеда, подняв упавший картуз, обернулся.

– Гребуешь? Я почитай покойник, а ты со мной принять не желаешь?

– Выпей, – попросила Варвара.

С виноватым видом она стояла перед ним, протягивая полный до краев стакан. Помедлив, Лебеда взял его.

– Не пензенский, случаем? – просипел Малафей. – Вывеска вроде знакомая… Ну, спаси Христос!

Они выпили. Варвара поднесла миску с огурцами.

– Покаместь мы, значить, кровь свою проливаем нещадно за трудовую крестьянство, – бормотал Малафей, блаженно жмурясь под овчиной, – а у вас тута блядки-гулянки…

– Ох, зараза… – вспыхнула Варвара. – Выкину табе чичяс, под забором околеешь! Пожалели обормота, а он…

Малафей оживал на глазах.

– Ты мине мозги не запорошишь. Где мой сынок, к примеру,

Кузьма? Где ты его, сука, подевала?

– Пошел я, – сказал Лебеда, ставя стакан на лавку.

– Скатертью дорога, – напутствовал его Малафей. – Катися, не спотыкнися…

Четверо верховых ехали, заняв всю ширину дороги. Лебеда тащился за ними. Неожиданно всадники расступились к обочине, пропуская Лебеду. Он стал нахлестывать кобылу.

Назади послышался приближающийся топот. Конники шли вдогонку галопом. Лебеда придержал лошадь. Они окружили телегу, один из них спрыгнул на землю и неторопливо обошел Чубарку кругом.

– Сам с Козловки будешь? – сощурясь, спросил он.

Это был немолодой мужик в грязной косоворотке и в галифе. Шрам бороздой пересекал его лоб. Спешились и двое других, долговязый хохол в гимнастерке и странный парень с ранней лысиной, в меховой безрукавке на голом теле. Усатый военный во френче оставался в седле.

– Короче, кобыла твоя воевать пойдеть. Заместо даю свово гнедого. Распрягай.

Лебеда вылез на дорогу. Поколебавшись, он шагнул к усатому военному:

– У мине семь душ на дворе. Все бабы. Ты начальник?

– Тебе коня дают, – проворчал тот недовольно. – Мерин справный, пахать на нем способно… У нас без обиды.

– И жеребчик у его скоро в силу придеть, – заметил лысый, провожая взглядом жеребенка за кустами.

Мужик со шрамом распрягал кобылу умело и скоро, и она, почувствовав его уверенную руку, послушно поворачивала морду.

– Вы кто ж такие будете? Партизаны, что ль?

– Десятого Волче-Карачанского полку, – снисходительно сказал усатый. – Партизанская армия Тамбовского края… Слыхал такую?

Крепкий, с лоснящейся шерстью жеребец под ним плясал на месте.

Бросившись к лысому, Лебеда вырвал у него винтовку, швырнул его наземь, но уже висели на нем двое. Он разорвал косоворотку на одном, стряхнул долговязого, тут его стукнули рукояткой нагана в затылок, и он зашатался, все поплыло у него перед глазами. Это усатый, слетев с коня, пришел своим на помощь.

Очухавшись, Лебеда попытался сесть.

Всадники уходили неторопливой рысью. Посереди дороги торчала телега, раскорячив оглобли. На обочине щипал траву

гнедой мерин.

На закате вступил в село конный эскадрон.

Лошади шли стройно, по три в ряд. В форменном обмундировании, в защитных гимнастерках, конники были вооружены по-казачьи – за спиной винтовка, шашка на боку.

За ними катила на тачанках пулеметная команда.

Сбегались мальчишки, бабы выходили к дороге, смотрели настороженно.

Поднялись столбы пыли, красноватой в лучах низкого солнца. В воздухе поплыл однообразный шум войска на походе – топот и цоканье копыт, скрип телег, окрики команд, звяканье железа.

Молодой мальчишеский голос затянул песню:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне!
Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел…

Задрав к небу голову на тонкой шее, пел один из кавалеристов, парнишка с чубом, свисавшим из-под козырька синей казачьей фуражки.

О чем горюешь, старина?
Чего задумчив ты?

Строй отозвался скорбно:

Горюю я по родине,
И жаль мне край родной…

Шагала пехота в форме, а следом текла потоком разношерстная толпа мужиков. В лаптях, в сапогах, босые, кто с берданкой, кто с вилами и косами, с казачьей пикой, они шли и пели:

Сынов всех девять у меня,
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Шесть юных остальных.
А старший сын, старик седой,
Погиб уж на войне.
Он без молитвы, без креста,

Зарыт в чужой земле…

По сторонам у заборов теснились бабы и старики. Они окликали своих, смеялись, утирали слезы.

На площади ударил колокол, полился благовест, мешаясь с песней.

Мой младший сын, тринадцать лет,
Просился на войну.
Решил я твердо: нет и нет,
Малютку не возьму.
Но он, нахмурясь отвечал:
“Отец, пойду и я,
Пуская я слаб, пускай я мал,
Верна рука моя”…

Голос запевалы звенел задорно, почти весело:

Да, час настал, тяжелый час,
Для родины моей…

Хор хриплых мужских глоток сдержанно подхватывал:

Молитесь, женщины, за нас,
За ваших сыновей…

Под колокольный звон конники въехали на площадь.

Перед распахнутыми дверями храма их ожидал отец Еремей в облачении. Старики поднимали икону Казанской.

Раздалась команда, эскадрон остановился. Невысокий скуластый военный в гимнастерке и бородатый мужик подошли к священнику.

– Да воскреснет Бог и расточатся врази его… – начал он сиплым голосом, осеняя их крестом, и вдруг всхлипнул, смутился.

Стало тихо. Бабы вытирали ему слезы, подсказывали на ухо. Он покашлял и, величественно отодвинув их, начал сначала:

– …И да бежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси…

Толпа стала креститься и кланяться.

Лебеда брел вдоль заборов по улице, запруженной партизанским обозом.

Во дворе сельсовета сновали вооруженные мужики, выгружали ящики из фургона с холщовым верхом, распрягали коней. Полевая кухня заворачивала в ворота, ездовой вел лошадь, покрикивая на зазевавшихся.

В доме грохнул выстрел, посыпались стекла. Лебеда приостановился.

Из сеней выскочили люди, кто-то кубарем полетел с крыльца. Упавшего ткнули прикладом, заставляя подняться. В избитом Лебеда признал губастого Спирьку, секретаря сельсовета. Следом на двор выволокли Гришку в разодранной тельняшке. Кровь заливала ему правый глаз, он встряхивал головой и ругался сквозь зубы.

На площади стоит галдеж, разливается гармошка. Партизанское войско смешалось с толпой деревенских. Навстречу Лебеде скачет на березовом костыле парень с культей, обмотанной тряпками, за ним, причитая, семенит тетка.

– Да не скулите вы, мамаша, – ворчит он. – Без вас скучно…

Квартирьеры шумят, командуют бабами, бойцов уводят на постой. Скучают в ожидании кавалеристы. Один из них подбрасывает в воздух малыша, молодка следит с самодовольной улыбкой, держа наготове налитый стакан.

Присматриваясь к лошадям, Лебеда ходил от одной кучки к другой. Командиры разговаривают со стариками.

– Коней у нас повыбило, помогите лошадьми да овсом, – говорит невысокий скуластый военный.

– Да мы портки последние сымем, – хрипит дед Лыков. – Только куманистов поубивайте…

По бокам его стояли оба сына, Лычонок и старший Евсей с перебинтованным плечом. Старуха не сводит с них глаз.

– …Жгуть непокорные деревни, божьи церквы поганють, – бойко говорит, сняв картуз, бородатый мужик. – Не мы бандиты, а они, комиссары! – закричал он, рубя воздух кулаком. – Не выпустим оружию с наших мозолистых крестьянских рук, покуда не выведем всех до одного куманистов-нахалов с русской земли! Долой ехидного змея Ленина и его палачей!..

Толпа откликается возбужденным гулом.

Среди рассевшихся на траве партизан бродит бабенка с девочкой на руках.

– Корнюху мово не видал? Шмеля?

– Дак убило, кажись, Шмеля, – неуверенно говорит гармонист, пальцы его бегают по клавишам.

– Не знаешь – не говори, – спорят соседи. – Живой, задело его малость в Карай-Салтыковке…

– Да то не Шмель, то Иван Григорича убило, с команды связи…

– Второй взвод, харчиться будем? – рявкает казак в лампасах, и бойцы живо поднимаются с земли.

– …Не пьяницу комиссара, а свово брата, справного мужика поставить… – убеждает молодцеватый командир в гимнастерке, перетянутой портупеей.

Мужики соглашались, вздыхали.

– Свое-то хозяйство не покинешь, неспособно…

– Дак его и ставить, Гришку, – сказал кто-то.

Его поддержали:

– Энтот уж насобачился, а новый сядеть – покуль навыкнеть…

Гришка стоял тут же, слушал с невозмутимым видом и сплевывал кровь.

Бабы разглядывают убитых на возу. Бабенка с девочкой уставилась на обручальное кольцо, вросшее в палец.

– Вон энтого представь…

Возчик с напарником растаскивают верхних. Показалось обтянутое темной кожей лицо, прикрытое слипшимися волосами, оскаленный рот.

– О-ох, злодей… – выдохнула баба.

Она спустила с рук девочку и, рванув с головы платок, завыла на всю площадь.

– Поубивають вас всех понапрасну, – бормочет Лычиха, трогая сыновей. – Поразбивають головушки ваши горькие…

Скуластый военный усмехнулся:

– Погоди нас хоронить, мать. Мы покуда воюем, и краснота от нас бегает.

Она подняла на него слезящиеся сощуренные глазки:

– Звать тебе как, сынок?

– Александром.

– Дай я тебе поцалую… – Поцеловала, перекрестила: – Христос с тобой! Не увижу я вас…

У сенного сарая, задрав кверху морду и подскакивая, лает собачонка.

На летней кухне Крячиха рубила капусту. Кузька ползал по сухой земле, пугал кур.

– Мужиков на деревне цельная стадо, – ворчала Крячиха. – Хуч бы какого приманула, пока не разбежалися…

– Клавка сказывала, в Грязях дьячиха цыплят по дешевке отдаеть, – сказала Варвара. – Не слыхала?

– Хошь, погадаю? – Крячиха подмигнула, сдвинула капусту, высвобождая место, но тут кто-то закричал:

– Эй, как тебе там? Хозяйка!

Под яблоней сидел за самоваром плюгавый мужичонка в подштанниках и, нацепив очки на нос, читал обрывок газеты.

– Сей минут давай галифе, чтоб мигом! – строго приказал он.

Крячиха побежала, пощупала брюки, висевшие на веревке.

– Сохнуть, батюшка, сохнуть, стерпи маленько. Чего ж ты серчаешь?

– Чортова баба! Докладать я телешом пойду?

– Такой кобель! А ишо очкастый…. – шепнула она, ухмыляясь, взяла засаленную колоду и стала тасовать. – На порог ступил – и сейчас под подол. Одна слово – партизант…

Она разложила карты и задумалась:

– Дорога табе легла поздняя. А вон он и кавалер выглядаеть, король крестей. И хлопоты от его, и слезы… Ох ты, тихоня! – Она засмеялась. – Карту-то не омманешь, крестовый-то даром пыжится, а на сердце у табе совсем другой мужик. Вон он, стервец, червонный король…

– Хозяйка, уйми ты свово кобеля! – закричал мужичонка. – Ей-богу, пристрелю! Брешеть и брешеть, житья нету…

– Да энто сучка! Должно, крыса на сеновале… – Крячиха отогнала собаку. – Вишь, блажной какой, все ему не ндравится…

Окинув карты взглядом, она покачала головой:

– Нахлебаесся ты с энтим червонным… И свидания – вон она, разлука али драка какая. Обратно слезы… Ох, девка, неладно, ишо раскинуть надо, авось повезеть…

Варвара протянула руку и смешала карты:

– Ну ё к бесу. Не хочу.

Зарывшись в еще сырое, привянувшее сено у Крячихи на повети, Лебеда видел в щель между досками часть двора Баранчика. Солнце ярко освещало угол избы с крыльцом, разомлевшего на жаре часового, амбар, в тени которого курили двое мужиков.

Прискакал верховой, спешился и исчез в избе. Оттуда высыпали люди с оружием и побежали со двора.

Мучили Лебеду комары и мухи. Они роем вились над головой, впивались в запекшуюся на затылке кровь. Не вытерпев, он лег на бок и принялся с остервенением чесаться. Когда он опять припал к щели, у крыльца стояла Чубарка, мужик со шрамом протягивал пакет вестовому.

На дворе было тихо, дремотно. Часовой что-то втолковывал конюху, тот слушал нетерпеливо, переминаясь с полными ведрами в руках.

На нос Лебеде уселась муха. Пот ручьем тек с виска.

Мужик со шрамом отдал поводья конюху и отправился за дом. Стараясь не шуршать, Лебеда слез вниз.

В дальнем конце конюшни в санях торчал стожок сена, свалены были старые хомуты, обрывки упряжи. Набрав овса в мешке, конюх засыпал его в кормушку и зашлепал босыми ногами по луже в проходе. Чубарка подала голос.

– Ишь, барыня, – сказал он. – Какого тебе рожна?

Он выплеснул ведро и вышел.

Куча рухляди в углу ожила, из-за нее бесшумно возник Лебеда.

Подняв морду, кобыла оскалила зубы и коротко заржала, отозвался серый жеребец. Лебеда потрепал ее по шее, успокаивая.

Со двора донесся легкий топот и позвякиванье железа. Бросив поводья, Лебеда метнулся к двери, вжался в стену.

Парень, вбежавший с яркого солнца в полутьму конюшни, приостановился и, щурясь, всматривался в проход. Он шагнул вперед, выискивая сухое место, куда сложить седло и уздечку, и нагнулся, ремень винтовки съехал с его плеча.

Сцепив руки в замок, Лебеда с размаху ударил по склоненной спине, как топором. Ноги у парня подломились, он с глухим стоном рухнул в лужу, Лебеда навалился сверху.

Вскочив коленями на плечи парня, он ткнул его головой в бурую жижу. Тот рвался, хрипел и булькал под ним, спина его стала обмякать, дрожь пробежала по ней, он замер.

Лебеда высвободил ремень винтовки, придавленный телом, стер с дула налипшую грязь и, передернув затвор, заглянул в патронник. Поднявшись, он подхватил парня за ноги и отволок в темноту. Он еле успел скорчиться за Чубаркой, когда в дверь сунулся конюх.

– Языком-то молоть, вишь, мастера… – заговорил он с ухмылкой, осекся и уставился на лежащее на земле седло. – Лычонок, где ты?

Он повертел головой и, не дождавшись ответа, пропал.

Лебеда скользнул в угол, перевернул на спину лежащее тело. На него смотрели выпученные остекленевшие глаза его крестника Лычонка, меньшого сына деда Лыкова.

Лебеда вывел кобылу из денника, залез в седло. Он сжал винтовку и ударил Чубарку по бокам.

У сарая мужики разгружали телегу. При виде несущейся на них лошади они бросились врассыпную, из лопнувшего мешка раскатилась по земле картошка. Только тут Лебеда обнаружил, что кто-то закрыл ворота. Осадив кобылу, он заставил ее

развернуться и поскакал за дом.

В заглохшем огороде горел костер, партизаны обедали, рассевшись вокруг общей чашки. Всадник на лошади вырос из-за угла, все головы невольно повернулись к Лебеде.

– Краснота! – закричал кто-то, вскакивая. – Бей его!

Щелкнул выстрел, палили в воздух, боясь задеть своих. Военный во френче обернулся и, подняв револьвер, выстрелил в летевшего на него Лебеду. Чубарка шарахнулась в сторону. Лебеда с трудом удержался в седле.

– Луки-и-ич, сюды-ы! – услышал он звенящий крик.

В нескольких шагах от него Варвара скинула верхнюю слегу с загородки, отделявшей Крячихин двор. Кобыла легко перемахнула к Крячихе. Лебеда успел заметить, что путь на огород отрезан – оттуда шли наметом двое верховых.

Варвара сломя голову бежала к воротам, уронив платок, разметав по ветру волосы. Вынув запор, она оттащила одну створку, и Чубарка вынесла Лебеду на улицу. Ворота захлопнулись у конников перед самым носом.

Один из них, привстав на стременах, сплеча полоснул Варвару нагайкой. От удара ногой в бок она упала, завизжала – лошадиная морда надвинулась на нее.

– Ну, курва, – орал всадник, ерзая в седле. – Твое счастье, что мы не куманисты, баб не стреляем!..

За окошком едва забрезжило, Варвара растолкала Палашку.

– Малой как встанеть, ступайте до тетеньки Крячихи, она вас покормить…

Разглядев в темноте, что Варвара замотана в платок, Палашка испугалась и села на полатях.

– Далеко собралася? – На лежанке закряхтел Малафей. – Стерпела бы ты малость, – сказал он слабым голосом. – Помру – и ступай себе, с кем хошь путайся. Свербить у ей…

– У табе не спросилася! Ты мине кто? Никто! Прохожий!

– А ребятенок чей?

Варвара взбесилась.

– А прежде-то иде табе носило, пустопляса? Подстрелили – и враз вспомнил? Тятькя нашелся…

Палашка с воем кинулась к ней, вцепилась в юбку:

– Мамка, не бросай нас, пропадем без тебе!

Проснулся и захныкал малыш в зыбке. Варвара дала затрещину Палашке, зашипела:

– Делай чего велять, а то впрямь сбегу! Угомони его…

Малафей всхлипнул. Она подошла к нему.

– Помираю, Варькя, – прошептал он, заискивающе глядя на

нее. – Вся нутро огнем горить…

– Да будеть табе, уж сколько раз помирал… ишо обмогнешься.

Она схватила узелок и исчезла за дверью.

Восход застал Варвару на опушке березняка. Ветерок побежал по верхушкам, засеребрилась листва. Розовый свет разгорался на белых стволах. Ожили птицы, вспыхнула роса в траве.

Под босой ногой треснул сучок, и желтая, в черных подпалинах иволга взмыла над головой, тяжело зашумев крыльями.

Варвара торопится, шлепает по луже, брызги сверкают.

В низине стоит сумрачная глухая тишина. Не слышно птичьих голосов. Редкие сосны попадаются среди чернеющих старых елей.

Варвара пробирается сквозь чащу, заваленную буреломом. Земля укрыта толстым слоем мертвой хвои. Путь то и дело перегораживают корявые стволы, заплетенные сухой паутиной.

Треск ломаемых сучьев нарушает безмолвие. Мелькая в пятнах света, за деревьями прыжками летит косуля. И опять тихо.

Седой мох пружинит под ногами. Хлещут по лицу колючие лапы.

С кочки на кочку Варвара пытается обойти бочаг темной стоячей воды. Шагнула – провалилась по щиколотку, еще шагнула – по колено. Она беспомощно оглядывается. За густым камышом дрожат и переливаются на воде солнечные блики.

Она входит в коричневую жижу по грудь. Мутные пузыри с бульканьем бегут снизу. Подняв над головой узелок, цепляясь за стебли, нащупывает скользкое илистое дно. Обрывается, плывет.

На дне оврага в зарослях петляет ручей.

Варвара бредет по берегу, с трудом переставляя ноги. Она присаживается на торчащие из песка корни, пьет из пригоршни, опускает в поток разгоряченные ступни.

Тает свет. Под бегущей водой колеблются, переплетаясь, зеленые нити ряски. Ее клонит в сон.

Потянуло свежестью, кусты зашумели. Приглушенно доносится ржание лошади. Варвара просыпается, встает.

Она идет по извилине ручья, ныряет в ольшаник, раздвигает сучья.

На той стороне на склоне, освещенном красным закатным солнцем, бегает жеребенок, замирает, принюхиваясь к ветру, задрав морду к небу. Под кривой ветлой пасется нерасседланная чубарая кобыла.

Укрытый кустом боярышника, Лебеда следит в прорезь прицела за светлым пятном, которое то появляется, то пропадает за ветвями. Вглядевшись, он опускает винтовку. Подхватывает брошенную сухую валежину, волочит вниз.

Варвара моет ноги в ручье. Чувствуя на себе тяжелый взгляд Лебеды, она неторопливо отскребает с лодыжки ржавые потеки глины. Он обламывает сучья и подкладывает в тлеющее кострище. Понемногу пламя разгорается.

Она взбирается по склону, садится в траву у огня. Стягивает платок, волосы рассыпаются по плечам.

Лебеда потрошит окуней складным ножом. Побросал рыбу в котелок, добыл из подсумка морковку и луковицу.

В костре постреливает хворост, искры сыплются. Варвара сидит, обхватив руками колени, уставясь в сумрак.

Из-за черных верхушек деревьев над гребнем холма встает багровая луна.

Он вскакивает и, подхватив подштанники, хромает вниз к ручью. Берег тонет в серой предутренней мгле. Напившись, он льет воду себе на загривок и спрашивает:

– Спать-то надо, али как? Звезд уж не видать…

Прикрыв лицо локтем, Варвара хрипло смеется. Он ковыляет по склону, ложится рядом:

– Ай все мало?

– Раздавил… – блаженно вздыхает она. – С виду-то одни кости, а налёг – чисто боров… Девки, небось, млели.

– Дак боялся я их пуще покойников.

– Девок?

Лебеда усмехнулся:

– Случай вышел. С ребятами пошли к Тёрке. Нищенка приблудная в сараюшке жила. А я шкет ишо, мне годов тринадцать, ишо непорченый. А оскоромиться-то охота…

Варвара слушает, подперев голову рукой, заранее улыбаясь.

– Пришли с парнями, закусок наворовали с дому, сивухи бутылку. И давай ее возить, Тёрку. В сарае тёмно, нипочем разглядеть ее не могу. Тута мой черёд. Ну, чую – пропал в отделку! Засмеють… Она ореть: соколик, погоняй! Морду подняла, я и обмер – лицо сизая, ровно бурак, вся буграми, с ветрянки али с чирьев, рябая! Как дал дёру до избе! Митяя сшиб, он на стрёме стоял… Пришел зареванный, а папаня самогонку учуял – и за ремень. Отполировал – я после неделю на брюхе лежал…

Варвара умирает со смеху, вытирает слезы.

– Дражнили, небось?

– Со двора не сойтить. Девки завидють – пальцем ткають, ржуть как полоумные… Жанили – уж я с фронту пришедши, с японьской…

– Вишь ты барин какой… А страхолюдку не хошь? Ох, беда… Лебеда… Аж складно! Фамилие-то с хохлов, что ль?

– Энто по-уличному. А то Охросимовы мы.

– И мы Охросимовы! – обрадовалась Варвара. – Родня, выходить?

– Дак у нас полдеревни Охросимовы. Козловка – Охросимовка тож, по барину.

Перекатившись на живот, она кладет подбородок ему на грудь, проводит рукой по волосам.

– Лебёдушка ты моя… Дай надышаться-то, нанюхаться. Завтре, завтре с конями на травке валяться будешь, гладкий жир нагуливать. А покамест не дам я те спать, Давыд Лукич…

– Сучка ты. Я ж контуженый, ишо помру на бабе геройской смертью…

– Сучка я, сучка жадная… – шепчет она. – Ты глянь, волос у табе на грудях розовый, и впрямь как у лебёдки перо! Имя-то какая чудная – Да-а-вы-ыд… Мать-то как звала? Давыдка?

– Давыня.

– Ой, не могу! Силов моих нету, сласть какая, аж захолонуло… Давыня, дролечка мой, зацалую, задушу, покусаю!..

Открыв глаза, Лебеда увидел перед собой парня в малиновой гимнастерке и буденовке с водянистыми глазами навыкате, который шарил по карманам его солдатских штанов.

– Кто такой? Документ есть?

Другой боец вертел в руках его винтовку. Их было пятеро – конный разъезд борисоглебских курсантов.

Красноармеец вывернул карман, высыпал на ладонь горсть патронов.

– Уморился скородить? – Он подмигнул Лебеде. – Замотала она тебе…

– Поросенок золотушный, рыбья сопля, – сказал Лебеда негромко. – Я те в отцы гожуся, а ты мне страмные речи загибаешь? Мало тебе драли, дуболома…

Курсанты засмеялись. Лупоглазый, покраснев до ушей, сдернул с плеча винтовку и закричал:

– Приказ сто семьдесят первый слыхал? Как шлёпнем тебе тута в яруге!

Варвара подняла голову. Охнув, она поджала голые ноги, натянула подол рубахи. Это вызвало новый взрыв веселья. Лебеда нашарил юбку в траве и подал ей:

– Без порток не будеть разговору.

– Документ давай!

Ему швырнули штаны.

– Дезертир?

– Сам ты дизентир… Уволенные мы вчистую. Невалид.

Он встал и, отвернувшись, застегивался.

– А винтовочка копченая, стреляная… – заметил чернявый боец, вынув затвор и разглядывая ствол на просвет.

– Поди знай, кого он с её положил…

– Они тута в Красную армию иттить дюже хворые, а в банду – годный по всем статьям…

Один из конных, наклонясь, что-то сказал другому. Тот спешился и стал взбираться по склону туда, где паслась кобыла с жеребенком.

– Отпустите, сыночки! – Варвара залилась слезами, подошла к верховому, взяла за стремя. – Невиноватый он! Никого мы не трогаем, в банде сроду не был, истинный крест!

– Оружие почему не сдано? – спросил всадник равнодушно. – Где твоя усадьба?

– С Козловки мы.

Чернявый присвистнул:

– Далеко забрался! Собирайся…

– Куды? Чего я исделал?

– И вправду, чего ты здеся делать надумал, дядя? – сказал чернявый. – Уток стрелять? Али бандитам сигнал давать?

Ворота хутора стояли распахнутые. В сарае беспокойно мычала Пеструха.

Варвара зашла, пощупала вымя и, чертыхнувшись, схватила подойник. Корова переступила на месте, вздохнула и успокоилась. Варваре почудился голос снаружи. Кто-то застонал у ограды.

В лопухах, закинув голову, лежал Малафей и хрипло, с присвистом дышал.

– Вот нечистая сила! – всплеснула руками Варвара. – Куды ты, дьявол, залез? В избе ему не сидится…

Она ухватила его под мышки и поволокла к дому. Втащив его на лежанку, подсунула подушку, укрыла, но он сбросил овчину.

– Ушли? – вдруг спросил он, приподнимая голову.

– Ай приходил кто?

– Нагнали баранов…

Он пристально всматривался в нее, как будто не узнавал.

На околице Козловки красноармейский патруль остановил

старуху с козой.

– Не велено пущать, – объяснял боец. – Сказано – волость закрытая до окончания операции.

Коза убежала в поле, красноармеец пошел ее ловить.

– У мене тама ребятишки, малец и девка, – сказала Варвара. – Их до дому надоть, на хутор.

– Ожидай, пока кончится…

Подъехали двое верховых, один из них оказался старшим. Старуху с козой завернули обратно в село, она еще долго оборачивалась и ругалась. Варвару пропустили.

Она идет по пустынной улице. На дворах никого не видно, кроме сонных от жары собак. Бабка Бзыря в древнем шушуне стоит у ограды, трясет головой.

Среди цветущей мальвы в палисаднике мерцает медный бок самовара, гора узлов навалена на кровати. Дочь Федихи Наталья прижимает к себе двух перепуганных мальчишек. Они смотрят, как красноармейцы баграми растаскивают стены избы. Сама Федиха ходит вокруг, на чем свет ругается и плачет.

Соломенная крыша провалилась в горницу. Блестит на солнце побелка печи.

С глухим стуком бревно скатывается на землю, поднимая тучи пыли. Бойцы разбегаются. От удара, вздрогнув, обрушивается крыльцо.

Варвара бежит дальше.

По проулку трое красноармейцев ведут деда и молодую бабу с грудным ребенком на руках. Бойцы подгоняют, она огрызается.

На крыльце священник что-то объясняет военному. Хлопают двери избы, выходят чекисты. У отца Еремея идет обыск.

Из колодца вылезает красноармеец, еще двое копают яму у сарая.

У Крячихи – ни души.

Варвара сунулась в сени, позвала “Лексевна!” и, не дождавшись ответа, бросилась на улицу.

Площадь перед церковью оцеплена красноармейцами, в воздухе стоит возбужденный гул голосов. У стены, задрав дуло, торчит полевая пушка в конной запряжке. Мальчишки облепили бронеавтомобиль.

За двумя столами, заваленными бумагами, сидят вперемешку военные и штатские. Человек в толстовке с наборной подпояской выкликает по списку:

– …Жеребный Харлам! Кокорев Федот! Лыков Евсей! Лыков Петр!

– Убитый он, уж похоронили намедни… – кричат ему.

– Крячиху не видали? – спрашивает Варвара. – Когой-то кличуть?

– Ай ты не записалася? – удивился Клавкин муж Лобан. – Хлеба печеного обещалися по пуду да меду ведро…

– Брешешь! А на ребятишек дають?

Вокруг засмеялись.

– …Шумилов Дмитрий! Ягунов Степан! – Читавший с облегчением отложил бумагу. – Согласно постановления уполиткомиссии, все вышепоименованные участники бандитских шаек должны без промедления сдаться органам советской власти и сдать оружие…

– Стращал отец сына, тот со страху избу пропил… – лузгая подсолнухи, язвительно замечает щербатый мужик в распоясанной гимнастерке.

Перед чекистом стоят старуха и баба с детьми.

– Дроновы… А энта Проскурина Дарья… – окинув их хмурым взглядом, роняет Гришка.

Тонкогубый, со вдавленными висками чекист, объявляет скороговоркой:

– Семьи Дронова Ефима и Проскурина Василия как злостно-бандитские направляются в концентрационный лагерь в Кирсанов. Ежели в течение двух недель ваши мужики не явятся добровольно, семья ссылается на принудительные работы в северные губернии…

Бабы поднимают гвалт, красноармейцы оттесняют их к ограде церкви.

Просунувшись между бойцами оцепления, чуть не плача, кричит высоким бабьим голосом Ельмень, большой рыхлый мужик:

– …И кажный приходить и шумить: дай, не то стрельну! Хлебушка ему дай, кабанчика дай! И все в форменном, кажный при винтовке… Ты нам растолкуй, откуль я знать должон, который бандит али партизан али он правильный?

Командир со щеточкой усов под носом, с обритой, коричневой от загара головой, вынимает часы.

– Даром волыните, – замечает он сухо. – Выдайте бандитов, сдайте спрятанное оружие – и заложники пойдут по домам…

Член ревтрибунала, мужчина в пенсне, с седеющими висками и бородкой клинышком, роется в папке, а над ним рыдает Федихина дочь Наталья.

– Избу-то, избу для чего порушили? – стонет она.

– Позвольте, – выудив нужную справку, говорит тот с неприязненным спокойствием, – у вас на дворе найден пулеметный ствол. Какие могут быть вопросы? Согласно приказа

сто семьдесят первого, старший работник в семье расстреливается на месте без суда. И сынка вашего пожалели по малому возрасту…

Человек в толстовке, отодвинув Наталью, сует ему бумагу:

– Товарищ Гиацинтов, я просил списки на конфискацию, а ты что дал?

Заложники, десятка полтора мужиков и несколько баб, топчутся на пятачке у паперти. Один растянулся в пыли у ограды и спит, прикрывшись локтем. Из-за спины конвоира Матрена рассказывала Крячихе:

– …С утра чегой-то блинцов захотелося, не могу прямо. А теперя небось вся тесто с чугуна повылезла…

Увидав Варвару, Крячиха всплеснула руками:

– Ты глянь, чо деется! Мужуков им мало, иродам, уж они баб под арест содють! Скоро до ребятишек доберутся…

Туда-сюда ходит Жунтяй и лихорадочно, не переставая, говорит бойцу:

– …Энто как же? Энто по справедливости? Которые по лесам бегають, вы их достать не могёте, руки коротки. А который с бабой на печке сидел, никого не трогал, он теперя отвечать должон…

Пробираясь в толпе за Крячихой, Варвара столкнулась нос к носу с Трынкой. Она вдруг хитро подмигнула Варваре и запела, поводя плечами:

На Муромской дороге
Стоя-а-ли три сосны…

Варвара оторопела.

– Загуляем, девки?

– Я гляжу, ты уж оскоромилася, – говорит Крячиха. – Малой где? Замотал меня, сатаненок…

Старшая Машка посторонилась – Кузька, прятавшийся за юбками девчонок, кинулся наутек, Варвара поймала его. Подскочила Палашка, прильнула к ней, глянула настороженно.

– Вам было дадено полчаса, срок вышел… – За столом, скрипя ремнями, поднялся бритоголовый командир. – Ни один бандит вами не выдан. Сдано добровольно: обрез – один, шашка – одна. Это, товарищи, курям на смех…

– Мужуков-то, мужуков навели! – Трынке не стоится на месте, она приплясывает. – Все бычки молодые, немятые…

Бойцы оцепления расчищали пространство у стены, отгоняя баб. Ожил взвод, томившийся в строю на припеке. Взводный в

глянцевых сапогах с лихостью отдавал команды.

– …А отобрано у вас спрятанного оружия путем обыска и конфискации: винтовок – четыре, пулеметный ствол – один, патронов – триста восемьдесят штук, шесть гранат и возвратные пружины к пулемету – одиннадцать пружин…

Охрана тормошит заложников. Спавший на земле молодой мужик открыл глаза и сладко потянулся.

– …Не хочете вы, как говорится, с открытой душой итти в новую жизнь за советской властью. Что ж, как говорится, добром не хошь – поведут силой…

Печатая шаг, взвод промаршировал вперед, повернулся, разомкнулся и оказался лицом к лицу с заложниками. Их расставляли вдоль стены. Жунтяй все горячится, спорит с конвоиром, вставая на указанное место. Матрена застеснялась, не зная, куда девать руки, вздохнула, сложила на животе. Бойцы подняли винтовки.

Варвара косится по сторонам.

– Все выглядаешь… – бурчит Крячиха. – Иде он сам-то прячется?

– Кто ишо?

– Лебеда. А то кто ж!

– А я почем знаю?

– Да ладно табе таиться! Уж болтают на деревне-то…

Что-то коротко рявкнул взводный. Затрещал залп, люди у стены повалились на землю, посыпалась в дыму отбитая штукатурка.

Толпа, оцепеневшая на мгновение, взорвалась стоном. С разных концов рванулись к убитым бабы, но красноармейцы, сомкнувшись, преградили дорогу.

– Товарищи крестьяне, прошу соблюдать порядок, – перекрикивая шум, призвал бритоголовый командир. – Комиссия продолжает свою работу…

Когда бритоголовый сел, за его спиной в просвете между бойцами оцепления завиднелся конец улицы в белой пыли, дрожащий от зноя воздух. Солнце било в глаза, и Варвара различала только силуэты – жеребенка, прыгавшего через канаву, кобылы в недоуздке, мужика, который вел ее, припадая на ногу.

Она стала протискиваться к забору. Красноармейцы сновали в гуще народа, вылавливая немногочисленных мужиков. Сзади нажали, люди расступились. По проходу вели отца Еремея. Он споткнулся, малый с винтовкой поймал его за локоть, нацепил ему очки. На всю площадь заверещала Клашка, когда схватили Лобана, повисла на конвоирах, укусила одного, бойцы, разъярившись, поволокли ее вместе с мужем.

У забора красноармеец пытался привязать Чубарку, она, не даваясь, упрямо мотала мордой. Варвара заметалась – Лебеды нигде не было видно. Спустив Кузьку, Палашке наказала:

– Мотри, чтоб не убёг! Стойте тута…

И ринулась обратно в толпу.

Лебеда, заросший щетиной, с почерневшими скулами, стоя у стола, выдергивал локоть из руки конвоира:

– Не мацай, я не девка…

– В банде не был, – сообщает осипший Гришка. – Воевать у его некому, на усадьбе одне бабы…

– Его берут не как бандита, а как заложника, – наставительно, с оттенком раздражения заметил человек в толстовке, перебиравший бумаги.

– За што залог-то? Чего я вам должон?

Около чекиста плакала баба, за ней ждали своей очереди старики Лыковы с сыном Евсеем. Слышна была перепалка, потом все покрыл зычный голос бритоголового:

– Товарищи крестьяне, вы не слепые, сами видите – у Красной армии слова с делами не расходятся. Вам дается новый срок – еще полчаса. Если по истечении положенного времени вы не выдадите бандитов и не сдадите оружие, заложники будут расстреляны. Сейчас двенадцать сорок. – Командир показал часы. – Время пошло…

Варвара, поколебавшись, встала за Лычихой к чекисту.

На пятачке у паперти священник снял очки и, подняв к солнцу незрячие глаза, разговаривал с бабами. Прислонясь спиной к решетке, Лебеда неотрывно смотрел куда-то поверх голов. Варвара обернулась – там, куда был устремлен его угрюмый взгляд, Машка уводила кобылу в проулок, жеребенок совался вперед.

Над чекистом, сгорбившись, навис старик Лыков.

– Вот табе ишо один бандит, – тяжко сипит он, хватая воздух ртом. – По своей воле привели, запиши… Старшой на германской сгинул, и могилка незнамо где. Меньшого надысь схоронили. Энтот один покамест живой. Хуч в тюрьму его бери али куды хошь, а только не убивайтя, хуч одного мне оставь… Так и запиши: просю душевно вашу властю корень мой не губить подчистую…

– Или мы звери какие? – с укоризной говорит чекист. – У нас, папаша, по справедливости…

Бабочка порхала над убитыми. У Жунтяя дыра чернела на месте глаза. Матрена лежала, сцепив на животе темные корявые пальцы, из-под задравшейся юбки торчала рубаха.

– Побожися… что не омманешь! – выдавила Варвара.

– Я неверующий. – Чекист, усмехнувшись, поднимает голову от бумаг. – Чего у тебя?

Впереди ехал верховой, он придерживал рыжего мерина, дожидаясь телеги.

Варвара с Кузькой на коленях сидит в боку, свесив ноги. Палашка прижимается к ней. Трое красноармейцев молчат, настороженно вглядываясь в придорожные кусты.

В горнице никого не было, опять овчина валялась на полу.

Красноармейцы нашли винтовку.

– А сам-то? Убёг, что ли?

Малафей лежал, уткнувшись в землю, в конопле на огороде. Она перевернула его на спину:

– Живой, Панкратич?

Глаза на сером истончившемся лице были открыты, но он не узнавал ее.

Бойцы подхватили его за руки и за ноги. Из землянки Варвара притащила шинель, разостлала в телеге. Голова Малафея глухо стукнула о доски.

– Тихо вы! Не дрова, чай…

Чекист-оперативник в очках, сощурясь, рассматривает заложников, сбившихся тесной угрюмой кучкой:

– Который?

От волнения Варвара не может найти Лебеду. На земле бьется, рыдает в голос Клашка.

– Обросши который, лохматый, – шепчет Варвара. – Вон он, на карачках усемшись…

По знаку чекиста охранник подходит, перешагивая через сидящих, и заставляет встать щербатого мужика в распоясанной гимнастерке.

– Да не тот совсем, а вон за им! Сказала ж, обросши который!

Боец вертит головой по сторонам, берет за плечо Лебеду.

– Он, как есть, энтот! Самый он!

Потревоженные криком заложники поднимают головы.

– И вовсе энто не ейный мужик, а Трынкин, – говорит Игнаха в толпе.

Оперативник прислушивается. Увидев Варвару, Лебеда остановился в недоумении.

– Это твой мужик?

Все смотрят на нее, слова застревают у Варвары в глотке.

– Ты не мути, а говори толком! – Охранник плюнул с досады. – Который твой?

– Да нету у ей мужука, сгинул давно… Бобылка она, – утирая

слезы, с раздражением вмешивается Клашка Лобаниха.

– Сука бесстыжая, анчутка рогастая! Люди добрые, энто ж мой мужик! – Взъерошенная, с красным потным лицом, Трынка, отшвыривая соседей, рвется к Варваре.

– А ты чего молчишь как пень? – вскинулся боец на Лебеду.

Мгновение они смотрят друг на друга, Лебеда на Варвару, она на него. Он усмехнулся и, отстранив конвоира, побрел обратно к ограде.

У стола перед чекистом мнется приземистый, заросший волосами мужик.

– Чуканов Степан? Тот самый? Из злостных?

– Он и есть, – подтверждает Гришка. – Степан Васильев Чуканов, Ельменев братан…

Оперативник подвел Варвару к столу.

– С этой придется разбираться…

– Омманули! Отпущать сулили! – вскрикивает Варвара.

– Да погоди ты… – Чекист с интересом оглядывает косматого мужика, делает пометку в бумаге. – В Шереметьевке? У Селянского воевал?

– Я ж сам пришел… – понуро бормочет мужик. – Обещалися семью отпущать…

Варвара взвыла – это Трынка, просочившись через оцепление, опрокинула ее на чекиста, свалила его со стула вместе с бумагами. Варвара рвалась и вопила, но ничего не могла поделать – голова ее, крепко схваченная, с глухим стуком колотилась о дубовую крышку стола.

– Ах ты, лоханка козья! – хрипела Трынка в то время, как красноармейцы с руганью разнимали их. – Я ж те сиськи пообрываю!

– Прекратить безобразие!

Наконец порядок восстановлен, Трынку утащили, Варвара, растрепанная и помятая, оправляется.

– Стоять тихо! – рявкнул на нее чекист. – Невозможно работать…

Косматый мужик прячет усмешку.

– Значит, у Селянского воевал? Где оружие? Почему не сдал?

– Дак нету, обрез был, да разорвало. Два пальца вон покалечила. Семья-то невиноватая…

– Все вы одним миром… пока за глотку не взяли, – цедит чекист и широким жестом делает знак Гришке: – Отпусти…

Гришка идет к телегам и выводит из-за оцепления бабу лет сорока, еще моложавую и крепкую, и другую, тоненькую, совсем девочку, с тремя малыми детьми. Они уходят, оглядываясь, не спуская глаз с мужика, которого уводит кон– воир.

– При проверке сведения не подтвердились, – докладывает оперативник в очках. – Заложник оказался мужем другой бабы, той, что дралась…

Чекист усмехается, устало проводит ладонью по лицу:

– За кого они нас тут держат?

– Отпущать обещалися… – тупо повторяет Варвара. – Бог накажеть…

– Укрывательство бандита – раз, попытка обмануть органы ВЧК – два. Будем выселять…

– Товарищ начособ! – говорит запыхавшийся вохровец. – Бандит ейный, что давеча с хутора привезли, кровища с его хлещеть! Ступай сама с им колупайся… Народ сажать некуды, всех распужал!

Арестованные мужики и конвой теснились у телеги, одни – отворачиваясь, другие – с равнодушным любопытством глядя на корчившегося Малафея.

Он захлебывался кровью. Варвара приподняла его за плечи и держала голову на весу. Покрывая шум, доносился от стола низкий голос бритоголового командира:

– …Советская власть неоднократно призывала вас образумиться. Настало время расплаты. Ваша волость заносится на черную доску как гнездо бандитов и предателей трудового народа. За пролитую кровь народную, за всю каинову проклятую работу бандитов ответите вы…

Она вытянула из-под Малафея набухшую кровью шинель и, скатав валиком, подсунула ему под затылок. Оторвала лоскут рубахи, намочила, стала умывать. Выступил заострившийся нос на бескровном лице, скулы, обтянутые синеватой кожей.

– Доходит… – сказал кто-то.

Тень улыбки скользнула по серым губам, он открыл мутные, обессиленные болью глаза.

– Погоди… – прошептал он, – ишо им сопли-то утрем…

Она ощутила слабое пожатие его пальцев.

– Варькя… родная моя баба…

Взвод в строю, печатая шаг, двинулся к церкви. У паперти охрана поднимала заложников.

Варвара высвободила руку и скрылась в толпе.

Лебеда сворачивал самокрутку, когда прозвучала команда:

– А ну, встали и пошли! Живей, живей шевелися!..

– Угости, братец, табачкём. – Мужик в распоясанной гимнастерке старательно обтер пятерни о штаны.

Лебеда протянул ему кисет. Он учтиво запустил туда три пальца, добыл газетку из кармана и ловко слепил козью ножку.

– Служивый, огоньку дай, – обратился он к красноармейцу.

– Идти пора, не слыхал?

– Авось не опоздаем…

Прикурил сам, прихлопнул вспыхнувшую бумагу, дал прикурить Лебеде.

У Клашки подкашивались ноги, она судорожно всхлипывала. Ельмень взял под руку священника.

– Куды ведут?

– Убивать, батюшка…

Отец Еремей приостановился.

– Чада, возрадуемся! – Голос его дрогнул, он неспешно перекрестился. – Смерть принимаем во имя Господне…

Он шагнул вперед и затянул дребезжащим фальцетом:

– Христос воскресе из мертвых…

В толпе несколько голосов несмело подхватили:

– Смертию смерть поправ…

Варвара лихорадочно протискивалась вперед. Из-за спин было видно, как конвоиры расставляют заложников, как замер на месте взвод и разом опустил винтовки к ноге.

Лобан поддерживал Клашку, обхватив ее за плечи, и трясущимися губами подпевал. Лицо ее вспухло от слез, но мелодию она вела уверенно, как в церкви, и крепнущий хор послушно шел за ней.

– И сущим во гробех живот даровав…

Священник с умилением поворачивал голову на Клашкин грудной голос.

Цигарка Лебеды погасла, он пососал ее и бросил с досадой:

– Э-эх…

Мужик в распоясанной гимнастерке покосился на него с усмешкой и, кивнув ему, сунул свою козью ножку соседу.

Лебеда переводил взгляд с бойцов, поднимавших винтовки, на окурок, плывший к нему из рук в руки.

В тишине, нависшей над площадью, негромко и чисто лился пасхальный тропарь:

– Христос воскресе из мертвых…

Ельмень протянул окурок Лебеде. Он жадно затянулся раз, другой и с наслаждением выдохнул длинную струю дыма. Глаза его затуманились, разгладилось лицо.

Варвара не слышала выстрелов. Стволы коротко блеснули огнем, и ей показалось, что это она вздрогнула и стала валиться на бок, что это ее босые желтые ступни неуклюже взлетели кверху и медленно падали вместе с оседающей пылью и осколками штукатурки.

Но она застыла, живая, а он лежал под стеной, закинув жилистую шею с торчащим к небу кадыком.

Темнело. Капли падали ей на лоб, ползли по щекам. Пошел дождь, лило все сильнее. Кто-то окликнул ее. Оглянувшись, она увидела, что площадь давно опустела, люди разошлись. У стены кого-то поднимали за руки за ноги.

Дождь наполнял яму скорее, чем ее удавалось углубить.

Когда воды стало по пояс, Варвара, бросив лопату, ухватила тело за ноги, стащила вниз. Саван с Малафеем то скрывался под водой, то выныривал.

Где-то стучал молоток, забивая крышку. Поток размыл косогор и дорогу, покойников приходилось тянуть волоком, цепляясь за кусты.

Варвара швыряла мокрую глину в яму, глядя, как по соседству под чахлой березой Трынка и Машка топили гроб лопатами, а он, качнувшись, всплывал на поверхность, все не хотел уходить на дно.

В сарае Варвара припала к Пеструхе, застыла.

Дождь лил стеной. Посереди двора стояла телега, горой был навален Варварин скарб – табуретки, чугуны, самовар. На тюках сидела Палашка с Кузькой на руках.

Варвара залезла наверх, накрыла детей рогожей.

Игнаха, которого нарядили везти их, помогал, перекладывал узлы, стягивал веревку. Насквозь промокший красноармеец стучал зубами.

– А в Троицком покормить надоть, конь старый, зараз ему не одолеть… – говорил ему Игнаха.

– Ты довези до места и гуляй…

– А их куды?

– Сказывали, в Архангельскую губернию.

Дождь припустил с новой силой. Вода подбиралась к ступице. Игнаха посмотрел на небо и вздохнул:

– Авось и тама люди живуть…

Она стояла на пороге, окидывая последним взглядом разоренное жилье. Без занавески на окне и подушек на лежанке горница казалась голой.

Ветер гудел в трубе, от его порывов вздрагивало стекло в окошке под крышей.

Варвара подобрала забытый ухват, пошарила по углам. Заглянула за печь – туда завалилась какая-то дощечка. Извернувшись, она достала ее – это оказался образок Казанской. Варвара вытерла его рукавом, поцеловала и сунула за пазуху.

Загремело разбитое стекло, в землянку с шумом хлынула вода.

Варвара кинулась к двери, ее сшибла волна, опрокинула, завертела, стремительно поднимаясь к бревнам потолка. Клокочущий мутный поток затопил землянку.

По улице, превратившейся в реку, баба с поросенком на руках гонит корову. Вода поднимается по пояс, по грудь, вот уже видны только морда коровы и голова бабы в платке.

Ветви яблонь, усыпанные плодами, исчезают под водой.

Пара лошадей тащит пушку по грязи, по прибывающей воде. Красноармейцы толкают сзади, помогая лошадям.

Поток настигает их.

У печной трубы на соломенной крыше сгрудилось семейство – мужик, баба, ребятишки, теленок.

Волна накрывает их.

Красноармейцы ведут избитого, окровавленного мужика на расстрел. Он босой, руки у него связаны за спиной, в которую упирается винтовка конвоира.

Поток догоняет их, они разбегаются, но поздно.

На колокольне церкви звонарь, по пояс в воде, раскачивает колокол.

Вода поднимается все выше, исчезает в воде крест на колокольне.

На берегу ветер шумит в деревьях, раскачивает кусты лозняка. За стеной дождя тают очертания озера. Смолкает колокольный звон.

Волны стихают. Вертится в воде бревно, кто-то неистово колотит по воде.

У берега показывается голова. На четвереньках, как собака, человек вылезает из кустов. Это дурачок Мартынка. Поднявшись на ноги, он оглядывается на озеро и с воплем пускается бежать.

Дождь прекратился. Стих ветер. Из-за туч показывается солнце. Тишина.

За темными стволами сосен поблескивает вода. Над лесным озером курится туман.

> и сей град… невидим бысть и покровен рукою божиею, иже на конец века сего многомятежна и слез достойнаго, покры господь той град дланию своею и невидим бысть по их молению и прошению, иже достойне и праведне тому припадающих, иже не узрит скорби и печали от зверя антихриста, токмо о нас печалуют день и нощь, о отступлении нашем всего государьства московскаго яко антихрист царьствует в

нем и вся заповеди его скверная и нечистыя…

“Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже”[7] *XVIII век*

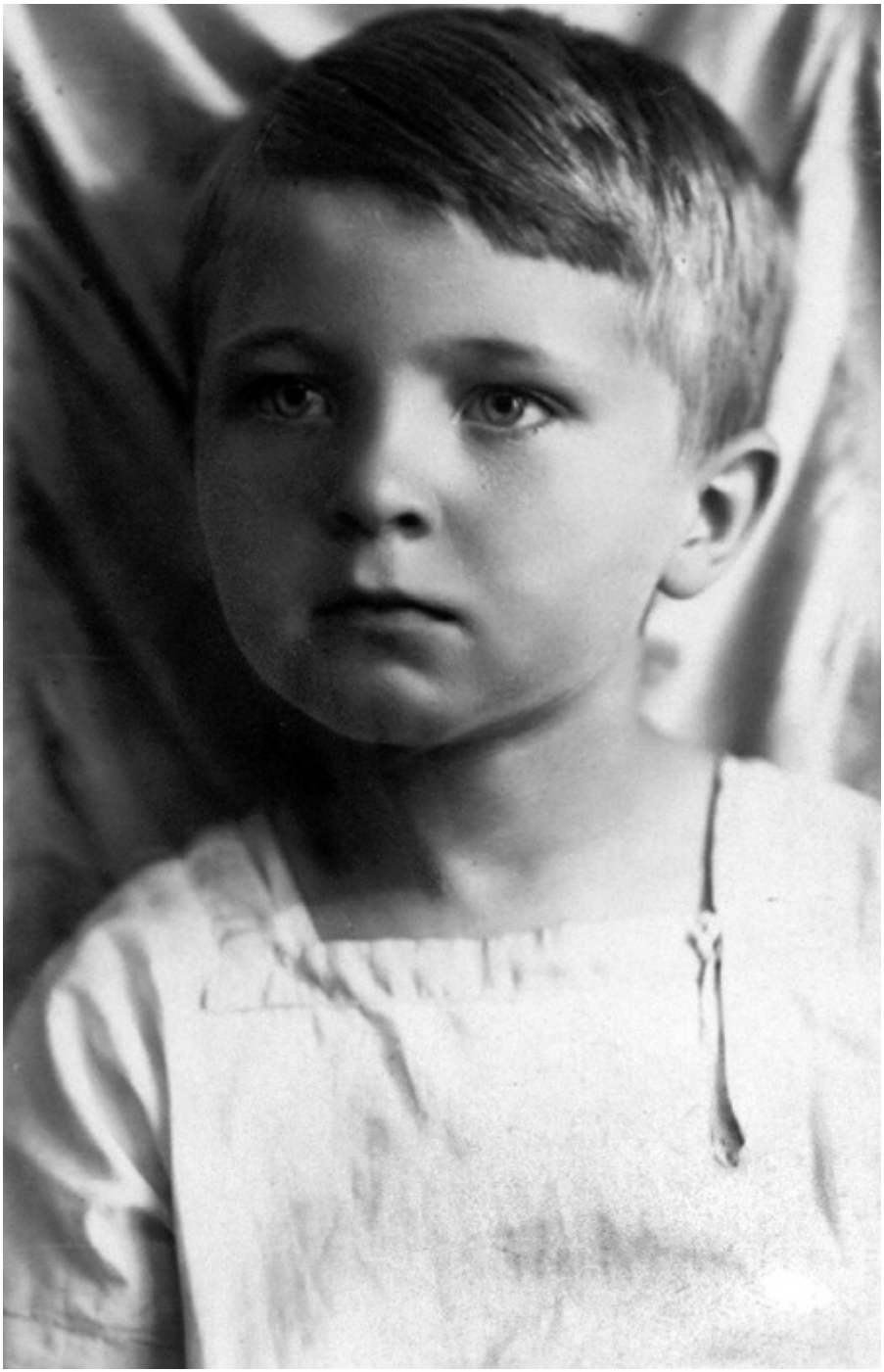
1994–2004

Иллюстрации

Вернулись с матерью в Москву после эвакуации.

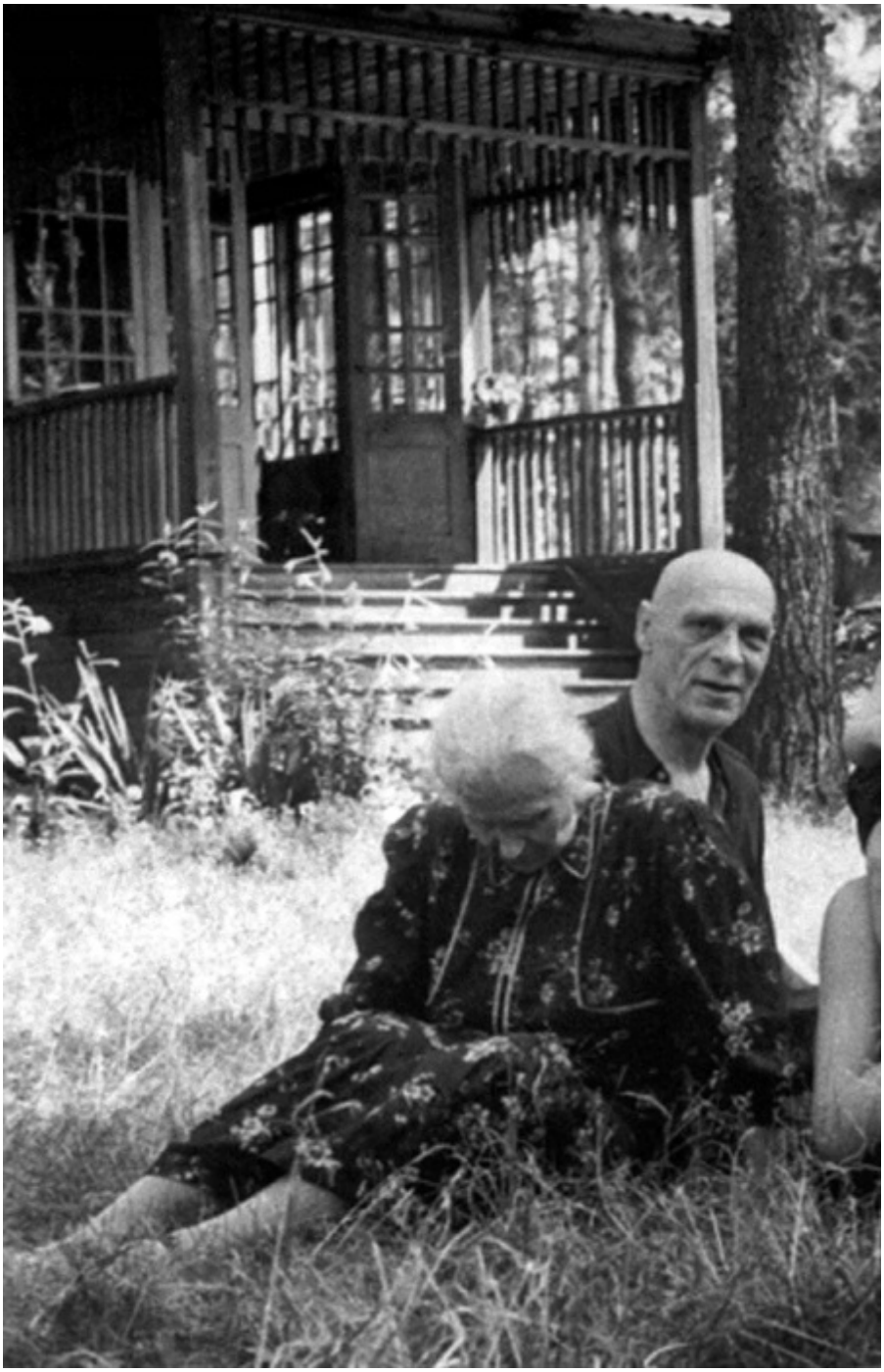
Первая фотография в жизни. Осень 1944-го.

С родителями Виргинией Генриховной и Сергеем Сергеевичем Смирновыми. 1946.

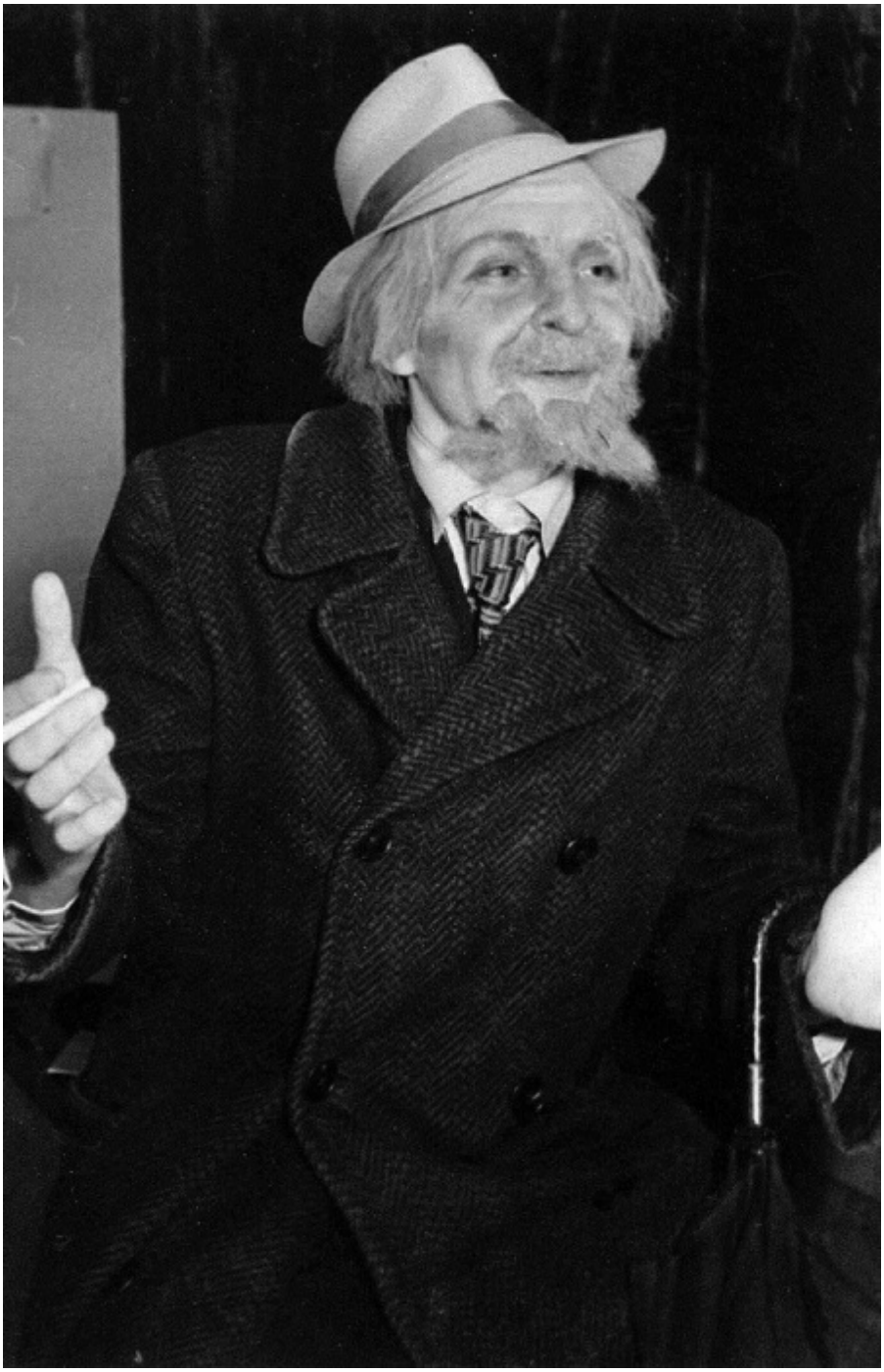


В детском саду. 1946.

Второй класс “В” 281-й школы в Уланском переулке. 1949.



На даче в Малаховке. Слева дедушка и бабушка, на плечах у Андрея брат Костя, справа их родители. 1954.



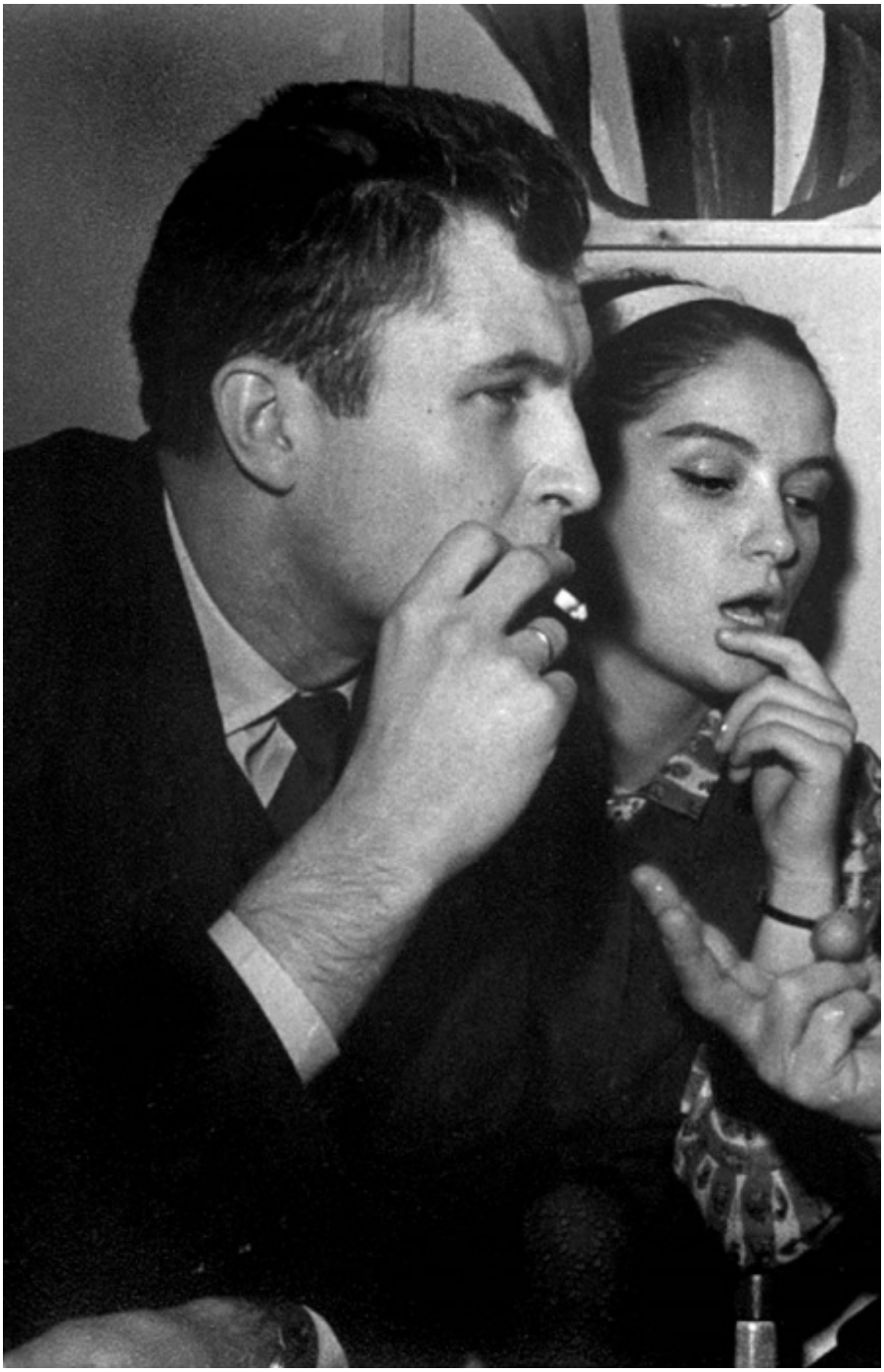
В роли Панико в спектакле “Топаз” Марселя Паньоля во французском театре при Московском Доме учителя. 1957.

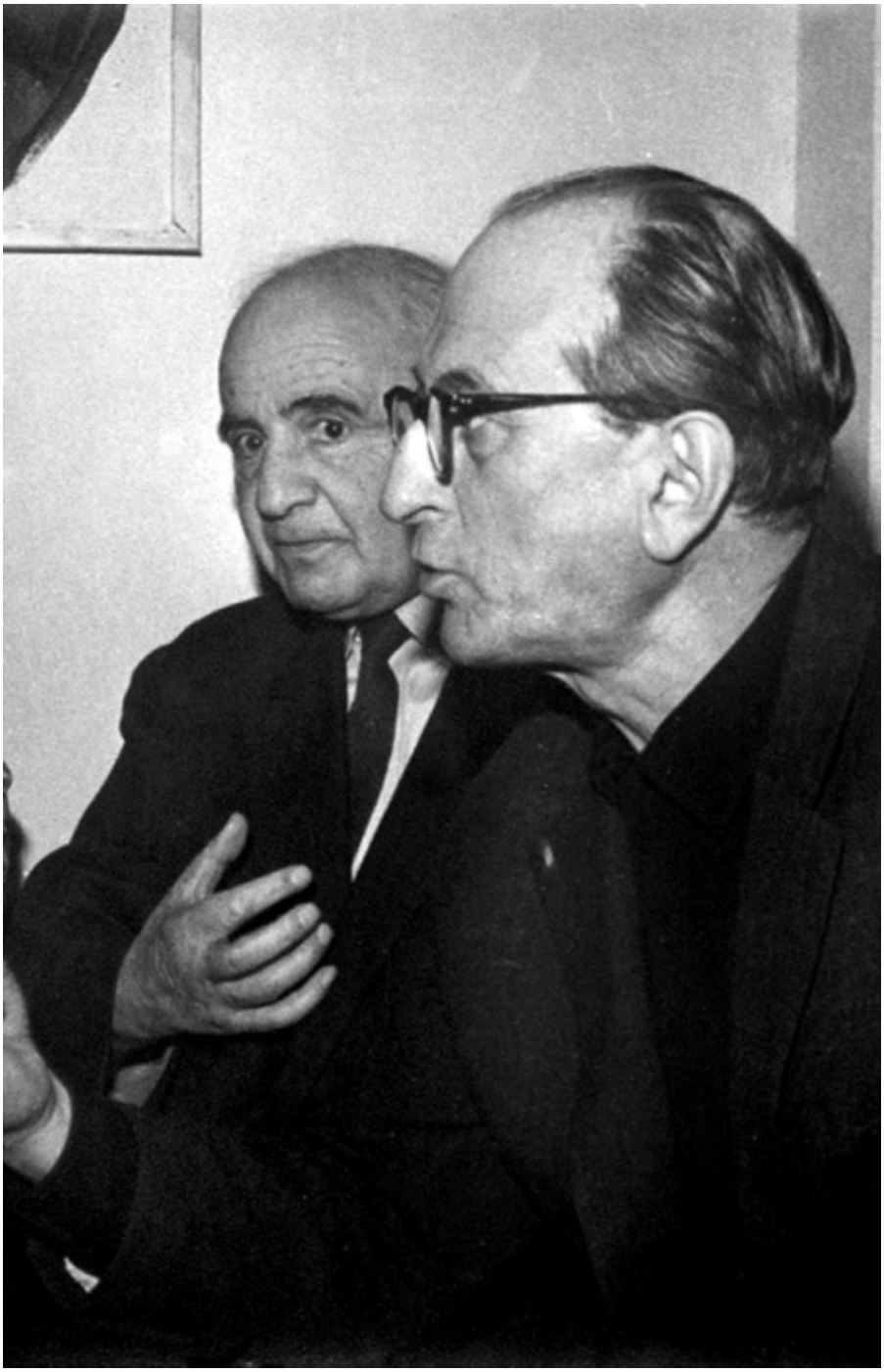
С отцом.

Снимается кино: в главной роли брат Костя. 1956.

ВГИК. Кадр из учебного фильма “Юрка – бесштанная команда” по рассказу Анатолия Кузнецова. Режиссеры – Рамиз Аскеров, Антонис Воязос, Андрей Смирнов, Борис Яшин. В кадре: Василий Шукшин, Зиновий Гердт, Петя Никитин. 1961.

ВГИК. Учебная постановка “Казаков” Л. Толстого. С. Светличная – Марьяна, А. Смирнов – Оленин. 1961.





На “Мосфильме”, начало 60-х. Андрей Смирнов, Лариса Шепитько, Александр Мачерет, Михаил Ромм.

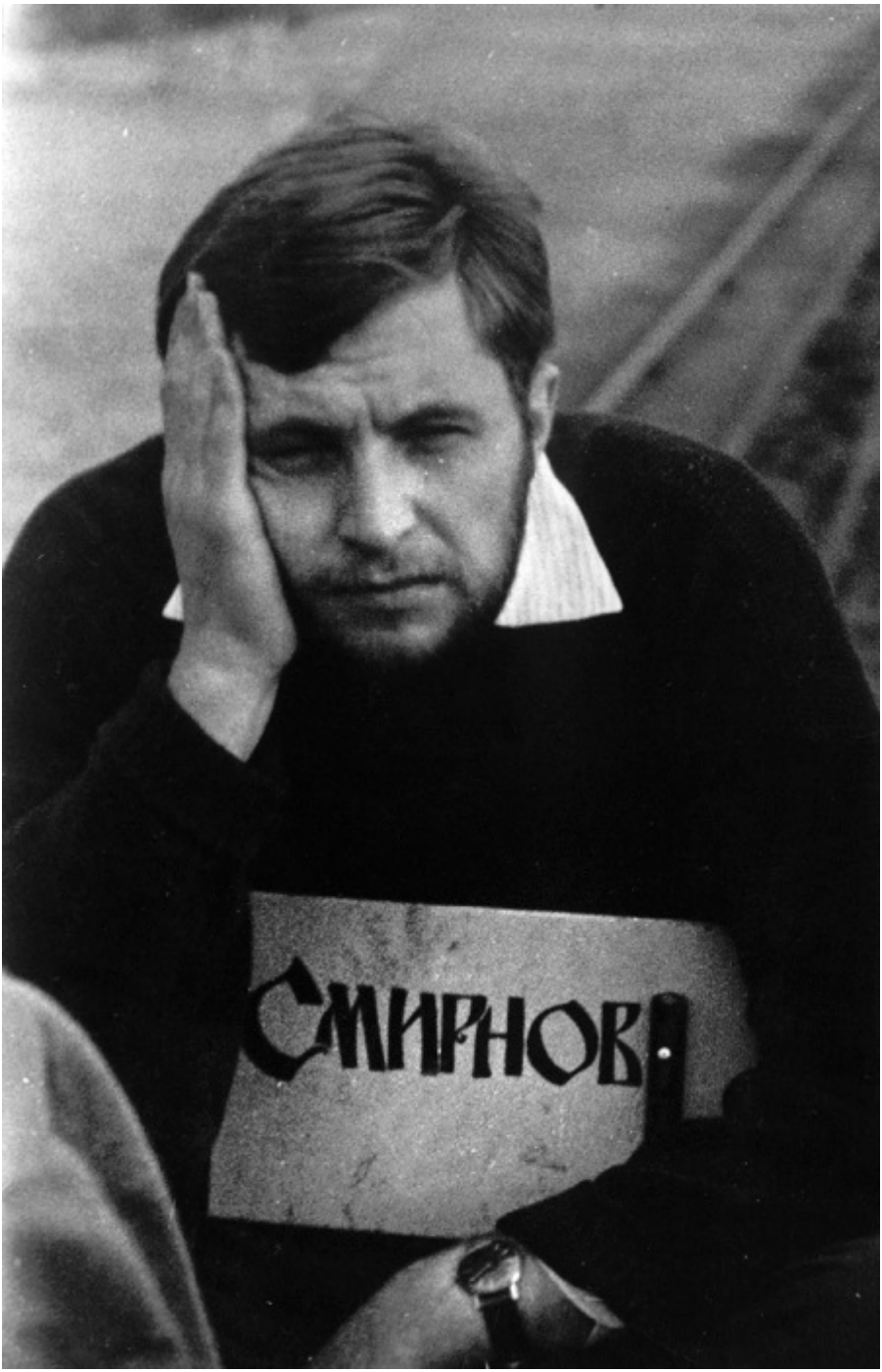
На съемках фильма “Ангел”. 1967.
Вверху: последний кадр снят! *Внизу:* с Леонидом Кулагиным.

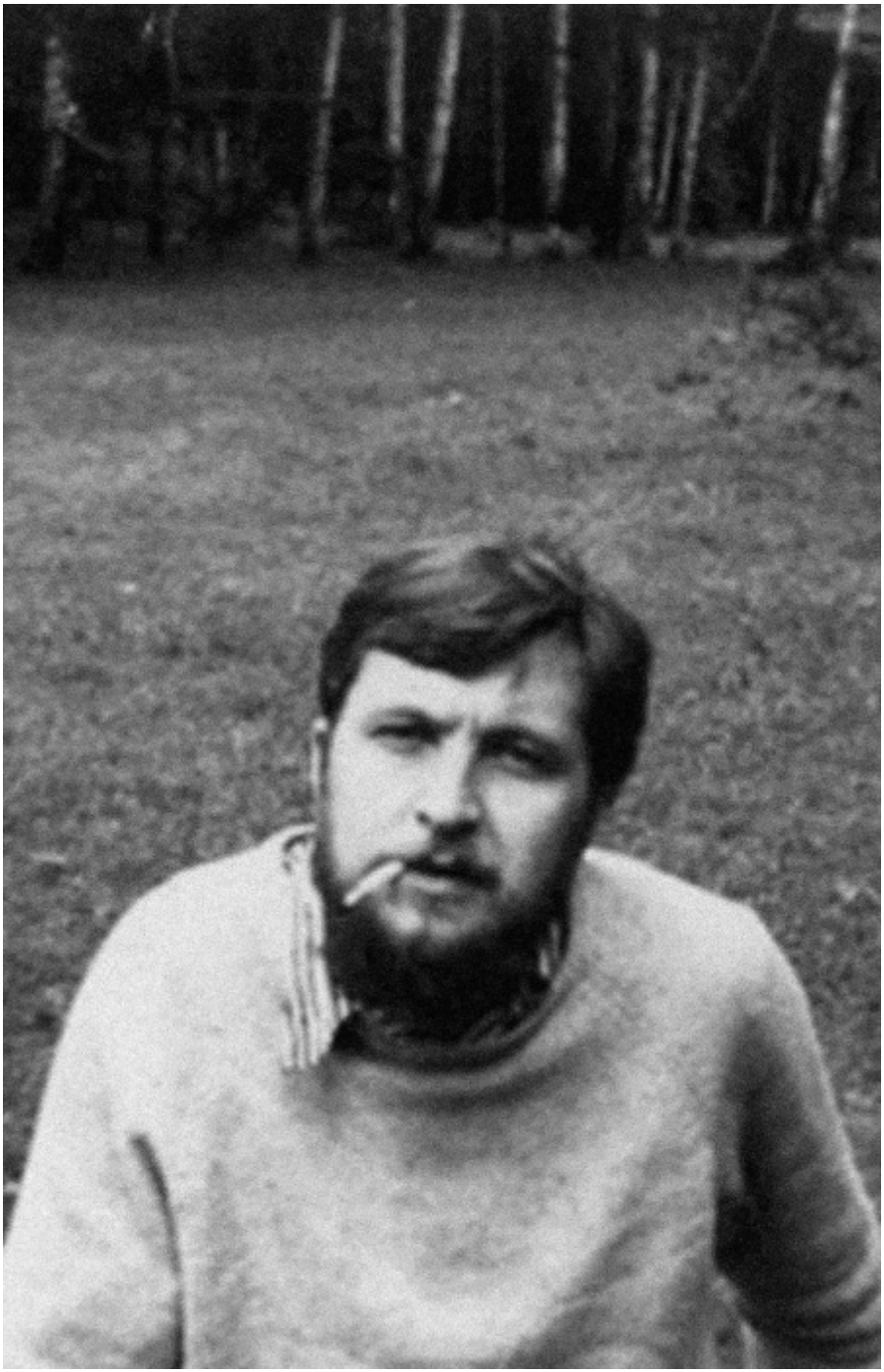
Вверху:

в центре киевская школьница Таня Беликова, игравшая в фильме.

Внизу:

с оператором Павлом Лебешевым.

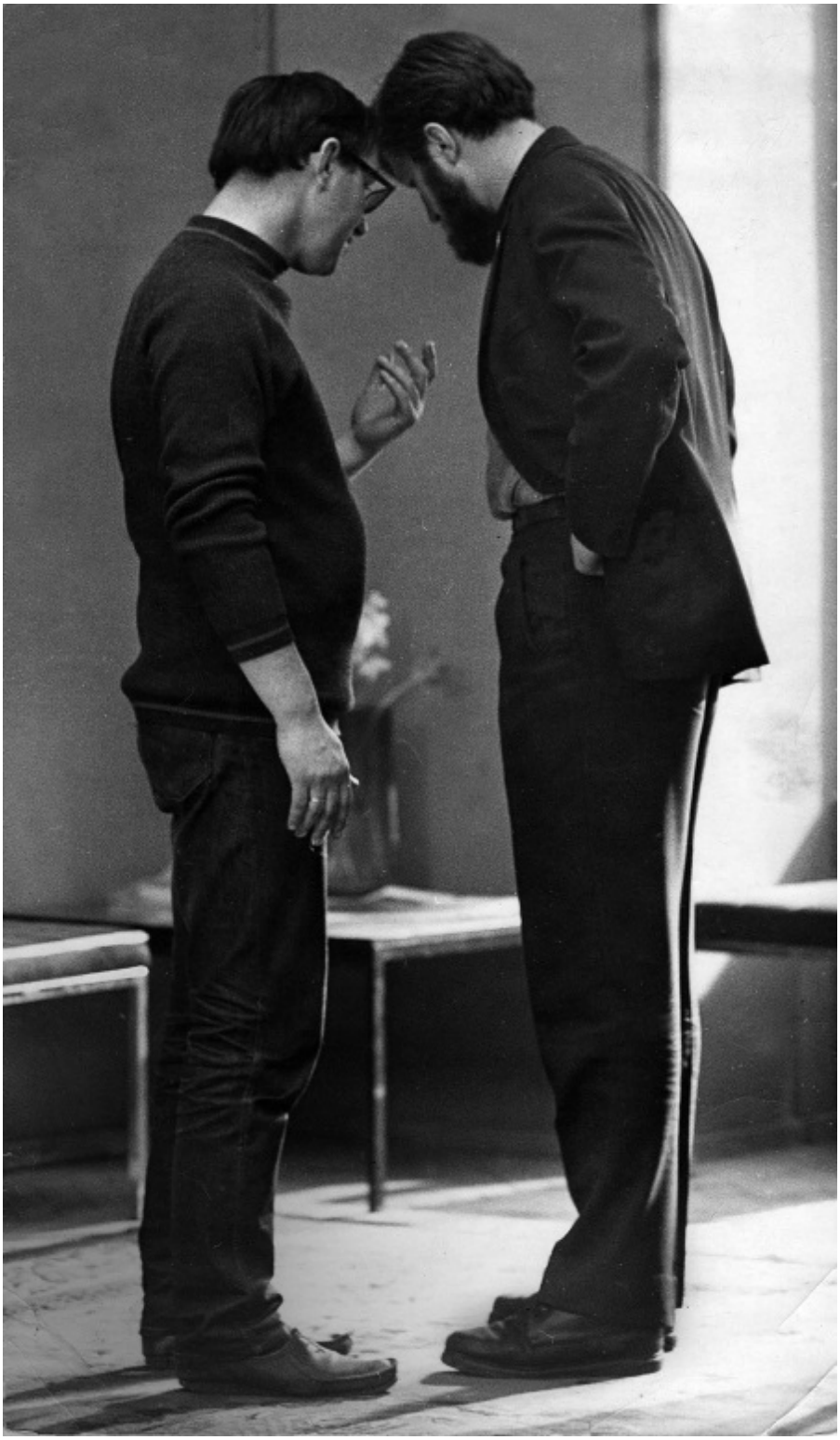

СМИРНОВ



Без работы. 1968.

“Белорусский вокзал”. С Никифором Колофидиным и Юрием Орловым. 1970. © Киноконцерн “Мосфильм”.

“Белорусский вокзал”. С Алексеем Глазыриным. 1970.
© Киноконцерн “Мосфильм”.



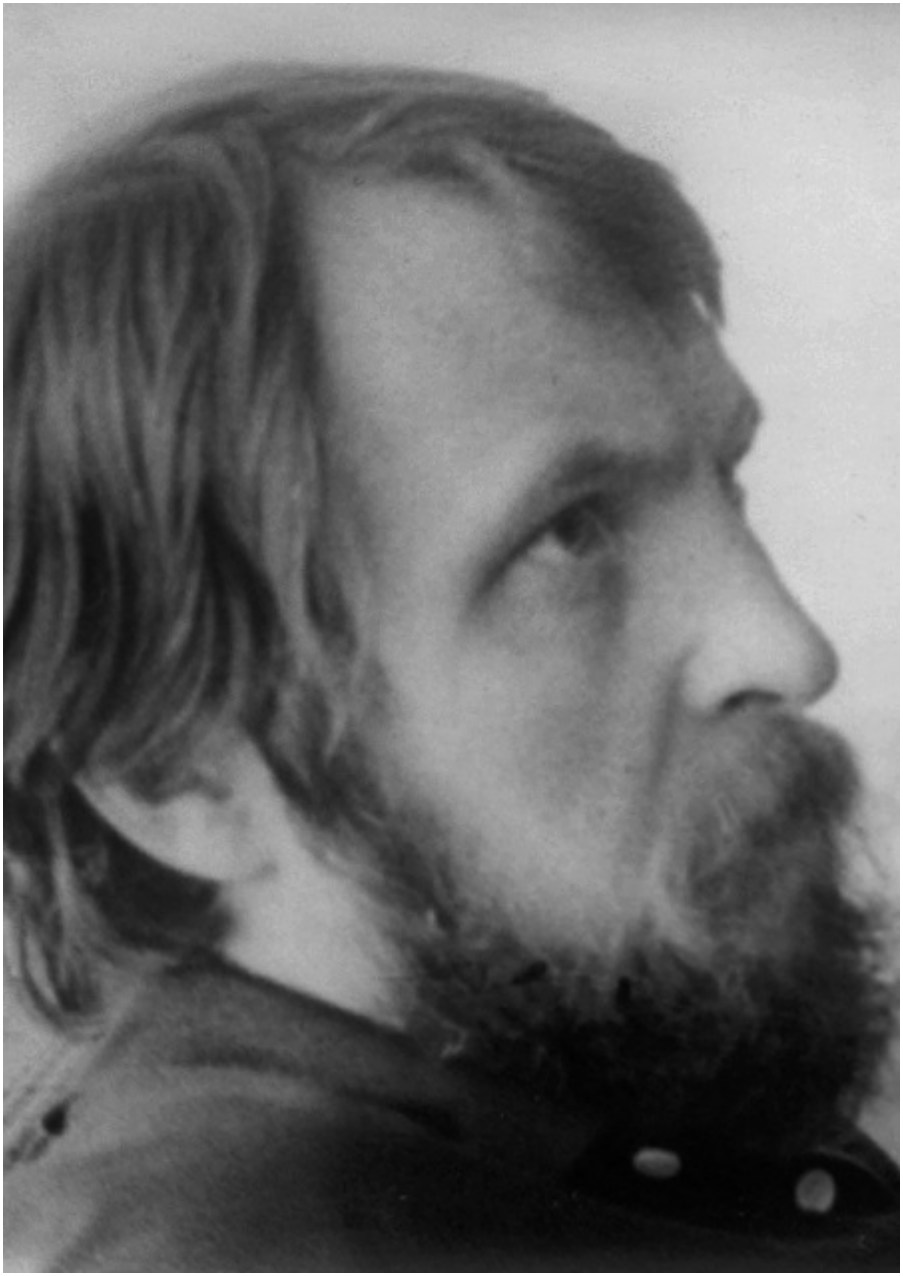
На съемке с Павлом Лебешевым. 1970.

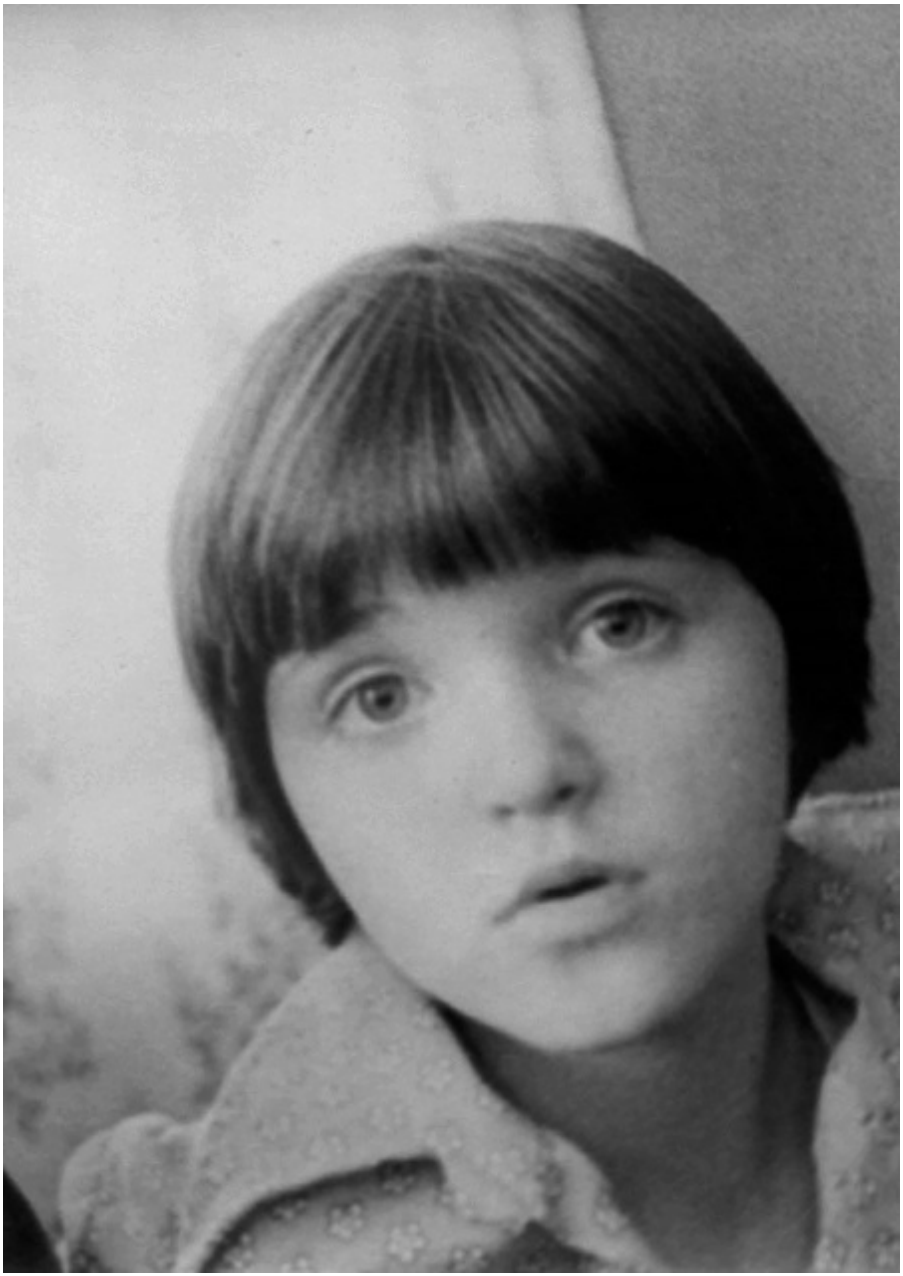
Вверху:

Италия. Первая турпоездка. Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий Натансон с женой, Андрей Смирнов, сценарист Евгений Григорьев. 1972.

Внизу:

Ленинград, 1977. Стоят Андрей Смирнов, оператор Дмитрий Долинин; сидят режиссер Илья Авербах и Эва Шикульска.





С дочерью Дуней. 1976.

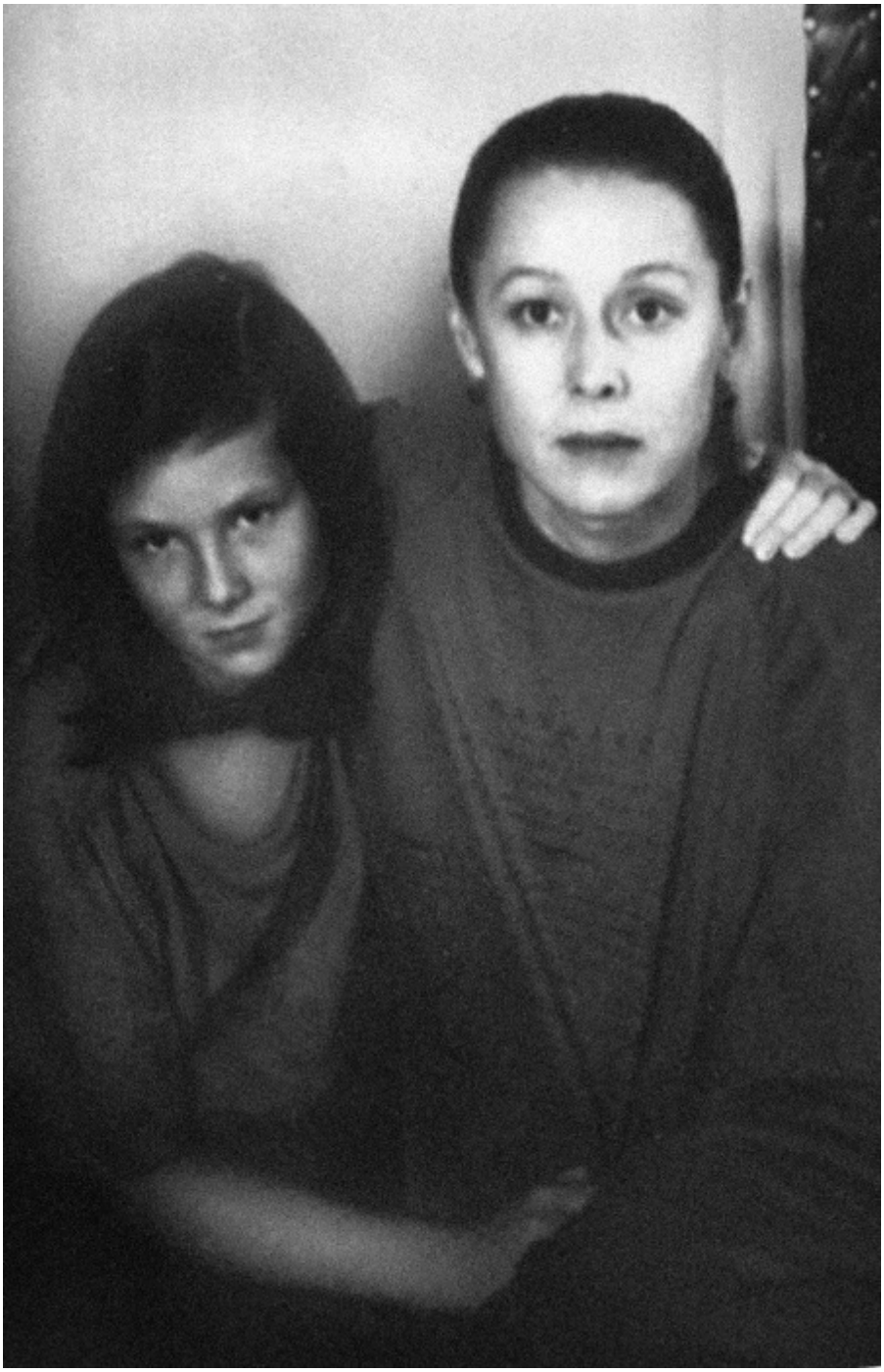
С Александром Калягиным и автором сценария “Верой и правдой” Александром Червинским. 1979.

На съемках фильма “Верой и правдой”. © Киноконцерн

“Мосфильм”.

Дома на кухне с женой и поэтом Александром Кушнером. 1981. Фото Георгия Пинхасова.

С Еленой Прудниковой-Смирновой в фильме Родиона Нахапетова “Идущий следом”. 1984. © Киноконцерн “Мосфильм”.

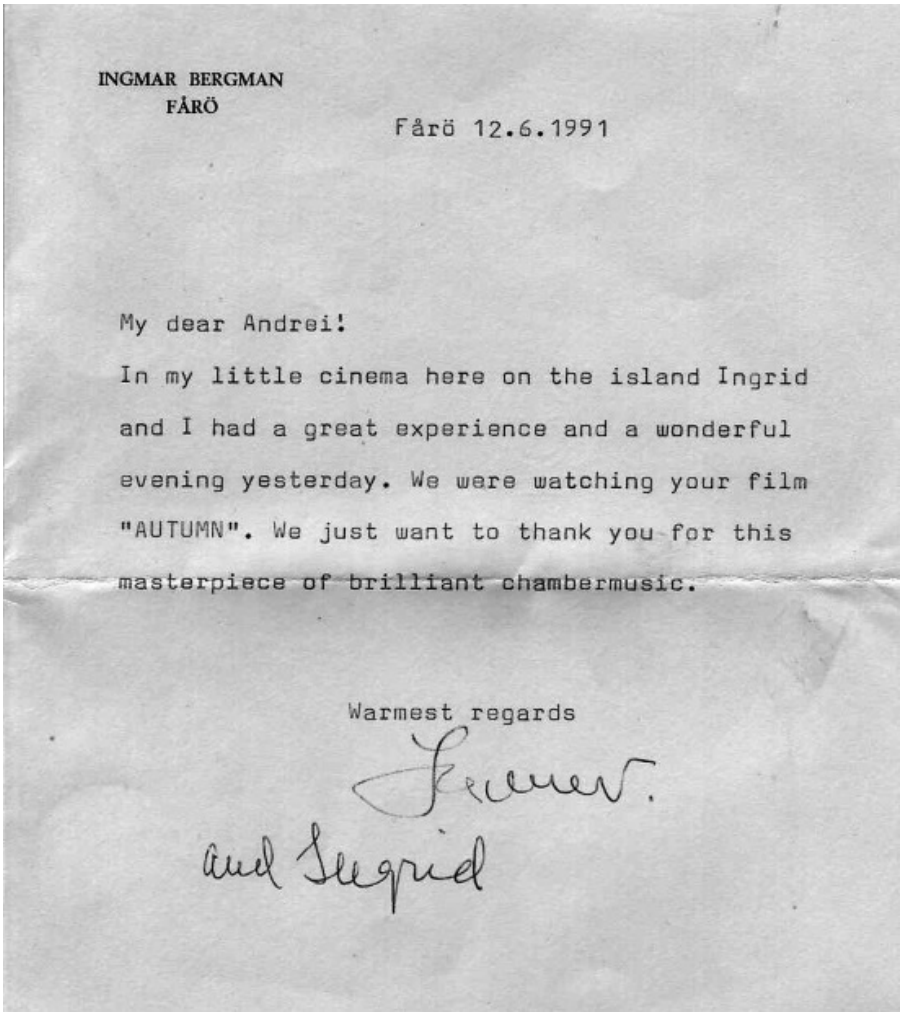


Жена Елена Прудникова-Смирнова и дочь Аглая. 1990.

Вверху:

в Санкт-Петербурге с женой на фестивале “Виват кино России!”. 90-е.

Внизу и слева:
дома на Никитском бульваре. 1986. Фото Миколы Гнисюка.



INGMAR BERGMAN
FÅRÖ

Fårö 12.6.1991

My dear Andrei!

In my little cinema here on the island Ingrid and I had a great experience and a wonderful evening yesterday. We were watching your film "AUTUMN". We just want to thank you for this masterpiece of brilliant chambermusic.

Warmest regards

Ingmar

and Ingrid

Ингмар Бергман
Форё

Форё 12.6.1991
Дорогой Андрей!

Мы с Ингрид провели вчера потрясающий вечер в нашем маленьком кинотеатре здесь, на острове, и получили огромное удовольствие. Мы смотрели твой фильм “Осень”. Спасибо за этот шедевр прекрасной камерной музыки.

С дружеским приветом,
Ингмар и Ингрид.

На могиле Андрея Тарковского на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Слева Отар Иоселиани, в профиль – Андрей Смирнов, на корточках сидит Александр Сокуров. Начало 90-х.

Вверху:
в парижском кафе с женой. 1995.

Внизу:

на репетиции спектакля “Ужин” Жан-Клода Брисвиля, поставленного Андреем Смирновым на сцене МХАТа им. А. П. Чехова. 1993.

Фото Валерия Плотникова.

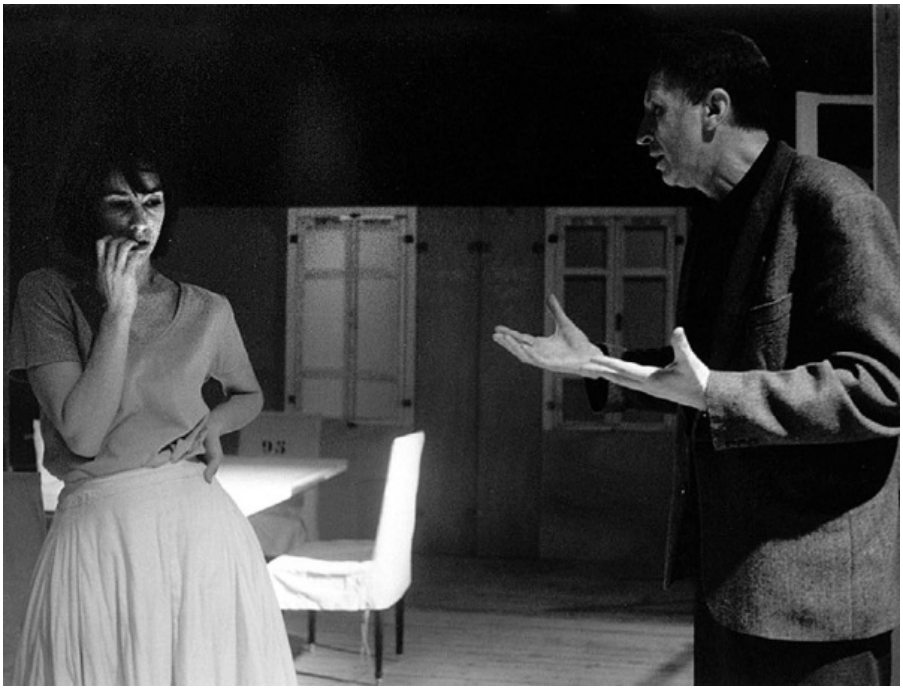
Репетиции “Месяца в деревне” И. С. Тургенева в Комеди Франсез.

Париж, 1997.

С актрисой Корали Заонеро (Верочка).

Вверху:

Николя Зильбер (Ислаев), Ален Пралон (Шпигельский), Катрин Сальвиа (Лизавета Богдановна).



Слева и внизу:
с актрисой Клотильдой де Безер (Наталья Петровна).

В роли Ивана Бунина. Кадр из фильма “Дневник его жены” Алексея Учителя.

© ООО “ТПО “РОК”, 2000.

С Ольгой Будиной. Рабочий момент съемок. Фотограф П. Костомаров.

© ООО “ТПО “РОК”, 2000.

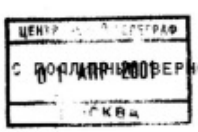
299-34-53 СМИРНОВУ 103050 ТВЕРСКАЯ УЛ 19 КВ 74=

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА 126088 226 01/04 2305=

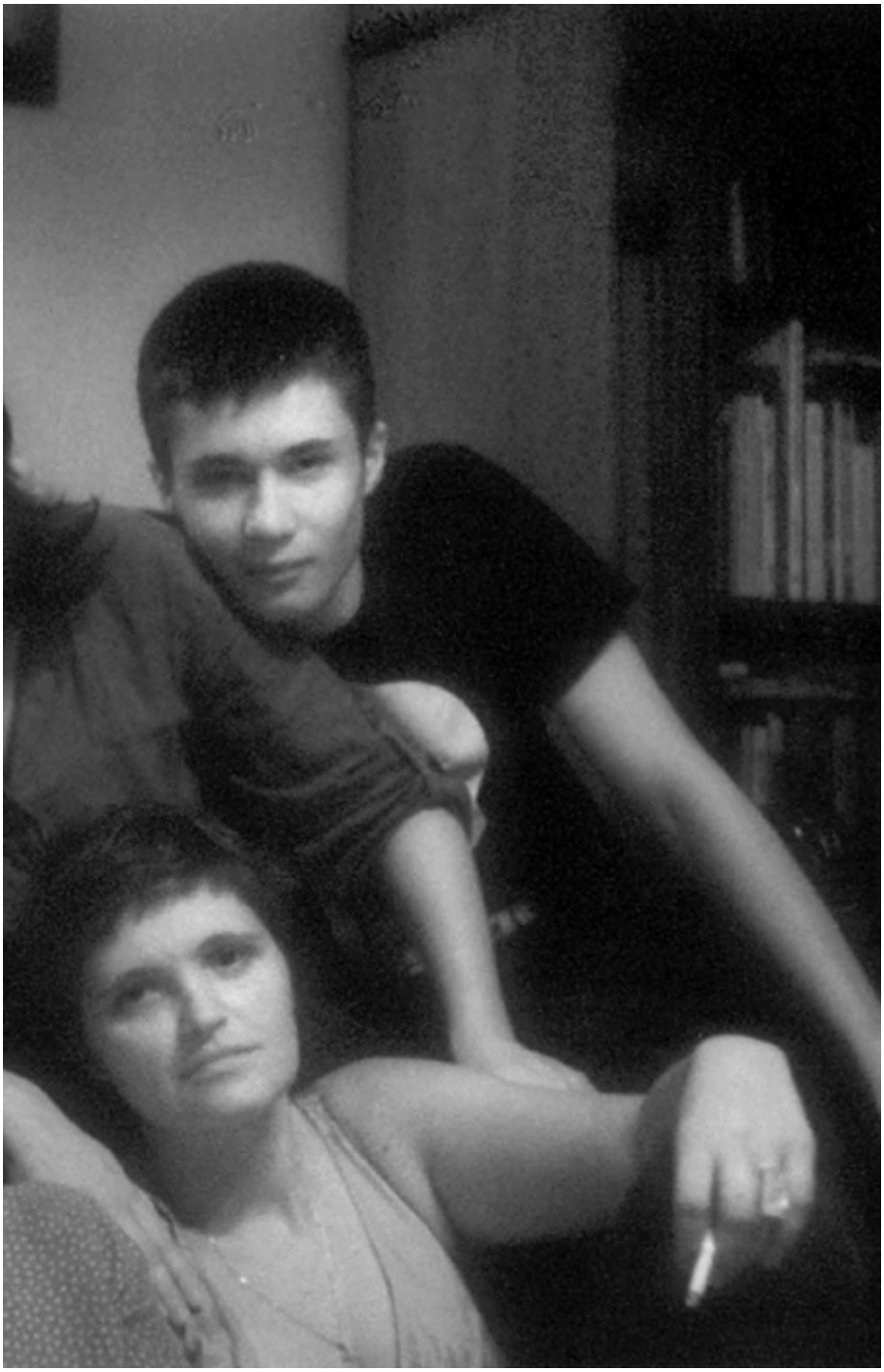
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ
МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНУ В В=

УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ВАС НО ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХА В ВАШЕЙ РАБОТЕ ТЧК Я НИЧЕМ НЕ СВЯЗАН С КАНАЛОМ НТВ ХОТЯ МНЕ СЛУЧАЛОСЬ БЕСПЛАТНО ВЫСТУПАТЬ В ИХ ПРОГРАММАХ ТЧК Я НЕ УЧАСТВОВАЛ ВО ВЧЕРАШНЕМ МИТИНГЕ НА ПУШКИНСКОЙ ПОСКОЛЬКУ НИ С ЦЕЛЬЮ НИ С ФОРМОЙ ЕГО Я НЕ МОГУ СОГЛАСИТЬСЯ ТЧК ТРЕВОГА ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ПИСАТЬ ВАМ НЕСМОТРЯ НА ПОНИМАНИЕ ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО БЕСПОЛЕЗНО ТЧК КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА НАШЕЙ СТРАНОЙ МОЖНО ПРАВИТЬ НЕ ТОЛЬКО БЕЗО ВСЯКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НО И ВОВСЕ НАПЛЕВАВ НА ЕЕ НЕУГАСИМУЮ НЕНАВИСТЬ К ВЛАСТИ ТЧК ВАШ ЛИ ЭТО ПУТЬ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ТАКОМУ СПОСОБУ ПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОД ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ Я РАЗУМЕЮ ОТНЮДЬ НЕ СТОЛИЧНУЮ ТУСОВКУ ХОЛУЕВ НА КРЕМЛЕВСКИХ ПРИЕМАХ А НЕСМЕТНУЮ АРМИЮ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ ВРАЧЕЙ ИНЖЕНЕРОВ УЧЕНЫХ АРТИСТОВ МУЗЫКАНТОВ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ БЕСКОРЫСТНЫХ А ПОТОМУ НИЩИХ ПОЛУГОЛОДНЫХ БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО ЖИВА СЕГОДНЯ ДУША РОССИИ ВОПЛОЩЕННАЯ В ЕЕ КУЛЬТУРЕ ТЧК ВОЗВРАЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ГИМНА НАНЕСЛО ПО МОИМ НАБЛЮДЕНИЯМ НЕПОПРАВИМЫЙ УРОН ОТНОШЕНИЮ ЭТИХ ЛЮДЕЙ К СЕГОДНЯШНЕЙ ВЛАСТИ ТЧК ПОЛАГАЮ ЧТО ЕСЛИ ВО ВТОРНИК КАНАЛ ГУСИНСКОГО СМЕНИТ ХОЗЯИНА ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ СТАТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ ТЧК ПРОПАСТЬ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ СТАНЕТ НЕУСТРАНИМОЙ КАК ВО ВРЕМЕНА БРЕЖНЕВА ТЧК ВСЕЙ ДУШОЙ НАДЕЮСЬ ЧТО ВЫ СУМЕЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭТО ТЧК БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ=АНДРЕЙ СМИРНОВ МОСКВА УЛ ТВЕРСКАЯ 19 КВ 74-

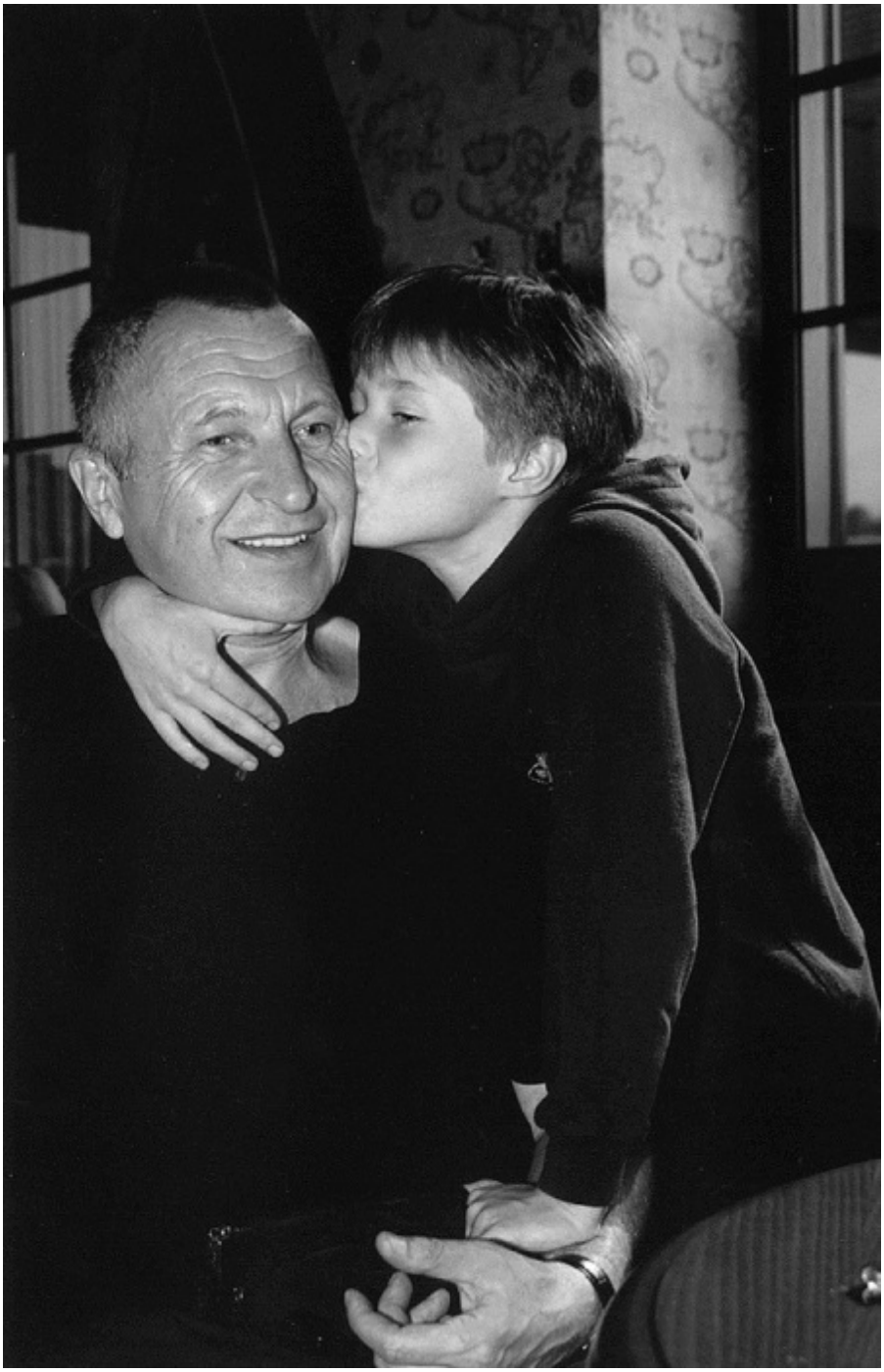


С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО. НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ:

Телеграмма президенту в защиту НТВ, прочитанная в эфире Евгением Киселевым в экстренном выпуске программы “Итоги” 3 апреля 2001 года, незадолго до захвата канала.

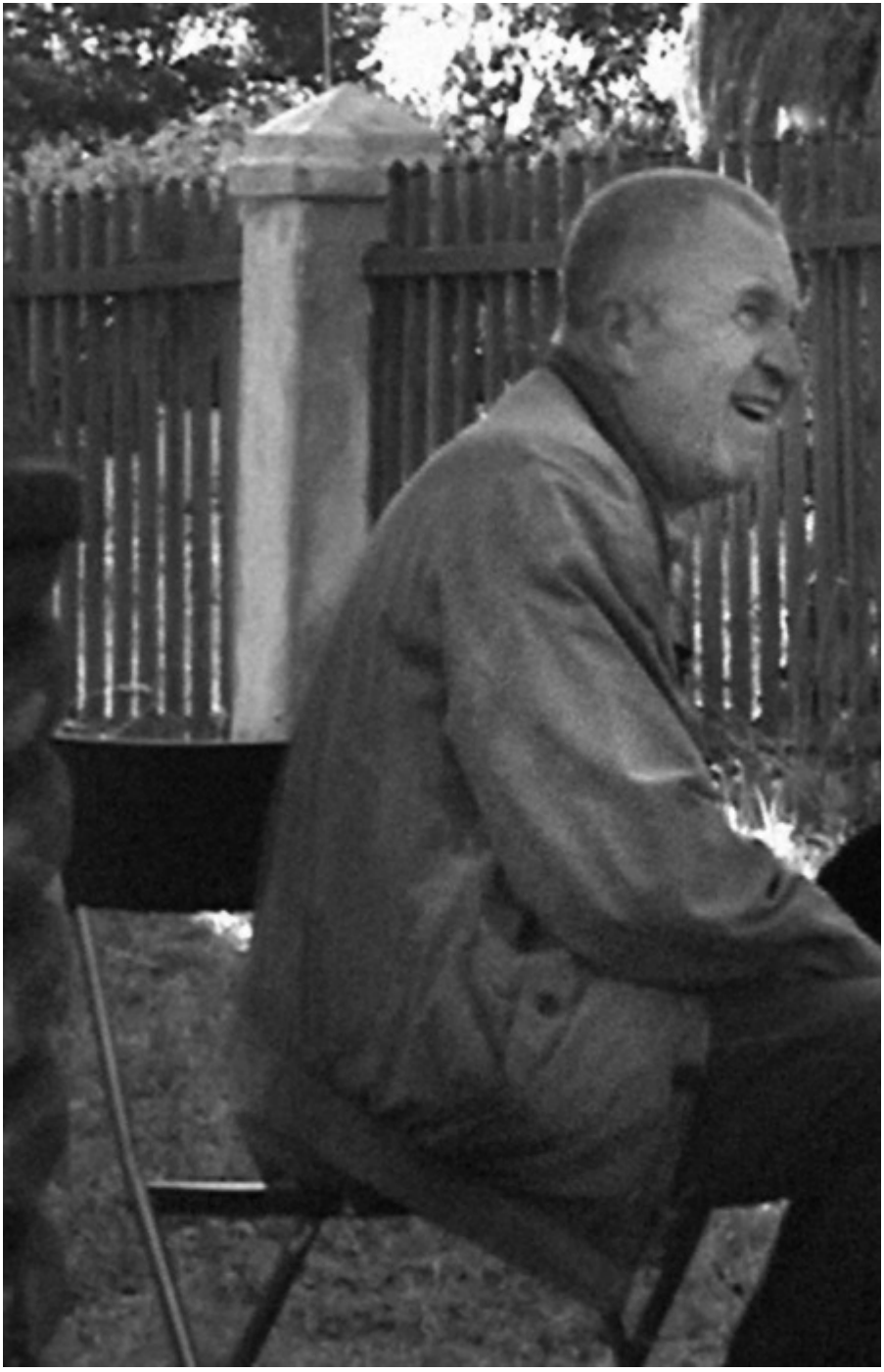


На диване дети: Александра, Аглая, Алексей; на полу – жена Елена и дочь Авдотья. 2009.



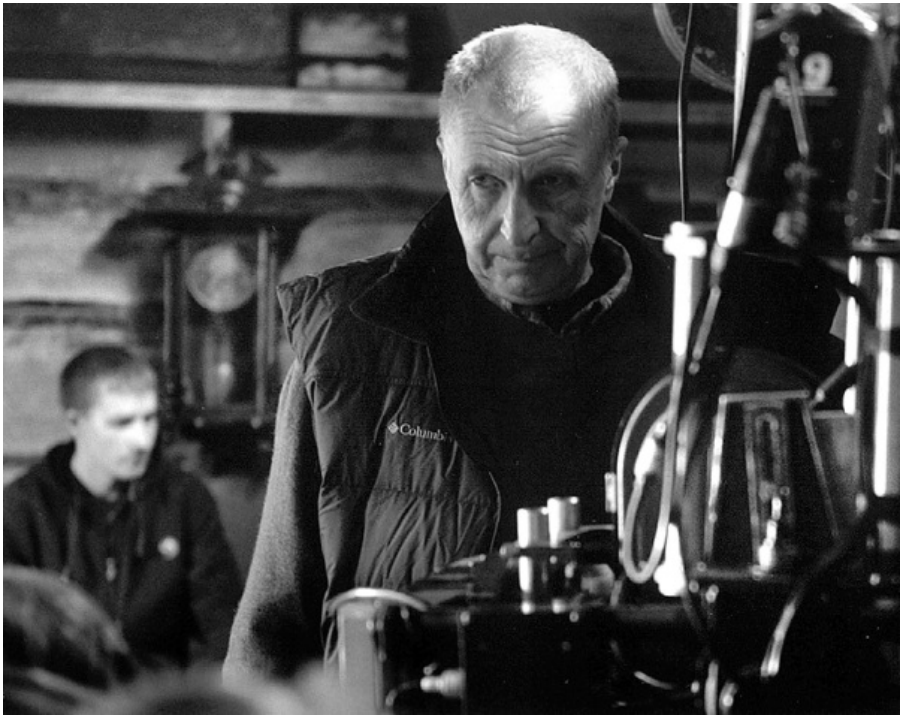
С сыном Алешей. 2000.

Рим, 2009. С женой и дочерью Авдотьей Смирновой.

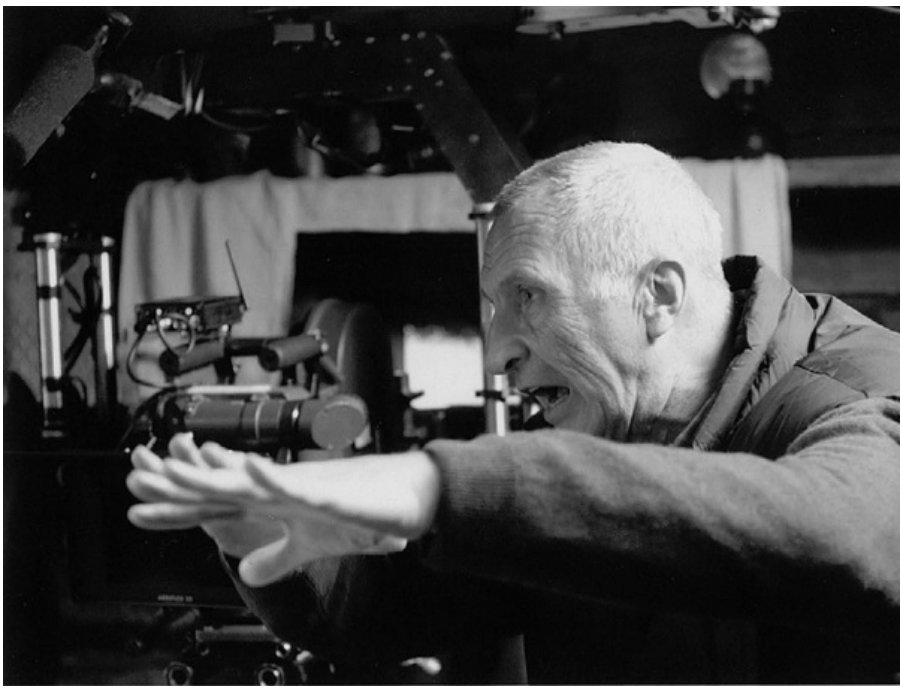


На съемках фильма “Жила-была одна баба” с Еленой Прудниковой, продюсером фильма. 2009.

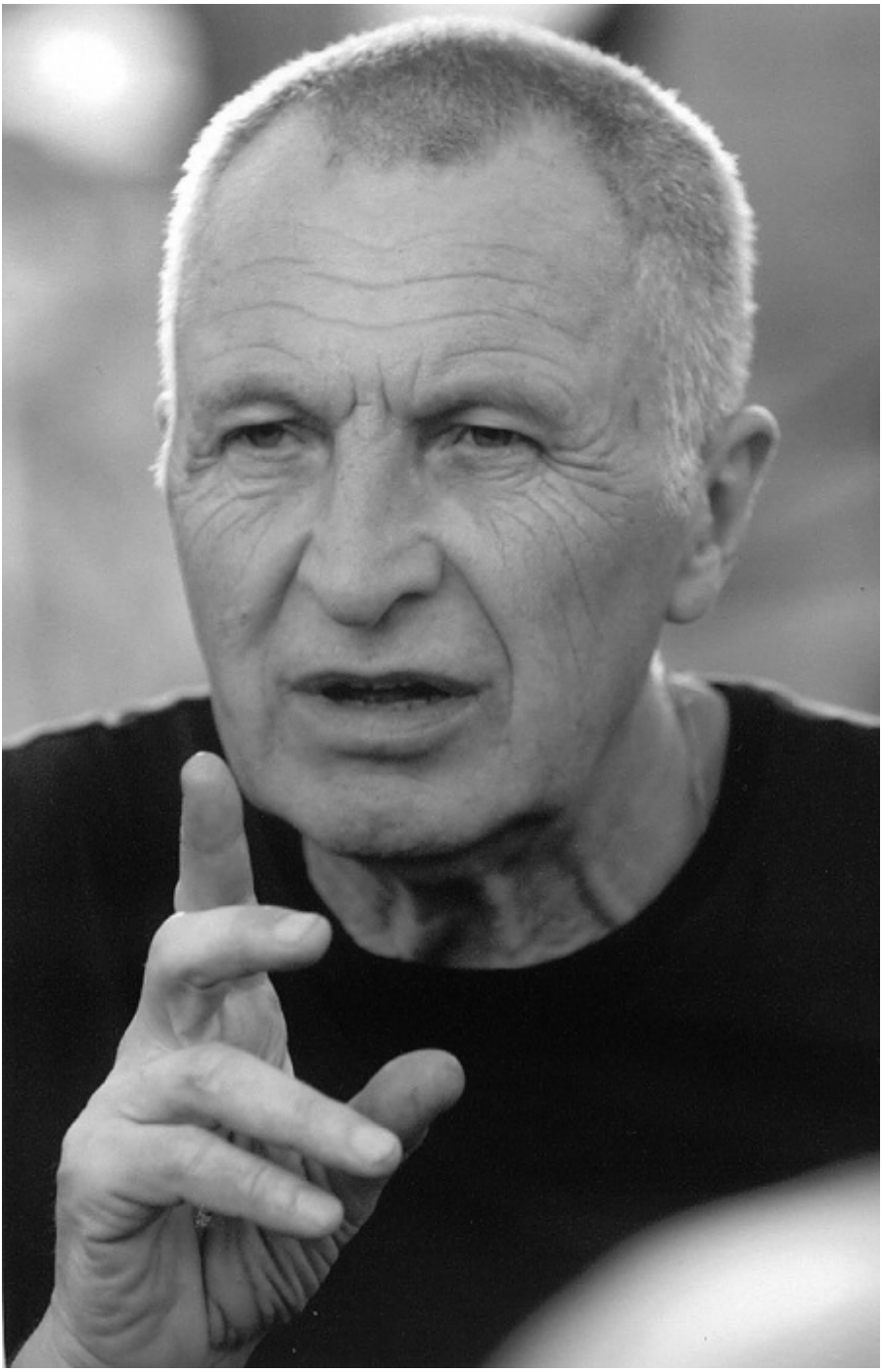
© Ирина Бессарабова.


Columbia

На съемках фильма “Жила-была одна баба”.



2008–2009. Архив автора.



notes

Примечания

1

Игра на созвучии, буквально: рыжий, который зеленый *(франц.)*.

2

Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай *(англ.)*. Дж. Г. Байрон, “Прощай” (“Прощание с леди Байрон”).

3

Смотрите, моя дорогая… Какой хорошенький… мальчик! Хватит… домой… *(франц.)*

4

“Поворот судьбы” *(англ.)*.

5

В 2014 году я сложил сериал из пяти серий под тем же названием, куда вошло практически все, что мы сняли. Его можно найти на сайте Первого канала *kino.*1*tv.ru.*

6

Это написано в 2011 году. В ту пору надежды эти имели основание – министром культуры был Александр Авдеев, отмена цензуры закреплена в действующей Конституции РФ. Нынешний министр с первых шагов на новом поприще (весна 2012-го) не оставляет попыток, вполне успешных, возродить советскую цензуру в несколько иных формах.

Цит. по: В.Л. Комарович. *Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд.* М.—Л., 1936.